



Януш Леон
Вишне夫斯基

БИКИНИ

Annotation

Новый роман Я.Л. Вишневого «Бикини» — это история любви немки и американца, которая разворачивается в конце Второй мировой войны. Героиня романа, Анна, красива, прекрасно говорит по-английски и мечтает о карьере фотографа. Могла ли она думать, что ее лучшими работами станут фотографии уничтоженного родного города, а потом ее ждет сначала кипящий жизнью Нью-Йорк, а потом и восхитительный атолл Бикини...

- [Януш Леон Вишневский](#)
 - [Дрезден, Германия, раннее утро, среда, 14 февраля 1945 года](#)
 - [Дрезден, Германия, около полудня, четверг, 15 февраля 1945 года](#)
 - [Дрезден, Германия, утро, пятница, 16 февраля 1945 года](#)
 - [Дрезден, Германия, утро, воскресенье, 25 февраля 1945 года](#)
 - [Дрезден, Германия, сразу после полуночи, понедельник, 26 февраля 1945 года](#)
 - [Нью-Йорк, Соединенные Штаты, раннее утро, среда, 14 февраля 1945 года](#)
 - [Намюр, Бельгия, около полудня, четверг, 15 февраля 1945 года](#)
 - [Люксембург, вечер, воскресенье, 25 февраля 1945 года](#)
 - [Люксембург, раннее утро, понедельник, 26 февраля 1945 года](#)
 - [Люксембург, около полудня, вторник, 27 февраля 1945 года](#)
 - [Трир, Германия, суббота, поздний вечер, 3 марта 1945 года](#)
 - [Кельн, Германия, среда, сразу после полуночи, 8 марта 1945 года](#)
 - [Кельн, Германия, утро четверга, 8 марта 1945 года](#)
 - [Кенигсдорф, 12 км на запад от Кельна, утро пятницы 9 марта 1945 года](#)
 - [Кельн, пятница, 9 марта 1945 года](#)
 - [Военный аэродром в Финдельне, Люксембург, сразу после полуночи, суббота, 10 марта 1945 года](#)
 - [Нью-Йорк, Бруклин, воскресенье, раннее утро, 11 марта 1945 года](#)
 - [Нью-Йорк, Бруклин, утро, понедельник, 12 марта 1945 года](#)
 - [Нью-Йорк, Манхэттен, вечер, пятница, 16 марта 1945 года](#)
 - [Нью-Йорк, Таймс-сквер, Манхэттен, около полудня, понедельник, 7 мая 1945 года](#)
 - [Нью-Йорк, Таймс Сквэр, Манхэттен, вечер, суббота, 12 мая 1945](#)

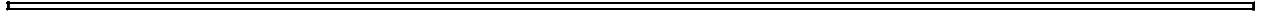
года

- Нью-Йорк, Бруклин, ночь, 19 мая 1945 года
- Нью-Йорк, южный Манхэттен, день, понедельник, 20 июня 1945 года
- Нью-Йорк, Манхэттен, 10.15 утра, суббота, 28 июля 1945 года
- Нью-Йорк, Манхэттен, вечер, 20.55, понедельник, 6 августа 1945 года
- Нью-Йорк, Манхэттен, полдень, вторник, 14 августа 1945 года
- Нью-Йорк, Бруклин, вечер, четверг, 22 ноября 1945 года
- Санбери, Пенсильвания, вечер, понедельник, 24 декабря 1945 года
- Нью-Йорк, Бруклин, вечер, четверг, 14 февраля 1946 года
- Нью-Йорк, Манхэттен, вечер, воскресенье, 17 февраля 1946 года
- Нью-Йорк, Бруклин, утро, понедельник, 18 февраля 1946 года
- Нью-Йорк, Бруклин, полдень, среда, 20 февраля 1946 года
- Маршалловы острова, атолл Бикини, раннее утро, пятница, 22 февраля 1946 года
- Маршалловы острова, атолл Бикини, суббота, 23 февраля 1946 года
- Маршалловы острова, атолл Бикини, воскресенье, 24 февраля 1946 года
- Маршалловы острова, атолл Бикини, четверг, 28 февраля 1946 года
- Маршалловы острова, атолл Бикини, пятница, 1 марта 1946 года
- Маршалловы острова, атолл Бикини, около полудня, воскресенье, 3 марта 1946 года
- Маршалловы острова, атолл Бикини, утро, понедельник, 4 марта 1946 года
- Маршалловы острова, атолл Бикини, полдень, четверг, 7 марта 1946 года
- Нью-Йорк, Манхэттен, ближе к полудню, понедельник, 1 июля 1946 года

- notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)



Януш Леон Вишневский

Бикини

Моим родителям

Дрезден, Германия, раннее утро, среда, 14 февраля 1945 года

Ее разбудила тишина. Не открывая глаз, она скользнула рукой под свитер. Сердце бешено колотилось. Она закусила губы. Сильнее. Еще сильнее. Открыла глаза только когда почувствовала соленый вкус крови. Жива...

— Расскажешь мне сказку? Я тебе за это водички принесу. А может, сигарету. Расскажешь?

Она повернула голову в ту сторону, откуда доносился голос. На нее внимательно смотрела пара круглых голубых глазенок. Она улыбнулась.

— Можно ту же самую, что вчера, — настаивал он.

Подняв руку и не говоря ни слова, она нежно погладила растрепанные волосы мальчика.

— Утром сказки не рассказывают, — прошептала она, — сказки рассказывают вечером.

Мальчик наклонился над ней и поцеловал ее в лоб. Стебельки соломы с его светлых волос посыпались ей на лицо, попали в глаза и прилипли к окровавленным губам.

— Я знаю, но сегодня вечером я должен помолиться. И вообще, из-за этих самолетов ничего не слышно. Расскажи лучше сейчас. Пока мы еще живы...

Она почувствовала знакомое покалывание под ключицей. Только Маркус мог сказать именно так... так вот... черт, как бы это определить?! Мимоходом. Совсем просто. На выдохе, гораздо тише, чем всё остальное, почти шепотом, с надеждой, что никто не услышит. «Пока мы еще живы». Как если бы он говорил о газете, но не вчерашней, а старой, недельной давности! Поэтому она всегда вслушивалась в то, что говорил Маркус, — до последнего звука. Научилась этому год тому назад, когда они с Хайди и Гиннером воровали черешню в саду Цейсов...

У доктора Альбрехта фон Цейса был стеклянный глаз, который он прятал за кожаной повязкой, завязывавшейся на лысине, кривые ноги и огромный живот. По мнению Маркуса, это был один из самых отвратительных «пиратов без шеи», каких он только знал. Сколько Маркус себя помнил, Цейс всегда ходил в черном парадном эсэсовском мундире,

коричневой рубашке, красной повязке со свастикой на левой руке и черном галстуке. Даже когда выходил в сад или на прогулку со своей овчаркой. Глядя на него, можно было подумать, что Гитлер ежедневно празднует свой день рождения.

Изгородь, окружавшая владения Цейсов, непосредственно примыкала ко двору дома, где она жила: Грюнерштрассе, 18, в центре Дрездена. Непонятно, каким образом на главной улице с двусторонним движением могла оказаться вилла с огромным садом. Родители, когда их об этом спрашивали, только отмахивались или, понизив голос, в шутку предлагали спросить у самого Цейса. И однажды в разгар июньского дня Маркус — тогда ему было семь лет — подошел к садовой изгороди и писклявым голоском крикнул Цейсу, подрезавшему кусты роз:

— Почему у вас такой большой дом, а у нас из-за этого такой маленький двор?

Во дворе воцарилась гробовая тишина. Лицо Цейса побагровело, он сердито бросил секатор на траву, поправил на голове повязку, застегнул мундир и приблизился к Маркусу, упершись своим огромным брюхом в изгородь.

— Как тебя зовут, щенок?! Фамилия! — процедил он сквозь зубы.

Маленький Маркус, который прижимался лицом к изгороди прямо под животом Цейса, встал по стойке смирно, задрал голову вверх и гаркнул:

— Меня зовут Маркус Ландграф, немец, проживаю в Дрездене на третьем этаже!

Она помнила, что все — а двор в тот солнечный день был полон детей и взрослых — разразились громким смехом. Цейс словно обезумел. Он сжал в кулаках колючую проволоку, лицо у него налилось кровью, видно было, как дрожат его челюсти, а на губах появляется белая пена. Минуту спустя, не проронив ни слова, он повернулся и нервно зашагал к своему дому, но по дороге споткнулся о старую корзину, стоявшую под черешней, и упал. В дворе вновь раздался смех. И она, преисполненная ненавистью, смеялась громче всех...

Спустя два дня Хайди, пятнадцатилетняя сестра Маркуса, Гиннер, его старший семнадцатилетний брат, и она встретились поздним вечером, после заката, в подвале. Ветви развесистой черешни в саду Цейсов ломились от спелых ягод. Встав у изгороди и раскрыв рот, дети молча смотрели, как садовник Цейсов, стоя на лестнице, собирает ягоды. Они ждали, пока тот слезет с лестницы. К ним он никогда не подходил. Тогда Маркус примерялся и бросал в него камень. Иногда даже попадал. Садовник не реагировал. Она вообще не помнит, чтобы он когда-нибудь

вымолвил хоть слово.

В последний раз она ела черешню в день рождения бабушки, летом 1943 года. Бабушка, закрыв на кухню дверь, насыпала несколько ягод в щербатую глиняную кружку, накрыла ее серой бумагой и прихватила резинкой для волос. Для Лукаса...

— Отнесешь ему? — попросила бабушка. — Прямо сейчас. И смотри, не забудь сначала погасить свет в прихожей.

Она отнесла.

Спускаясь в тайник, оборудованный под полом в прихожей, она всегда вспоминала свою первую встречу с Лукасом. Перепуганный маленький мальчик с иссиня-черными волосами и огромными глазами-угольями сидел в самом дальнем углу тайника. То по-немецки, то на идиш он все время повторял «спасибо». А появился он однажды...

Дедушка Лукаса, доктор Мирослав Якоб Ротенберг, был практикующим врачом. В течение многих лет он принимал больных в одном из пригородов Дрездена. Бабушка Марта долгое время считала, что вообще-то врачи никому не нужны. Это было довольно странно: ведь ее муж сам был врачом. Бабушка говорила, что медицина нужна только для того, чтобы хоть чем-то занять пациента, а мать-природа сама все исправит. И считала так до тех пор, пока ее полуторагодовалый сын не заболел какой-то таинственной хворью. Сначала, вскоре после рождения сына, заразившись от пациента, скончался от туберкулеза ее муж. Теперь умирал сын. Ни один немецкий врач не мог ему помочь. И совершенно случайно, по совету знакомой польской еврейки, которая так же, как и она сама, приехала в Дрезден из Ополе, бабушка обратилась к Ротенбергу. Тот моментально распознал у больного менингит. И прописал антибиотики. Бабушка Марта считала, что невозможно почувствовать большую благодарность, чем та, какую она испытывала к этому человеку, когда после нескольких дней забытья ее сын очнулся и смог ей улыбнуться.

Поэтому, когда однажды в ее доме появился Лукас со своими родителями и они отважились спросить, нельзя ли ему «при таких обстоятельствах и в такой ситуации побыть тут некоторое время», бабушка Марта позвала невестку и внучку.

— Мама, как ты можешь спрашивать! — воскликнула невестка и взяла Лукаса на руки.

С этого дня Лукас стал жить с ними. Под полом.

В тот вечер они должны были «помочь» садовнику Цейсов. Ну, на

самом-то деле, конечно, не ему, а прежде всего черешневому дереву Цейсов. Она даже не знает, как это вышло, но неожиданно в подвал, в пижаме и галошах, с маленьким металлическим ведерком в руках вошел Маркус. Делать нечего, пришлось взять его с собой. Над садовой калиткой не было колючей проволоки...

В темноте она уплетала черешню прямо с дерева. Всего несколько штук успела бросить в плетеную корзинку. Неожиданно в одном из окон на втором этаже виллы Цейсов зажегся свет. Через мгновение раздался знакомый лай овчарки, выпущенной на балкон. Дети бросились наутек. Она была уже недалеко от изгороди, как вдруг треснула ветка и вскрикнул Маркус. Она бросилась к нему.

— Маркус, что случилось? — шепотом спросила она.

— Все в порядке, просто поскользнулся. Давно не ел такой отличной черешни! Самая крупная — на верхних ветках. У меня полное ведерко. Жаль, я не взял папину сумку. А ты как? Много собрала? — спросил он.

— Маркус, черт тебя побери, что происходит? — повторила она нетерпеливо.

— Ты вытащишь мне гвоздь из руки? — прошептал он спокойно.

— Какой гвоздь, Маркус?! — удивилась она.

— Да вот этот, — ответил он тихо и поднял вверх правую ладонь.

Бурый ржавый гвоздь, торчавший из обломка мокрой доски, насквозь пробил его ладонь и вышел с другой стороны.

— Боже мой, только не плачь...

— Вытащишь? — повторил Маркус, выплюнув косточку черешни.

Она крепко взялась за его запястье левой рукой, а правой ухватила за доску и дернула на себя. Через минуту они были у изгороди.

Две недели спустя Ханс-Юрген Ландграф, отец Хайди, Маркуса и Гиннера, который служил инспектором отдела безопасности перевозок Центрального вокзала Дрездена, — человек спокойный и невзрачный, рахитичный, которого постоянно мучил кашель, так что казалось, он мог в любую минуту умереть, — на основании приказа «в чрезвычайном порядке» был переведен «на более ответственный пост». На Восточный фронт...

— Только не плачь, пожалуйста, — сказал мальчик, утирая ей слезы пальцами, — тут все сейчас плачут. Даже Цейс. Хайди вообще завывала и мяукала всю ночь. Как кошка Резнеров в марте. Я из-за этого спать не мог.

— Маркус, ну что ты! Ведь мы еще в саду Цейсов договорились, ты что, забыл? Я не плачу. Это просто солома с твоих волос. В глаз попала. Я

правда не плачу, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал бодро.

Мальчик встал с колен, энергично отряхнул свои брюки, заправленные в войлочные гамашы, и натянул на голову шерстяную шапку. Он стоял перед ней, широко расставив ноги, и пытался своими короткими ручонками дотянуться до кармана куртки, которая была ему так велика, что карманы оказались на уровне коленей.

— Ну, ты пока подумай, а я принесу воды.

Она видела, как он медленно удаляется, обходя спавших на полу людей. Через минуту он исчез в галерее, что вела к воротам южного нефа церкви.

Она приподнялась и, стоя на коленях, осмотрелась. Сквозь большую пробоину в крыше, которая появилась после второго ночного налета, виднелось хмурое серое небо, которое бросало овальное пятно света на небольшое пространство вокруг алтаря. Все остальное окутывала темнота, постепенно переходившая во мрак. Как на картинах Дюрера, которые она видела еще до войны, когда вместе с классом была на экскурсии в Берлинском музее! И так же, как у ненавистной отцу Лени Рифеншталь, которой — но только как фотографом — она восхищалась в сто раз больше, чем Дюрером! Рифеншталь могла остановить мгновение, Дюрер же его всего лишь воспроизводил, добавляя слишком много от себя, утрируя. Доводя почти до шаржа. А у Рифеншталь совершенно незаметны переходы взаимопроникающих, накладывающихся друг на друга оттенков серого цвета. Волшебный, безбрежный мир серого. Серое без границ. Она смотрела на это как зачарованная. Не часто можно увидеть такой свет. Разве что раз, «пока мы еще живы...». Она встала, торопливо открыла чемодан. Вытащила тщательно обмотанный плотным меховым жилетом сверток, извлекла оттуда фотоаппарат.

Вчера — во время первой тревоги — мама велела ей взять с собой «самое необходимое». Она тут же бережно укутала фотоаппарат и осторожно положила его на толстую подушку из свитеров. И поначалу решила, что это и есть «самое необходимое». А потом, когда мать уже стояла в прихожей и подгоняла ее все громче, побежала было к двери, но передумала. Вернулась в свою комнату и схватила перевязанную стопку писем от Гиннера, фотографию бабушки и обручальное кольцо, которое сняла с ее пальца, учебники английского языка, любимое платье, три смены белья, атлас мира в кожаном переплете, полученный в награду за отличную учебу, дневник, который вела уже семь лет и прятала под матрасом, и огромный, как футбольный мяч, комок ваты, которую она потихоньку

таскала у мамы. У нее как раз случились «эти дни». Собственно, они бывали у нее регулярно, каждый месяц, уже более шести лет, но мама не успела этого заметить. Или делала вид, что не замечает.

Мать не хотела, чтобы дочь в конце войны повзрослела. Девушку можно изнасиловать. А потом отправить ее сына на фронт. И ей придется ждать от него писем. И наконец, получив желтоватый, запечатанный со всех сторон конверт, вынуть из него дрожащими руками серый лист бумаги с бесконечной чередой цифр в правом верхнем углу и узнать, что письмо – «лично от фюрера», хоть и без подписи, и что тот, кому присвоили этот бесконечный номер, «пал смертью храбрых». Мать ненавидела Гитлера. По-настоящему, то есть лично. Эта ненависть была своего рода страстью, которую мать истово взращивала в себе и которая позволяла ей справляться с собственным бессилием и жаждой мести. За долгожданные письма от мужа, за его отмороженные под Сталинградом ноги, за неизбывную тоску посвященных ей стихов, за неуклюже выскобленный лезвием цензора перевод этих стихов на английский и наконец за то, что они с мужем стыдились быть немцами. Но прежде всего за желтоватый конверт, который она получила на лестнице из рук нервно прятавшего глаза молодого почтальона в потрепанном мундире. В жаркий полдень, в среду, 12 мая 1943 года. А еще за то, что каждую ночь ей снился этот бесконечный номер, который она выучила наизусть, и за то, что у ее мужа нет даже могилы, к которой она могла бы прикоснуться и припасть, предавшись отчаянию.

А потом, хотя ей казалось, что невозможно ненавидеть сильнее, она возненавидела — еще сильнее, еще яростнее. За то, что носила в щербатой кружке черешню для еврейского мальчика, скрывавшегося под полом в прихожей...

Мать не только с величайшей, неистовой страстью ненавидела, но и презирала Адольфа Г., этого «недоразвитого, низкорослого, уродливого недоучку, психически больного с момента зачатия выродка, который не вызывает ничего, кроме отвращения, ходит под себя от страха и страдает комплексом неполноценности, этого импотента из Австрии, который, будучи преступником, не должен был получить немецкую визу...». Когда девочка первый раз услышала это из уст матери, ей было не больше десяти. Еще до войны. Отец тогда вскочил со стула и захлопнул окно, а она спросила, кто такой импотент и что значит «зачатие» и «виза». Мама улыбнулась, посадила ее на колени и, заплетая ей дрожащими руками косы, зашептала на ушко что-то еще более непонятное. А отец смотрел на жену с восхищением.

— Кристи, мы ведь с тобой не знаем, импотент Гитлер или нет, но даже если это так, ему стоит посочувствовать. Это ужасно для любого мужчины. Опять же, когда он приехал в Германию, он еще не был преступником. И австрийцам для въезда не нужна виза, — сказал отец тихо, — это давно уже определено трактатом от...

— Я знаю. Конечно, знаю! И на основании какого идиотского трактата тоже знаю. — Жена коснулась пальцем его губ, словно желая остановить его. — И знала, что ты мне это скажешь. Я тебя обожаю. И за это тоже, — прошептала она.

Протиснувшись сквозь толпу, она направилась в сторону лестницы, что вела к амвону, находившемуся как раз напротив алтаря. На минуту задержавшись, установила диафрагму и выдержку. Быстро побежала вверх по лестнице. Вслед неслись проклятия сидевших на ступеньках людей, которых она разбудила, пробегая по лестнице. С трудом переводя дыхание, она вышла на небольшую полукруглую площадку, со всех сторон окруженную каменными резными колоннами, некое подобие балюстрады. И остановилась. Синее шерстяное платье девушки было задрано так высоко, что видны были ее голые груди, которые сжимали мужские ладони. Широко расставив ноги, девушка приподнималась и опускалась на бедра мужчины, лежавшего под ней на мраморном полу амвона. Она оказалась прямо напротив. Девушка — ее ровесница или чуть старше — открыла глаза. И тут же снова закрыла. На мгновение замерла. Провела языком по губам, поднесла пальцы ко рту, облизала их, прикрыла ладонью пятно светлых волос между широко расставленных бедер, приподнялась и откинула голову. Казалось, девушка пребывала в каком-то другом мире, не замечая происходящего. И опять начала ритмически подниматься и опускаться. Распущенные светлые волосы касались лица мужчины...

Ей стало неловко. И в то же время любопытно. И еще она ощутила возбуждение. А потом стыд, смешанный с чувством вины. За это возбуждение. За то, что она испытала его здесь, при таких обстоятельствах и в таком месте. Все остальное выглядело нормальным и абсолютно соответствовало действительности. Она вспомнила разговоры на эту тему дома...

Она была достаточно «большой девочкой», чтобы понять и принять это событие. Секс не был для нее табу. Уже давно. В Третьем рейхе секс перестал быть чем-то личным и интимным. Секс стал делом общественным и политическим. Прежде всего потому, что должен был способствовать

увеличению народонаселения. Только это и было важно. Немецкой женщине следовало рожать как можно больше детей и желательно как можно раньше. О сексе ей не обязательно было знать. Лучше даже не знать вовсе. Самого понятия «сексуальное воспитание» не существовало. И в этом заключался некий парадокс: с одной стороны, следовало размножаться, что без секса невозможно, а с другой — секс окутывала тайна. Она больше узнавала о сексе — если это вообще можно назвать знанием — из серых пропагандистских листовок, которые раскладывали на подоконниках в школе, чем от учителей на уроках. В этих листовках не было ни слова о близости, взаимоотношениях, семье и любви. Зато много говорилось об обязанностях, о матке и о будущем великого и многочисленного истинно германского народа. Первый раз она прочла такую листовку, когда еще и знать не знала, что такое матка. Ей было тогда тринадцать лет. И это была единственная листовка, которую она прочла. Потом она их игнорировала.

Скоро ей исполнится двадцать два. У некоторых ее сверстниц к этому возрасту уже по трое детей. Первенцев они рожали еще учась в школе. В этом случае они получали материнский отпуск, а через год, если, конечно, хотели этого, возвращались в школу. Главное — они произвели на свет арийского ребенка. Замуж выходить было не обязательно. Например, Марианна, кстати говоря, дочь евангелического пастора, с которой она сидела целый год за одной партой, родила двух мальчиков и девочку. Мальчиков-близняшек — когда училась в гимназии, от Ганса-Юргена. А девочка появилась, когда Ганс-Юрген уже одиннадцать месяцев был на фронте, то есть ее отцом быть никак не мог. Но с тех пор как страна стала нуждаться в детях, особых проблем с этим не было. Действительно никаких. Немецким женщинам следовало рожать, а немецким мужчинам — как можно чаще их оплодотворять. Жен, любовниц, подруг, знакомых, которых, как проституток, заводили на один вечер или даже на один час. Лучше всего, чтобы немецких женщин оплодотворяли эсэсовцы — это гарантировало чистоту расы. Ведь их, по приказу Гиммлера, проверяли до десятого колена, и эсэсовцем мог стать лишь тот, чья «расовая чистота» с первого января 1750 года не вызывала сомнений. Эту дату, неизвестно почему, назначил сам Гиммлер. Марианна родила девочку от эсэсовца. А дети эсэсовцев были «благородным подарком для немецкого народа». Она не знает, так ли это было в случае с Марианной, но после рождения третьего ребенка та в школу не вернулась.

Она часто разговаривала об этом с родителями. Они не делали из секса никакой тайны. Когда ей исполнилось шестнадцать лет, на полке домашней

библиотеки в гостиной неожиданно появилась книга голландского автора Ван де Вельде. Со стороны родителей это было смело – ведь и нацисты, и немецкая церковь проявили в отношении этой книги редкостное единодушие: церковь, к великой радости режима, внесла ее в список запрещенных, а нацисты осудили как общественно вредную. Все это лишь подогревало к книге интерес. Малоизвестный нидерландский гинеколог ни с того ни с сего стал в Германии воплощением зла и безнравственности – потому что позволил себе представить, описать с точки зрения науки и, что хуже всего, — приветствовать чувственный секс не для продолжения рода, а как акт близости двух любящих людей. Сначала читать было трудно (отец – специально – раздобыл книгу в переводе на английский), потом она учила по ней язык, а потом, когда уже все понимала, восхищалась.

К тому, что у нее дома считалось само собой разумеющимся, другие относились иначе. Сверстницы узнавали о сексе главным образом из пронизанных духом дешевой сенсации «жизненных историй», которые более опытные старшие подруги нашептывали друг дружке на ушко. Она же могла разговаривать об этом с родителями безо всякого смущения. Но только в том случае, если рядом не было бабушки Марты. Бабушка считала, что детей следует зачинать исключительно в темноте, на супружеском ложе, и рожать их могут замужние женщины. И только от одного-единственного мужчины, брак с которым освятила церковь. На всю жизнь. Все остальное — грех и самая настоящая мерзость. С тех пор как объявился «этот урод и развратник Гитлер», все перевернулось с ног на голову. Так считала бабушка. Гитлер, с ее точки зрения, «замарал и опозорил Германию» как никто другой. «Святошей прикидывается, а сам превратил Германию в бордель», — вот ее слова.

Как-то вечером они разговаривали об этом, и отец, что случалось с ним крайне редко, вдруг встал на защиту Гитлера. Он не считал его «развратником», как бабушка Марта. Наоборот, назвал образцом сексуальной чистоты и аскетического воздержания. Единственный из всего пантеона грешных нацистских функционеров, Гитлер не погряз в романах, изменах, скандалах или интрижках, несмотря на свою неограниченную власть и целые табуны влюбленных в него женщин. Его образ отшельника вызывал у немок массовую сексуальную истерику, и именно к Гитлеру они обращали свои тайные желания, окружая его бесконечным обожанием. Это относилось и к молодым девушкам, и к зрелым матронам, к работницам и светским дамам, к простым крестьянкам и сумасбродным художницам, к миловидным актрисам. Все они отчаянно желали любой ценой сблизиться, в самом однозначном понимании этого слова, с неженатым Гитлером,

который, словно волшебный любовный напиток, возбуждал их — благодаря, с одной стороны, своему положению и власти, а с другой — статусу холостяка, который предполагал для любой шанс стать его избранницей. Женщины, и не только немки, в своих письмах умоляли Гитлера стать отцом их ребенка, его имя они выкрикивали, корчась в родовых муках, словно надеясь унять боль.

Кое о ком из таких женщин народ узнавал. Но лишь о некоторых и только тогда, когда считалось, что это можно с успехом использовать в целях пропаганды. Среди них были прекрасная баронесса Зигрид фон Лафферт, невестка великого композитора Вагнера Винифред, певица Маргарет Слезак, архитектор Герди Троост, неприлично богатая Лили фон Абегг, которая осыпала Гитлера деньгами и задарила произведениями искусства, фотограф и кинорежиссер Лени Рифеншталь, безумная, по уши влюбленная в Гитлера английская графиня Юнити Митфорд, дочь лорда Редсдейла, и Эугения Хауг, которая в шестнадцать лет увлеклась Гитлером и стала верной последовательницей национал-социалистской партии. Гитлер был и остался для всех этих женщин идолом. Как и для тысяч других, которые отправляли ему письма с недвусмысленными предложениями, вкладывая в конверт свою фотографию, и о которых теперь уже никто никогда не узнает.

Самой отвратительной из этих так называемых известных женщин, с точки зрения отца, была Лени Рифеншталь. Ее фильм «Триумф воли», живописующий съезд нацистов в Нюрнберге в 1934 году, был примером повального обожания Гитлера. Высокое небо затянуто тучами, сквозь которые до зрителя постепенно доносится гул авиамоторов. Самолет приземляется, величественно спускаясь к собравшимся внизу сонмам фанатиков. А фюрер, словно чуть ли не ангел небесный или неоязыческое божество, нисходит с небес к ожидающей его беснующейся пастве. Ни одна из поклонниц Гитлера не способствовала рождению мифа о божественности фюрера больше, чем Рифеншталь. Именно она своими фотографиями и фильмами, и в особенности «Триумфом воли», создала визуальный образ Третьего рейха. Всем казалось, что он слишком тщательно отретуширован, но это была чистая правда. Фильм с энтузиазмом приняли за границы, им восхищались как «триумфом настоящего искусства», хотя в сущности это был всего лишь триумф технически безупречной формы, скрывавшей примитивную, банальную суть. В глазах Геббельса «решительная Лени» была «чудотворцем», а Гитлер при каждом удобном случае подчеркивал, сколь многим обязан своей любимице. Отец, который мало кого ненавидел, ненавидел Лени

Рифеншталь от чистого сердца — за конъюнктурщину, ложь, лицемерие — и считал «проституткой от творчества» с соответствующими друзьями и влиятельными покровителями. Дочь не могла с ним в этом согласиться — Рифеншталь была отличным фотографом.

При этом, как всячески подчеркивала пропаганда, у Гитлера должна была быть единственная избранница и возлюбленная — Германия. И все же, чтобы ни у кого, не дай бог, не возникло подозрений о его мужской несостоятельности, рядом с ним появляется серенькая, неврачная, скромная, скрытная с подругами и временами строптивая фрейлейн Ева Браун. Это молодая, красивая, с типично арийской внешностью, сексуально привлекательная девушка из простой немецкой семьи. Она идеально подходила Гитлеру, который не скрывал своей неприязни к умным женщинам. Помощница владельца фотоателье, мечтавшая о карьере актрисы, Ева Браун, как и сам Гитлер, зачитывалась книгами Карла Мая и так же, как и он, восхищалась непобедимым благородным Виннету. А Гитлер откровенно превозносил Карла Мая и уже с самого начала войны рекомендовал своим генералам изучать военную стратегию по его книгам. Да, в это невозможно поверить, но Гитлер черпал знания о войне не из Клаузевица, а из книг про индейцев! Впрочем, это так, к слову. А фрейлейн Ева Браун значила для Гитлера так же мало и так же много, как его собака Блонди. Многие считают, что эта барышня была прекрасным прикрытием его асексуальности, мужской несостоятельности или даже, упаси Бог, гомосексуальных наклонностей.

Гитлер долгое время не демонстрировал гомофобии, но даже когда стал это делать, это получалось не слишком убедительно — с точки зрения пропаганды. Он занимал весьма двойственную позицию по вопросу о запрете гомосексуализма. Правда, еще в 1935 году было значительно ужесточено наказание за нарушение параграфа 175 германского законодательства, определявшего гомосексуализм как «уголовно наказуемый разврат». Однако никаких показательных процессов за этим не последовало, — скорее всего, благодаря историческому наследию Веймарской республики, которая на проблему гомосексуализма смотрела сквозь пальцы. Что было абсолютным исключением для Европы и совершенно невозможно в так называемой демократической Америке. В 1934 году в Берлине и Кельне даже существовали официальные, размещавшие свою рекламу в газетах клубы для гомосексуалистов. Они издавали журнал «Der Eigene», в кабаре Берлина, Кельна и Дюссельдорфа выступали трансвеститы, а все заинтересованные лица в Германии знали, что в кельнской гостинице «Под орлом», что на Иоганнисштрассе, 36,

каждую ночь кипят страсти в духе Содомы и Гоморры, а «самых симпатичных парней на ночь» можно найти в Кельне возле общественного туалета на улице Транкгассе.

В «Майн кампф», ставшей библией нацистов, чуть ли не каждая страница дышит ненавистью к евреям и презрением к славянам, однако о гомосексуалистах Гитлер там не обмолвился ни словом. Это нашло отражение и в его решениях. Среди нацистских вождей было предостаточно гомосексуалистов. Например Рудольф Гесс, правая рука Гитлера, известный среди голубых как «Фрейлейн Анна» или «Черная Эмма». Или Бальдур Бенедикт фон Ширах, руководитель Гитлерюгенда, который немцы провали «Гомоюгенд». У нацистов был пункт по вопросу о чистоте крови, и они считали, что евреев следует уничтожать, поскольку нельзя «облагородить их расу». Зато в жилах арийцев, пусть и гомосексуалистов, текла «чистая кровь». Они были всего лишь «биологически и умственно несовершенны», поэтому у них оставался шанс «исправиться». Их можно было, к примеру, кастрировать или принудительно вводить им тестостерон. Правда, тех, кто на это не соглашался, с 1938 года стали отправлять в концентрационные лагеря.

Ева Браун, демонстративно ночевавшая в Бергхофе, летней баварской резиденции Гитлера в местечке Оберзальцберг, или вместе с ним в Берлине, однозначно давала понять, что вождь любит германскую богиню, пусть даже платонически. Во всяком случае, он не монах-отшельник и проводит ночи не в одиночестве, а с женщиной — молодой и, скорее всего, плодотворной арийкой. И с политической, и с пропагандистской точки зрения это был удачный ход. Неправильная сексуальная ориентация или отсутствие таковой, а равно и импотенция, были немыслимы для вождя народа, обязанного плодиться подобно кроликам. Поэтому фрейлейн Браун была при Гитлере на своем месте, впрочем, как и овчарка Блонди.

Отец не соглашался с бабушкой Мартой и в том, что нынешняя Германия — «бордель». Он уверял, что еще в «Майн кампф» Гитлер обещал закрыть все публичные дома. А в 1933 году, придя к власти, так и поступил, подписав соответствующий указ. По мнению отца, Гитлер поступил так по одной простой причине: в борделях проститутки не размножались. Как только они беременели, их немедленно увольняли, поэтому почти все делали аборты. И Гитлер все тем же указом запретил использовать презервативы и производить прерывание беременности. Бордели, которые нацисты с немецкой педантичностью обнаруживали и закрывали, были обречены. Так и случилось. Они исчезли фактически сами по себе. Но поскольку проституция — с незапамятных времен неизменная

спутница всех цивилизаций, вместо борделей должно было возникнуть нечто другое, чтобы заполнить вакуум. Тогда и появились так называемые «дома радости». По сути те же бордели, только женщины должны были работать там «ради радости», ну или хотя бы на благо Рейха. Они и работали. Это факт. А потом прерывали — нелегально, но эффективно — нежелательную беременность. То есть немцы все равно не размножались так, как того требовал режим. Число внебрачных детей, вопреки ожиданиям, не увеличивалось. Известный нацистский врач Фердинанд Хоффман в 1938 году публично разразился проклятиями в адрес соотечественников, сетуя, что «немцы использовали 27 миллионов презервативов». Вскоре после этого Гиммлер ужесточил предписания, касающиеся контрацепции, забавным с юридической точки зрения пассажем: «Любое объяснение того, чем являются противозачаточные средства, запрещается». Только немцам можно было предложить такой закон. И только немец мог его придумать, да к тому же еще сослаться на авторитет так называемых профессоров. Одним из них был специалист по «расовой гигиене», некий Фриц Ленц, который опубликовал на страницах газет результат своих так называемых размышлений и опытов: «Если молодые люди в надлежащем возрасте заключат чистый с расовой точки зрения брачный союз, они могут произвести для народа до двадцати детей». Неудивительно, что после таких публикаций люди стали шутить, что «по приказу фюрера срок беременности сокращается с девяти до семи месяцев». Разумеется, Геббельс тут же привлек к суду редакторов газет, отважившихся эту шутку распространять.

Но даже сам Гитлер не верил, что в таких интимных вопросах юридические санкции могут быть эффективны. И был прав. Число новорожденных арийских младенцев не росло. Зато распространился разврат, участились супружеские измены и то, что бабушка называла «самым тяжким грехом», — особенно когда народ понял, что из германского уголовного кодекса в 1937 году, по личному указанию фюрера, исчезло наказание за супружескую неверность. Немецкая церковь — и католическая, и протестантская — и тогда смолчала. Может быть, в благодарность за «полное понимание», которое выражалось в том, что нацистская пропаганда закрывала глаза на многочисленные случаи «сексуальной активности священников» по отношению как к женщинам, так и к юношам.

С тех пор как Гитлер окончательно поработил страну, церковь в Германии хранила последовательное молчание «по всем наиважнейшим вопросам». Так прокомментировал это отец. И «по вопросу

неконтролируемых зачатий, и по вопросу контролируемых убийств». И это при том, что глава государства демонстративно отрицал религию, называя ее чистой воды мистикой и оккультизмом. Но об этом отец никогда при бабушке не говорил.

А мать во время таких дискуссий хранила молчание. И лишь шептала дочери на ухо, что важнее всего любовь. Что только ее и стоит ждать. А когда любовь придет, дочь — безошибочно — почувствует прекрасное и даже неодолимое желание. Почувствует. Наверняка. Самое прекрасное. И самое важное желание. И ему следует подчиниться. Так, как подчинилась в свое время она сама.

Она резко отвернулась и подошла к амвону. Широко расставив ноги и опершись о балюстраду, начала фотографировать.

Молящийся солдат. Правой рукой он сжимал культю — все, что осталось от левой. В каске у его ног дрожал огонек горящей свечи. Заплаканная девчушка с забинтованной рукой сидела рядом на горшке. В нескольких метрах от них — старушка в шубе и соломенной шляпке гладила сидевшего у нее на коленях худющего кота с одним ухом. Рядом с ней читал, перебирая четки, мужчина. За его спиной в кресле сидел священник в огромных очках и с сигаретой в зубах и исповедовал стоявшую перед ним на коленях монахиню. Рядом, под крестом, трое. Прижались друг к другу, низко опустили головы. Словно Святая Троица, смиренно ожидающая казни.

Она узнала лицо Лукаса...

Когда вчера, прижимая к себе чемодан, она подошла к дверям, мать ждала ее с ножницами в руке. У ног матери, в металлическом корытце, лежал мундир бойца гитлерюгенда.

— Состриги ему волосы, одень в этот мундир и завяжи повязкой глаза. Повязку надень до того, как он выберется на поверхность. Поняла? До того! Иначе ослепнет. Повтори, что надо сделать! — кричала мать, протягивая ей свернутую в рулон черную ткань.

Она повторила, вернее, прокричала, как мать. Потом подбежала к серванту у выхода из гостиной. Упираясь спиной, отодвинула его. На мгновение забежала на кухню. Из ящика буфета вытащила топорик для отбивания мяса. Вставила острие в щель между половицами. Подняла покрытую паркетом квадратную крышку. Встала с колен и погасила свет. Потом легла на пол и медленно заползла в клетку. Лукас, скорчившись, прижимался спиной к стене. Она нашла его голову. В темноте начала

торопливо состригать ему волосы. Оба молчали. Он послушно подставлял ей голову и целовал руку, когда та оказывалась рядом с его губами. Она сняла с него ботинки. Расстегнула брюки, стащила их и, стоя на коленях, положила перед ним шерстяной мундир. Он понимал все без слов. Убедившись, что он оделся, она плотно завязала ему повязкой глаза. И подтолкнула вперед. Мать, стоявшая у выхода из тайника, подала ему руку и вытащила наружу. Усадив на пол, она застегнула пуговицы мундира. Еще крепче, для верности, затянула повязку на глазах. Встала перед ним на колени. Гладила его по голове и плакала. Через минуту они вышли на улицу и смешались с толпой бегущих в страхе людей.

Первый вой сирен раздался без пятнадцати десять вечера. Мать ожидала налетов уже давно. В глубине души она наивно надеялась, что при таком числе беженцев с востока англичане и американцы из соображений гуманности не станут бомбить полный женщин и детей город. Видимо, успокаивала себя таким образом не только она, но и самый главный человек в Дрездене, гауляйтер Мартин Мучман. Мать бродила по городу, выискивая укромные места, где можно спрятаться. Настоящих бомбоубежищ было всего несколько. Однако это не помешало Мучману – что ни для кого не стало секретом – приказать построить для себя частный бункер на Комениусштрассе, 32. Населению следовало — по мнению властей — прятаться в подвалах. Но подвал их дома еще несколько месяцев назад затопило водой из лопнувших труб. По ночам, когда температура опускалась ниже нуля, вода замерзала.

Они побежали за толпой. У входа в первое бомбоубежище на углу улицы Бетховена бурлило целое море перепуганных людей. Не было и речи о том, чтобы пробиться внутрь. Они услышали гул приближавшихся самолетов. В самом начале одиннадцатого ясное в тот вечер небо над Дрезденом озарили мириады огней, похожих на огромные огненные шары. Вдруг стало светло как днем. Они знали, что через мгновение налетят бомбардировщики. И побежали по узкой улочке в центр, в сторону церкви Фрауэнкирхе. В одной руке она держала чемодан, в другой — руку Лукаса. Неожиданно они наткнулись на заграждение из пожарных машин, стоявших поперек улицы. Повернули обратно. Она слышала за спиной гул приближавшихся самолетов и взрывы бомб. Ей было страшно. Мать закричала, что «им обязательно нужно» в бомбоубежище в конце Анненштрассе. Это было единственное убежище поблизости. В самом начале улицы, возле церкви Анненкирхе, мать упала и ударилась лицом о покрытый грязью обледеневший сугроб. Она помогла матери встать. Церковные двери были распахнуты настежь. Они забежали и остановились

у бокового алтаря, справа от главного входа. Она помнила, как мать переставила стоявшую там деревянную скамью перпендикулярно стене, чемоданами забарикадировав доступ к угловой пристройке. Мать перенесла туда Лукаса на руках и, сорвав с его глаз повязку, положила мальчика на покрытый соломой пол.

— Священники Анненкирхе были предусмотрительнее, чем гауляйтер Матрин Мучман и банда его продажных чинуш, — услышала она голос матери.

Та велела ей лечь рядом с мальчиком и накрыла их одеялом. Ей было страшно. Еще никогда в жизни она так не боялась. Она помнила, как прижимала к себе Лукаса и без конца повторяла вслух строчки из Рильке, умоляя словами поэта о том, чтобы наступила тишина. При каждом новом взрыве она все громче просила тишины. Через несколько минут и Лукас стал повторять за ней эти строчки как молитву.

Молиться она не могла себя заставить. Даже здесь, в таком месте, в такую минуту. И в таком состоянии. Эти страшные, с ее точки зрения, идолопоклоннические строки, которые она должна была учить в школе на уроках религии, забылись сразу после того, как она ответила урок учителю. Как и рифмованные речевки, прославлявшие фюрера, которые они хором повторяли на утренней переключке каждый день перед началом уроков. Она не верила в фюрера, в верховного Вождя, чей культ было запрещено ставить под сомнение. Потому не верила и в Бога. Это вовсе не означало, что она утратили веру из-за страданий, которые испытала за все эти годы с начала войны. Она разуверилась в Боге не из-за разочарования, обиды или протеста и не в отместку за то, что Он допустил все это, то ли вообще оставив их, то ли повернувшись к миру спиной именно в тот момент, когда мир нуждался в Нем более всего. Как раз это и было бы, по ее мнению, отрицанием веры — и еще большим лицемерием, чем молиться в минуту смертельного страха. Все последние годы она наблюдала, да и сама испытывала, страдания, вызванные поведением людей, которые руководствовались исключительно безграничным, слепым страхом перед наказанием за неподчинение команде, приказу или заповеди. Отец научил ее по-умному сомневаться — в особенности в том, что бездумно повторяли окружающие — и задавать вопросы. А мать, вслед за своей матерью, явила пример того, что значит «не жить на коленях».

Она не верила в Бога, хотя была крещена и на первом причастии, как и все, проглотила белую облатку, а при помазании получила второе имя Марта. В честь бабушки. Иногда, важным для нее людям, она представлялась этим именем. Гиннерт его обожал. Для него она была

исключительно Мартой. Впервые целуя ее в темноте, когда они сидели на берегу пруда в саду Цвингертейх, он шептал ей на ухо: «Моя Мартиника».

Бабушка Марта, родившаяся в некогда польском городе Оппельне, известном своим твердокаменным католицизмом, и слышать не желала о том, что внучка останется некрещеной. И родители, вообразив возможные последствия, вероятно, только ради бабушки ее и окрестили — в величественной дрезденской церкви Фрауэнкирхе. Они тогда и представить не могли, как пригодится их единственной дочери свидетельство о крещении. Она помнила, что с некоторых пор — это началось, когда она училась в гимназии — детей, у которых не было такого клочка серой бумаги, автоматически подозревали в «неарийском происхождении». Это портило демографическую статистику школы. О чем, будучи чиновником Третьего рейха, знал каждый директор. Все они были обязаны принимать активное и непосредственное участие в «построении нового немецкого общества». Расово чистого, арийского, здорового, работоспособного и, разумеется, всецело преданного фюреру. Расово чистого и здорового.

Это было самое главное. Отцов психически больных детей по особому распоряжению подвергали стерилизации. В соответствии с законом, принятым в 1934 году. На тех же основаниях стерилизовали душевнобольных мужчин в детородном возрасте и неизлечимых алкоголиков. А в 1939-м по отношению к «хронически больным» людям стали применять эвтаназию, которую Геббельс называл «актом гуманности».

Отец считал, что именно Гитлер, как никто другой до него, сумел убедить немцев в том, что они избранный народ. Это Гитлер, Гиммлер и Геббельс ввели в обиход понятие «народное бессмертие». Немецкое, разумеется. Чем привели обывателей в восторг. Ловко и очень просто. Они свержали прежние национальные памятники и возводили новые, которые были гораздо крупнее и монументальнее, но примитивнее — как если бы пирамиду построил для фараона Уолт Дисней. Они основывали музеи, посвященные национальным традициям, заказывали благонадежным и преданным режиму ученым труды о якобы научных способах классификации культур и рас, собирали отечественный фольклор, создавали каноны народной литературы, а все то, что в каноны не вписывалось, демонстративно уничтожали. Они учреждали новые национальные праздники, организовывали торжественные церемонии во славу павших «за правое дело», утверждали новые флаги и приказывали создавать новые гимны, собирали громадные толпы на парадах по случаю обретших новое значение исторических событий... В короткие сроки им

удалось сотворить миф. А миф, укоренившись в сознании, заступает место культурных ценностей. Новый стиль поведения, новые ценности и символы становятся чем-то естественным, исконным и понятным каждому. И миф начинает опережать историю. Культурные ценности доступны не всем, поскольку их восприятие требует знаний и умственных усилий. В миф же достаточно просто верить. Его не обязательно понимать. Впрочем, это касается и культуры, когда ее делают массовой. Картины стали простыми и понятными, Геббельс и его свита добились того, что по радио стали звучать только патриотические песни и еще более патриотические простенькие опереттки, а самым значительным немецким зодчим был признан некий Арно Брекер, ваявший колоссальные фигуры, которые имели к скульптуре такое же отношение, как садовые гномы — к античному искусству. Все это не мешало Гитлеру считать, что колоссы Брекера принадлежат к числу «наипрекраснейших изваяний, которые когда-либо создавались в Германии». Помимо Брекера, были еще Торак и Климш, творившие в том же ключе. Все прочее, по словам Гитлера, — творения «дегенеративных заик, бездарных саботажников, безумцев и торговцев». Так, впрочем, считали и все те, кто фотографировался на фоне творений Брекера, Торака и Климша в Берлине или Мюнхене.

Но гитлеровцам удалось и кое-что еще. Видимо, самое важное. Они беспрестанно подогревали в массах ощущение собственной значимости, и люди в конце концов поверили, что вовсе не являются придатком диктатуры. Гитлер убеждал их в этом при каждом удобном случае. Он повторял: «Вы стоите передо мной, как взволнованное море, преисполненное священного негодования и безграничного гнева».

Гитлер как никто другой, кроме разве что Сталина, умел убедить массы, что они и есть диктатура. В этом была его величайшая личная заслуга. Он хотел стать художником, философом, архитектором, а в результате стал актером. Отличным актером. Именно он гипнотизировал немцев своими речами. Именно он расставлял декорации и режиссировал, доводя до совершенства, свои выступления, которые должны были производить впечатление импровизации. Каждое из них — это спектакль. Все начиналось в тишине. Гитлер стоял неподвижно и безмолвно, затем начинал говорить — спокойным низким голосом, постепенно доходя до истерического крика, погружая толпу в транс и доводя до экстаза. Плюс зрительный эффект: лучи авиационных прожекторов, символы, составленные из пылающих факелов, массовые гимнастические упражнения, смахивавшие на эротические балетные этюды, пафосная, словно звучащая с небес музыка... Тирады ожесточенно

жестикулировавшего фюрера, освещенного прожекторами на фоне кроваво-красного знамени с черной свастикой в белом круге, и его любимые слова: «абсолютно», «непоколебимо», «решительно», «окончательно», «неутомимо», «судьбоносно», «вечно». Слова простые, однозначные, понятные всем. Он выкрикивал каждому прямо в ухо именно то, что тот хотел услышать. Крестьянам: «Это вы являетесь основой нации», рабочим: «Рабочие — это аристократия Третьего рейха», финансистам и промышленникам: «Вы доказали, что принадлежите к высшей расе, вы имеете право быть вождями». Гитлер в своем примитивнейшем, инстинктивном популизме был близок каждому. Как закадычный друг, как благодетель и неутомимый защитник. Всех без исключения. Стариков и детей, дорожников и пирожников, учителей и мясников, поэтов и пахарей.

Гитлер первым использовал для своих выступлений электрические усилители. Благодаря им толпе казалось, что голос вождя звучит откуда-то свыше. Не исключено, что без динамиков Гитлер никогда бы не покорил Германию. И все это сопровождалось жутковатыми световыми эффектами. Абсолютно новаторский пропагандистский шедевр, опытом которого, можно было не сомневаться, непременно воспользуются и в будущем. Только Гитлер способен, утверждала геббельсовская пропаганда, добиться такого эффекта, чтобы после его речей «женщины с отсутствующим выражением на лицах в изнеможении оседали на землю, словно тряпичные куклы», а вопль «хайль» в конце его речи получался таким громогласным, что «многим казалось, будто от него могут обрушиться крыши».

Нетрудно понять, как это могло действовать. И действовало. Даже за пределами Германии. В 1938-м, за год до начала войны, Адольф Гитлер был выдвинут на Нобелевскую премию. Особую премию — премию мира! Он должен был получить ее в 1939-м. Выдвинуть его предложил некий Э. Г. Ц. Брандт, шведский политик с немецкой фамилией и мозгами крысы. Впрочем, такими мозгами обладает большинство политиков. Тем не менее Брандт был избранным демократическим путем депутатом шведского парламента. Адольф Гитлер — лауреат Нобелевской премии мира! Можно ли представить большее извращение за всю историю человечества?! Среди его конкурентов в тот год был, в частности, Махатма Ганди. Правда, в феврале 1939-го, по инициативе Геббельса, его кандидатуру сняли. Геббельс прекрасно знал, что в сентябре 1939-го начнется война. И вручение Нобелевских премий ни в ноябре, ни в декабре не состоится. Тем более премии мира.

Формирование нового, идеального вида Homo Germanicus, который

должен был соответствовать требованиям и амбициям «тысячелетнего рейха», начиналось уже в детском саду и еще более настойчиво продолжалось в школе — это было формирование арийца, расово чистого до последней капли крови. Отец однажды спросил, помнит ли она стихотворение:

Береги чистоту своей крови.
Она не только твоя —
Приплыла она издалёка,
Уплывет она далёко.
В ней наследство тысяч предков,
На ней зиждется будущее,
В ней вся твоя жизнь!

Она помнила. Еще бы не помнить! Ведь ей пришлось учить его наизусть. Дети декламировали стишок уже в третьем классе. А потом по команде вскидывали правую руку вверх. Она тоже. Ничего не понимая.

Школьные учителя добровольно поддерживали у детей перманентное состояние патриотического экстаза. А так называемая расовая чистота была одним из наиважнейших условий существования Третьего рейха. Она помнила, как вслушивалась на уроках истории в рассказы о необходимости сохранения арийской расы в «безукоризненной чистоте». По словам учительницы, древние цивилизации пришли в упадок именно потому, что допускали смешение крови, а «потеря расовой чистоты губит счастье народа раз и навсегда».

Отныне безупречное арийское происхождение нужно было еще и доказать. Документально. И если у кого-то необходимых документов не оказывалось, это немедленно бросало на него тень подозрений. Очень опасных подозрений. Ученика пересаживали на задние парты. Его фамилию не произносили во время проверки посещаемости. Ему нельзя было обедать в школьной столовой. Лишенные достоинства дети не имели права испытывать чувство голода. Однако на линейках, прославлявших фюрера, они обязаны были присутствовать. И хотя до тех пор, пока они не предъявят напечатанные на серой бумаге документы, свидетельствующие об их «расовой чистоте», эти дети как будто и не существовали, на линейках они были нужны для дополнительных децибелов. Но стоило принести необходимую справку, как картина радикально менялась. Эти

дети вновь становились полноправными членами коллектива. Но только по предъявлении соответствующей печати. И не дай бог, если в справке не значились дата и регистрационный номер или она была оформлена на чужом языке, — в таком случае человеческое достоинство в течение недели, а то и двух вновь оказывалось под сомнением. Пока документ не приводили в порядок. Так, например, случилось с Ирен, соседкой по парте. Она родилась в немецкой семье в небольшой деревушке в окрестностях Бреслау, но с началом войны ее родители в поисках работы переехали в Дрезден. Крестивший Ирен священник был плохо и недостаточно онемеченным поляком. Плохо — потому что не умел писать по-немецки. А недостаточно — поскольку свидетельство о крещении составил на польский манер: указал фамилию и имена родителей, поставил дату и печать с черным немецким орлом, но не указал регистрационный номер, зато что-то приписал по-польски от руки. Этого хватило, чтобы Ирэн навсегда превратилась в школе в белую ворону.

По правде говоря, сама она получила безукоризненное свидетельство о крещении только из-за непоколебимых католических убеждений бабушки Марты. Но из-за всех этих домашних разговоров на линейках она всегда молчала.

Порой ей казалось, что это вовсе не Гитлер, а его перепуганные насмерть бюрократы правят бал в стране. Однажды она даже спорила на эту тему с отцом. Он рассказал ей о каком-то русском Гитлере по фамилии то ли Шталин, то ли Сталин, она точно не помнила. Вроде бы Сталин поехал в Сибирь. И в пропагандистских целях посетил лагерь, куда ссылали так называемых противников режима. Об этом писали все газеты. Беседовал с заключенными, шутил, пил с ними водку. От одного из них, грузина, — а Сталин и сам родился в Грузии — узнал, что того сослали за саботаж: он недопоставил родине необходимые ей восемьдесят кубических метров древесины. Тогда Сталин спросил, почему же тот так поступил. Оказалось, ближайший лес находился больше чем в двух сотнях верст от дома грузина, а у него не было даже лошади. Уезжая вечером из лагеря, пьяный Сталин приказал немедленно освободить грузина. И расстрелять начальника лагеря¹.

Отец — хотя она и сама все прекрасно понимала — на этом примере пытался убедить ее, что Сталин был выморочным диктатором — вроде упоенного властью египетского фараона из романа «Камо грядеши», подаренного ей на пятинадцатилетие, — которого самого нужно было поставить к стенке. Ведь это сталинские министры приказали грузинским функционерам поставлять древесину, это сам Сталин подписал такой

приказ и это он, сам того не зная, упек ни в чем не повинного грузина в Сибирь. Сталин, так же, как и Гитлер, создал ужасающую государственную систему. Но отцу не было необходимости ее убеждать. Она лишь хотела знать, что он думает так же. Он думал так же. И это было для нее очень важно. Важнее всего.

Родители Гиннера, к примеру, вообще не думали. Так считал Гиннер, хотя она ему не верила. Они верили, что нужно вовремя вывешивать флаг за окном, бодро вскидывать вверх вместе со всеми правую руку и широко распахивать оконные рамы, чтобы лучше слышать передаваемую по ретрансляторам речь фюрера — поэтому зимой, используя все карточки на уголь еще до Рождества, они сидели за столом в пальто и телогрейках, и Гиннеру было за них стыдно. Но он никогда не протестовал, не жаловался и тоже послушно натягивал телогрейку. Может быть, поэтому он так охотно приходил к ней зимой? У нее дома окна открывали только поздней весной и летом. Все остальное время они были закрыты. И ее мать еще плотнее закрывала их, когда передавали речи фюрера, — даже летом, в самые жаркие дни.

Нет! Она не могла заставить себя молиться.

Прижавшийся к ней Лукас каждые несколько минут прикасался ладонью к ее бедру, проверяя, рядом ли она. Когда же, наконец, наступил момент тишины, он заснул. Иногда только вскрикивал что-то во сне на идише. Тогда она закрывала ему рот. И все время боялась, что тоже заснет. Нельзя допустить, чтобы кто-то услышал, что Лукас говорит по-еврейски, пусть даже во сне. Она крепко прижимала лицо Лукаса к своей груди. Ей хотелось спать. Она так хотела забыться...

Около часа ночи ее разбудила мать. Лукас все еще спал. Она поднялась, плотно укутала его одеялом и села на деревянную скамью. Два человека стояли рядом с матерью. Невысокая сгорбленная женщина в сером заплатанном пальто всматривалась в спящего мальчика. Мужчина пытался что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова. Вдруг он упал перед ней на колени и обхватил руками ее ступни. Она не понимала, что происходит. Мать резко подняла мужчину с колен, резко поднявшись со скамьи.

— Позволь представить тебе госпожу Марию Ротенберг и господина доктора Якоба Ротенберга. Это родители Лукаса, — спокойно сказала мать. И добавила. — А это моя дочь, Анна Марта Бляйбтрой.

Женщина проигнорировала протянутую для рукопожатия ладонь. Дрожащей рукой прикрыла рот. Поколебавшись минуту, вытащила из кармана пальто кожаный, завязанный ремешком мешочек. Вложив его в

руку матери, взглянула на мужчину, будто спрашивала его позволения.

— Я очень высокого мнения о работах вашего отца. Мы иногда встречались в университете. Давно это было. Еще до войны. Я не знаю, кто бы смог лучше перевести Гёте. А перевод Лютера вообще уникален. Мы будем польщены, если вы передадите ему этот скромный знак благодарности и наши самые искренние...

Мать прервала его на полуслове.

— Мой муж умер, — сказала она решительно, лишенным эмоций голосом. — Не могли бы вы, господа, отойти со мной в какое-нибудь более укромное место?

Она схватила мужчину за руку и потянула за собой. Когда они оказались в темноте, рядом со спящим Лукасом, вытащила из сумочки нож и, не спрашивая разрешения, расстегнула мужчине пальто и отрезала лацкан пиджака, к которому была пришита звезда Давида. Потом отрезала второй лацкан и оторвала все пуговицы. Пиджак должен был выглядеть старым и поношенным.

— Вы меня простите, но я думаю, что так будет лучше, — сказала она с улыбкой. — Вы можете оторвать карманы? Прямо сейчас?

Мужчина послушно засунул обе руки в карманы своего пиджака. Было слышно, как затрещала ткань. Мать расстегнула пальто женщины и медленно ощупала ее грудь.

— Что у вас под этим свитером? — спросила она.

— Два других свитера, — ответила женщина, — и... еще комбинация.

— Вы можете снять верхний свитер?

— Не знаю, — засомневалась женщина, — к остальным я не пришила... ну, вы понимаете. Нам нельзя без этого. Вы же знаете, это приказ гауляйтера Мучмана...

Девочка увидела, что мать начинает нервничать. Поняла это по крепко стиснутым губам, сжатым в кулаки ладоням и сморщенному лбу.

— Гауляйтер Мучман, простите за грубое слово, — хуй собачий! Надеюсь, вы понимаете, что значит по-немецки слово «хуй»? Я не знаю, как это на идиш, но наверняка когда-нибудь узнаю. Он хуже, чем последний сукин сын. Моя свекровь, женщина весьма деликатная и воспитанная, кроме как «хуем», его и не называла. По-польски. Она всегда о самом важном говорила по-польски. Поэтому я знаю это слово по-польски и даже могу его правильно написать. Мучман — один из двух самых отпетых мерзавцев, которых мне довелось встретить в жизни, — шептала она на ухо женщине. — Я хочу извиниться перед вами за него. Я вас прошу от имени... я прошу вас простить... за все, что они тут с вами

сделали... простите, если можете...

Женщина положила пальто на пол, молча сняла свитер и протянула его матери. Потом подошла к спящему Лукасу и взяла его на руки. Мужчина поднял пальто и накрыл им мальчика. Минуту спустя они растворились во мраке улочки, примыкавшей к церкви.

Все произошло неожиданно и быстро. Ей хотелось побежать за ними. Остановить. Сказать, что Лукас любит, когда ему читают сказки братьев Гримм, а когда он кашляет, ему больше всего помогает горячее молоко с ложкой меда, что он замечательно рисует, ненавидит лук, быстрее всего засыпает на правом боку и мечтает о собаке. И о том, что он обожает черешню, а бабушка Марта...

Мать преградила ей дорогу. Посадила на скамью рядом с собой и крепко обняла.

— Успокойся! Время Лукаса для нас закончилось! Хорошо, что я нашла их. Я предполагала, что встречу их здесь. Куда им еще идти?! В бомбоубежище? Евреев туда не пускают. Да они и не посмели бы туда пойти. В церковь их тоже бы не пустили, но, когда такое творится...

Бабушка говорила мне, что они уже несколько лет вместе с четырьмя другими семьями ютятся в подвале неподалеку отсюда. Ишачат, как рабы, по двенадцать часов в день на этих жуликов Коха и Штерцеля в Миктене. За продовольственные карточки. Сама знаешь, какие карточки и на какую еду получают евреи...

Пока вы с Лукасом спали, я обошла всю церковь. Встретила Ландграфов. Маленький Маркус первым делом спросил про тебя. Я не сказала ему, что ты здесь. Не хотела, чтобы он увидел Лукаса. Еще приревновал бы. Он, кажется, влюблен в тебя. Может, даже больше, чем его брат. А Гиннер про тебя не спросил, но при виде меня весь так и засветился от счастья. Ты знаешь, что у него самые голубые глаза, какие я только видела в своей жизни? Знаешь, конечно...

А потом я нечаянно наступила на воняющую мочой, перепуганную, жирную, мерзкую крысу. Так мне показалось. Это был Альбрехт фон Цейс. Представляешь?! Я его сразу узнала. Крыс с повязкой на глазу я еще не встречала...

Ротенберги стояли у дверей, ведущих к жилым комнатам священника. В самом темном закутке церкви. Они стояли там по стойке смирно возле своих чемоданов. Как поставленные кем-то забытые изваяния. Молча. Не шевелясь. Казалось, они старались даже не дышать. Как ты думаешь, может ли страх быть таким сильным? Если да, то Мучман точно заслужил медаль от Геббельса. Он на деле добился того, что Геббельс придумывал в

своих кокаиновых видениях. «Евреи должны быть обриты и не привлекать внимания. Небритые евреи будут расстреляны», — так было написано в его последнем — как всегда идиотском — распоряжении, наклеенном на все столбы в Дрездене. Якоб Ротенберг был гладко выбрит. Он изо всех сил старался не привлекать внимания.

Знаешь, Аня, о чем я подумала тогда? Это было ужасно и до неприличия противно. Я подумала... подумала, что бы случилось, если бы Якоб Ротенберг был на месте Альбрехта фон Цейса. Если бы он, со своими страхами и безусловной исполнительностью, получил такую власть. Или, что еще хуже, сделался Мучманом. Я ужасно несправедлива. Но ведь я не была еврейкой в Германии. Я знаю, Аня...

Ротенберги видели меня всего один раз в жизни. В ту ночь, когда привели к нам Лукаса. После этого — ни разу. Бабушка иногда ходила к ним и относила хлеба или немного творога, завернутого в листы бумаги с рисунками Лукаса. С теми, что ты иногда выносила из тайника.

Они узнали меня. Сначала Мария Ротенберг превратилась из статуи в человека и упала передо мной на колени. Я почувствовала себя очень неловко. Ты понимаешь меня? Как если бы в какой-то стране кто-нибудь хотел тебя, мою любимую, единственную дочку, отправить в газовую камеру только потому, что ты немка, а я могла бы тебя спасти, запихнув под пол кому-то из местных жителей. Ты думаешь, что я тоже бухнулась бы на колени? Да?! Из благодарности?! Да как, черт побери, ты можешь это знать?! У тебя ведь нет дочери. Хотя, может, ты и права...

Потом Ротенберг показал мне повестку на шестнадцатое февраля. Он вместе с сыном Лукасом должен был явиться в отделение НСДАП для «рассмотрения вопроса о временной депортации». Я иногда готова восхищаться Геббельсом и его — да что я говорю — и нашими преданными Третьему рейху служаками. Так элегантно и так торжественно сформулировать смертный приговор. «Временная депортация». Еще и пригласительный билет прислать. Сначала в отделение партии, потом в вагон, а потом в крематорий.

Знаешь, Аня, что я подумала, когда Ротенберг показал мне это письмо? — спросила она.

И, не ожидая ответа, словно самой себе сказала:

— Я подумала, что если в этих налетах есть хоть какой-то смысл, то, может быть, он состоит в том, чтобы Ротенбергам не нужно было являться по этой повестке. Шестнадцатого февраля 1945 года, то есть через два дня. В Дрездене через два дня не будет никаких отделений НСДАП! Я надеюсь. Я уверена! Может, уже и сейчас их нет, может, это все и оправдывает?

Целый город сровнять с землей, уничтожить тысячи людей ради спасения трех евреев. Матери по имени Мария, ее мужа и их сына, маленького мальчика.

Если это придумал Бог, то Он не слишком оригинален, а если кто-то другой, то это похоже на плагиат, — вздохнула она.

А наш Лукас... Он никогда не был нашим. Он просто на какое-то время у нас задержался.

— Так часто бывает в жизни, доченька, — продолжала мать, сжимая ее ладони. — Мы встречаем кого-нибудь на своем пути, совершенно случайно, как прохожего в парке или на улице, одариваем его то просто взглядом, то всей своей жизнью. Я не знаю, почему так происходит, кто и зачем перекрещивает наши пути. И почему два пути вдруг сливаются в один. Кто делает так, что только что совершенно чужим друг другу людям хочется идти по нему вместе? Твой отец считал, что это любовь и что не бывает случайных взглядов. Он раздавал их всем вокруг, но сам верил в предназначения. Не в одно, а во множество предназначений. Может, поэтому он жил в такой согласии с миром. Он считал, что даже зло является предназначением, которое когда-нибудь уравновесит добро. Где-то оно уже зародилось и только ждет своего часа. А жизнь циклически движется по замкнутому кругу. Цикл зла, уравниваемого добром. Ведь не существует людей, несущих только зло, ведь даже Цейс не состоит только из зла. Просто его еще не коснулось добро. Твой отец был в этом уверен.

Иногда мне кажется, что если бы он решал судьбы мира на Страшном суде, можно было бы с легким сердцем ликвидировать ад.

Неожиданно она встала. Обмотав шею дочери шарфом и застегнув пуговицы пальто, сказала:

— А теперь перестань плакать! Вставай! Мне нужно покурить. Во что бы то ни стало. Но не здесь. Снаружи. Я даже не знаю, куришь ли ты? Ты куришь, Аня? — спросила мать с улыбкой.

Они вышли из церкви. Небольшая площадь у главных ворот была пустынна. Вся восточная и южная часть центра города пылала, как огромный факел. Небо с той стороны освещало огромное красно-желтое зарево.

— Ты не думаешь, — она повернулась к матери, — что Грюнерштрассе, наш дом...

Мать не дала ей закончить.

— Уйдем отсюда. Немедленно! Я не могу на это смотреть! — крикнула она. — Что эти сволочи делают с нашим Дрезденом!

Она крепко схватила дочь за запястье и торопливо повела за собой в сторону бокового фасада церкви, выходящего на Анненштрассе. С этой стороны небо над Дрезденом было ясное и звездное. Лишь кое-где его заволокли серые пятна дыма догорающих пожаров. В остальном оно было таким же, как всегда. Языки огня, вырывавшиеся из развалин домов вокруг церкви, напоминали поминальные свечи. Стояла тишина. Ужасающая тишина. Гробовая. Кладбищенская.

Они долго стояли молча.

— Аня, мы справимся! Вот увидишь! — воскликнула мать. — Если они больше не прилетят и эта ночь наконец закончится, мы сначала вернемся на Грюнерштрассе. Если ее больше нет, выберемся из города и поедem... доберемся как-нибудь до Кельна. Под Кельном, в Кенигсдорфе живет папина сестра Аннелизе. Она всегда хотела, чтобы мы, когда все начало рушиться, переехали к ней. Она всегда твердила, что в деревне легче пережить такие времена. В деревне нет бомбоубежищ, зато есть молоко. Но твой папа не хотел уезжать из Дрездена. Он считал, что его место здесь. Здесь он родился, здесь всему обучился, здесь впервые меня поцеловал, здесь я родила ему тебя. Вот только умереть здесь ему не довелось, — вздохнула мать.

— Тетя Аннелизе стала еще большей чудачкой с тех пор, как умерла бабушка. Но это добрая и благородная женщина. Я обязательно должна написать тебе ее адрес на случай, если...

— На какой такой случай, мама? — прервала она нервно, почти истерично.

— На случай, если... что-нибудь произойдет с моим чемоданом и записной книжкой с адресами, — ответила мать, улыбаясь. — А сейчас я должна покурить, я очень хочу курить, — добавила она, скрутила две сигареты и, сжав обе губами, прикурила.

— Знаешь, твой отец рассказывал мне необыкновенные истории о небе, — начала она, глубоко затягиваясь и глядя вверх. — Он показывал созвездия и дарил мне звезды. Те, названий которых он не знал или их вообще не существовало, всегда получали мое имя, к которому он добавлял имя какой-нибудь богини. Когда родилась ты, он все их поменял на Анна, Аня, Аннушка, Анхен, Анечка, Анюта, Анеля, А1, 1А1, 11АН11 и так далее. Ты была для него всеми галактиками, всеми туманностями, всеми звездами и всеми планетами. Я иногда даже ревновала его к тебе.

Твой отец был романтиком, совершенно не приспособленным к этой жизни. Просто он родился слишком поздно и в совершенно не подходящем для него месте, — говорила мать, глубоко затягиваясь. — Я часто и сама не

понимала: то ли он читает собственные стихи о своей любви ко мне, то ли декламирует Гёте или Байрона. Никто не любил меня так, как он. И никто так не признавался в любви. Никто. Понимаешь? Никто!

— А вот курить тебе не следует, — сказала мать, взглянув на дочь с улыбкой, хотя в глазах у нее стояли слезы. — Во всяком случае, при мне. Твой отец никогда бы мне не простил, что я это терплю.

Давай вернемся в церковь, становится холодно, — торопливо добавила она.

Лукас сидел, а мать и отец прижимались к нему, стоя на коленях. Еврейские родители обнимали и целовали голову еврейского мальчика в мундире гитлерюгенда. В церкви Анненкирхе, в умирающем Дрездене. В нескольких метрах от Альбрехта фон Цейса, который, как всегда, в галстук и красной повязке со свастикой на левом плече сидел под Распятием и спокойно стриг ногти на пальцах ног. Рядом с двумя чумазыми белокурыми миловидными девчушками, которые локтями упирались о ступени лестницы, ведущей к разбитому мраморному престолу алтаря, и задумчиво смотрели на написанную на холсте Мадонну с младенцем.

Совсем как ожившее полотно «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти.

«Гитлер, когда приезжает в Дрезден, всегда приходит со всей своей свитой посмотреть на эту картину, — вспомнила она слова отца, — сам не знаю зачем...»

В одну из суббот отец взял ее с собой в музей. Они провели там целый день. Она обожала рассматривать вместе с ним картины. Он видел в них то, чего она никогда бы не заметила. Она помнила, что они надолго задержались перед этой картиной Рафаэля.

— Веришь ли, Гитлер иногда изумляет меня своей чувствительностью, — сказал отец после минутной задумчивости, вглядываясь в огромное полотно, висевшее на стене. — Может, это всего лишь пропагандистский спектакль, тоска по несбывшейся мечте? А может, зависть, ревность и месть? Или он действительно что-то чувствует? Не знаю. Возможно, он понимает красоту и хочет, чтобы и другие ею восхищались? Иначе забрал бы картину в Берлин или в свой дворец Бергхоф в Оберзальцберге. А он этого не сделал. Хотя мог. Он ведь может в этой стране всё.

Ты знаешь, что Гитлер мечтал стать художником? Какое-то время это было его идеей фикс. Одной из многих. Хотя у него совсем нет таланта. Он дважды посылал свою бездарную мазню в венскую Академию художеств. В

1907 году его картины отвергли, годом позже он послал их снова. Венская комиссия и во второй раз дала ему от ворот поворот. Мне кажется, Гитлер очень тяжело пережил такое унижение. А ведь венские профессора-искусствоведы, если бы знали то, что мы знаем сейчас, могли изменить мировую историю. Разреши они ему заниматься живописью, у него, вероятно, не было бы времени писать «Майн кампф»... Многие считают, что антисемитизм Гитлера объясняется тем, что один из решающих голосов в этой комиссии принадлежал профессору-еврею. Мне кажется, это далеко идущее упрощение. Точно так же можно рассуждать о том, что Гитлер выбрал славян в качестве злейших врагов лишь потому, что какой-то поляк отбил у него невесту. Но все это неважно, я не о том хотел сказать...

Гитлера пленяет красота. Он понимает ее по-своему, иногда по-дилетантски, но все же понимает. Сам создавать красоту не может, но нуждается в ней. Иногда мне кажется, больше всего на свете, маниакально. Трудно себе представить, что при этом он может быть столь отталкивающей личностью, буквально материализуя вокруг себя зло и уродство. Стоило 14 июня 1940 года раздувающемуся от гордости Геббельсу прогавкать из всех громкоговорителей о падении Парижа, как вскоре там появился Гитлер. Это был его первый визит в Париж. В город, которым он восхищался, в котором никогда не был и который сейчас покорил! И знаешь, что происходит потом? Он не стал принимать парад победы на Елисейских полях. Ему это было совершенно не интересно. Параду он предпочел посещение парижской Оперы. Он даже провел по городу экскурсию для группы скучающих генералов, показав им все закоулки. Он так хорошо знает Париж, что не повел их в одну художественную галерею, поскольку ему было известно, что ее уже в течение нескольких лет реставрируют. В день своей величайшей победы он не интересовался ничем, кроме архитектуры.

Всем известно, что любимый архитектор Гитлера Альберт Шпеер был также его близким другом. Вместе с ним Гитлер создал амбициозный архитектурный проект Берлина. Ему хотелось превратить этот город в столицу, которая превышала бы своими размерами и Париж, и Лондон, и Вену и напоминала бы Рим времен империи. Только в сто раз больше, и именно поэтому в сто раз безвкуснее. Воодушевленный Гитлером Шпеер придумал для Берлина монументальный Храм Света, который обожающая Гитлера Лени Рифеншталь показала в своем фильме. Это Гитлер со Шпеером планировали поставить в центре Берлина Триумфальную арку в два раза больше, чем парижская, и это Шпеер увлек Гитлера психоделическим проектом так называемого Народного дворца, который

должен был вырасти напротив нее и вмещал бы число людей, сравнимое с населением Лейпцига!

Гитлер обожает прогулки по монументальному Берлину своей мечты. Он знает каждый дом этого города и часто упоминает о нем в своих речах. Самое интересное, что он практически цитирует при этом Макса Осборна, одного из самых известных немецких искусствоведов начала XX века. А ведь Осборн еврей, и после прихода Гитлера к власти его книги были сожжены.

Но и это не все. В Гамбурге должен появиться мост через Эльбу — грандиознее, чем Золотой мост в Сан-Франциско, а в Нюрнберге — возникнуть Дворец съездов, напоминающий римский Колизей. Работая над его проектом, Шпеер, по воле Гитлера, сформулировал и впервые применил на практике знаменитый «закон развалин», в соответствии с которым монументальные здания следовало проектировать таким образом, чтобы тысячелетия спустя даже их руины оставляли незабываемое впечатление, напоминая потомкам о величии «Тысячелетнего рейха».

К счастью, это всего лишь нереализованные фантазии двух фанатиков.

Архитектура для Гитлера — второй после живописи источник вдохновения. Это очень привлекательная и, с точки зрения пропаганды, идеальная сторона его личности. Разве не трогательно, что полновластный глава Третьего рейха проявляет такой глубокий интерес к искусству? Любовь к деталям. Потрясающие профессиональные знания, которые позволяют ему вести разговоры о фасадах, полутонах или простоте конструкции. Тем более странно, что именно Гитлер приказывал или позволял уничтожать столь многое из того, что было создано другими. Но об этом известно немногим. Зато народ знает о приятных человеческих слабостях фюрера: о том, что он, как и многие из нас, не может устоять перед сладостями и обожает торты, плачет во время просмотра сентиментальных фильмов, «проглатывает» приключенческие романы и умиляется слезливым, мелодраматическим оперетткам. Он улыбается народу с фотографий, держа на руках белокурых детей, любит закатом солнца в горах, бывает задумчив. К тому же он надевает к светлым костюмам черные носки. Наш фюрер — самый обычный человек. Почти домашний в этих своих плохо подобранных носках народный герой. Такой человек ни в коем случае не может быть тираном. В нем нет ничего от монарха. Нельзя не умилиться, когда читаешь в газетах высказывания Розы Миттерер, которая в тридцатых годах была прислугой в его баварской холостяцкой резиденции Бергхоф, о том, что Гитлер «обаятельный мужчина: он находил для меня только приятные слова и был при этом

замечательным хозяином». Он такой свойский. Такой добродушный, наш немного рассеянный фюрер...

— Но это так, Аня, к слову. Сам не знаю, почему я все это вспомнил, но мне захотелось рассказать тебе, пока не забыл, — сказал отец. — Да бог с ним, с фюрером. Посмотри-ка туда. Видишь этих двух чудесных ангелочков в нижней части картины? — спросил он, указывая пальцем. — Для меня это доказательство гениальности Рафаэля. А еще — главный сюжет истории о рождении Христа. Существуют тысячи картин, изображающих Марию с Младенцем, но только на этой все выглядит таким... человечным. Может быть, поэтому Гитлер так охотно сюда приходит.

Как ты думаешь, почему у этих двух забавных малышей с ангельскими крыльями такой комический вид? Потому что они ужасно скучают. Им нельзя играть. Они чувствуют себя заброшенными и лишними. А третий малыш, на руках у Марии, в их глазах такой же ребенок, как и они. Им просто хочется с ним поиграть. Но нельзя. Кроме того, они точно знают, что Иисус и сам этого не хочет. Несмотря на то, что он очень на них похож, он совсем другой, отстраненный, он несет в себе какую-то великую тайну. Крылатые мальчуганы смирились с этим, но разочарования скрыть не могут.

Этой небольшой деталью Рафаэль рассказал нам прекрасную историю. Передать такое может только изображение. Слова тут бессильны. Описать то, что видишь, — легко. Но создать из этого полноценную драму, имеющую начало и конец, удастся лишь немногим.

— А знаешь, я рад, что ты занялась фотографией, — добавил отец, обнял ее и поцеловал в лоб.

Вообще-то здорово, что эта картина находится здесь, в Дрездене. Ее в 1754 году привез из Рима польский король Август III, который был одновременно курфюрстом саксонским. Твоя бабушка уверяет, что полякам страшно не везло с королями. По ее мнению, они были либо пьяницами, либо развратниками, либо сумасшедшими. Отец Августа III — она всегда об этом говорит, когда выпьет слишком много вина, — имел триста внебрачных детей и сам с удовольствием расстреливал собак и кошек из окон своего варшавского дворца. Бабушка Марта, видимо, забыла, что Август III, как и его отец, на самом-то деле был чистокровным немцем, а на польский престол он попал в результате выборов. Но не просто так. Чтобы править Польшей, непременно следовало принять католичество и вдобавок построить в протестантском Дрездене католический храм. Второе условие было выполнено только при Августе III. Так на Театральной площади,

напротив главного входа во дворец Цвингер, возникла церковь Хофкирхе. Ее возвели на средства жителей Дрездена, и они еще очень долго не могли забыть этого Августа. А Хофкирхе в течение многих лет называли «немой церковью». Горожане не согласились, чтобы на ней установили колокола. Долгое время она была для них как бельмо на глазу. Мало того, что католическая, так еще и с польским гербом над входом.

У нас, у немцев, как мне кажется, существует странный комплекс по отношению к полякам. Мы высокомерно считаем их неотесанными варварами, которые засыпают по вечерам под столами в еврейских кабаках, а с утра страдают похмельем. А еще непунктуальными, постоянно чем-то одурманенными, непредсказуемыми, строптивыми, с непомерной гордыней, причем совершенно беспочвенной. Но я не понимаю, за что их так люто ненавидят нацисты.

Я только раз был в Польше, Анечка. Ну, не совсем в Польше – рядом. В Данциге. По приглашению тамошнего университета. В августе тридцать девятого. Незадолго до войны, которая началась через несколько дней. Когда Данциг отобрали у Польши, он оказался как бы нейтральным, под протекторатом Лиги наций. Политически не немецким, но и не вполне польским. Точнее, польским только исторически. Помню, возвращаясь на поезде в Дрезден, я прочел в берлинской газете абсурдный заголовок: «Варшава угрожает разбомбить Данциг! Дикий приступ извечного польского безумия!». А я возвращался именно из Данцига и не сомневался, что все обстоит как раз наоборот. Это солдаты немецкого вермахта занимали почти весь отель, в котором я остановился. И по улицам якобы нейтрального города днем и ночью демонстративно разъезжали немецкие военные автомобили.

Поляков в Германии презируют. И в то же время завидуют их романтичности, чувствительности, порывистости и свободолюбию. Это для них самое важное. Именно свобода. А сразу после этого — Бог. Может быть, даже сначала Бог, а потом свобода. Твоя бабушка наполовину полька. Поэтому она так религиозна и так строптива. И так красива. Потому и ты такая красивая. Ты знаешь, что бабушка умеет молиться только по-польски? Хотя прекрасно знает «Отче наш» по-немецки. Меня она, конечно, учила молиться по-немецки, но сама читает молитвы только по-польски. Я часто подслушивал в церкви. Бабушка считает, что и Бог молится только по-польски. Потому что, по ее мнению, Бог может быть только евреем из Польши. Никем другим. Я как-то спросил ее, совсем недавно, какому Богу должен молиться по-польски Бог, если Он сам является Богом. И знаешь, что ответила твоя ортодоксальная бабушка

Марта? «Тому, который лучше нынешнего и который когда-нибудь простит ему Гитлера». Так она и сказала, Анечка. Не задумываясь...

Она обожала быть с отцом. Когда угодно. Где угодно. Везде и всюду. В комнате возле печки, в своей комнате у кровати, на прогулках, в его университетском кабинете, похожем на какой-то бессистемный архив, в библиотеке, в аудитории, когда он рассказывал студентам смешные истории, а они, сами того не замечая, старательно их конспектировали. Даже на кухне, когда они с отцом вместе мыли посуду и чистили картошку. А больше всего она любила его слушать. Ее отец был очень мудрым и необыкновенно добрым человеком. Жаль, она не успела сказать ему об этом, когда он был еще жив. Она наивно верила, что он будет жить очень-очень долго, и она еще успеет это сделать. О родителях всегда так думают. Что они будут жить очень долго. И когда те вдруг уходят, невысказанным остается самое важное, что мы откладывали на потом. Она могла бы утирать ему слезы, а он неумело притворялся бы, что это из-за попавшей в глаз соринки. Он сильнее прижался бы к ней, а она нежно гладила бы его по голове и снова и снова влюблялась в него. Да, она не просто любила своего отца, она постоянно в него влюблялась. «Папа, ты для меня пример. Я хочу быть такой, как ты». Две такие простые и такие важные фразы. Она говорит ему это сейчас, перед тем как заснуть. Сильно зажимает глаза и крепко сжимает руки в кулаки. И ей кажется, что она чувствует на стиснутых пальцах следы его слез...

Она помнит, что это была последняя суббота, которую они провели с отцом. Вскоре после этого они с мамой стали ждать от него вестей.

Ей казалось, она висит в воздухе на каких-то невидимых канатах, прямо над сценой, и наблюдает за генеральной репетицией поставленного по произведению христианского автора жуткого сюрреалистического спектакля о конце света. Разволновавшись, она позабыла, что и сама принимает в нем участие. Здесь, на этом амфоне, в Анненкирхе, в центре умирающего Дрездена.

Она фотографировала и жалела, что не может запечатлеть движения, жесты, чередующиеся взгляды в их реальной последовательности. Она бесповоротно упускала возможность поймать мгновения, которые никогда более не повторятся. Волшебство фотографии состоит не только в игре света, но прежде всего в кульминации мгновения. Так она это называла. И боялась упустить эту кульминацию, когда, после каждого щелчка затвора фотоаппарата, ручкой перематывала пленку. Она нервно поглядывала на цифры, отсчитывавшие, сколько кадров осталось до конца кассеты. Когда

она сделала первый снимок, на счетчике стояла цифра «двадцать восемь». Она решила, что остановится, когда выскочит цифра «восемь». Ей хотелось оставить место для нескольких кадров, которые она сделает «потом». Что будет «потом» и наступит ли это «потом», она не знала...

Она удивилась, почему вдруг Цейс оказался здесь. Трудно было представить, чтобы эсэсовца такого ранга не пустили в бомбоубежище. К тому же она предполагала, что Цейсы могли тайком построить бомбоубежище под своей виллой. Выходит, что это не так. Возможно, Цейс слишком поздно узнал о налете и просто не успел спрятаться в безопасное место. У входов в бомбоубежища, в одичавшей, обезумевшей толпе отчаявшихся людей, его безупречный эсэсовский мундир не давал никаких преимуществ. Совсем наоборот. Вызывал подспудную агрессию, ненависть, желание отомстить. В Дрездене давно знали, кто повинен в том, что здесь творится. А то, что еще совсем недавно все хором кричали: «Да здравствует!», «За рейх!», «За фюрера!» и «Вечная слава!» — быстро забылось.

Толпа вела себя точно так же, как сначала в Греции и Риме, а потом повсюду. Ничего нового. У толпы нет мозга, поэтому она бездумно ликует по любому поводу, стоит такому поводу появиться. Толпу очень легко обольстить. Гитлер — а в еще большей мере Геббельс — прекрасно изучили ее психологию. Без поддержки толпы НСДАП осталась бы всего лишь незначительной партией усатого психопата из Австрии, без политического веса и влияния. Так считал ее отец. Они часто говорили об этом. Отец пытался понять все. В том числе и толпу. И объяснить ей. Он считал, что в каждой толпе есть те, кто стоят с краю и внимательно ко всему присматриваются. А потом делают соответствующие выводы и создают свою собственную толпу. Гитлер без толпы — никто. Отец рассказал ей о необычном фото, опубликованном в дрезденской газете в ноябре 1936 года. Поскольку для нее изображение всегда было решающим аргументом, он спустился в подвал и принес старую, покрытую пылью папку. И показал ей это фото. Его сделали с самолета или с какой-то высокой башни. Фото было отличного качества. На нем плотная толпа, собравшаяся на одной из площадей Дрездена, вытягивает руки вверх с криками «Хайль Гитлер!». Несметное число тел, слившихся воедино. Как если бы это была одна рука. И только один-единственный человек стоит в задумчивости, сложив руки на груди. Самый естественный человек на фотографии. Хотя в этой толпе он не похож на живого человека, скорее на статую. Его словно искусственно поместил туда неопытный любитель фотомонтажа, так нереально он выглядит. Отец гордился этим человеком.

«Я бы хотел с ним познакомиться и поблагодарить его, — сказал он, закрывая папку. — У каждой толпы существует символ ее абсурда. Этот мужчина и есть такой символ. — И добавил: — На толпу нельзя полагаться. Она как граната с сорванной чекой. А толпа, которой угрожает смертельная опасность, вообще непредсказуема».

Альбрехт фон Цейс прекрасно об этом знал. Эсэсовцев специально обучали, как правильно вести себя в толпе. Должно быть, сам Цейс и обучал. На входных воротах его виллы висела позолоченная табличка, на которой было выгравировано: «Проф. д-р Альбрехт фон Цейс». Это должно было внушать глубочайшее почтение даже почтальону. В Германии, если у кого-то перед фамилией не стоит «фон», ему хочется иметь хотя бы аббревиатуру «д-р». У Цейса было и то и другое, но к тому же существовало и эффектное «проф.». Триумф тщеславия. Интересно, что он хотел бы, чтобы написали на его могильном памятнике? Табличку на доме Цейсов каждый день тщательно полировал садовник.

Она была не в состоянии понять, как человек, имеющий звание профессора, мог стать эсэсовцем. По ее глубокому убеждению, эсэсовцы, подобно вшам в грязных волосах, заводятся только в среде деклассированных «пролей», не умеющих толком читать и писать. Отец спросил ее, кто такие «проли». Она удивилась, что он этого не знает. В ее школе всем было известно, кто такие «проли», — их презирали и в то же время боялись. Это были безмозглые создания в коротких баварских штанах на лямках, с выструганными из доски макетами пистолетов за поясом, нарисованной чернилами свастикой на плече и пеной на губах. Миниатюрные эсэсовцы in spe².

Отец объяснил ей, что все как раз наоборот: эсэсовцы чудесным образом трансформировались из «пролей» в профессоров. Это типично для любой диктатуры — во «времена, пораженные раковой опухолью», ученые звания присуждают не за ум, знания и трудолюбие, а за преданность режиму. А чтобы хранить верность диктатору, нужно быть законченным идиотом. Таким вот «пролем»...

И все же в любом случае Цейс — даже без профессорского звания — не рискнул бы появиться у входа в общественное бомбоубежище. Потому что даже животное способно чувствовать исходящую от другого животного и направленную на него ненависть. А ненависть к эсэсовцу в толпе у бомбоубежища, как ни крути, была в сто раз сильнее, чем предписываемая властями ненависть к евреям. Навязанная ненависть неестественна. Любить и ненавидеть можно лишь по собственной воле. Никакая пропаганда не способна заставить полюбить. Ненавидеть — способна. Но

объектами ненависти часто становятся именно те, кто заставляет ненавидеть.

Она решила, что Цейс, как и все остальные, спрятался в церкви, оказавшись в безвыходной ситуации. Но не могла понять, почему он все еще здесь. Ведь он мог уйти отсюда уже после первого налета.

Она смотрела, как он сидит под алтарем и стрижет на ногах ногти. И вдруг заметила, что к нему приближается ее мать. Медленно подойдя к Цейсу, та присела рядом на ступеньку лестницы. Их тела почти соприкасались. Ее мать заговорила. Через мгновение Цейс, не поднимая головы, отодвинулся подальше, а мать осталась на своем месте. Она уже выкрикивала что-то в адрес Цейса. Подняла руки, сжала кулаки, начала нервно жестикулировать. Потом хлопнула ладонями по ступени. С амвона ей не было слышно, о чем говорит мать. Та была слишком далеко. К тому же за стенами церкви слышались какие-то странные звуки. Вскоре она узнала их, хотя сирены молчали. После первой взорвавшейся бомбы, она все поняла: очередной налет...

Она оглянулась. Место у алтаря в мгновение ока опустело. Там остались только Цейс и ее мать. Будто происходящее их совершенно не касалось. Мать продолжала жестикулировать. Цейс стриг свои ногти. Мать пыталась до него докричаться, но ее голос заглушал грохот взрывов.

Она стремительно перебежала в дальний угол амвона. Девушка в синем шерстяном платье лежала на полу, опустив голову на грудь мужчины в мундире. Он нежно и умиротворенно гладил ее волосы. Иногда приподнимал голову и целовал их. Она легла рядом с ними. Девушка подвинулась, освобождая место, и крепче прижалась к мужчине. Она закрыла глаза, но даже сквозь сомкнутые веки ощущала вспышки взрывов, отблески которых были видны через пробоину в крыше. Она прижалась к девушке. Мужчина, протянув руку, обнял их обоих. Она чувствовала прикосновение его ладони на своих плечах. Закрыла глаза. И опять строчками Рильке стала молить о наступлении тишины. Ведь в прошлый раз, когда вместе с прижимавшимся к ней Лукасом они просили об этом, тишина настала. Девушка задрожала и расплакалась. Потом вдруг крепко сжала ее ладонь. «Я люблю тебя, люблю тебя, помни, что я люблю тебя...», — повторяла девушка вслух. Она тоже полюбила ее. На это мгновение. А может быть, навсегда. На всю жизнь. В минуту всепоглощающего страха человек способен возлюбить каждого, кто разделит с ним этот страх. Достаточно быть рядом. Кто бы то ни был.

Она вспомнила бабушку Марту. Как та умирала...

В тот полдень они сидели друг напротив друга за кухонным столом. Пили «чай». Когда в чашке нет ни чая, ни сахара, а есть лишь горячая вода, помогают фантазия и чувство юмора. Даже если идет война, а может, именно поэтому. За это она и любила свою бабушку и восхищалась ею. Даже когда яиц в доме не было и в помине, бабушка Марта каждый день в три часа пополудни звала всех на кухню на Kaffe und Kuchen³. Раскладывала на столе кружевные салфетки, ставила на них фарфоровые чашки и клала на блюдца по кусочку хлеба с конфитюром. А иногда только хлеб.

В тот день они были одни. Мать отправилась в город раздобыть чего-нибудь съестного. Вдруг послышался визг тормозов и, через минуту, громкий стук в дверь. Она быстро подбежала к окну. Увидела два мотоцикла и автомобиль. По ступеням лестницы застучали подковы сапог.

— Откройте! Откройте немедленно!

Бабушка Марта медленно встала из-за стола. Неторопливо подошла к зеркалу. Спокойно поправила прическу, будто это было сейчас важнее всего. Обернулась, посмотрела внучке в глаза. И, не произнеся ни слова, направилась к дверям.

— Вы прячете у себя еврея! — рявкнул с порога офицер в черном мундире.

Четверо солдат с автоматами влетели в комнату.

— Никого мы тут не прячем. Мы одни. Нету здесь никаких граждан еврейского происхождения, — спокойно ответила бабушка, невозмутимо глядя в бегающие глаза офицера.

Он на минуту отвернулся, натянул на руку черную перчатку, тщательно разгладил ее другой рукой и с размаху ударил. Она все отлично видела. И закричала. Но было поздно. Седые волосы бабушки, стянутые в пучок, растрепались и закрыли лицо. Кончики волос обагрились кровью. Она увидела, как бабушка оседает на пол.

— Обыскать дом! Проверить везде! — орал офицер. — Где еврей?!

Она пыталась подбежать к лежавшей на полу бабушке, но солдат преградил ей дорогу и прижал прикладом к стене. Она чувствовала прохладу металла на шее и его дыхание на своем лице. От него несло пивом.

— Сука старая, еврей, к твоему сведению, не граждане, а клопы. Клопы! Ясно тебе?! Где еврей? — твердил офицер и обутой в сапог ногой пинал лежавшую на полу женщину. — Где еврей?!

Молодой солдат, прижимавший девушку к стене, задрал ей юбку и схватил за ляжку. Резким движением разорвал трусики и вставил палец

внутри. Она закрыла глаза и стиснула зубы. Она испытывала отвращение и боль. Главным образом отвращение. Согнув колено, она изо всех сил двинула солдату в пах. Разразившись проклятиями, он ударил ее в живот и под грудь. Это было очень больно.

— Искать еврея! Ты тоже, Вольфганг! — зверея от бешенства, крикнул офицер.

Вольфганг оставил ее в покое и послушно отправился «искать еврея». Он подошел к стеллажу с книгами и перевернул его. Стоявшая на одной из полок фотография отца в стеклянной рамке упала на пол и разбилась. Она видела, как его сапог топтал фотографию. Набросилась на него с кулаками, с трудом дотягиваясь до его лица. Она до сих пор не понимает, почему тогда стала кричать по-английски:

— You fucking son of a bitch, you fucking less than nothing! I recognize you, you fucking minus zero! You could hardly spell your fucking own, fucking name without errors in the school! You are a fucking nobody, and you will always be!.. — кричала она, осыпая его ударами.

Вольфганг, скорее всего, не понимая ни единого слова, отмахивался от нее, как от назойливой мухи. Наконец он энергично оттолкнул ее и спокойно удалился. Она упала и ударилась головой о стену. Почувствовала во рту вкус крови. Сразу же попыталась подползти к лежавшей на полу бабушке. Но офицер не дал ей приблизиться. Стоя между ними, грубо оттолкнул сапогом. Наклонился над бабушкой, сжимая сигарету в губах, и процедил:

— Запомни, сука старая, евреи не граждане. Они вши и клопы...

Она видела бабушкино лицо в промежутке между широко расставленными ногами офицера в черном мундире. Та невозмутимо улыбалась, глядя эсэсовцу в глаза. Была ли то последняя бабушкина минута? Она не знает. Но когда комната опустела и наступила тишина, бабушка была мертва...

Человек способен возлюбить каждого, кто разделяет с ним его последнюю минуту. Кто бы то ни был...

Она крепко прижалась к девушке в синем платье и прошептала ей на ухо:

— Я тоже тебя люблю.

По-прежнему слышался гул самолетов и грохот взрывов. Неожиданно она почувствовала, как пол под ними заходил ходуном. Видимо, одна из бомб упала совсем близко. Здание содрогнулось от взрывной волны. Почти сразу часть крыши вокруг пролома, возникшего во время предыдущего

налета, оторвалась и с грохотом рухнула вниз. Потом все стихло. Доносился лишь затихающий вдали гул самолетов. Она вскочила на ноги и подбежала к балюстраде амвона. И увидела Цейса — он склонился над фрагментом свода, которым придавило ее мать.

Она сбежала вниз по лестнице. Вместе с Цейсом они попытались поднять каменную балку свода. Вскоре рядом оказались Ротенберги с Лукасом. А еще через минуту появился садовник Цейсов. Тот самый, что собирал черешню. Цейс, покрикивая, раздавал приказы. Мать Лукаса стояла на коленях возле головы ее матери, пытаясь просунуть под балку камень, чтобы приподнять ее хоть на миллиметр. Отец Лукаса стоял тут же. Садовник обращался к Ротенбергам на идише. Он говорил с ними на идише! Вдруг каменная балка сорвалась с одной из подпорок, которые подкладывала под нее мать Лукаса. Цейс разразился бранью. Лакей подошел к нему и сказал:

— Не кричи, отец, это не ее вина. Слышишь?! Не кричи! Хоть сейчас не кричи, не надо... — Он встал между Цейсом и Ротенбергом, обеими руками ухватился за балку и сказал: — Давайте вместе! Изо всех сил. Вверх...

Мать Лукаса без колебаний нырнула под балку и подставила спину, пыталась приподнять ее.

А Анна опустилась возле матери на колени. Легким движением смахнула желтоватую пыль с ее лица и волос. Цейс присел рядом и вытащил из кармана мундира жестяную бутылку. Сначала окропил женщине лицо, потом поднес бутылку к ее рту. Струйка воды увлажнила сжатые губы. Цейс провел по ним пальцем, распределяя воду.

— Уважаемая! Уважаемая госпожа Блайбтрой, очнитесь! Я все вам объясню... я просил за вашего мужа, обращался по его вопросу в Берлин, — сказал он, поглаживая ее лицо. — Вы не можете уйти, не выслушав меня, мы ведь еще не закончили разговор. Вы не можете! Госпожа Бляйбтрой, я очень прошу... Я вам приказываю!

Минуту спустя подошел молодой мужчина в черной сутане с маленькой черной книжкой в руках. Ротенберги и садовник куда-то подевались. Цейс повернулся к мужчине в сутане и властно приказал:

— Я требую немедленно привести сюда врача. Вы слышите?! Немедленно! Это приказ! Меня зовут Альбрехт фон Цейс! Профессор доктор Альбрехт фон Цейс...

Не обращая на него внимания, мужчина в сутане поднял свисавшую со ступеньки руку матери. Прикоснулся к запястью. Посмотрел на часы. Потом снял очки и приложил их к губам матери. Внимательно осмотрел

стекло, подняв очки к свету, струившемуся из дыры в крыше. И обращаясь к Цейсу, спокойно, но со скрытой иронией в голосе, сказал:

— Уважаемый господин профессор и доктор, я тоже доктор. К сожалению, эта женщина мертва. Я немедленно сообщу санитарам, чтобы они убрали тело. И составлю соответствующий акт. У меня есть четкие инструкции. Это приказ кое-кого повыше вас званием. Мы обязаны незамедлительно избавляться от трупов, чтобы избежать эпидемии. Неизвестно, как долго будут продолжаться налеты. Надеюсь, вы, господин профессор, это понимаете. Такое сейчас время. Гауляйтер Мучман разослал на этот счет указания, с которыми вы, полагаю, знакомы. Во всяком случае, должны быть знакомы, судя по вашему чину.

Потом священник раскрыл свою черную книжку и извлек из кармана сутаны карандаш.

— Являетесь ли вы членом семьи погибшей, господин профессор? Может быть, эта несчастная была вам знакома? Возможно, это был близкий вам человек?

Альбрехт фон Цейс встал. Поправил галстук. Тщательно застегнул мундир на все пуговицы. Страхнул с него пыль. Сорвал красную повязку со свастикой. Бросил ее в сторону священника и отошел. Он поднялся по ступенькам к алтарю. Встал на колени. Вытащил из кобуры пистолет. Вставил его себе в рот и выстрелил.

Не веря своим глазам, она глядела на его лежащее перед алтарем тело. Вдоль цоколя мраморной скамьи потекли ручейки крови. Туда бросился садовник.

— А вы, сударыня, не являетесь ли членом семьи этой особы? Может быть, она была вам близка или знакома? — услышала она спокойный голос мужчины в сутане. Как будто ничего не случилось.

— Эта «особа», как ты в своем безграничном милосердии изволил выразиться, была мне близка настолько, что тебе, блядь ты этакая, и не снилось! Я ее дочь, — медленно процедила она сквозь зубы. — И не смей больше прикасаться к моей матери. А тем более молиться за нее, если тебе это все же придет в голову. Богу не нужны твои лицемерные молитвы, Он все равно не захочет их слушать и не поверит тебе. Ты всего лишь гнусный нацист, святоша, бюрократ с черным блокнотом. Вон отсюда! Чем скорее, тем лучше. Пошел на хуй, каналья в сутане! Святоша с карандашиком!

Мужчина в сутане молча, с бесстрастным выражением лица, аккуратно записывал все, что она говорила, время от времени переворачивая страницы. Она, не видя его реакции, кричала все громче. А он только время от времени поправлял очки и поглядывал на часы. Когда она закончила

свою тираду и затряслась от истерических рыданий, он неожиданно вытащил из кармана брюк точилку и стал точить карандаш. Стружки медленно падали на лицо ее матери.

Она встала. Слезы мгновенно высохли. Она чувствовала ненависть. Всепоглощающую ненависть. Только ненависть. И желание отомстить. Пульсирующую в висках жажду мщения. Она выпрямилась. Поправила прическу. Как бабушка. Повернувшись к священнику спиной, наклонилась и протянула руку к одному из валявшихся на полу камней. Выбрала самый большой, какой могла удержать. Повернулась и изо всех сил швырнула его. Мужчины в сутане не было. Камень скатился по ступеням алтарной лестницы и остановился у деревянной скамьи в восточном нефе. Маленький чумазый мальчик выполз из-под охапки соломы и подбежал к камню. Подобрал его, подошел к ней, положил камень к ее ногам, улыбнулся и торопливо отошел. Стоя в нескольких метрах поодаль, он ждал, когда она снова бросит камень в его сторону. До нее дошло, что он хочет поиграть с ней. Мертвое тело матери лежало у ее ног, в нескольких метрах отсюда лежал труп Цейса, а она, как замороженная, словно отгораживаясь от окружающего мира, бросала камень мальчику! Будто все, что минуту назад случилось, не имело никакого значения. Она бросала, следила за тем, как камень катился по паркету, потом за тем, как мальчик поднимал своими тонкими ручонками и бежал к ней. И снова бросала. Катящийся камень, бегущий мальчик, катящийся камень, бегущий мальчик... Злость, кипевшая в ней, уходила. Подступала тоска, возвращалось отчаяние.

Наконец мальчику надоело играть. Он пробежал мимо. Она медленно повернулась, следя за ним глазами. Четыре санитары в покрытых пятнами крови белых халатах поверх армейских шинелей протискивались сквозь толпу к алтарю. Они подошли к священнику. Перекинулись с ним парой слов и двинулись в сторону Цейса, носилками раздвигая толпу сгрудившихся вокруг него людей. Она подбежала к алтарю. Присела рядом с матерью. Гладила ее по голове. Плакала. На запястье Цейса с помощью резинки прикрепили желтую бирку. Один из санитаров, склонившись над телом, что-то на ней написал. Затем оторвал от бирки кусочек, поднял руку вверх и крикнул:

— Родственники есть?!

Толпа затихла. Никто не отзывался. Санитар повторил вопрос. Она искала глазами садовника, сына Цейса. Он стоял в темном закутке за алтарем, с Ротенбергами. Она не могла разглядеть его лица. Хотела было подойти к нему. Но быстро одумалась. Ведь сын Цейса был евреем! Она

подошла к санитару.

— Этот человек, насколько мне известно, был здесь один. Без родственников, — солгала она.

— А вы ему кто? — спросил полный санитар, внимательно разглядывая ее.

— Как это кто?

— Ну кто? Он был офицером СС. В подобных случаях мы должны писать рапорт. Насколько вы были с ним близки?

— Я?! Близка? Бред какой-то! Я его ненавидела, — возразила она и поспешно удалилась.

Санитары погрузили тело Цейса на носилки. Прикрыли разmozженную пулей голову снятым с него же кителем. Двое других подошли к ней. Не проронив ни слова, положили тело матери на носилки. Повесили желтую бирку на ее запястье. Один вручил Анне кусок желтой бумаги. Она встала и пошла за ними. У ворот стоял грузовик. Один из санитаров, проходя мимо, крикнул водителю:

— Эта здесь последняя!

Кто-то поднял брезент над задним бортом грузовика. Она посмотрела туда. Увидела груды трупов. Санитары подняли носилки. Мужчина в белом халате, стоявший в кузове, наклонился и энергичным движением затащил их внутрь. Брезент опустился. Санитары направились к кабине. Все происходило очень быстро. Она хотела закричать и побежать за ними. Но у нее пропал голос. И не было сил сдвинуться с места. Все закружилось перед глазами. Она потеряла сознание.

Дрезден, Германия, около полудня, четверг, 15 февраля 1945 года

Она убедилась, что фотоаппарат, аккуратно завернутый в свитер, лежит в чемодане, и вышла из церкви через боковую дверь. Морозный воздух февральского дня взбодрил ее. Сквозь тучи проглядывало солнце. Сильный ветер поднимал серые клубы пыли, забивавшейся в глаза и рот. Обмотав шею шарфом, она застегнула пальто на все пуговицы, натянула на голову шерстяную шапку и двинулась в сторону Грюнерштрассе. Спустя какое-то время, одуревшая от свежего воздуха и ослепленная светом, она почувствовала, что очень устала. Тяжело дыша, остановилась, поставила чемодан и повернулась лицом к церкви, которая среди прочих разрушений была похожа на полуразвалившуюся гробницу. На жуткий обрубок, одиноко торчащий на кладбище, по которому прошла колонна танков. Глухие стены, зияющая дыра в кровле, пустые глазницы окон, некогда закрытых витражами, и распахнутые настежь двери напомнили ей подмытый волнами замок из песка. Они с отцом возводили замечательные песочные замки, и о каждом он мог рассказать необыкновенную историю. О привидениях, духах, дамах в белых одеждах, блуждающих в замке по ночам, о камерах пыток, потайных переходах, башнях, отважных рыцарях и ожидающих их прекрасных принцессах. Иногда к ним присоединялась — на балтийском побережье — мама, которая вглядывалась в лицо отца и слушала его так, будто встретила впервые...

Она подняла чемодан и двинулась дальше, с трудом узнавая места, где еще вчера были улицы, перекрестки, стояли здания и росли деревья. В какой-то момент ей вспомнились слова бабушки о том, что «когда-нибудь наступит расплата, ведь кара за причиненное зло неизбежна». Она с ужасом осознала, что ей совсем не жаль город. Не жаль его выжженных стен, рассыпающихся в прах при малейшем прикосновении, не жаль даже последнего камня в этом городе, уничтоженном в наказание за зло, как и предсказывала бабушка. Она бесцельно брела, не чувствуя боли, и не могла выжать из себя ни слезинки. Вздиралась на обломки домов, проваливалась в засыпанные мусором и камнями воронки. Она чувствовала смрад обгоревшей плоти, доносившийся из вентиляционных труб убежищ и подвалов. Проходила мимо обугленных трупов, обгоревших детских колясок, распахнутых чемоданов с вываливающимся из них шелковым

женским бельем, протезов, прикрепленных к оторванным конечностям, детских игрушек, присыпанных песком, оторванных от тел голов с открытыми глазами или пустыми глазницами, сплетенных в прощальном жесте рук, лежащих в нескольких метрах от тел, которым они когда-то принадлежали.

Она остановилась. Села на чемодан и глубоко дышала, стараясь успокоить тянущую боль в груди. Дальше идти не было сил. Она подошла к обвалившейся стене, за которой совсем недавно была кухня чьей-то квартиры, и опустилась на колени. Ее вырвало. Когда позывы рвоты прошли, стало легче. Она поднялась. К остаткам стены, единственной уцелевшей из всего здания, была привинчена кухонная раковина. На столе рядом с раковиной стояла кружка с недопитым чаем, неподалеку на белом фарфоровом блюде лежал надкусанный кусок хлеба с маслом и засохшим куском сыра. На стене над раковиной висело зеркало, покрытое ржавыми потеками. На маленькой стеклянной полочке под зеркалом стояли четыре алюминиевые кружки с зубными щетками. Две из них явно были детские. Она смотрела на все это, как на внушающую ужас картину. Остатки нормальной жизни, сохранившиеся здесь, в этом месте, до наступления конца света, были похожи на тщательно продуманную сюрреалистическую инсталляцию свихнувшегося художника. Но это была вовсе не придуманная композиция, призванная изумить истинных ценителей. А самый что ни на есть реальный кусочек города Дрездена. Это было в полдень, в четверг, 15 февраля 1945 года.

Она бегом вернулась к чемодану. Поспешно вытащила фотоаппарат. Она помнила, что у нее осталось восемь кадров. Медленно подошла к стене с раковиной и остановилась в нескольких метрах от руин. Терпеливо дождалась, пока солнце выглянет из-за рваной серой тучи. Тщательно поставила выдержку и диафрагму, нажала на кнопку затвора. На висках у нее выступил пот. Она сорвала шерстяную шапку. Спрятала фотоаппарат в кожаный футляр и пошла было к чемодану, но, сделав пару шагов, остановилась, пораженная нелепостью пришедшей в голову мысли. Медленно приблизилась к раковине. Оглядевшись, не видит ли кто, повернула рукоятку крана. Оттуда потекла коричневая жижа, но уже через несколько секунд пошла кристально чистая вода. Глядя на воду, она расплакалась. Подставив лицо под струю и раскрыв рот, начала жадно пить воду. Город был все-таки жив...

Она шла дальше. Фотоаппарат висел на груди, и время от времени она хваталась за него. Считала оставшиеся кадры. Придавленное обломками балкона тело женщины с мертвым младенцем на руках. Еще шесть...

Неторопливо, стараясь оттянуть момент встречи, она приближалась к своему дому. Замедляла шаг, останавливалась, внушала себе, что должна отдохнуть. Ей встречались люди. Они сидели или лежали возле рухнувших лестниц, вывороченных ворот и калиток, обвалившихся стен, — всего того, что когда-то было их домами. Своим присутствием они словно свидетельствовали, что это их территория, их дом, и только они имеют на него право.

Она шла и шла. Мраморный прилавок напомнил ей, что здесь был магазин мясника Мюллера, у которого бабушка покупала ветчину. На припорошенной остатками штукатурки мраморной плите лежали перевернутые весы, покрытые коричневыми пятнами запекшейся крови. Еще пять...

Наконец она добралась до Грюнерштрассе. На перекрестке появились военные грузовики, которые свозили сюда трупы с окрестных улиц. Они разворачивались и задним ходом подъезжали как можно ближе к краю рва, обнесенного низким каменным забором. Солдаты разгружали наполненные телами кузова, укладывая их поперек ямы. Когда весь ров был заполнен слоем тел, сверху клали следующий. Молодой мужчина в белом, запачканном кровью халате сидел с сигаретой в зубах на деревянном стуле, на каменном возвышении примерно посередине рва. Сложив покойников в яму, солдаты подходили к нему, и он делал какие-то пометки в разложенной на коленях тетради. Еще четыре...

Ров разрезал Грюнерштрассе поперек, по всей ширине. Поэтому ей пришлось свернуть на Циркусштрассе, чтобы потом, следуя по Зайдницерштрассе, снова выйти на Грюнер уже за рвом. Зайдницерштрассе, по большому счету, уже не была улицей. Стены разрушенных зданий образовали что-то наподобие дюны из перемолотых в пыль кирпичей. Она поднялась на вершину «дюны» и пошла дальше. Неожиданно послышался плач ребенка. Маленькая девочка, сидевшая рядом со стариком в шляпе, смотрела на свою обмотанную куском серой фланели руку и, плача, без конца повторяла одну и ту же фразу: «У меня всего семь пальцев, дедушка, у меня всего семь пальцев...».

Заметив проходившую мимо Анну, старик встал с камня, на котором сидел, и направился к ней.

— Нет ли у вас случайно морфия? — спросил он спокойным голосом. — Я дам вам за него свое обручальное кольцо. Настоящее золото. Довоенное. Есть? — прибавил он, облизывая палец и пытаясь снять с него кольцо.

Она остановилась и для верности положила руку на фотоаппарат.

— У меня нет морфия. Но в начале Грюнерштрассе есть санитар. Может, у него есть. У него должен быть. Идите к нему. А я пока побуду с малышкой, — ответила она.

— Вы говорите о толстяке, который считает трупы? Я был у него уже сто раз! У этого могильщика ничегошеньки нет, даже йода. Он меня просто прогнал. Сукин сын. У него даже водки нет. Может, у вас есть водка? Я дам вам кольцо за бутылку водки. Напою ребенка и напьюсь сам. Нам будет не так больно...

— У меня нет водки. Но я знаю, где мама прятала водку у нас дома. Я живу на Грюнерштрассе, 18. Это рядом. Если найду водку, я вам ее принесу.

— Я вам отдам кольцо. Настоящее золото. Довоенное... — слышала она за спиной удаляющийся голос.

Она больше не считала кадры. Ей надоело. Здесь все что-нибудь считают. Одни — трупы, другие — пальцы. К тому же есть вещи, которые нельзя показывать. Ни в коем случае. Она спрятала аппарат в футляр, осторожно положила его в чемодан и торопливо вскарабкалась на грудку мусора, чтобы поскорее попасть домой.

Первым свидетельством того, что дом уже рядом, была часть балконной решетки с виллы Цейсов. Она лежала на ветвях поваленной черешни в их саду. Этот балкон был ей прекрасно знаком. Три словно отрезанные ножницами обрубка спиралей колонн торчали из прямоугольной бетонной плиты как из цветочной корзины. Она и не предполагала, что когда-нибудь почувствует то, что почувствовала в этот момент. Что расплечется — от волнения — при виде обломков балкона Цейсов...

Анна обошла лежавшее на земле дерево. Ей навстречу попались два черных соседских кота. Они поедали внутренности мертвой овчарки Цейса. Невдалеке прохаживалась ворона, терпеливо ожидая своей очереди.

Взобравшись на вершину груды обломков, битых кирпичей и штукатурки, она огляделась. От дома на Грюнерштрассе, 18 осталась лишь одна стена, которая неровной линией обрывалась на уровне третьего этажа! Это была левая стена, если смотреть со стороны сада Цейсов. В той стене была дверь с оторванной много лет назад ручкой, через эту дверь можно было пройти со двора на лестницу и в подвал. Она быстро спустилась вниз. Обежала стену и остановилась на тротуаре со стороны улицы. Среди камней, жестяной кровли, металлических прутьев и битого бетона она заметила край толстой коричневой доски. И поспешила подойти ближе, потому что узнала дубовую столешницу серванта из комнаты бабушки

Марты. Поставила чемодан, сняла пальто и, ухватившись за доску, изо всех сил потянула ее на себя. В этот момент она услышала хриплый голос, доносившийся откуда-то сзади:

— Я вам помогу. Дрова сейчас на вес золота. Вы совершенно правы. Особенно ночью. Будет холодно...

Она резко обернулась. В нескольких метрах от нее, опершись спиной о покосившийся столб уличного фонаря, стоял парень. Форменная шинель солдата вермахта, подпоясанная обрывком проволоки, была ему столь велика, что полы мели мостовую. Длинные темные волосы падали на лоб, перебинтованный окровавленной повязкой. С проволоки свисала армейская каска. А у его ног, на сером брезентовом рюкзаке, лежали скрипка и смычок.

— Чего ж тогда торчишь там? Помогай! — крикнула она сердито.

Парень моментально оказался рядом и всем телом навалился на доску.

— Слушай, давай сделаем так, — сказал он, — ты повиси на доске, а я попытаюсь ее вытащить. Ты тяжелее меня. Старайся раскачивать ее, как ты только что делала, — будто хочешь переломить надвое. Это поможет ее высвободить.

Она обиженно взглянула на него, задетая замечанием о весе.

— Я вовсе не тяжелее тебя, парень! И никогда не буду. Не умничай! Тоже мне, джентльмен! — воскликнула она, тайком поправляя свитер.

— Давай-ка вместе! Дружно!

Они упали почти одновременно. Она ударилась головой о тонкую корку льда на поверхности грязной лужи, образовавшейся в широкой борозде между двумя плоскими холмиками щебня. И тут же почувствовала удар каской, а в лицо ей плеснуло ледяной водой. Парень, не выпуская доску из рук, упал на смерзшуюся мусорную кучу рядом с лужей. Он в сердцах отшвырнул доску и подполз к ней. Встав на колени у ее головы, спросил:

— Все в порядке? С вами, то есть с тобой...

Достал из кармана шинели скатанный бинт и начал осторожно вытирать грязь с ее лица. Сказал с улыбкой:

— Не стоило, наверное, из-за этой доски...

Она резко приподнялась и оттолкнула его руку.

— Что? Что не стоило? — спросила она с вызовом в голосе.

— Ну, гимнастикой заниматься. Дрова из нее никудышные. Слишком твердые...

— Послушай, умник, — процедила она сквозь зубы, изо всех сил стараясь сдержать слезы, — эта доска — часть моего дома. Единственное,

что я пока что нашла. Слышишь?! Моего дома! А в костер можешь бросить, если тебе так приспичило, свою скрипку.

Парень перестал улыбаться. Его лицо нахмурилось. Она видела, как у него задрожали ладони. Он встал и молча вернулся к фонарю. Поднял скрипку, забросил рюкзак на плечо и медленно побрел по завалам к деревьям на противоположной стороне улицы. Она смотрела, как он медленно исчезал из вида. И вдруг заплакала.

— Извини! — крикнула она ему в спину. — Я совсем не то хотела сказать. Я сама всегда хотела играть на скрипке. Но я не умею. Я даже не знаю, как тебя зовут! Вернись! Хоть на минутку! Я хочу тебя поблагодарить. А потом иди, куда тебе нужно. Пожалуйста! Я хочу поблагодарить. Позволь мне...

Через мгновение он уже исчез за очередной горой мусора.

Она подошла к доске и ногой придвинула ее к чемодану. Надела пальто. Бинтом, который оставил парень, перевязала себе руку. И уселась на чемодан спиной к тому месту, где еще два дня тому назад была широкая оживленная улица, а теперь зияла огромная яма, заполненная битым кирпичом вперемежку с землей. Перед ней возвышалась часть стены с дверью, которая вела на площадь, усыпанную камнями и кусками штукатурки. Неожиданно Анна почувствовала, что окоченела. Тщательно запахнув пальто, она закрыла глаза. И тут же заснула...

Она протягивала руку, пытаясь найти ладонь Лукаса. Ротенберг декламировал стихотворение Гёте, оба с отцом курили. Девушка в синем платье расчесывала волосы бабушке Марте и кормила ее черешней. Гиннер в сутане священника причащал мать и записывал что-то на листке бумаги. У Цейса на коленях сидел голый ребенок с повязкой на глазу. Маркус в огромной продырявленной осколками каске стоял на коленях перед алтарем, прижимая к себе овчарку Цейсов. Санитар в запачканном кровью халате строил с ней на пляже замки из песка. Мать Лукаса в красной монашеской рясе вливала из огромной лейки бурую воду в кропильницу. Садовник Цейсов стоял на лестнице под сводами церкви и брил свою длинную бороду, глядя в зеркальце. Сама она в белом платье для первого причастия разгуливала по пахнущей лавандой лужайке и фотографировала бабочек. Одна бабочка неожиданно взлетела с лепестка белой розы. Анна явственно слышала звуки, производимые ее трепещущими крыльями. А бабочка летела в ее сторону и становилась все больше и больше. Раздался вой сирен. Она побежала. Протянула руку к Лукасу...

Кто-то теребил ее за плечо.

— Не нужно меня ни за что благодарить, — услышала она, — бери-ка лучше свои вещи. Они опять прилетели. Поблизости есть подвал. В этой пустыне уже и бомбить-то нечего, но все-таки лучше спрятаться куда-нибудь под землю...

Еще какое-то мгновение она провела в своем сне. Потом широко раскрыла глаза. Узнала.

— Ты вернулся, — прошептала она, прижимаясь к парню, — вернулся! Ты мне потом сыграешь?

Он улыбнулся. Нежно погладил ее по голове.

— Беги за мной. Это недалеко...

Она слышала, как нарастает гул самолетов, но то и дело останавливалась. Он вернулся за ней.

— Слушай, постой здесь минутку. Я заброшу в подвал рюкзак и скрипку и вернусь. Стой на месте. Никуда не уходи, слышишь? Подвал совсем близко. Тебе очень нужен этот чемодан? — осторожно спросил он.

— Нужен...

Он скрылся из виду, оставив ее одну. Самолеты приближались. Ей было страшно. Вскоре, тяжело дыша, он появился снова. Взял чемодан и протянул ей руку. Они бежали, пока не остановились у груды камней и веток рядом с дырой в основании какой-то серой стены. Сначала он зашвырнул в дыру чемодан, потом отодвинул ногой несколько камней. По длинному крутому каналу она, как на санках, съехала как будто в пещеру. Упала лицом на влажный песок. Торопливо встала. Почувствовала запах тухлятины и сырости. Осмотрелась. В глубокой темноте почти ничего не было видно. Словно читая ее мысли, он зажег спичку. Подошел к чему-то вроде подставки для свечей, скрученной из проволоки и наполненной землей, в которую были воткнуты свечи. Поднес пламя спички к одной свече, зажег остальные. Сделалось светло. Под сводами напротив она увидела пирамиду из человеческих черепов. Конусообразная конструкция с левой стороны упиралась в гробы, которые стояли двумя рядами, один на другом. Ближе к ней был еще один гроб, с открытой крышкой. Из него торчали пучки соломы.

— Добро пожаловать домой, — сказал с иронией в голосе парень. — Прости, я сегодня не ждал гостей, поэтому здесь не прибрано, — добавил он и, подойдя к открытому гробу, с шумом захлопнул крышку.

В этот момент на улице вновь стали взрываться бомбы. Она закрыла глаза и вытянула перед собой руки, будто пытаясь что-то найти на ощупь. Он прижал ее к себе, но сначала задул свечи на проволочной подставке.

Потом снял шинель и постелил на земле.

— Приляг, — шепнул он ей на ухо, — мне нужно закрыть вход. Я сейчас вернусь, я быстро...

Налет был коротким. Впрочем, ей казалось, что все происходит где-то далеко отсюда. Как глухие отголоски соседской ссоры, доносящиеся сквозь толстую стену. Вскоре все стихло.

— Кто такой Лукас? Твой парень? — спросил он.

Они лежали в темноте. Как только на улице наступила тишина, он разжал объятия и отодвинулся от нее подальше.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, я хотел спросить, это кто-то близкий? Это к нему ты... прикасаешься? Во сне ты звала его.

— Да, к нему я прикасаюсь, в последнее время только к нему...

— Ты его любишь?

— Люблю? — Она задумалась на мгновение, озадаченная вопросом. — Не знаю. Но я скучаю по нему.

— Он жив?

— Вчера еще был жив...

Он не ответил. Встал и зажег свечу, стоявшую на одном из черепов. Подошел к гробу, открыл его, вытащил коричневую бутылку и поднес к губам.

— Как ты думаешь, они нас ненавидят? — спросил он, вновь укладываясь рядом.

— Кто?

— Ну, американцы и англичане.

— Те, которые в самолетах?

— Да, те, которые в самолетах.

— Я думаю, что, скорее всего, не лично тебя и меня. Они ненавидят немцев...

— Но мы ведь тоже немцы.

— Да, это так, но они, как им, наверное, кажется, бомбят Германию, а не немцев. Они не думают о том, что при этом убивают людей. Им хочется разнести в пух и прах Германию. Отец рассказывал мне, что во время Первой мировой войны вражеские окопы порой были расположены так близко, что солдаты могли посмотреть друг другу в глаза. Иногда они переговаривались и даже делились провиантом. А как только получали приказ, начинали стрелять и убивать друг друга. Вовсе не из ненависти. Скорее для самообороны. Потому что соседи из противоположного окопа получали такой же приказ...

— А как ты думаешь, есть ли какой-нибудь другой народ, который мир ненавидит больше, чем немцев?

— Сегодня?! Конечно нет. Мы уверенно возглавляем список народов, подлежащих уничтожению. После нас длинный пробел, а потом, мне кажется, идут японцы. Нам удалось восстановить против себя весь мир. Думаю, когда мы наконец проиграем эту войну, такое отношение к нам сохранится еще лет на сто. Поэтому я жалею, что у меня такая чертовски немецкая фамилия. Но все равно никогда ее не поменяю. Из-за бабушки и отца. А почему ты не стреляешь? Тебе ведь положено... — спросила она, помолчав.

— Это очень простая история, — ответил он, утирая рукавом губы, — выпей.

— Расскажи... — попросила она, принимая бутылку.

— В сорок первом я окончил консерваторию в Бреслау. Когда-то это был большой, красивый город. Я там родился, там могилы моих родителей и сестры, — начал он свой рассказ, ложась на шинель рядом с ней. — Ты знаешь, где это? — спросил он.

— Конечно знаю! Моя бабушка родилась в тех краях, в Ополе, а дедушка изучал в Бреслау медицину, — ответила она. — У бабушки в альбоме есть много красивых фотографий Бреслау. То есть было, — добавила она после паузы. — Извини, я перебила тебя. И что было потом? — спросила она сдавленным голосом.

Он заметил, что она плачет. Замолчал. Наклонился над ней и осторожно отвел в сторону волосы со лба. У него были теплые руки. Стоя на коленях возле ее головы, он убирал со лба пряди ее волос, иногда случайно прикасаясь к щекам. Кончиками пальцев он нежно гладил ее лицо, вокруг глаз и губ. Когда она перестала плакать, он прошептал:

— Послушай, я прошу тебя, не извиняйся передо мной. Не надо больше ни за что извиняться. Я еще там все понял. Когда мы с доской возились. Я действительно все это понимаю. Мне тоже хотелось иметь хоть какой-то угол. Свой. Пусть даже самый маленький. Но у меня его нет. Может быть, когда-нибудь я построю собственный дом. Новый. И ты тоже построишь. Вот увидишь... Тебе лучше?

Она кивнула.

— Ну, а теперь скажи мне наконец, как тебя зовут? — спросил он, отводя ладони от ее лица.

— Меня зовут Анна, — сказала она и добавила поспешно: — Но я хочу, чтобы ты называл меня Мартой. Когда-нибудь я объясню тебе, почему. А теперь рассказывай. И не убирай ладони. Если можешь. И если

хочешь...

Она придвинулась и положила голову ему на колени. Он осторожно гладил кончиками пальцев ее лицо. Она слушала.

— Студентом я давал уроки музыки, чтобы подработать. Среди моих учеников была дочь заместителя гауляйтера Бреслау. Вот уж у кого не было ни слуха, ни таланта! Но она была очень старательная, и ей нужно было научиться играть на пианино. Так хотел ее отец, еще больше — мать, а больше всех — бабушка, мать заместителя гаулейтера. У девочки никто не спрашивал, хочет ли этого она сама, а она боялась сказать, что не хочет. Я тоже ничего не говорил, потому что мне очень нужны были эти деньги. В конце сорок второго в армию стали призывать и слепых, и сумасшедших, и даже людей искусства. Призвали и меня. В один прекрасный день, закончив урок, я попрощался сначала со своей ученицей, а потом и с ее отцом. Мне повезло. В гостинной сидела мать заместителя гаулейтера. «Макс, я надеюсь, моя внучка, а твоя первородная и единственная дочь не забросит музыку и не перестанет развиваться только из-за того, что какой-то невежественный бюрократ, какой-то идиот решил отправить ее учителя на фронт, — сказала она, обращаясь к сыну. А потом добавила: — Не забивайте себе этим голову, мой сын все устроит. Приходите к нам в пятницу, в это же самое время». И я пришел в пятницу, потому что мои документы, как по мановению волшебной палочки, исчезли. Я получил новый номер и новые документы с припиской о переводе на «нестроевую вспомогательную службу по формальным причинам» за личной подписью заместителя гаулейтера, заверенной еще четырьмя подписями. Я все время носил эти бумаги с собой. Они и сейчас при мне. В течение двух лет я приходил в дом гаулейтера каждую среду и пятницу, при каждом удобном случае рассыпаясь в благодарностях его матери. В сорок третьем, в рождественский сочельник, дочь заместителя гаулейтера впервые исполнила фортепианный концерт для всей семьи. Я никогда не слышал ничего ужаснее. Но они были на седьмом небе от счастья и гордости, а бабушка даже расплакалась от умиления. Только их служанка-полячка посмотрела на меня как-то странно и покачала головой. Заместитель гаулейтера в тот вечер впервые пригласил меня к себе в кабинет, угостил французским коньяком и вручил конверт с деньгами. Потом, после каждого урока, я шел с ним в кабинет, и мы надирались коньяком или его любимой сливовицей. Это был несчастный человек. Очень одинокий. Еще более одинокий, чем я. А потом русские подошли к Бреслау. Когда уже запахло жареным, я вместе со всеми, кто мог убежать, унес ноги на запад. И так попал в Дрезден. Во-первых, он рядом с Бреслау, а во-вторых, я всегда

хотел здесь поселиться. Из-за музеев, из-за здешнего оркестра и из-за того, что Дрезден рядом с Бреслау. Как видишь, моя мечта сбылась. Теперь я живу здесь. В этом уютном склепе. Жаль только, музеев уже нет, а оркестранты разбежались или поумирали. Но кладбища Бреслау так и остались неподалеку...

Он умолк.

— Я утомил тебя своими разговорами? Спишь? — спросил он, осторожно торгая ее за плечо. — Передай мне, пожалуйста, бутылку. У меня в горле пересохло от разговоров.

Она повернулась к нему лицом. Молча запустила пальцы в его волосы.

— Я так рада, что встретила тебя, — прошептала она и легко коснулась губами его щеки.

Потом поднесла бутылку к губам и жадно отхлебнула. Поперхнулась. Закашлялась, разбрызгивая жидкость по его лицу и волосам и хватая ртом воздух.

— Боже мой, что такое ты мне дал?! — закричала она.

— Настоящую югославскую сливовицу. Я хранил эту бутылку для особого случая. Мне показалось, сегодня как раз такой случай, и я хотел...

— Хоть бы предупредил меня. Я думала, что это... вода, — прервала она его на полуслове. — Я еще никогда не пила водку...

— Как же ты жила в этом аду без водки? — невесело усмехнулся он.

Широко раскрыв рот, она пыталась отдышаться. Жжение постепенно проходило. Она успокоилась. Он исчез за стеной из гробов, а вскоре вернулся и протянул ей металлическую кружку с водой. Вода воняла бензином.

— Я держу воду в канистрах из-под бензина. Да ты не бойся, это чистая вода. Прополощи рот...

— У тебя здесь все есть, — улыбнулась она. — Сколько ты уже живешь тут?

— Восемь месяцев. Перезнакомился со всеми черепами. Самым любимым дал имена...

— У тебя еще осталась водка? И какая-нибудь бутылка? — вдруг спросила она.

— Почему ты спрашиваешь?

— На Зайдницерштрассе я встретила маленькую девочку. У нее оторвало пальцы на руке. Ее дедушка просил у меня...

— Дедушка с обручальным кольцом из довоенного золота? — перебил он.

— Да. Откуда ты знаешь?! — воскликнула она удивленно.

— Я вчера отнес ему и бинт, и водку. Он дал мне за них обручальное кольцо. Действительно довоенное. Из довоенной ржавой железки. Через час я вернулся к нему с сухарями. С целой порцией отличных, твердых, как сталь, сухарей. Это был мой ужин. Дедушка уже был вдребезги пьян. А девочка сидела рядом и тряслась от холода. У нее не хватает пальцев с рождения. Какое-то врожденное уродство. Она говорит все, что велит дедушка. И это не врожденное. Благоприобретенная реакция на страх. Дед просто избивает ее, если она не сообщает первому встречному о своих семи пальцах. Она сама мне это сказала. К тому же пальцев у нее восемь. Это дедушка велел ей говорить, что их у нее только семь. Этот сукин сын морфинист и алкоголик...

Она потрясенно слушала его. Он мог быть одновременно и тонким, и до цинизма рассудочным. Она же была наивна и неисправимо чувствительна. Когда в Дрезден в течение нескольких недель бесконечной толпой шли беженцы с востока, она ходила по улицам и раздавала им все, что только могла найти в своем подвале. Потом, когда подвал опустел, она стала выходить в город только тогда, когда это было действительно необходимо. И каждый раз, когда ей встречался нищий, которого она ничем не могла одарить, ее мучила совесть. Ей и в голову не приходило, что попрошайка может быть мошенником.

Она чувствовала себя странно. Выпитое подействовало. Ей стало легче, пришли умиротворение и неведомая прежде истома. Улегшись на шинель спиной к парню, она поджала ноги и закрыла глаза. А он нежно гладил ее по волосам. Давно она не чувствовала себя так покойно. Именно покойно. Еще несколько дней тому назад она не смогла бы назвать это состояние таким словом. Без страха, без мыслей о том, что произойдет через пятнадцать минут, без воспоминаний о прошлом и, самое главное, без страха перед будущим.

Он осторожно прикоснулся к ее голове и рассказывал.

О том, как ему не хватает книг, о том, что война когда-нибудь закончится, что его сестра была похожа на нее — такая же красивая, и что ему хотелось бы когда-нибудь поехать к морю, а еще о том, что он давно не видел таких глаз, как у нее, и что если бы не музыка, то все давно потеряло бы для него смысл. Что когда умирал от страха в этой могиле, он брал скрипку, гасил свечи и играл в темноте. И тогда все переставало существовать, а взрывы бомб становились похожи на аккомпанемент каких-то огромных, жутко звучащих колдовских бубнов, который лучше всего подходит для музыки Шопена, Шумана, Бетховена или Малера. Но ни в коем случае не для Вивальди и Моцарта. И что, когда бомбежка

прекращалась, а он продолжал играть, ему даже не хватало этого аккомпанемента. И что все это, каждый отдельно взятый звук, он прекрасно запомнил и когда-нибудь, когда эта проклятая война наконец закончится, воспроизведет по памяти, переложит на ноты и создаст такую симфонию, что охваченным паникой людям захочется убежать из концертного зала в бомбоубежище. И эту симфонию будут исполнять каждый день, везде, где только можно, чтобы никто никогда не забыл...

Он кончиками пальцев массировал ей шею и рассказывал.

О том, что у них украли молодость, отняли право быть беззаботными и совершать ошибки, лишили наивного юношеского энтузиазма и восхищения миром. Им приказали ненавидеть одних и безусловно поклоняться другим, им следовало и взрослеть по приказу, и по приказу же убивать. А если понадобится, то и самим с честью погибнуть, поскольку «нет большего счастья, чем принести себя в жертву народу и государству». Им рассказывали сходу придуманные легенды об «окопном единении, в котором дружба и братство преодолевают любые социальные различия». Многие из его друзей в это действительно верили, а может, верят и по сей день.

Молодость им уже никто не вернет, потому что, даже если через пять минут война каким-то необъяснимым, мистическим образом закончится, он, несмотря на свои двадцать восемь и неплохую физическую форму, будет психически немощным, дряхлым стариком, который все в жизни повидал и испытал. И то, что за последние годы ему довелось увидеть, не оставляет ему надежд. Более всего именно это, то, что у них украли надежду. Хотя на самом деле они еще легко отделались. У других отняли даже детство.

Он прижимался к ней и рассказывал.

О том, что хотел бы не смыкать глаз от волнения ночью перед первым свиданием, принести ей букетик фиалок, пойти вместе на прогулку в парк, прикоснуться — совершенно случайно — к ее руке в темном зале кинотеатра, захотеть поцеловать ее, когда будет провожать домой, смириться с тем, что она ему этого пока еще не позволила, а потом радоваться этому и скучать по ней — уже через пять минут после того, как она исчезнет за дверью своего дома. И с нетерпением ждать завтрашнего дня, писать ей любовные письма и чудесные глупые стихи. Ведь право на любовь у них тоже украли. Не говоря уже о том, что «завтра» им никто не гарантирует. Поэтому нужно жить сегодня и сейчас, в эту минуту, здесь.

Он целовал ее глаза, щеки и рассказывал.

О том, что ему хочется сейчас, в это мгновение, раздеть ее, и что

желание это в нем очень сильно. Раздеть донага. Что, хотя в это трудно поверить, он никогда еще не видел, кроме как в мечтах и на дурацких фотографиях, голую женщину. А еще ему хочется прикоснуться к ней. И запомнить все, что при этом случится. И если она ему это позволит, как только закончится война, он обо всем забудет, повернет время вспять, будет добиваться ее, не сможет заснуть перед их первым свиданием, принесет ей цветы, а вместо стихотворения напишет для нее сонату. И она не разрешит ему вечером, у дверей своего дома, поцеловать себя, а он, несмотря на это или именно поэтому, будет радоваться каждому следующему дню. И сделает все, чтобы ее соблазнить. Потому что ему очень хочется ее соблазнить. Честно говоря, ему больше всего хочется сделать это прямо сейчас. Он говорил еще о том, что ему хочется целовать ее груди, спину, бедра, живот и ягодицы и что он осмеливается просить ее — в этой совершенно исключительной ситуации — позволить ему повернуть ход истории вспять.

Он раздел ее и уже больше ничего не рассказывал.

Это она рассказывала. Своими мыслями, своим молчанием. Сама себе объясняла, что сейчас происходит. Что она — хотя наверняка нужно было бы — абсолютно, нисколько не стыдится, что, может быть, это отчасти из-за водки, но, скорее всего, все-таки из-за его слов и этого неодолимого чувства «здесь, сейчас, пока не наступило завтра, пока мы еще живы», что это не должно было происходить так, что этот ее первый раз, даже если должен был случиться, то уж никак не здесь, рядом с гробами и черепами, в присутствии смерти. О том, что в любом случае нет и не может быть другого места, потому что смерть повсюду. Потому что, кроме всего прочего, у них отняли и право выбрать место и время. И что теперь, в этот момент, ей очень хорошо, когда он прикасается губами и выдыхает теплый воздух в ямочку на ее теле между спиной и ягодицами, что ей хотелось бы, чтобы он еще сильнее кусал ее губы, до крови. О том, что она не понимает, почему он предпочитает целовать ее правую грудь, а ей хочется, чтобы он целовал левую. О том, что когда она ощутила его губы и язык у себя между бедер, ей захотелось смеяться, потому что его волосы щекотали ей низ живота. А еще о том, что она не представляет, как это непривычное нечто, которое сейчас с трудом помещается у нее во рту, может уместиться в ней. В какой-то момент она перестала рассказывать и застыла в напряжении и страхе, закрыв глаза, широко разведя в стороны бедра и крепко стиснув зубы. И тут же почувствовала на лице прикосновение его пальцев. Он укутал ее свитером и прошептал ее имя.

Он целовал ей ладони и рассказывал.

О том, что у нее прелестная родинка на левой ягодице и что мысль о том, чтобы повернуть время вспять, — это глупое мальчишество и наглость. Такое бывает только в сказках. И что, хотя он очень любит сказки, все равно никогда в них не верил. И что хотел бы встретить ее когда-нибудь после войны — когда мир придет в себя, а ее будут окружать другие мужчины. И тогда, несмотря на их присутствие, вернее, именно в их присутствии, не упустить свой шанс. Или узнать, что у него нет никаких шансов.

Она дрожала. Не помнила точно, от страха, от холода или от возбуждения. Он одел ее. Опираясь на локти, она растроганно смотрела, как старательно он завязывал ей шнурки на ботинках. В последний раз это делал отец, когда они впервые поехали кататься на лыжах в Австрию. Он тоже завязывал ей шнурки двойным бантиком.

— Что случилось с твоими родителями? — спросила она шепотом.

Он справился с ее ботинками, поднял голову и, глядя ей в глаза, сказал:

— Мама сошла с ума после несчастья с сестрой, а папа не выдержал всего этого и вскрыл себе вены. Мама умерла сама. От голода. Однажды она просто перестала есть...

Он подошел к одному из гробов, снял с него череп со свечами, торчавшими из глазниц, поднял крышку и вытащил длинный рваный тулуп. Укутал ее, придвинул ее чемодан к шинели, на которой она лежала, поставил на него череп со свечами и, улыбаясь, сказал:

— По вечерам здесь бывает так же холодно, как под Сталинградом. Ты тут поваляйся на солнышке — да что я говорю, на двух солнышках, — а я приготовлю нам ужин. У нас есть сухари на закуску, сухари в качестве главного блюда и роскошный десерт из сухарей. Из напитков имеется отличная югославская сливовица в бутылке из-под лимонада и родниковая вода из канистры. У нас нет рюмок, нет фарфора и скатерти тоже нет, но зато все будет романтично, при свечах.

Она рассмеялась. Искренне, от души. Он исчез где-то в закоулках склепа, а она вглядывалась в огонь свечей. Точно таких же, как в тот вечер, когда она была с родителями на море...

Один из отпусков они провели втроем на Сильте. Незадолго до войны. Отец уверял, что Сильт, маленький остров странной формы, — это немецкая ярмарка тщеславия и что такие места необходимо повидать. Но только раз в жизни, чтобы никогда больше не захотелось туда вернуться. Денег на гостиницу у них не было. Ночевали в палатке, на завтрак покупали булочки у пекаря, а перед закатом варили суп с мясом или

колбасой на огне спиртовки. Иногда по вечерам они прогуливались по аллеям, вдоль которых стояли роскошные гостиницы. Ярко освещенные холлы были полны мужчин в строгих костюмах и полуобнаженных женщин в вечерних платьях. Станный, искусственный, как украшения этих женщин, мир, который был для них недоступен. Отец презирал этот мир. Не из зависти и не потому, что был беден и не мог стать его частью, а главным образом оттого, что в последнее время все в Германии стремились этому миру принадлежать. Вечерний Сильт с его блестящими отелями и их лощеными постояльцами был своего рода резервацией для немецкой элиты. Коричневой, гитлеровской, аристократической, купчески богатой и по определению всецело преданной власти. Со всеми этими графинями, дорогими проститутками, желавшими стать графинями, с офицерами, которые воображали, что своими регалиями они возбуждают и тех и других, с торговцами из Берлина, Мюнхена, Дрездена, Кельна или Нюрнберга, которым казалось, что, выпив пару коктейлей в изысканном обществе в холле гостиницы на острове Сильт, они обзаводятся новыми связями и получают пропуск в высшее общество. Сильт потерял свое доброе имя, а то, что происходило в холлах и спальнях его отелей, было любимой темой бульварной прессы, контролируемой Геббельсом. Поэтому на Сильте следовало побывать хоть раз. Чтобы все это увидеть собственными глазами. И возненавидеть раз и навсегда.

Однажды, после прогулки, они вернулись на пляж. Уселись на берегу моря, и отец сделал огромный торт из песка. Положил на него сверху пятнадцать ракушек, а в каждую вставил зажженную свечу. Потом обнял дочь и прошептал ей на ухо, что она самое большое его сокровище и что, благодаря ей и маме, которая ее ему подарила, он прожил самые важные и самые прекрасные пятнадцать лет своей жизни. Он просил простить его за то, что этот торт всего лишь из песка. Затем подал знак маме, и она поставила перед дочерью большой пакет, перевязанный лентой. Родители смотрели, как нетерпеливо она разрывает бумагу. Она радостно вскрикнула. Отец сказал:

— Я надеюсь, что этот фотоаппарат сможет увидеть мир твоими глазами...

Потом, на этом пляже, она сидела между матерью и отцом, взглядывалась в пламя свечи и изо всех сил старалась не расплакаться.

— Почему ты плачешь? И к тому же без меня? — вдруг услышала она его голос. — Я бы тоже поплакал...

Она поспешно вытерла слезы.

— Я не плачу. Просто глаза слезятся. Меня эти два солнца просто... ослепили. Почему тебя так долго не было? — спросила она, стараясь скрыть замешательство. — Я теперь плачу, только когда тебя слишком долго нет.

— Я готовил еду, — ответил он, поставив перед ней поцарапанную от постоянного использования алюминиевую тарелку раскрошившихся сухарей. По обе стороны от нее он положил две салфетки, неумело вырезанные из марли.

— Передай мне, пожалуйста, бутылку с водкой, — попросила она. — Мне очень хочется перестать плакать. Очень. А ты мне не даешь. Моя бабушка Марта, когда у нас закончились сначала обычные салфетки, а потом белая туалетная бумага, вырезала их из своих писем дедушке. А вот из марли не додумалась. Откуда ты, парень, взялся? Ну откуда? Почему ты такой хороший? — допытывалась она, выбираясь из тулупа. Подползла к нему на коленях и начала разматывать бинты у него на голове.

Стоя перед ним, она медленно сворачивала серый, заскорузлый от засохшей крови бинт. Он смотрел ей в глаза и улыбался. Временами закусывал губы, когда она осторожно отделяла присохшую марлю от кожи. Правую сторону лба, от брови до волос, пересекали крест-накрест две кровоточащие раны. Она взяла обе салфетки, смочила их в кружке с водой и начала осторожно обмывать раны. Закончив, поцеловала в лоб и прижалась к нему.

— А теперь налей мне водки, пожалуйста... — прошептала ему на ухо.

Закрыла глаза и выпила несколько глотков. Потом отдала ему бутылку и уселась у тарелки с сухарями. Он подошел к проволочной подставке и зажег все свечи. Они сидели лицом к лицу и грызли сухари, притворяясь, будто наслаждаются великолепным ужином. Он вытягивался перед ней, как официант, с изысканным поклоном подливал ей воду в металлическую кружку, а она капризничала, мол, это вино ей не по вкусу. Тогда он доставал коричневую бутылку и добавлял несколько капель сливовицы в воду, а она поднимала кружку к носу и восхищалась изысканным букетом. Потом они смаковали десерт, любуясь в колеблющемся свете «утонченной красотой немецкого сухаря».

Она сладострастно облизывала языком губы, строила ему глазки, игривым жестом отбрасывала волосы со лба, притворялась, будто кокетливо наносит на губы красную помаду и напоминала ему, что уже пора, ожидая, чтобы он, якобы ненароком, наклонился за словно случайно упавшей салфеткой. И, поднимая, невзначай коснулся ладонью ее колена под столом. После его прикосновения, она, поднося ко рту клубнику или

малину, на мгновение покраснеет и сбросит туфлю с ноги. И под надежно прикрытым белой скатертью столом дотянется ногой до его ширинки. А он будет невозмутимо озиаться по сторонам, поправляя на себе бабочку или галстук, а может, расстегивая пуговицы пиджака или смокинга. А потом, онемев и захмелев от того, что происходит, он наклонится к ней так низко, как только можно, и начнет нежно массировать ладонями ее ногу. Предварительно разорвав и стянув с нее чулок. А она, чтобы отвлечь внимание окружающих, протянет руку — со скучающей миной на вспыхнувшем лице — за очередной клубникой или кусочком шарлотки, аккуратно положит на блюде, сдобрив взбитыми сливками, и с самым невинным и доброжелательным видом, на какой только способна, улыбнется пожилой даме в ужасном парике и с тонной золота на шее. А затем, удобно опершись о плюшевую обивку стула, с притворным смущением и непосредственностью, свойственной молодости, намеренно не вытрет следы белых сливок со своих губ и снова поднимет под столом ногу, чтобы опять положить свою голую ступню ему между ног.

— Марта, какие книги ты читала? — спросил он с улыбкой, поглаживая ее ногу.

— В основном классику, больше всего мне нравится русская, и я уверена, что читала ее куда внимательнее, чем ты. Женщины читают в основном между строк, — ответила она. — Мужчины так не умеют.

А потом вдруг попросила, чтобы он что-нибудь сыграл.

— После десерта, но до того, как нам подадут сырное блюдо с виноградом, — добавила она с улыбкой.

Он молча встал. Медленно подошел к чему-то, напоминавшему небольшой алтарь. На осколке мраморной надгробной плиты, опиравшейся на две деревянные колоды, лежали скрипка и смычок. Он взял их и начал играть. Она видела только его силуэт. В темноте невозможно было различить его лицо — лишь движения руки, когда он вместе со скрипкой резко наклонялся вперед и на мгновение становился видимым в мерцании свечей. Она подошла к подсвечнику. Села на землю. Ей хотелось, чтобы он видел ее. Он должен был ее видеть! Должен был явственно видеть, что с ней сейчас происходит! Кусая пальцы, она вглядывалась туда, где он стоял, и слушала. И это было самым главным. Словно в каком-то странном сне, здесь, в склепе, в подземелье несуществующего Дрездена, он играл для нее скрипичный концерт. Сейчас это было важнее всего. Только это. Эта музыка, это упоение и волнение, которое она испытывала. У них можно забрать молодость, украсть свободу, можно приказать им повзрослеть раньше срока и по приказу же умереть, но самое главное —

переживания — у них никому не отнять. Потому что никто, к счастью, не знает, где и по какой причине самое главное должно случиться. А сейчас как раз оно и случилось.

Не прекращая играть, он медленно приблизился к ней. Она узнала один из венских вальсов Штрауса. Встала. Обняла его, а потом они закружились в танце. Свечной воск падал на волосы. Он продолжал играть. Они танцевали, прижавшись друг к другу, и ей казалось, будто она присутствует на своем первом балу. Все кружилось перед нею. И черепа, и гробы, и пламя свечей, и его лицо, и скрипка. Когда вдруг наступила тишина и капли пота, выступившие у него на лбу, смешались у них на губах с ее слезами, она поклонилась ему и осмотрелась вокруг, словно высматривая лица своих родителей и бабушки...

— Все будет хорошо, — прошептал он, — все будет хорошо, вот увидишь...

Подав ей руку и подвел к шинели. Склонившись, поцеловал ее ладонь.

Она улеглась. Он накрыл ее тулупом, вернулся к люстре и задул свечи. Прежде чем лечь рядом тщательно укутал тулупом ее ступни. Она расстегнула лифчик, взяла его ладони в свои и засунула их себе под свитер. Через минуту они заснули...

Дрезден, Германия, утро, пятница, 16 февраля 1945 года

Она почувствовала прикосновение на своей щеке. Открыла глаза.

— У тебя на лице следы прошедшей ночи, — сказал он с улыбкой. — Я хотел снять кусочки воска с твоей кожи. Разбудил? Извини.

— Да. Разбудил. И почему-то не поцелуем, — ответила она. — Дай, пожалуйста, воды. Кажется, у меня похмелье. — Она лениво потянулась. — К слову сказать, после нашей последней ночи у меня остались и другие следы. Если бы ты дал мне сейчас сигарету, было бы чудесно...

— У меня нет сигарет. Я не курю с того самого момента, как началась война. Не хотел еще и от этого зависеть. Хватит того, что пью. И потом, у нас нет на завтрак булочек. Пекарня на углу сегодня оказалась закрыта. Главным образом потому, что угла уже нет...

Она улыбнулась. Ей очень нравилась его ирония. Она тоже пыталась стать ироничной. Но не ради позы. Ей нравилась ирония, которая подчеркивает, что все не так, как должно быть. Его ирония была совершенной. Одним предложением, а иногда и одним словом, он мог рассказать историю, на которую Гиннер, например, потратил бы минут пятнадцать. Что нравилось ей в мужчинах? Интеллигентность, ум, смелость, умение слушать, красивые руки и еще — ей самой это казалось странным — красивые ягодичы. Ирония и сарказм долгое время в этот перечень не входили. Но с тех пор, как мир вокруг нее ожесточился, обезумел, запаршивел, нравственно опустился, а подлость и презрение к окружающим бурным потоком полились из него, как из сточной канавы, как наступила последняя, самая страшная стадия агонии, покрывшая мир коричневым, смрадным нацистским дерьмом и, как она выражалась, «гитлеризировавшая» его, — тогда сарказм стал прекрасным, во всяком случае для нее, способом образно и зло выразить свой протест против абсурда, лицемерия, безнадежности и бессмысленности происходящего. Он мог быть замечательно саркастичен, и у него были замечательные руки.

— Плохо ты старался. Можно было прогуляться за угол, на соседнюю улицу, — заметила она, делая вид, что разочарована.

— Ты не поверишь, но я прогулялся. Просто сейчас в Дрездене нет улиц, Марта. И углов тоже нет...

— А что вообще есть? — спросила она, поднимая голову и с

беспокойством вглядываясь в его глаза.

— Что есть? — Он замолчал, почесывая пальцем нос, как делал ее отец, когда о чем-то глубоко задумывался. — Не знаю, как это правильно назвать. Ты выгребала когда-нибудь совком пепел из печки?

— Очень часто. На Грюнерштрассе у нас были только изразцовые печи.

— Ты помнишь, как выглядела при этом топка? А то, что ты высыпала в ведро? Помнишь, как в пепле иногда попадались тлеющие кусочки угля?

— Помню. А что?

— Именно так выглядит сейчас Дрезден. Разница лишь в том, что здесь гораздо холоднее, а поверх пепла выпал снег.

— Хм, и к тому же в пекарне не было булочек, — произнесла она, протягивая ему руку. — Нам действительно не везет...

Он помог ей встать. Она взяла с тарелки крошки и отправила в рот — бабушка Марта всегда повторяла, что из дома нельзя выходить натошак. Потом она надела плащ и встала рядом с ним.

— У тебя есть какие-нибудь планы на сегодня? — спросил он.

— Я хотела бы найти свою мать, — ответила она.

— А откуда мы могли бы начать поиски? — спросил он удивленно, повернулся к ней спиной и пошел к выходу из склепа.

— В морге. Где-нибудь рядом с Анненкирхе... — ответила она, пытаясь сохранять хладнокровие.

Он подбежал к ней, схватил за плечи и встряхнул. Она почувствовала его дыхание и брызги слюны на щеках.

— Не говори со мной так! — выкрикнул он. — Слышишь?! Никогда больше не говори со мной так! Можешь при мне предаваться отчаянию. Слышишь?! Можешь при мне плакать и страдать. Почему ты считаешь, что я этого не пойму?!

Она смотрела ему в глаза, не зная, что ответить.

— У тебя своя боль, а у меня своя, — прошептала она, пораженная его реакцией. — Я не хотела... Мне казалось, я не имею права, я сказала просто так... неважно. Я знаю, со вчерашней ночи точно знаю, что ты понял бы все, но я не хотела, чтобы все получилось так, как тогда, с той доской, я не хотела опять...

Он обнял ее и поцеловал в волосы.

— Я не знаю, как долго мы будем вместе, но когда в следующий раз тебе что-нибудь покажется, просто представь себе, что ты ошибаешься. И спроси меня, что я об этом думаю. Некоторые мужчины, в виде исключения, тоже иногда думают. Хорошо?

— Трудно в это поверить, — ответила она, облизывая языком его ухо, — но для тебя, исключительный мужчина, я сделаю исключительное исключение. Ведь ты простишь меня? А когда простишь, сделаешь для меня кое-что?

— Сделаю...

— Ты возьмешь свою скрипку и встанешь поближе к свечкам. Как вчера ночью. И сыграешь предпоследний фрагмент. Тот, что был до Штрауса. Когда у меня мурашки бегали по телу.

— Ты не узнала, что это? — спросил он оживленно. — Это Мендельсон-Бартольди, скрипичный концерт ми-минор, опус 64. Это тема моего диплома в Бреслау. Тогда еще можно было им заниматься, но уже нельзя было исполнять его музыку. Во всяком случае, публично. За еврейское происхождение коричневые вычеркнули его из списка немецких композиторов и дискредитировали как человека. В 1934-м, на концерте для молодежи в каком-то городке под Берлином, дирижер местного оркестра исполнил мендельсоновский «Сон в летнюю ночь», и его на следующий же день уволили. Обвинили в преступном намерении «отравить чистые души немецкой молодежи». А когда английский оркестр, посетивший Лейпциг в 1936-м, выразил желание возложить цветы к памятнику Мендельсону, этот памятник чудесным образом исчез накануне ночью. Хотя Мендельсон был евреем только наполовину, по отцу.

— Послушай меня внимательно, — шептала она ему на ухо, поглаживая по голове, — не умничай, я понятия не имею о том, что такое ми-минор, и мне плевать на какой-то опус. Мендельсон, если это и правда он, ассоциируется у меня исключительно со свадьбой. И это все. То есть почти все. Вчера, когда ты играл его музыку, я впала в нирвану, побывала на небесах и увидела там прекрасные картины. На одной из них был ты. Здесь, в нашем доме, то есть в твоём склепе. Ты был на небе и играл там свой ми-минор с опусом, а из глазниц черепов текли слезы. Такое человек может увидеть только раз в жизни. Но я хочу это повторить...

— Что повторить?

— Как что?! Эту картину. Это мгновение...

— О чем ты говоришь?

— Ты сыграешь это сейчас, еще раз? Встань туда, где стоял вчера!

— Марта, что ты имеешь в виду? — не понял он.

— Так ты сыграешь или нет?! — крикнула она.

— Ну, хорошо. Сыграю. Я могу играть это бесконечно. Но почему именно сейчас?

— Не спрашивай меня, встань туда, туда, где стоял вчера, и играй. Там

сейчас прекрасное освещение. Такие замечательные, насыщенные полутона. Если бы у меня была сигарета, я добавила бы к ним тонкие струйки дыма. Боже, как мне хочется курить!..

Он так и не понял, что она имеет в виду, но не стал расспрашивать. Послушно взял скрипку и начал играть. Она опрометью кинулась к чемодану и вытащила фотоаппарат. Встала за один из гробов, установила камеру на крышку, настроила диафрагму. Ей не хотелось держать аппарат в руках, потому что тогда потребовалось бы большее время выдержки. Она слушала. Сегодня она не чувствовала торжественного упоения. Сейчас это была просто музыка. Прекрасная, необыкновенная, но уже без того волшебства, что несколько часов назад. Ночью музыка звучала совсем иначе. Она вспомнила его слова. Нужно жить здесь, сейчас, в эту минуту. Каждое мгновение неповторимо. Вот и она задерживает мгновения. Она нажала на кнопку. Еще три кадра...

Он закончил играть. Отложил скрипку в сторону и заботливо прикрыл куском картона. Она спрятала фотоаппарат в чемодан.

— Насыщенные полутона, конечно. Теперь я понял. Ты покажешь мне когда-нибудь свои фотографии? — спросил он. — Я очень хочу посмотреть на мир твоими глазами.

— Посмотришь. Я обещаю. А теперь пойдем отсюда...

Они подошли к пробоине в стене, что служила входом. Он заполз в узкий лаз и стал карабкаться вверх. Она внимательно наблюдала за тем, как он это делает. Оказавшись на поверхности, он сбросил ей толстый канат с широким узлом на конце. Она крепко держалась за канат и, упираясь ступнями в стены лаза, метр за метром поднималась вверх. Когда она высунула голову на поверхность, яркий свет ослепил ее. Она выпустила из рук канат и чуть не полетела обратно. В последний момент он успел схватить ее за руку и резко выдернул наружу. Она упала. Почувствовала на лице холодный снег. Не открывая глаз, попыталась встать. Вспомнились слова матери: «Надень ему повязку, прежде чем он выйдет наружу. Поняла? Прежде чем он выйдет из клетки! Иначе он ослепнет. Повтори, что ты должна сделать!..».

Он помог ей встать. Она осторожно приоткрыла глаза. Он завалил ветками и обломками стены вход в склеп. Тщательно замаскировал его комьями смерзшейся земли. Подал руку, и они пошли вперед. Она не узнавала мест, мимо которых они проходили. Он был прав. Повсюду был лишь пепел, присыпанный снегом.

Они добрались до Ратушной площади. Кройцкирхе сгорела полностью. Санитары в белых халатах с красным крестом на спине и

марлевых повязках на лицах вынимали из грузовиков трупы и складывали длинными рядами. К рукам, ногам, шее, а если ничего этого не было, то к тому, что оставалось, прикрепляли желтые картонные бирки с номерами. Вся площадь была покрыта телами. По примыкавшим к ней улицам шли люди, толкая тачки с мертвыми. Клали их рядом с лежавшими на площади и подходили к молодому офицеру в черном мундире с моноклем в глазу, который прохаживался вдоль узкого прохода между рядами метрвых тел. Он снимал с левой руки и выдавал желтые бирки, и люди возвращались к телам, которые только что сложили на площади. Стояла мертвая тишина, никто между собой не разговаривал. Слышны был только скрип тачек и урчание моторов. Никто не плакал. Через минуту стало ясно, почему. Площадь со всех сторон была оцеплена солдатами. Они сообщали всем, что опознание погибших состоится в воскресенье. Сегодня была пятница. Испуганные люди при виде солдат с автоматами покорно соглашались ждать до воскресенья, когда с половины двенадцатого им позволят опознать брата, мать, отца, мужа или детей. Ровно в одиннадцать тридцать, в воскресенье, 18 февраля 1945 года можно будет начать скорбеть. Раньше нельзя.

«Что же такое случилось? — думала она. — По какой причине, когда и что именно должно было произойти, чтобы мой народ, немцы, позволил себя до такой степени подчинить?! Предписаниям, уставам, распоряжениям, определениям, запретам, постановлениям, правилам, рекомендациям и приказам. Что должно было произойти в тысячелетней истории испускающей сейчас дух Германии, чтобы она так властно поработила человеческие души, умы и поступки. Страх? Безграничная лояльность по отношению к единому вождю, без которого немцы как нация не могут обойтись?»

Последнее было похоже на правду. В школе им твердили, что германцы обязаны своим национальным самосознанием, чувством единения сражению с римским легионом в лесу под Тевтобургом, недалеко от сегодняшнего Оснабрюка. Тогда, почти два тысячелетия назад, через девять лет после рождения Христа, настало время Первого рейха. Германцев объединил и повел к славе и успеху первый «непобедимый фюрер» Герман дер Херускер. Под его водительством они продемонстрировали свое мужество, победили и не поддались «губительной заразе римского декадентства». Теперь, почти два тысячелетия спустя, во времена Гитлера история должна была повториться. Но не повторялась, несмотря на то, что римляне во главе с Муссолини стояли плечо к плечу с германцами. Гитлер часто ссыался на миф о

Германе, называя его «спасителем германцев» и «первым освободителем немцев». В последнее время, не желая задеть Муссолини, он говорил об этом в более завуалированной форме. Но все же говорил. А если, по политическим причинам, молчал, за него кричал об этом Геббельс.

Может, все дело в маниакальной любви немцев к порядку? А может быть, нет никакой причины? И это просто унаследованный от матери Германии врожденный порок. Как восемь пальцев на руках — вместо десяти.

Невысокий толстый солдат в мундире вермахта приподнял автомат, преграждая ей дорогу.

— Если вы, господин офицер, думаете, что я буду дожидаться воскресенья, чтобы попрощаться со своей матерью, то вы сильно ошибаетесь. У вас есть три варианта. Либо вы меня сейчас расстреляете и положите на этой площади с желтой биркой на руке, либо опустите свою пушку и пропустите меня, либо... — она понизила голос.

— Либо что? — выдавил из себя солдат, опуская автомат.

— Я вам скажу, но только на ухо. Не могли бы вы, господин офицер, приподнять свою замечательную каску? — прошептала она, пытаясь кокетливо улыбнуться.

Солдат обернулся. Офицер с моноклем был довольно далеко. Солдат торопливо снял каску и придвинул ухо к ее губам. Она зашептала что-то, медленно поглаживая его бедро.

— Вечером, здесь? — спросил он. — И ты точно придешь?

— Да, вечером, здесь, — подтвердила она.

— У тебя десять минут. Если этот чернобровый со стекляшкой в глазу спросит, скажешь, санитарка. Тебя прислали из крематория в Толкевице.

Она обернулась на своего спутника. Он смотрел на нее с ужасом. Она подошла к нему.

— Ты простишь меня? Я должна была это сделать. Я наврала, потому что до воскресенья все равно не доживу. Ты простишь меня? — прошептала она и, не дожидаясь ответа, быстро пробежала мимо солдата на площадь.

Она медленно двинулась вдоль ряда мертвых тел. Четыре ряда состояли из трупов детей. Она прошла мимо, стараясь не смотреть. И вдруг столкнулась с офицером с моноклем. Он стоял и курил сигарету.

— Откуда?! — крикнул он зычным голосом.

— Из Толкевица, — спокойно ответила она.

— О, начиная с воскресенья, вам придется работать в четыре смены, — ответил он, выпуская дым прямо ей в лицо.

— Не угостите меня сигаретой? — попросила она.

Он посмотрел на нее удивленно.

— Вам что, не дают сигарет? — спросил он. — Или ты уже все выкурила?

Потом сунул руку в карман брюк и достал помятую пачку. Пытаясь унять дрожь в пальцах, она вытащила сигарету. И торопливо пошла дальше. Дойдя до последнего прямоугольника у закопченной стены Кройцкирхе, она была уже уверена, что на этой площади тела ее матери нет. И быстрым шагом вернулась туда, где стоял пропустивший ее солдат.

— Сегодня вечером, не забудь! — крикнул он, когда она проходила мимо.

Парень ждал ее. Она взяла его за руку, и они побежали. Когда на горизонте показались обломки кровли Анненкирхе, она вдруг остановилась. Села на развалины стены. Вытащила сигарету. Жадно затянулась.

— Она умерла, да? — спросил он после минутного молчания.

— Умерла...

— Все равно у нее не будет могилы. В Дрездене уже нет мест на кладбищах. Чего ты, собственно, хочешь? — спросил он.

— Я хочу, чтобы все было по-человечески! Понимаешь, по-человечески. Я не хочу, чтобы ее вытащили из восьмого квадрата в четырнадцатом ряду и сожгли в крематории 5А или 19Б в Толкевице.

— Думаешь, ты почувствуешь себя лучше, если ее закопаешь?!

— Вот именно. Мне будет лучше. Так же, как тебе, когда ты думаешь о Бреслау.

— Неправда! Если бы я не знал, где находятся их могилы, я бы похоронил их на своем кладбище. Там, где я сам захочу. Где-то рядом с собой...

Она потушила сигарету и спрятала окурки в карман пальто. Встала. Они пошли по направлению к церкви. Там было пусто, только ветер гонял пучки соломы и рваную бумагу. Она подошла к алтарю. Рядом с обломком каменной балки, оторвавшейся от кровли и убившей ее мать, она заметила каску с огарком свечи. Она прошла в сторону амвона. Ведущая наверх лестница была покрыта мятыми газетами и окурками. Наверху, рядом с балюстрадой амвона, она узнала ботинок девушки в синем платье. Взглянула на алтарь. От распятия остался лишь небольшой фрагмент — скрещенные ступни Христа. На треснувшей мраморной плите алтаря, прямо у его основания, лежал перепачканный калом, перевернутый вверх дном детский горшок. На цоколе алтаря кое-где виднелись коричнево-

красные полосы засохшей крови. Она вспомнила, как Цейс вытаскивал из кобуры пистолет...

И быстро сбежала вниз.

— Уйдем отсюда! — крикнула она, схватив его за руку, и потащила к выходу из церкви.

Площадей, на которые свозили трупы, было много. Практически любой свободный от развалин клочок земли или мостовой становился чем-то вроде общественного морга. Но совсем рядом с этими страшными местами, смирившись с ними, словно так и должно было быть, постепенно возникала новая жизнь. Мало кто боялся новых налетов. Люди сооружали из камней и обломков стен заборы вокруг тех мест, где когда-то стояли их дома. Отгораживались. Обозначали свою территорию. Некоторым счастливицам удалось раздобыть палатки. Они поставили их, притащили топившиеся углем печки, готовили еду или просто сидели, ожидая наступления завтрашнего дня. Те, кому не повезло, разводили костры и грелись возле них. На немногочисленных улицах, по которым еще можно было проехать, время от времени появлялись военные автомобили, мотоциклы или конные повозки, которые пригнали в Дрезден из соседних деревень. Из военных машин через мегафоны людей призывали не разводить открытый огонь в подвалах домов с газовым оборудованием, грозили суровым наказанием за мародерство и запрещали «под страхом смерти без суда и следствия» оказывать помощь «лицам неарийского происхождения». Но чаще всего выкрикивали пропагандистские лозунги о том, что «никто не одолеет непоколебимую немецкую гордость, и месть будет триумфом Рейха, фюрера и народа».

Она держала его за руку, и они, вместе с другими, ходили от площади к площади. Каждый раз она вытаскивала бирку, полученную от санитаря, когда тот забирал ее мать из церкви, и показывала тому, кто следил или делал вид, что следит, за порядком на таких площадях. Большинство даже не смотрели на бирку. Она тщательно разглядывала бесконечные ряды трупов и возвращалась к нему. Они шли дальше. На очередную площадь.

Когда начало темнеть, они вернулись в свой склеп.

Дрезден, Германия, утро, воскресенье, 25 февраля 1945 года

Вдруг ей показалось, что она слышит звон церковных колоколов. Она вскочила с шинели и стала расталкивать его, пытаясь разбудить.

— Ты слышишь?! — кричала она. — Ты слышишь это?!

— Слышу, — буркнул он, не открывая глаз. — Зовут на службу. Что в этом странного? Сегодня же воскресенье. Ложись. Давай еще немного поспим.

— И ты еще спрашиваешь, что тут странного? Как это что? Опять звонят в колокола, как когда-то, до тринадцатого февраля. Вставай скорее, пойдем туда...

Она подбежала к выходу из склепа и прислушалась. Звонят! Настоящие церковные колокола. В Дрездене! Как когда-то...

За последние десять дней не было ни одного налета. Четверо суток потребовалось, чтобы погасить пожары, вспыхнувшие во время последней бомбардировки. Город, словно оглушенный тишиной, постепенно приходил в себя.

Они выходили на улицу каждый день. То вместе, то поодиночке. Вечером возвращались в склеп. Она больше не искала мать. Однажды вечером, когда он играл для нее очередной концерт, она вдруг поняла, что смирилась с мыслью упокоить мать где-нибудь рядом с собой. Независимо от того, как далеко это будет от Дрездена. Он совершенно прав: могилы близких расположены там, где ты по ним в данный момент тоскуешь.

Теперь, если она кого-то и искала на развалинах Дрездена, то это был Лукас. Она внимательно вглядывалась в лица всех маленьких мальчиков с иссиня-черными волосами. А еще высматривала Маркуса и Гиннера. Иногда приходила к одиноко торчавшей стене на Грюнерштрассе, 18 и, усевшись на пороге, ждала. Это было единственное и самое главное место, кроме Анненкирхе, которое их объединяло. Она надеялась: если только они живы, им тоже захочется сюда прийти. И иногда оставляла на пороге страницы, вырванные из тетради. Назначала в них время и место встречи и сверху прижимала страничку камнем, чтобы не улетела. Но на следующий день всякий раз находила листки на том же самом месте.

Они не просто жили в склепе, они каждый день боролись за

существование. Самое важное было — выжить. Пережить день, продержаться ночь. Не голодая, не умирая от страха, в тепле. Они не голодали. Им было тепло с тех пор, как они раздобыли чугунную угольную печь с длинной трубой, которую вывели в тоннель, служивший входом в склеп. Она редко задумывалась о будущем, которое не умещалось в рамки одного дня. В последний раз она размышляла об этом три дня назад, поздним вечером. Исключительным вечером исключительного дня. Они выпили немного домашнего вина, которое заработали, расчищая от завалов подвал. В последнее время за любую работу в Дрездене платили, главным образом, продуктами, алкоголем или сигаретами. Иногда углем или дровами. Они, в отличие от других, брали еще и книги. Один из гробов в их склепе был полон книг. Он называл его «наш домашний книжный шкаф». Неделью тому назад он полдня проработал на заливке фундамента под новый дом. За работу попросил матрац, постельное белье и одеяло. В тот вечер он вернулся, преисполненный гордости, как пещерный человек, которому удалось добыть мамонта. Прежде чем спуститься вниз, он велел ей закрыть глаза. Положил одеяло и белье на похожую на маленький алтарь тумбочку. Потом подошел к ней, поцеловал в веки и подвел к «алтарю». Она прижалась к нему и поблагодарила. Теперь она будет спать как принцесса. На постельном белье! На настоящем матраце, укутавшись настоящим пуховым одеялом в настоящем пододеяльнике! Таком же, как у бабушки Марты.

Неделю спустя они отметили это событие бутылкой домашнего смородинового вина.

— Сыграй мне, пожалуйста, — попросила она, — что-нибудь особенное, торжественное, какую-нибудь симфонию — в честь одеяла и простыни...

Он взял в руки скрипку. Как всегда, с благоговением. Некоторое время глядел на инструмент, будто видел впервые. Это был необыкновенный взгляд. Иногда он смотрел так и на нее. Потом проводил пальцами по деке, словно заново изучая ее. Как будто ему предстояло сыграть самый главный в жизни концерт. Сначала она услышала его дыхание, потом — звук смычка, скользящего по струне.

Он играл...

Она слушала, не сводя с него глаз. Музыка смолкла, но он продолжал стоять с низко опущенной головой, будто сам удивился, что все закончилось. И молчал. Молчание длилось еще какое-то время, он был не здесь и казался ей в эти минуты недоступным.

— Ты смогла бы рассказать эту музыку? — спросил он, возвращаясь.

— А ты думаешь, музыку можно рассказать?

— Я себе ее постоянно рассказываю. Даже во сне...

— Ты действительно хочешь, чтобы я рассказала? — спросила она. —

То, что только что услышала?

Она закурила. Поджала ноги и положила подбородок на колени.

Она рассказывала...

— Необыкновенный монолог чувств, может быть, диалог... Высокие звуки проникают в сердце, подкрадываются и окутывают его как теплый шарф, как нежность, и проливаются как слезы или капли дождя. А может, это туман... Испытываешь одиночество, когда ты с кем-то, но при этом сам по себе, все вокруг сумрачное, но еще не стемнело, какая-то осенняя серость, предзакатный час, когда еще не зажигают огней, пьют горячий чай, и вечер наводит на все вокруг летаргический сон. Потом неожиданно, с каждой секундой все меняется, становится другим. Страстные чувства вступают в противоречия, слышен шум города, стук колес поездов. Я нахожу себя в этом мире. Мне холодно, но дрожь проходит. Остается тоска и страсть, радость, спонтанность желания, влажные поцелуи, чувственность, торопливое дыхание, стук сердца, двух сердец, вот она и он, темно, поздняя ночь, они бегут и смеются, дождь промочил их одежду и волосы, они куда-то прячутся, слышны гудки поездов, у них мокрые лица, взгляды, вдруг проскакивает искра, прикосновения, страсть, поцелуи, минута, мгновение, мокрые лица, мокрые волосы, мокрые губы, переплетение судеб, путанные мысли и еще более путанные чувства. И мир, пульсирующий жизнью, пробужденный весной, одурманенный маем, все живет, бежит, мчится дальше, а они пребывают здесь и сейчас. Потеряться, ничего при этом не потеряв. Просто целиком и полностью раствориться в этом мгновении...

Она потянулась за следующей сигаретой. Он остановил ее руку.

— Это был Паганини, — сказал он удивленно, — еще никто мне его так не пересказывал. Мне казалось, что музыка, особенно его музыка, начинается там, где слова бессильны. Видимо, я ошибался. Поэтому не кури сейчас, прошу тебя!

— Почему?

— Потому что я хочу кое о чем тебя попросить. Сейчас, сию минуту. Меня словно током дернуло. Ты сделаешь это для меня?

— Не знаю...

— Ты можешь нарядиться для меня в платье? — спросил он. — Я хочу сейчас, в феврале, увидеть, как бы ты могла выглядеть в мае. Мне хочется на какое-то мгновение продлить очарование, — прошептал он.

— Ты с ума сошел... — усмехнулась она, легонько стукнув его смычком по голове.

Она открыла свой чемодан и, копаясь там, наткнулась на листок, вырванный из записной книжки матери. На нем был адрес тети Аннелизе. Она вспомнила слова матери: «В деревне всегда легче пережить такие времена, в деревне нет бомбоубежищ, зато есть молоко...».

— Как далеко от Дрездена до Кельна? — спросила она, надевая белое шелковое платье в зеленый цветочек. — Ты мог бы отвернуться, когда я переодеваюсь. Мы ведь договорились...

На этот раз он не отвернулся. Она не нашла в чемодане подходящих трусиков, лифчик тоже не годился. Комбинации у нее не было. Под это платье она обычно надевала комбинацию. Материал был очень тонкий, почти прозрачный. Она повернулась к нему спиной и разделась догола. И быстро, через голову, натянула платье. Если бы не упругая грудь, платье повисло бы на ней, как на вешалке. Она с радостью отметила, что очень похудела. Встала на цыпочки. К этому платью она всегда надевала обувь на высоком каблуке. И открывала лоб, стягивая волосы в хвост, а мама одалживала ей свою белую сумочку.

— Ты не могла бы сейчас встать поближе к огню? Получатся такие, как ты говоришь, насыщенные полутона... Надеюсь, свет упадет как раз на твою грудь.

Он совершенно не разбирался в полутонах. К тому же она прекрасно поняла, чего он добивается. Мужчины любят глазами. Даже такие благодарные слушатели, как он. На цыпочках, почти как балерина, она подошла к гробу, на котором стояли зажженные свечи. В их свете платье стало совсем прозрачным.

— Как ты догадалась? — спросил он, вглядываясь в нее и нервно облизывая губы.

— Я немного, скажем так, разбираюсь... в фотографии, — ответила она кокетливо.

— Ты просто красавица. Тебя невозможно не желать, — сказал он быстро, протянув руку за бутылкой вина.

Она вернулась и села рядом с ним по-турецки, прикрыв подолом платья колени. Он протянул ей бутылку.

— Так все-таки скажи мне, далеко ли до Кельна? — спросила она, отпивая из бутылки.

— Я постепенно влюбляюсь в тебя, — прошептал он, глядя ей в глаза.

— Это из-за мая, который только что был здесь. В мае все влюбляются, но к ноябрю чаще всего обо всем забывают.

— Знаешь, ты ведь до сих пор так и спросила, как меня зовут. Я для тебя то «парень», то просто «ты».

— Я знаю, парень. Я спрошу тебя об этом, когда... когда ты станешь для меня самым главным. А пока я не хочу больше знать ничьих имен.

Он молча встал и подошел к чугунной печке. Убедился, что жестяная труба находится ровно посередине тоннеля, ведущего в помещение, добавил угля и поставил на печь котелок с водой.

— Помоешь меня сегодня? — спросила она тихо.

«Купание», как они это называли, стало одним из их вечерних ритуалов. Так же, как его скрипичные концерты и ее чтение вслух. Он кипятил воду в котелке, во второй наливал холодную воду. Она ложилась на постель. Сначала он умывал ей лицо, потом раздевал ее и фланелевой тряпкой обтирал все тело. Грудь, живот, ладони. Тряпка никогда не бывала слишком горячей или слишком холодной. Потом она переворачивалась на живот, и он обмывал ей шею, спину, ягодицы, лодыжки, икры и ступни. И наконец медленно целовал ее в то самое волшебное место, в ямочку между спиной и ягодицами. Иногда, после «купания», он осторожно массировал те места на ее теле, где еще оставались синяки. И смазывал их топленым салом. Но больше ни разу не случилось между ними то, что произошло той первой ночью, которую они провели вместе. Даже в разговорах они к этому не возвращались.

Он стоял у печи и ждал, пока нагреется вода.

— Кельн находится примерно в шестистах километрах от нас. Может, чуть меньше. В общем, очень далеко. А почему ты спрашиваешь?

— Потому что я хочу представить тебя своим родственникам. Ты поедешь со мной?

— Туда сейчас не доехать. Разве что как-нибудь пешком... Все идет к тому, что прежде чем мы там окажемся, туда войдут американцы и англичане.

— А здесь, в Дрездене, будут русские. Ты кого предпочитаешь?

— Трудно сказать. С уверенностью могу сказать только, что не русские разбомбили Дрезден. Эту бойню устроили англичане. Американцы просто помогали. В Дрездене живет, то есть жили — до тринадцатого февраля — около трехсот тысяч человек. Еще триста тысяч прибыли сюда за последние месяцы с востока, главным образом из Бреслау. В основном старики, женщины и дети, потому что мужчины на фронте. До тринадцатого февраля Дрезден напоминал мне битком набитый людьми трамвай в час пик. А Черчилль решил развести в этом трамвае костер! За две ночи он сжег на открытом огне десятки тысяч людей. Не знаю точно,

сколько. Пятьдесят?! Восемьдесят?! А может, сто! Тринадцатого и четырнадцатого ночью в моем холодном склепе земляной пол был такой горячий, что я не мог ходить по нему босиком! И в какой-то момент вынужден был выбраться наверх, потому что предпочитал погибнуть от осколка бомбы, нежели свариться заживо. И знаешь, что я увидел на поверхности? Поначалу мне показалось, что я от страха лишился рассудка и у меня начались галлюцинации. Но это не был мираж. Я увидел летящее по воздуху стадо коров! Разница в температуре между Дрезденом и окрестными деревнями была так велика, что возникший в результате этого торнадо, циклон, ураган, не знаю, как это назвать, всосал в себя этих коров и прямо с поля забросил в город⁴. Но и этого Черчиллю было мало. В среду утром, четырнадцатого, у меня закончилась вода. Я шел по тому, что осталось от Дрездена, и в конце концов оказался на берегу Эльбы, запруженном толпами женщин и детей. Я собственными глазами видел, как низко летевшие самолеты расстреливали их, как уток, из бортовых пулеметов. Нет, это не русские разбомбили Дрезден! — добавил он в ярости.

— Это факт. Русские ничего не бомбят. Может, у них самолетов не хватает, а может, просто они так договорились с Черчиллем и Рузвельтом. Второе больше похоже на правду. А ты слышал от беженцев, особенно от женщин, что происходит, когда одичавшие русские солдаты входят в разрушенные города? В твой Бреслау, например?

— Думаешь, американцы и англичане поступают иначе?

— Да, я думаю, американцы другие. У них не было Сталина, не было репрессий и голода. В них нет столько ненависти. Американцы совсем недавно присоединились к этой войне. Их никто никогда не бомбил, никто не расстреливал всех мужчин в деревне, никто не загонял людей, стариков и младенцев, в синагогу или церковь, чтобы потом забаррикадировать двери и заживо сжечь. Их не заставляли копать себе могилы, не ставили потом на колени у края ямы и не убивали. Всех по очереди. Немцы не поступали так с американцами. Но делали это с евреями, поляками, а потом и русскими. Это делали немцы. Поэтому русские имеют право ненавидеть нас так, как они нас ненавидят. Если бы я была русской женщиной или русским солдатом и встретила бы на своем пути тебя, а ты был бы в немецкой шинели, я убила бы тебя. Без малейших угрызений совести. Только потому, что ты был бы похож на немца.

Он молчал и испуганно смотрел на нее. Потом снял котелок с огня и поставил его на землю рядом с печкой. Задул все свечи и лег рядом.

Они не могли заснуть. Она прижалась к нему и положила его руку себе

на грудь.

— Расскажи мне что-нибудь... — прошептала она.

— Грустное можно? — спросил он.

— Можно, но только про любовь. Рассказывай, — попросила она, целуя его ладонь.

— Года два тому назад я влюбился, платонически, в одну брюнетку, — начал он.

— Она красивая? Сколько ей лет? Как ее зовут?

— Красивая? Нет, вовсе нет. Мне вообще нравятся преимущественно блондинки. Но это ты уже знаешь, — прошептал он ей на ухо. — Ее звали Софи, она была твоей ровесницей. Софи Шолль. Ты, наверное, слышала о ней?

— Нет. Не слышала. А почему «звали», почему «была»? — спросила она.

— Потому, что она умерла. Ее гильотинировали. Два года тому назад...

— Как это?! — воскликнула она и даже села. — Как это гильотинировали? Почему?! Дай мне, пожалуйста, сигарету.

Он прикурил две сигареты. Протянул одну ей и начал рассказывать.

— Ровно два года тому назад, день в день, восемнадцатого февраля 1943 года, Софи вместе со своим братом Гансом раздавала студентам листовки у входа в университет Людвига Максимилиана в Мюнхене. С призывами к свержению нацистов. И с протестом против войны. Там, у входа в университет, в феврале сорок третьего! Ты можешь это себе представить?! Весь рейх, несмотря на ряд поражений, готов был наложить в штаны от страха перед гестапо, а они, среди бела дня, раздавали листовки. Их задержал сторож и отвел к ректору университета профессору Вальтеру Вюсту, который, кстати говоря, был специалистом по арийской культуре и высокопоставленным офицером СС. Сотрудники гестапо появились в кабинете ректора уже через пятнадцать минут. Приехали на четырех автомобилях. После двух дней допросов и пыток в главном управлении СС во дворце Виттельсбах в Мюнхене Софи предъявили обвинение. А еще два дня спустя, в полдень двадцать второго февраля 1943 года народный суд вынес Софи и ее брату Гансу законный приговор: смертная казнь. Законный?! Именно. Без права на апелляцию, без адвокатов. И Кристофу Пробсту, который вместе с братом и сестрой Шолль составлял листовки и которого гестапо выследило и доставило на процесс, тоже. Еще через пять часов, ровно в семнадцать ноль-ноль, приговор привели в исполнение. На гильотине.

Он замолчал. Прикурил еще две сигареты.

— У нас осталось немного вина? Принесешь? — попросила она дрожащим голосом.

Он встал, принес зажженную свечу и остатки вина в бутылке.

— Здесь совсем мало, — сказал он, — оставь мне глоточек.

— Откуда ты все это знаешь? Про эту Софи? Откуда, черт побери? Почему я об этом ничего не знаю?

— Эту информацию скрывали от прессы и радио. Это могло плохо отразиться на умонастроениях молодежи. Особенно после событий под Сталинградом. А я знаю об этом от Ральфа. Это мой друг. Он в последнее время жил в Мюнхене. Как и я, он родился в Бреслау, но, когда мы были в старших классах гимназии, его родители переехали сначала в Нюрнберг, а потом в Мюнхен. Он был сокурсником Ганса, брата Софи, по медицинскому факультету. И знал все из первых уст. Мы иногда переписывались. Ральф так и не вступил, хотя рассматривал такую возможность, в «Вайссе Розе». К счастью для себя. А может быть, и для меня. Письма всех членов «Вайссе Розе», которые были под подозрением у гестапо, перлюстрировались.

— А что это за «Вайссе Розе»? — перебила она.

— Была такая организация, «Белая Роза». После казни Шоллей и Пробста она прекратила существование. Оппозиционная к режиму организация, которую Софи основала в Мюнхене. Ральф преклонялся перед этой девушкой. Помнится, однажды он даже прислал мне в письме ее фотографию. Я тоже влюбился, но не в саму Софи, а в ее отвагу. Она восхищала меня...

— У тебя есть эта фотография?! — прервала она его.

— Нет. Когда до меня дошла информация о процессе и казни Шоллей, я сжег все письма от Ральфа. Мне было так страшно, что я даже попросил его какое-то время не писать мне. Иногда мне кажется, что я просто трус... — вздохнул он.

Потом задул свечу и добавил:

— А теперь давай поспим. Рано утром пойду разбирать завалы, я уже договорился. У нас нет ни вина, ни угля, ни свечей. Я не хочу топить печку книгами...

— Даже и не думай. Я никогда этого не позволю! Лучше разрубить и сжечь эти трухлявые гробы, — ответила она, прижимаясь к нему. — Как ты думаешь, Бог часто плачет? — спросила она после минутной паузы.

— Если Бог есть, Он должен плакать постоянно. Рыдать он должен, блядь! Он должен выть и на коленях просить у Софи прощения...

Она помнит, что в ту ночь так и не сомкнула глаз. Ей было тревожно и

грустно. Больше всего она страдала от собственного бессилия. История Софи заставила ее понять, что ничье сопротивление — ни ее самой, ни матери, ни бабушки, ни отца — всем ужасам, зверствам, лицемерию, безумию и извращениям последних лет не имеет абсолютно никакого значения. Оно не выходит за пределы пассивности и тихого примирения с судьбой. И ничего не дает другим людям. Потому что все они, как и те, кто разделял их взгляды, повторяли, что ничего нельзя сделать. Все бессмысленно, никто ничего не заметит, а их слишком мало. Это как укусы пираньи. Маленькой, безобидной рыбки. Безобидной, пока она одна, но смертельно опасной, когда она кусает вместе с тысячами других, выходящих вокруг жертвы. Но для этого одна из пираний должна рискнуть и укубить первой. Чтобы появилась кровь, запах которой тут же привлечет остальных. Софи Шолль, в отличие от нее, не смирилась. Она разгадала этот эффект пираньи и... погибла. Она не побоялась пожертвовать жизнью.

Однако эта жертва ни к чему не привела. Нет, неправда! Ведь даже то, что она сейчас об этом думает, хоть и не особенно, наверное, важный, кое-что значит. Придет время — она верила в это, — и все немцы узнают о Софи, ужаснутся и устыдятся настолько, что назовут ее именем школы, поставят ей памятники. Так и будет. Она верила в это...

Теперь, после того как она узнала о героическом сопротивлении Шоллей, иначе стали выглядеть бесконечно повторявшиеся Геббельсом летом прошлого года сообщения о неудачном покушении на фюрера в его самом засекреченном убежище «Волчье логово». Она помнила, как в конце июля сорок четвертого года только и жила этими сообщениями. Чем чаще и презрительнее Штауффенберга, организатора покушения, называли «подлым предателем народа и фюрера, вероломной гнидой в мундире офицера вермахта», тем больше она им восхищалась. Мать совершенно не разделяла такого восторга. Она считала, что потомок аристократического рода, граф, полковник Клаус фон Штауффенберг — обычный, как она это сформулировала, «путчист». Самовлюбленный эгоцентрист. И уверяла, что Штауффенберг никогда не скрывал своего крайнего шовинизма и восторгался военными успехами рейха. Ему необходимо было являть собой образец преданности нацизму, чтобы в столь молодом возрасте получить звание полковника и право сидеть за одним столом с Гитлером в самом секретном, самом охраняемом бункере — ставке. То, на что отважился граф Штауффенберг и объединившиеся вокруг него офицеры, не было героизмом. Это была обычная, «до обидного провальная» — как выразилась мать — попытка дворцового переворота с целью отстранить от власти теряющего доверие народа Гитлера и заменить его кем-то другим.

Кем-то, кто не обязательно будет лучше, скорее, окажется даже хуже своего предшественника. Потому что это будет новый, еще «голодный» игрок, и он будет стремиться как можно скорее добиться убедительных успехов на пути к «окончательной победе тысячелетнего Рейха». Штауффенберг совсем не герой, считала мать, он точно такой же нацистский преступник, как и Гитлер. Она помнила, как в конце их бурной ссоры на эту тему мать добавила: «Если бы папа был жив, он сказал бы тебе то же самое, только был бы при этом спокойнее и убедительнее».

Она осознала, что была такой же трусихой, как и он. Радость от его подарка, необыкновенное упоение его музыкой, чувство блаженства и удовольствия во время «купания», возбуждение от беседы с ним исчезли без следа. Сейчас она ощущала пустоту и разочарование в самой себе. У нее это всегда вызывало тревогу и страх. И бессонницу.

Она осторожно, не желая его будить, выскользнула из-под одеяла. Босиком подошла к отверстию ведущего в склеп тоннеля. Уселась на землю, прислонившись спиной к еще теплой чугунной печке. Она тосковала по матери. Ей так сильно хотелось, чтобы та была рядом! Она мечтала прижаться к матери и говорить с ней, расспрашивать ее, рассказывать о себе и плакать. Этой бессонной ночью, впервые после смерти матери, она почувствовала себя маленьким осиротевшим ребенком. Беспомощным, забытым, брошенным. Она закрыла глаза, прикурила сигарету. Она не выносила взглядов пустых глазниц этих ужасных черепов. В слабом свете зажженной спички они были похожи на оскальпированных и тщательно освежаванных персонажей рисунков Дюрера. Сейчас они пугали ее даже больше, чем в свете свечей или дневном полумраке склепа. Через несколько минут она вернулась и укрыла его тулупом. Он не спал. Прижал ее к себе и поцеловал в лоб.

— Мы поедем в Кельн. Когда захочешь, — прошептал он ей на ухо.

Какая радость! Церковные колокола. Как когда-то...

Она умылась ледяной водой из таза. Стянула резинкой волосы. Смазала губы топленным салом. Вытащила фотоаппарат. У нее оставались еще три кадра. Сегодняшний день этого стоил...

Колокола звонили не переставая. В какой-то момент она подумала, что этот набат не похож на призыв к молитве. Он звучал скорее как сигнал тревоги. Она взглянула на часы. Без четверти одиннадцать. Колокола били уже более полчаса. Она подошла к нему.

— Вставай. Вставай немедленно! В городе что-то происходит. Мне кажется, что-то случилось...

Он вскочил на ноги. Выпил воды из кружки, стоявшей рядом с тазом. Надел шинель. Они выбрались наружу. Пошли в сторону Ратушной площади. Добрались до гостиницы на Прагерштрассе. Это было единственное здание, которое каким-то чудом пережило бомбардировку почти без повреждений. Они миновали сожженный дотла центральный вокзал. И слышали стук колес проезжавших поездов. Это было для них более чем невероятно. Подумать только, спустя два дня после страшных налетов через Дрезден шли, один за другим, военные эшелоны — на восток. Что за странные обстоятельства заставили американцев и англичан сбрасывать бомбы на детские сады, ясли и больницы и не попадать по железнодорожным путям...

Перед ними были руины «Реннера». До тринадцатого февраля это был самый большой дрезденский универмаг. Ратушная площадь была оцеплена гестапо. Колокола все звонили. Она почувствовала запах бензина. Из военного грузовика до нее донесся усиленный мегафоном хриплый лающий голос: «По распоряжению гауляйтера Дрездена Мартина Мучмана, во избежание вспышки инфекционных заболеваний в городе тела погибших, находящиеся на площади, должны быть кремированы. Всем гражданам в соответствии с распоряжением следует...»

Она не стала слушать дальше. Посмотрела на площадь. На высокую, доходившую до уровня третьего этажа пирамиду тел карабкались солдаты. И поливали ее бензином из канистр. Потом они спустились вниз и быстрым шагом удалились в сторону покрытой сажей стены Кройцкирхе. Среди мужчин, стоявших в шеренге под стеной церкви, она узнала офицера с моноклем. Он наклонился и сигаретой поджег бикфордов шнур, вдоль которого побежали искры. Через мгновение они слышали грохот взрыва, и желто-оранжевая стена пламени заслонила пирамиду.

Они стояли, прижавшись друг к другу. Иногда она отрывала голову от его плеча и поглядывала на площадь. Когда над пирамидой стал подниматься сначала серый, а потом черный дым, она отпустила его и потеряла сознание.

Поздно вечером, перед заходом солнца они вернулись в склеп. Запаковали вещи, какие смогли уместиться в ее чемодане и его брезентовом рюкзаке. Собрали свечи, в два ситцевых мешка сложили снедь, что хранилась в прикрытой соломой и камнями яме наверху, у входа в тоннель, — это был их холодильник. Кусками плотной бумаги обернули бутылки с водкой и вином. Когда они собрались выйти из склепа, была уже полночь.

Лежа рядом без сна, она всегда прислушивалась к звукам,

доносившимся с улицы. И помнила, что больше всего военных эшелонов проходит через город ближе к полуночи.

— Я никогда не забуду это место, — сказал он, оглядывая склеп. — Трудно поверить, но я был здесь счастлив...

Он выбрался сквозь туннель наружу. Вытянул жестяную трубу печки и опустил ее вниз. Потом с помощью толстой веревки вытащил их поклажу. Наконец бросил веревку ей. Они замаскировали вход в тоннель. Как всегда, когда оставляли свое убежище.

Медленным шагом они направились к развалинам вокзала.

Дрезден, Германия, сразу после полуночи, понедельник, 26 февраля 1945 года

Они шли вдоль железнодорожного полотна. Со стороны Байришештрассе вокзал был оцеплен солдатами вермахта и железнодорожниками, поэтому они не решились воспользоваться входом с Винерплатц. Если молодой человек с руками и ногами, в призывном возрасте, без мундира, в городе вызывал только любопытство, то в случае официальной проверки документов он подвергался серьезной опасности.

Они остановились в конце платформы, у небольшой кирпичной будки с зарешеченными окнами, похожей на сторожку. Поблизости был бетонированный колодец. Из крышки колодца торчала длинная оцинкованная труба. Внутри будки горели свечи. Она увидела фигуру солдата. Достала из чемодана две бутылки водки и засунула их в карманы пальто. Потом подошла к открытым настежь дверям. Молодой парень в мундире вздрогнул, когда она вдруг появилась на пороге, и протянул руку к автомату. Она заметила, что его ладонь перебинтована. И замерла на месте.

— Послушай, — начала она, — мы с братом должны быть завтра в Кельне. Наша мать умирает. Понимаешь? Мать!

Солдат быстро подошел к ней.

— Что ты здесь делаешь?! — крикнул он.

— Прошу тебя помочь. Я хочу сама закрыть глаза моей матери. Ты сможешь мне?

Парень какое-то время смотрел на нее, потом затащил в будку и захлопнул дверь.

— Я дам тебе за это водки, — сказала она и поставила две бутылки на подоконник зарешеченного окна.

— Это не так просто, — ответил он, поглядывая на бутылки. — Приходи завтра. Я уточню расписание, потому что сегодня...

— Завтра? Завтра может быть слишком поздно! — прервала она его. — Тебе очень больно? — Она подошла к нему и осторожно прикоснулась к забинтованной руке. — Поменять тебе повязку? — предложила она, заглянув ему в глаза.

Солдат улыбнулся и заглянул в кожаную сумку, висевшую у него на плече. Вытащил оттуда мятый лист бумаги и подошел к свече, стоявшей на небольшом деревянном столике.

— В два часа должен прибыть транспорт до Дортмунда. Они будут заправляться водой. В конце состава несколько пассажирских вагонов. У тебя есть еще водка? — спросил он, оторвав взгляд от бумаги.

— Есть.

— Нужно еще две бутылки.

— Почему две?

— Одна для сторожа на путях и одна для сержанта в вагоне. С сержантом будет потруднее.

— А где эти вагоны остановятся?

— Ближе к Будапештерштрассе.

— Перебинтовать тебе руку? — спросила она с облегчением.

— Нет. Я бы предпочел, чтобы ты перебинтовала мне кое-что другое, — ответил парень и заржал.

— Спасибо, — сказала она и поцеловала его в щеку.

— Подожди, — остановил он ее и протянул ей обрывок бумаги. — Отдашь эту квитанцию вместе с водкой сторожу на путях. Это у нас вместо билета...

Транспорт до Дортмунда появился около трех часов ночи. Сторож оказался лысым мужчиной с огромным пузом. Он сначала внимательно рассмотрел бумажку, потом бутылку водки. Вытащил пробку и осторожно сделал маленький глоток. Потом глоток побольше. И только после этого взял у нее чемодан и подал ей руку.

В пассажирском вагоне, в который они вошли, были сняты перегородки купе. Они шли мимо лежавших на полу солдат. Железнодорожник указал им на свободный закуток у стены в самом конце вагона. Они сели на пол. Парень прижался к ней.

Она чувствовала, как он напряжен. С тех пор как они покинули склеп, он не произнес ни слова. Ей очень хотелось, чтобы поезд наконец тронулся. Ей тоже было страшно.

В вагон вошел эсэсовец. Она видела, как он наступает на ноги спящим солдатам. Вот он заметил их. Остановился. Подошел, взял в руки футляр со скрипкой. Открыл его и некоторое времени благоговейно гладил деку.

— Замечательный инструмент, просто замечательный, — сказал он.

Железнодорожник, следовавший за эсэсовцем, прошептал ему что-то на ухо. Эсэсовец снял шинель и сел на пол. Взял смычок. В этот момент поезд тронулся. Эсэсовец начал играть. Стук колес поезда и музыка слились в одно целое.

— Брух никогда бы не стал это так играть. Никогда! — подал голос парень.

— А как, господин гражданский? — спокойно ответил эсэсовец.

Парень встал. Вырвал смычок из рук эсэсовца.

— Вот так! — воскликнул он.

И заиграл. Эсэсовец сидел на полу. Вокруг сгруппировались проснувшиеся солдаты. Парень продолжал играть в движении, ходил взад-вперед и играл. Когда он закончил, раздались аплодисменты.

— Вот так нужно играть Бруха, господин эсэсовец. Так! И никак иначе, — сказал он, опуская скрипку.

Солдаты засмеялись. Эсэсовец поднялся. Она видела ярость на его лице. Железнодорожник услужливо подал ему шинель.

Она проснулась от холода. Обнаружила, что лежит на полу вагона, прижавшись к парню. Подняла голову и огляделась. Вагон был пуст. Она встала. Подошла к окну. Вдоль насыпи стояли солдаты. Она подошла к чемодану и вытащила фотоаппарат. Остановилась. Он лежал с перевязанной окровавленным бинтом головой на футляре скрипки. Она нажала кнопку затвора. Укутала его шинелью и вышла из вагона.

Зажмурилась от яркого солнца, отражавшегося от белоснежных сугробов. Медленно пошла вдоль поезда, стоявшего у въезда на виадук. Вдали, за виадуком, она увидела очертания зданий какого-то города. Вдруг слышались громкие окрики. Она увидела ряд ухмылявшихся солдат, стоявших у товарного вагона. Солдаты мочились на сугроб под вагоном. Остановилась. Взяла аппарат. Солдаты заметили ее.

— Ближе, фройляйн, ближе! Это всего лишь члены! — слышала она громкий смех.

Отвернулась и пошла обратно. Пузатый железнодорожник крикнул, что поезд отправляется. Подойдя к вагону, она увидела, как он спрыгивает на снег. Без шинели, одетый только в дырявый свитер.

— Привет, Марта, — сказал он с улыбкой, — я сейчас вернусь. В этом поезде нет туалета...

Он пошел по направлению к развесистому дереву у дороги, ведущей к виадуку. Она почувствовала, что замерзла. Поднялась по ступенькам в вагон. Сидевшие на полу солдаты с любопытством рассматривали ее. Она присела к стене. Закурила. Услышала свист локомотива и почувствовала сильный толчок. Поезд тронулся. Она вскочила на ноги и с громким криком бросилась к окну вагона. С трудом опустила раму и высунулась. На дороге у виадука стоял военный вездеход. Возле него эсэсовец объяснял что-то двум солдатам. Парень стоял между ними, опустив голову. Она подбежала к двери вагона, попыталась открыть ее. Дверь была заблокирована. Поезд набирал скорость. Она вернулась к окну и отчаянно закричала.

— Боже, почему?! Боже... Как тебя зовут?! — крикнула она, когда окно, из которого она высунулась, поравнялось с вездеходом у виадука.

Он заметил ее. Попытался подбежать, но солдаты преградили ему дорогу.

— Береги мою скрипку! Я люблю тебя, Марта! Меня зовут...

Стук колес заглушил его голос. Она видела, как эсэсовец заталкивает его в вездеход. Через минуту виадук исчез за поворотом. Она так и стояла, высунув голову из окна. Ее будто парализовало. Сжимала металлическую окантовку опущенного окна и не могла сдвинуться с места. Через какое-то время один из солдат и решительно потребовал:

— Закрой ты, наконец, это окно! Хочешь, чтобы у нас яйца отмерзли?

Она не реагировала. Солдат силой оторвал ее ладони от оконной рамы и захлопнул окно. Отвел ее в конец вагона, где на полу лежал прикрытый шинелью футляр со скрипкой. Она забилась в угол. Вытащила скрипку. Обняла ее, прижала к груди. И заплакала...

Нью-Йорк, Соединенные Штаты, раннее утро, среда, 14 февраля 1945 года

Его разбудил звонок будильника. Он автоматически протянул руку. Что-то стеклянное упало на пол и разбилось. Он нажал на кнопку, приподнялся и сел на краю кровати. Как всегда, когда звонил будильник. Он ставил его на пять минут позже, чем нужно. Чтобы не было повода оставаться в постели. Так приучил их, его и брата, отец. Он на ощупь нашел кнопку лампы. Протер глаза и посмотрел на пол. Осколки стекла в красной луже, растекшейся большим причудливым пятном, край которого уходил под ковер. В луже валялись когда-то белые и сухие, а теперь белорозовые мокрые трусы. Кот Мефистофель осторожно, чтобы не намочить лапы в разлитом вине, обнюхивал черный чулок, лежавший рядом с бюстгальтером. Полный разгром...

Он взглянул на будильник. Три часа ночи. А ведь он заводил его на шесть тридцать. В редакции нужно быть около девяти, он это отлично помнил. Если такое еще раз повторится, придется выкинуть этот будильник. Что за времена, даже будильникам нельзя верить. Вдруг, с другого края кровати, он услышал тихий шепот:

— Стэнли, мне так холодно, согрей меня...

Он обернулся. Голая девушка лежала к нему спиной. Длинные черные волосы рассыпались по подушке. Он на секунду задумался. Дорис? Да, это точно Дорис. Важно никогда не путать их имен. Дорис. По журналистской привычке он постарался восстановить события последнего дня.

Сначала она позвонила и оставила информацию у Лайзы, его секретарши. Потом он ей перезвонил и заслушался ее голосом. Он еще не встречал женщины с таким низким и чувственным голосом. И решил, что обязательно должен ее увидеть, хотя все вопросы мог решить и по телефону. Спустя два часа, сразу после полудня, они встретились в редакции. Когда она вошла, Лайза смерила ее взглядом с головы до ног и усадила на диван в «приемной». На самом деле это была никакая не приемная, а некое специальное местечко: сидящего там посетителя можно было незаметно рассмотреть из офиса любого из шефов, прежде чем приглашать на разговор, а сам он должен был почувствовать себя одиноким и никому не нужным в гудящем улье репортеров, секретарш и журналистов. И стать более покладистым. В редакции это неписаное

правило жестко соблюдалось. Стало чем-то вроде традиции. «Нью-Йорк таймс» славился своими традициями. И все они охотно приходили сюда утром, а иногда даже ночью, и по этой причине тоже.

Потом Лайза позвонила и сообщила, что некая Дорис П. ожидает его «в приемной». По тону секретарши он почувствовал, что Дорис П. ей не понравилась. Это был хороший знак. Очень хороший! Лайзе не нравились женщины, которые хоть чем-то напоминали пассию ее бывшего мужа. А Стэнли довольно хорошо знал бывшего мужа Лайзы и еще лучше, в мельчайших подробностях, знал его пассию. Так что отлично понимал, почему тот сделал именно такой выбор. Поэтому, продолжая разговаривать с Лайзой по телефону, он посмотрел сквозь стеклянную перегородку своего офиса в сторону приемной. Черное пальто Дорис П. лежало на полу у ее ног. Шерстяное оливково-зеленое платье с длинным рядом пуговиц, начинавшимся сразу под декольте, плотно облегло бедра. Дорис П. Была в черных чулках. Она сидела в приемной, закинув ногу на ногу, курила сигарету и читала свои записи. Он положил трубку и протянул руку к нижнему ящику письменного стола. Сбрызнул ладонь одеколоном и провел ею по лицу и волосам. Через минуту телефон зазвонил снова. Это был Мэтью из спортивной редакции.

— Стэнли, если эта крошка не вписывается в твои планы на сегодняшний день, я готов тебя заменить. Исключительно из уважения к тебе. Мы должны помогать друг другу. Только подкинь мне какую-нибудь тему. Меня тоже интересует война, поэтому я вытяну из девушки всё что только пожелаешь. И то, чего не пожелаешь, тоже. А потом отдам тебе материал и ее самое. Почти как новенькую. Честно говоря, старик, я не знал, что ты общаешься с девушками с обложки «Vogue»...

Он встал и с телефоном в руках подошел к стеклу. Мэтью, который прижимался носом к прозрачной перегородке офиса, сразу его заметил. Отошел и, высунув язык, демонстративно облизал губы.

— Спасибо, Мэтью, — сказал он весело в трубку, — я всегда знал, что на тебя можно положиться. Но, представь себе, мисс Дорис П. вполне вписывается в мои планы, и я с удовольствием найду для нее время. Ради тебя, точнее говоря, ради твоей Мэри. Может, сделаешь ей сегодня сюрприз и вернешься домой пораньше? Жены это очень ценят. Вот увидишь, Мэри будет тебе благодарна. Может быть, уже сегодня ночью...

В трубке раздались короткие гудки. Он решил, что «сделает материал» с мисс Дорис П., но где-нибудь не в редакции. Ведь здесь такая суета. Невозможно сосредоточиться. Взглянул в зеркало, втянул живот, в очередной раз подумал, что надо бы похудеть, и вышел. Встал за спинкой

дивана и наклонился, осторожно прикасаясь губами к волосам Дорис П.

— Меня зовут Стэнли, спасибо, что вы решили уделить мне свое драгоценное время. С этой минуты я полностью в вашем распоряжении. Думаю, нам лучше поработать вне редакционной суматохи. Что скажете? — спросил он, приблизив губы к ее уху.

Дорис П. небрежно, не поворачивая головы, протянула ему свою сигарету с запачканным красной губной помадой фильтром. Он затянулся. Тем временем Дорис встала, медленно подняла с пола пальто и небрежно бросила на диван. Поставила на него ногу. Приподняв подол платья так, что стало видно бедро, поправила шов чулка. Затем проделала то же самое с другой ногой. Краем глаза он заметил прилипшего лицом к стеклу Мэтью. Потом она повернулась и протянула ему руку. Он вытащил сигарету изо рта, склонился и галантно поцеловал ей тыльную сторону ладони. На бензоколонке у его отца долго работал один поляк по имени Марек. Тот целовал руки всем женщинам. Многие клиентки приезжали запрашивать именно к ним исключительно из-за «мистера Марека». Стэнли всегда вспоминал об этом, склоняясь к женской ручке.

Потом они поехали на его машине в Гринич Вилледж. Он припарковался возле здания, в подвалах которого размещался популярный джазовый клуб «Вилледж Вэнгард». Они быстро подготовили материал и выпили несколько коктейлей. Потом, когда на небольшой сцене появился саксофонист, пропустили еще по парочке, а после — в такси — она весьма активно помогала искать ключ от его квартиры. Искала везде. С большим энтузиазмом, чем он сам. И в процессе поисков расстегнула ему ширинку. Таксист старался делать вид, что ничего не видит, а Стэнли старался не издавать никаких звуков. Когда они подъехали к его дому на Парк-авеню, у Дорис на щеке виднелись следы его спермы, а он сжимал в руке ключ от квартиры, который, как всегда, нашелся в левом кармане пиджака. Таксист получил щедрые чаевые, молча подмигнул и уехал. Они вошли в лифт и, едва двери закрылись, как Дорис, опустившись на колени, снова расстегнула ему ширинку. Между третьим и четвертым этажами он был всего лишь пенисом у нее во рту. Она нажала на красную кнопку, и лифт резко остановился. Она встала с колен, сняла пальто, сбросила оливковое платье, разорвала лифчик и молча вставила его правую ладонь себе между ног. Он разорвал ей трусики, прижал ее лицом к зеркалу лифта и залюбовался ее ягодицами. Дорис, опираясь одной рукой о зеркало, наклонилась и другой рукой осторожно вставила в себя его пенис. Потом нажала на кнопку, и они поехали вверх. Лифт уже остановился, но Стэнли было не до этого. Потом Дорис подобрала все с пола, выхватила у него

ключ и повела к квартире. Они шли по темному коридору, держась за руки. Она отперла дверь и тут же захлопнула ее. Они оказались в его спальне. Она, голая, уселась на него сверху, а он гладил ее груди. Потом встал на колени, вошел в нее сзади и забыл обо всем. Она опрокинула его спиной на кровать, лифчиком связала ему руки, и он ощутил ее волосы у себя на животе. Он дрожал, ему было замечательно хорошо, и он шептал ее имя. На мгновение приоткрыв глаза, он увидел, что кот Мефистофель, сидя, как обычно, на радиоприемнике, царапает когтями деревянный корпус, глядя на хозяина. Казалось, кот даже покачивал головой, а на морде у него блуждала знакомая ухмылка. И ему подумалось: «Все-таки хорошо, что коты не умеют говорить...»

А теперь вот окончательно сбрендил дурацкий будильник. Сейчас середина ночи, а женщине в его постели холодно. Хотя ему самому очень жарко. «Да! Это точно Дорис», — подумал он и прижался лицом к ее щеке.

— Я тебя согрею... — Он на мгновение замаялся и прошептал, нежно целуя ее в лоб: — Дорис.

— Знаешь, а ты разговариваешь во сне, — сказала она, кладя его руку себе на грудь, — почти так же гладко, как и наяву.

— Нет, не знаю. О чем же я говорил? — испугался он.

Она поднесла его руку к губам и стала целовать ему пальцы. А потом уселась на него сверху, и он снова утратил способность соображать.

— Стэнли, помолчи и выслушай меня. Спокойно. Меня действительно зовут Дорис, ты не ошибся. И ты трахнешь меня через пару минут. Или я тебя трахну. Да, я обязательно тебя трахну, можешь быть уверен. Мужчины становятся совсем другими, когда уверены в этом. Будем считать, что это решено.

Стэнли, ты человек очень впечатлительный. Когда ты во сне начал говорить о Пёрл-Харборе, я встала с постели и ушла на диван, к твоему коту. Мы смотрели на тебя и слушали. А потом я обошла всю твою квартиру, останавливаясь у каждой фотографии, что висят у тебя на стенах. Кот ходил за мной и терся о мои ноги. По этим снимкам я узнала о тебе больше, чем ты сам рассказал о себе вчера, в «Вилледже». То фото... В стенном шкафу... Ты понимаешь, о чем я, да? Оно добило меня. Тебе удалось вытащить на свет божий настоящую квинтэссенцию отчаяния и боли. Я никогда не видела ничего подобного.

Почему ты прячешь ее в нише для чемоданов?! К тому же совершенно пустой, ведь твои чемоданы лежат под кроватью. Ты не хочешь этого видеть? Не можешь? Тебе не хочется смотреть на это, когда ты возвращаешься из офиса и идешь на кухню, в спальню или ванную? Готова

побиться об заклад, что так и есть. Потому что иначе ты плакал бы каждый день, как сегодня плакала я. Я вернулась к тебе и стала осторожно целовать твои веки. Я хотела добраться до твоих глаз, которые сначала заметили это, а потом запечатлели на снимке.

Стэнли, ты необыкновенный мужчина, несмотря на то, что ты храпишь, разговариваешь во сне, слишком быстро кончаешь и путаешься в именах женщин, которые побывали в твоей постели до меня. О Пёрл-Харборе ты рассказывал какой-то Жаклин. Но мне это пока что все равно. Со вчерашнего дня ты просто мой знакомый. И это я тебя соблазнила, а не ты меня. Я отсосала у тебя в такси, потому что мне этого хотелось. Повторила это в лифте, потому что так мне захотелось. А через минуту я сделаю это снова, потому что уже чувствую, как во мне рождается желание. Но ты вовсе не обязан звонить мне после всего этого. Ни сегодня, ни завтра. Нам стоило встретиться уже хотя бы для того, чтобы я узнала, что есть на свете такие глаза, как у тебя.

— А теперь обними меня покрепче, — попросила она.

Он закрыл глаза. Ему было стыдно. Он всегда закрывал глаза, когда ему было стыдно. Или убегал. Как тогда, когда отец застукал его на том, что он крал деньги из кассы. Он стыдился мыслей, что пришли ему в голову минуту назад. Ему было стыдно, что он не мог вспомнить ее имени и что она об этом догадалась. Он мягко прикоснулся губами к ее лбу.

— Дорис, прости меня... — прошептал он ей на ухо.

— Возьми меня прямо сейчас... — ответила она тихо и поцеловала его в глаза.

В этот момент зазвонил телефон. После очередного звонка Дорис выскользнула из его объятий и, сняв трубку, приставила к его уху.

— Стэнли, почему ты не берешь трубку, когда я звоню? — услышал он возбужденный голос. — Не хочешь работать ночью, так устройся почтальоном! Ты работаешь на «Таймс». А на «Таймс» работают круглосуточно. Даже в сортире.

— Я думал, это будильник, — начал оправдываться он, узнав голос Артура, своего босса.

— Выкинь свой будильник к чертовой матери, Стэнли! Или купи новый. Тем более что ты как раз получил прибавку к жалованью, не забыл? Так что на новый будильник должно хватить. А теперь слушай, Стэнли. Ты сидишь? Это конфиденциальная информация, поэтому сядь и сделай так, чтобы какая-нибудь твоя подружка ничего не услышала... Сидишь?

— Сажу.

— Где сидишь?

— На кровати, Артур! А где еще мне сидеть в три тридцать ночи...

— Ты один?

— Нет.

— Она красивая?

— Да.

— Тогда встань и отойди.

— Хорошо.

— Отошел, Стэнли?

— Да, — ответил он, медленно подходя с телефоном в руке к окну, благо шнур у него был очень длинный.

— Она не слышит?

— Да, то есть нет.

— Послушай, Стэнли, Черчилль сошел с ума. Или этот его начальник штаба, Гаррис, не знаю. Они вчера сровняли с землей Дрезден. Непонятно зачем. И втянули в это наших парней. Бомбили именно американцы! Наш информатор из Пентагона все подтвердил. Это черт знает что, Стэнли! Дрезден теперь — это, твою мать, только вокзал, какая-то фабрика по производству фотоаппаратов, музеи, несколько церквей, две сапожные мастерские и толпы беженцев с востока, которые уносят ноги от русских. У меня в руках телекс от Би-би-си. В Дрездене за несколько часов погибло около ста тысяч человек. Там была настоящая бойня, а пламя пожаров, говорят, и сейчас видно за пятьдесят миль от города. Этот английский сукин сын Гаррис — просто чудовище. У тебя есть что-то срочное на завтра, Стэнли? — спросил вдруг Артур.

— События в Азии и на Тихом океане. Сначала в редакции, потом в Вашингтоне...

— Всё, забудь об Азии. Понял?

— Уже забыл.

— А теперь извинись перед своей дамой и одевайся. Внизу тебя ждет машина. Бери фотоаппараты, теплые вещи и спускайся.

— Зачем? — спросил он, выглянув в окно на улицу. Внизу стоял военный автомобиль.

— Ты полетишь в... Бельгию. Водитель отвезет тебя в аэропорт. Сам пока не знаю, в какой. Там тебя перехватят военные, и ты полетишь...

— Что значит «перехватят»?

— Стэнли, ты меня, блядь, не спрашивай. Перехватят, и всё. Прилетишь в Бельгию и оттуда сразу же в Германию. Знаешь, чего мне стоило уговорить придурков из Пентагона организовать для тебя эту экскурсию? Снимешь всё что сможешь. Так, как ты это умеешь. И что-

нибудь напишешь. Если писать будет некогда, мы напишем сами. Не исключено, что после Дрездена мясорубка случится где-нибудь еще. Ты все понял, Стэнли?

— Артур, послушай...

Голос в трубке не дал ему договорить.

— У тебя дома есть цветы?

— Цветы?! Какие, к черту, цветы, Артур?..

— Если есть, надо позаботиться, чтобы их кто-нибудь поливал, потому что ты точно не вернешься раньше, чем через месяц. Скажи водителю, чтобы заехал в «Таймс», и оставь ключи от квартиры в почтовом ящике. Я попрошу Лайзу поливать у тебя цветы. Дам ей за это пару дней отпуска. Оплачиваемого!

— Артур, у меня нет цветов! — засмеялся он, тронутый заботой, — и, пожалуйста, не звони Лайзе среди ночи. У меня нет цветов, зато есть кот.

— Твою мать. Кот? Хм... Значит, у нас проблема посерьезней, Стэнли. Если ты не против, я сам буду приезжать к тебе и кормить его. Только не забудь оставить в ящике ключи.

Он громко рассмеялся. Издатель и главный редактор крупнейшей американской газеты каждый день будет приезжать в его квартиру, чтобы покормить Мефистофеля. В этом был весь Артур. Самое интересное, что он действительно будет появляться тут каждый день.

— Послушай, Артур, с котом все понятно. Расскажи-ка подробнее о Дрездене и об этой поездке, потому что...

— Ничего я тебе не скажу. У водителя для тебя большой конверт. Сам все прочтешь по пути в аэропорт. Ну так что там с твоим котом, Стэнли?

— Ты можешь минутку подождать? — попросил он, прикрывая трубку рукой.

И обернулся в сторону кровати. Дорис полулежала, откинувшись на подушку, и курила. Мефистофель разлегся у нее на животе и мордочкой толкал руку, как только она переставала его гладить. Приглушенный свет настольной лампы сквозь струйки дыма падал ей на грудь. Он подумал, что получилась бы отличная фотография.

— Дорис, — сказал он тихо, — мне придется уехать на время. Ты не позаботишься о Мефистофеле, пока меня не будет? Я просто не успею отвезти его брату. Я бы оставил тебе ключи...

— А можно, я иногда буду спать в твоей постели? — улыбнулась она.

Он подошел и поцеловал ей руку.

— А можно, я составлю тебе компанию, когда вернусь? — спросил он.

Она встала и накинула его рубашку.

— Пойду сделаю тебе бутерброды в дорогу, — сказала она, направляясь на кухню.

Мефистофель прыгнул с кровати и побежал за ней.

Он вернулся к окну. Внизу рядом с автомобилем появился мужчина в военной форме.

— Артур, не беспокойся за кота. Я все уладил. Скоро спущусь...

Трубка молчала.

— Артур, ты меня слышишь?!

— Слышу, слышу... Послушай, Стэнли, я хотел тебе сказать, что... ну, ты знаешь... ну, что я... в общем, спасибо тебе. И помни: ты должен вернуться! Прошу тебя, не теряй голову, помни о Гарольде и Отто⁵. Пожалуйста! В конверте деньги. Если не хватит, из Лондона пришлют еще. Я открыл там для тебя счет. И извинись перед дамой. От моего имени. Извинишься, Стэнли?

— Конечно. Ясное дело, извинюсь, Артур...

— Послушай, Стэнли, у тебя есть еще немного времени. Водитель без тебя не уедет, так что можешь извиниться перед ней как-нибудь по-особому...

В трубке послышались короткие гудки. Он улыбнулся и кивнул.

Подошел к кровати и вытащил из-под нее чемодан. Подтолкнул его к шкафу и открыл. Начал бросать туда одежду. Потом вернулся к комоду у окна. Вынул из ящика два фотоаппарата, тщательно укутал их в свитеры и осторожно уложил в чемодан. Пошел на кухню. Взял из холодильника четыре полиэтиленовых пакета с фотопленкой. Мефистофель сидел на кухонном столе и уписывал нарезанную ломтиками салями. Дорис заворачивала в пергаментную бумагу бутерброды. Он обнял ее сзади за талию. Она передвинула его руки на бедра, но тут же высвободилась из объятий и молча вышла из кухни. Он услышал плеск воды в ванной. С пакетами, набитыми фотопленкой, вернулся в комнату и бросил их в чемодан. Потом зашел в ванную. Она стояла под струей воды спиной к нему, запустив руки в волосы. Он встал рядом с ней под душ. Опустился на колени. Начал целовать ее ягодицы...

Она набросила на себя пальто, и они вошли в лифт. Она с улыбкой стерла отпечаток красной помады на зеркале. Выйдя из подъезда, он поставил чемодан на краю тротуара. Они уселись на ступеньки крыльца. Он вспомнил свою мать. Когда он уезжал в Принстон учиться, они вот так же сидели рядышком, а потом мать молча протянула ему освященный медальон. Он никогда не расстается с этим медальоном...

Дорис замотала ему шею шарфом и стала застегивать пуговицы на куртке. А когда застегнула все, начала расстегивать их и разматывать шарф.

— Возвращайся, Стэнли, — сказала она вдруг, — я буду тебя ждать. И привози много снимков. Бутерброды без масла. У тебя в холодильнике не было масла, — добавила она, передавая ему бумажный пакет. — Ты ведь вернешься, правда? Я куплю для тебя продукты. Куплю нам масло...

Он нежно прикоснулся к ее лицу и встал. Быстрым шагом подошел к автомобилю. Солдат, прислонившийся спиной к капоту, встрепнулся, затоптал ботинком окурок и вытянулся по стойке «смирно».

— Меня зовут Стэнли Бредфорд, я сотрудник «Нью-Йорк таймс», — сказал он, протягивая солдату руку.

Тот молча кивнул и, подхватив чемодан, осторожно поставил его в багажник. Через минуту они тронулись. Дорис сидела на ступеньках. Не глядя в его сторону. Он обернулся и долго смотрел на нее в заднее стекло машины. На первом же перекрестке автомобиль свернул направо. Он прижал пакет с бутербродами к губам...

Намюр, Бельгия, около полудня, четверг, 15 февраля 1945 года

Его разбудил резкий толчок. Он почувствовал сильный запах сигаретного дыма и острую боль в щеке. Резким движением отвел от лица ствол автомата. Солдат, сидевший рядом на металлическом полу кабины самолета, проснулся. Выругался, тут же перекрестился, положил автомат на колени и потянулся к фляге с водой.

Приземлились. С маленького аэродрома на Лонг-Айленде они полетели заправиться на военную базу в Гандере, в канадском Ньюфаундленде, а потом, без посадки, — через Атлантический океан до Намюра в Бельгии.

Повернувшись спиной к суетившимся в кабине самолета солдатам, он встал на колени рядом со своим чемоданом и посмотрел в запотевший иллюминатор. Дырявая крыша большого ангара была покрыта серым смерзшимся снегом, из которого торчали еловые ветки. Он прочел выцветшую надпись на ржавой овальной вывеске под сводами ангара: «Aéroport Namur». Услышал, как со скрипом открылся люк самолета. Потом раздался тяжелый топот солдат по металлическому трапу. Он застегнул пальто, подхватил чемодан и подошел к люку. Ступив на трап, зажмурился, ослепленный ярким светом, и почувствовал на щеках холодный ветер.

Европа. Он добрался до Европы...

Европа всегда ассоциировалась у него с замками и королевскими дворцами. И с культурой. Это там на стенах висели самые красивые картины, там сочиняли только серьезную музыку и именно там изменяли ход мировой истории. Америка же казалась ему рынком, где торговали картошкой и кукурузой, а в последнее время еще сталью, нефтью, автомобилями, оружием и тщеславием. У Европы, как ему представлялось, не было на рынок времени, и она лишь с любопытством поглядывала, как там все работает. И иногда подкидывала идеи, внимательно наблюдая, что из этого выйдет. Что-нибудь давно зыбатое, вроде французской революции. Американцы охотно все это принимали, записывали в конституцию и гордо называли Демократией. С большой буквы. У всех одинаковые шансы, все свободны, все равны. В момент рождения. Потом уже не очень.

Значительно «равнее» других тот, кто родился в зажиточной семье. И если при этом его кожа не страдает избытком пигмента. Таких в Америке немного. Около одного процента семей контролирует более пятидесяти процентов всех торговых рядов. Вторая половина принадлежит остальным. И нужно родиться под счастливой звездой, чтобы — еще до рождения — войти в их число. Ни младшему брату Эндрю, ни ему самому не повезло, их родители не владели даже ничтожно малой долей процента. Они всего лишь арендовали бензоколонку у человека, у которого не было ни желания, ни времени ею заниматься. Им не хватило жизни, чтобы выплатить аренду, и заправка так и не стала их собственностью. Но дала возможность выжить.

А он, Стэнли, все-таки счастливчик. Дедушка — в честь которого его и назвали — подарил ему на день рождения фотоаппарат. Старик считал, что раз внук хорошо рисует и любит рассматривать альбомы со старыми фотографиями, то станет хорошим фотографом. А через год поблизости от заправки пятеро пьяных фермеров изнасиловали и убили негритянку. Стэнли было тогда восемнадцать. Для шерифа, который вел следствие, это было очень важно. В Пенсильвании человек становится взрослым в день своего восемнадцатилетия. А вот Нью-Йорке, например, понадобилось бы ждать еще три года. Стэнли вовсе не был взрослым — так он считает сейчас — но они жили в Пенсильвании, и у него был фотоаппарат. Он пошел вместе с шерифом на поле у дороги. Рядом с окровавленной негритянкой, ближе к ее голове, стоял на коленях молодой мужчина. Шериф, не обращая на этого человека никакого внимания, велел Стэнли фотографировать. Он втыкал в землю у тела женщины небольшие таблички с номерами и нажимал на затвор фотоаппарата. Но снимал только отчаяние этого мужчины. А когда шериф приказал сфотографировать кровь на бедрах женщины, заслонил ладонью объектив. И делал так каждый раз, когда ему приказывали снять крупным планом ее перерезанное горло и нож, торчащий в глазнице. Есть такие вещи, которые нельзя показывать. Никогда. Ни за какие деньги...

Вечером он проявил снимки в закутке, за туалетом бензоколонки. Мать долго уговаривала отца, и в конце концов тот разрешил устроить там фотолабораторию. На следующее утро шериф расписался в получении негативов. На судебные заседания Стэнли не вызывали, потому что никаких заседаний и не было. Через год, когда уже мало кто помнил об этом убийстве, в мае, он подал документы в Принстонский университет и написал, что «интересуется фотографией». И приложил два фото того мужчины в поле. Через месяц почтальон оставил матери адресованный

Стэнли большой оранжевый конверт. Из Принстона. «По решению квалификационной комиссии нашего университета... Вам решено назначить стипендию, начиная с учебного года...». Он перечел письмо несколько раз. Хотел удостовериться, что это правда. А за ужином, сразу после молитвы, рассказал новость родителям. Отец встал и молча вышел. Мать расплакалась. Брат опустил ложку в суп и поднял сжатый кулак. «Это наша первая победа», — сказал он потом. А в тот день, поздним вечером, когда все уснули, Стэнли сел в отцовский автомобиль и поехал на кладбище. Опустился на присыпанный песком край могилы и рассказал все дедушке.

Дорис ошибается. Иногда он все же заходит в нишу для чемоданов. Когда жизнь летит в тартарары, когда он начинает сомневаться в том, что делает, или когда его кто-то сильно обидит, или когда нужно принять очень важное решение или новый вызов судьбы, он заходит туда. С такой же надеждой, какую испытывал в вонючей лаборатории на заправке отца. И кончиками пальцев медленно прикасается к той первой фотографии. Ему даже не нужно ее рассматривать. Он знает каждый ее миллиметр и каждую неровность наизусть. Поэтому она — главная на сегодняшний день в его жизни — так и не оказалась в рамке под стеклом. Вчера утром — прежде чем они с Дорис спустились на лифте вниз и она стала застегивать и расстегивать ему пальто, он тоже зашел туда...

Здесь начиналась Европа...

Она встречала его полуразрушенным ангаром заброшенного аэродрома в маленьком городке и жутким холодом.

Может быть, прав Эндрю, который считает, что Европа — это лишь развалины дворца? В королевских покоях завелись крысы — Гитлер и Муссолини, говорит Эндрю, и вот они уже сидят на тронах. Европа умудрилась за неполных двадцать лет закончить одну кровопролитную мировую войну и начать вторую. Еще более кровопролитную. И никакая культура ее не спасла. Художников, поэтов и философов изолируют в первую очередь. Кроме тех, конечно, кто рисует, пишет и философствует так же, как и крысы. Поэтому почти все — если их не успели отправить в газовые камеры, — давно уже перебрались на кораблях в Америку.

Было бы неплохо, если бы на американском рынке существовали четкие правила: тот, кто больше имеет, кто рано встает и много работает, кто талантлив, кому повезло родиться в богатой семье и даже тот, кто всего лишь лучше других играет в баскетбол, — должны жить лучше. На европейские королевские дворы однажды вместе с крысами из сточных

канав пришел смрад социализма. И опьянил слабых духом. Они спутали его с ароматом духов. Здесь, в Америке, такой номер не пройдет. Тут пот пахнет потом, духи — роскошью, которая достается тяжким трудом, а крысы просто воняют. У его брата Эндрю очень простая жизненная философия. Лучшие должны жить лучше. Лучшие по происхождению, по рождению, по результатам своего труда. Даже те, для кого просто так звезды выстроились на небе, кому повезло. Как им самим. Если бы дедушка не подарил фотоаппарат, если бы не зарезали рядом с заправкой ту несчастную негритянку, если бы Эндрю не старался, с упорством, достойным лучшего применения, попасть тряпичным мячом в ведро с выбитым дном, они до сих пор выплачивали бы кредит за отцовскую бензоколонку в Пенсильвании, на окраине маленького городка, которого даже нет ни на одной карте, кроме военных. Но дедушка купил ему «лейку», а брат, как безумный, бросал мяч в ведро. Иногда выбивая сто очков из ста. А он сфотографировал негра так, что никто не может сдержать при виде его фото слез. Они текут сами по себе, как из крана. Поэтому одного из братьев приняли в Гарвард, а другого в Принстон. И это справедливо. И если в нью-йоркском Гарлеме какой-то негритянский парень пишет стихи лучше, чем Эдгар По, но ему не на что купить марку и отправить свои документы в университет, пусть додумается и пойдет туда пешком. «Ему надо всего лишь оторвать задницу от стула и, помогая, блядь, своему предназначению, тронуться в путь. Пусть идет на Манхэттен, даже если у него всего одна нога. Быть бедным плохо, — говорил брат. — Но у бедных есть преимущество, которого нет у богатых. У бедных много времени. Если бы время можно было продавать, бедные очень быстро стали бы богатыми. А они тратят его даром. У бедного поэта очень много времени. Пусть отправляется на Манхэттен на своих двоих».

Так говорил его младший брат Эндрю, когда однажды вечером в бостонском пабе выпил слишком много пива. И добавлял: «В твоей пресловутой Европе с ее королевскими дворцами и социалистами газеты сделали бы из такого парня мученика. Но всего на один день, ради громкого заголовка. А назавтра никто уже не вспомнил бы его имени. Впрочем, зачем я тебе это говорю, ты и сам прекрасно знаешь, как делают сенсации».

У его брата была, как он это сам называл, «квантовая теория мира, самая простая из всех». Он изучал физику, так что знал, о чем говорит. «Либо ты являешься электроном, постоянно вращающимся по одной и той же орбите вокруг ядра до конца света, либо поглощаешь квант энергии и переходишь на более высокую орбиту. Но чтобы его поглотить, необходимо

в определенное время оказаться в определенном месте. После поглощения электрон в состоянии возбуждения и оказывается способен поменять орбиту. «Так происходит на орбитах Бора, точно так же здесь, в Бостоне, да и у тебя, на орбитах “Таймс” в Нью-Йорке. Необходимо только не тратить энергию на глупости. Излучать ее так, чтобы тебя заметили и отличили от других. А потом поглощать очередные кванты и перескакивать на другие орбиты. Это противоречит физическим уравнениям, но идеально согласуется с жизнью», — добавлял он.

Стэнли так не умел, а вот его брат жил в точном соответствии с этой теорией. В течение первых трех лет он оплачивал учебу, играя в баскетбол за команду Гарвардского университета. Причем так, что многие считали его звездой. Большинство студенток приходили в спортивный зал, только чтобы увидеть его. Или прикоснуться. А после матча купить его мокрую от пота майку. Но и это не все. Феномен Эндрю Бредфорда состоял в том, что расположенный через реку вечный конкурент Гарварда — Массачусетский технологический институт — любил его так же крепко. Может, не весь институт, но большая часть студенток наверняка. Однажды в газете этого института редактор, не скрывая зависти, написал: «Даже если вдруг рухнет мост через Чарльз-ривер, наши студентки пересекут реку вплавь, лишь бы увидеть, как играет Бредфорд. Причем большинство из них поплывет без трусиков».

Потом, на третьем курсе, сразу после каникул, Эндрю вместе со своим профессором поехал в Вашингтон читать лекцию для военных. Представил его профессор, но после лекции все поздравляли только Эндрю. Там, в Вашингтоне, он понял, что есть люди, которые знают о нем куда больше, чем ему казалось. Особенно мужчины в военной форме. После той лекции в Вашингтоне на его счет стали поступать деньги из какого-то банка на Багамских островах. Профессор объяснил, что это «дополнительная стипендия, а на Багамах просто низкие налоги». Но «дополнительная стипендия» была ровно в восемнадцать раз выше стипендии за игру в баскетбол. Не в восемь. В восемнадцать! И он перестал играть в баскетбол. В следующем месяце на его счет поступила сумма вдвое выше прежней, той, что была в восемнадцать раз больше стипендии за баскетбол. И тоже из банка на Багамах. Тогда он занялся исключительно физикой. Переехал в другую квартиру. Подальше от Кембриджа, чтобы даже случайно не встречаться с другими студентами. Через две недели он нашел в своем почтовом ящике конверт без марки, но с ключом от всех лабораторий физического факультета Гарвардского университета. И от дверей главного здания. Возвращаясь в свою квартиру — чаще всего поздно ночью, — он

регулярно замечал черный автомобиль, припаркованный недалеко от его дома, у въезда в парк. Сначала это беспокоило его. А потом беспокоило уже отсутствие автомобиля.

Какое-то время он тосковал по баскетболу. Не успевал тратить свои деньги. А потом забыл и о баскетболе, и о деньгах. Он думал только о ядерных реакциях и своих уравнениях. После учебы переехал в Вашингтон. Через год защитил диссертацию. Ему некогда было даже поехать в Гарвард и получить диплом. И желания получать его тоже не было. Там, где он работал, всякие «корочки» в расчет не принимались. Там уважали исключительно за способности.

Братья почти всегда встречались в Бостоне. Два-три раза в год. В ноябре сорок второго Эндрю переехал в Чикаго, никого об этом не известив. Они столкнулись случайно, в ночном клубе негритянского квартала. Стэнли тогда готовил материал об истории джаза. В тот вечер он был свободен. Сидел с фотоаппаратом на коленях, попивал пиво и мечтательно вслушивался в звуки саксофона, из которого извлекала пленительную мелодию молодая негритянка, стоя на небольшой деревянной сцене. Музыка была так же необычна, как и то, что на саксофоне играла девушка. В какой-то момент в накуренном зале появилось трое мужчин. Они выглядели здесь в своих костюмах как пришельцы с другой планеты. Одним из них был брат. Похудевший. В расстегнутой рубашке и с галстуком, небрежно засунутым в нагрудный карман пиджака. С сигаретой в зубах и покрасневшими от дыма глазами. В этом был весь Эндрю. Мужчины сели за столик рядом с кухней, подальше от сцены и людей. Видимо, они были здесь завсегдатаями, потому что официант сразу провел их туда и через минуту принес три чашки кофе. Стэнли направился к ним. Эндрю не мог его видеть, потому что сидел к залу спиной. Когда Стэнли подошел, за столиком моментально замолчали. Эндрю повернул голову. Узнал его. Вскочил со стула. Было видно, что он растерян.

— Стэнли! — воскликнул брат, обнимая и похлопывая его по плечам. — Познакомься, пожалуйста. Профессор Энрико Ферми, — он указал на улыбающегося лысоватого мужчину с карими глазами и торчащими ушами. Тот встал и протянул Стэнли руку.

— Ферми, — сказал он тихим голосом.

Сидевший рядом мужчина тоже встал. Вытер салфеткой губы и представился:

— Лео Силард.

— А это мой брат, Стэнли Бредфорд. Извините, господа, я оставляю вас

на минуту.

Не пригласив брата за стол, Эндрю обнял его за плечи, и они направились к бару.

— Ты должен забыть о нашей встрече, — сказал Эндрю, с беспокойством оглядываясь по сторонам. — Обещай мне. И, конечно же, не говори ничего родителям. Я здесь ненадолго. Только на время проекта.

Он не забыл. Но всегда помнил, что должен был забыть.

Эндрю приезжал в Пенсильванию только в сочельник. Точнее, его привозили. Автомобиль он оставлял далеко от бензоколонки. Официально Эндрю числился научным сотрудником Гарвардского университета. Неофициально — работал на Пентагон. Артур, у которого были очень хорошие связи в Вашингтоне, однажды поздним вечером пригласил Стэнли к себе в кабинет, запер дверь на ключ и показал некий документ с перечнем «особо важных» для Пентагона имен. Доктор Эндрю Б. Бредфорд тоже был в этом списке. Фамилия, имя, дата и место рождения. Все совпадало. Это был Эндрю. Его младший брат. Без сомнений. Второе имя Эндрю было Бронислав. Как у отца его бабушки. Ее семья приехала в Ирландию из Польши. Бронислав — типичное в те времена польское имя.

Потом они уселись в кресла, Артур достал из встроенного в книжный шкаф бара бутылку канадского виски, до краев наполнил стаканы и поджег зажигалкой бумагу с документом. Положил в хрустальную пепельницу и сказал:

— Стэнли, твой младший братишка — один из тех, в чьих руках находятся судьбы мира. Группа ученых из этого списка готовит всем нам очень опасный коктейль. Сейчас, в Чикаго. И не спрашивай, откуда я это знаю. Знаю, и все. Мы, евреи, всегда все узнаем заранее. А что касается твоего братца, не звони ему слишком часто. А когда звонишь, думай, что говоришь...

Он не названивал Эндрю. Да это было и невозможно: в Чикаго у Эндрю не было телефона. Однажды Стэнли хотел напомнить ему о дне рождения отца, как делал каждый год. Это был предлог. Эндрю прекрасно помнил о дне рождения отца. Но ему надо было напомнить, чтобы он позвонил. Их отец в свой день рождения не работал. И на следующий день тоже. Это были те два дня в году, когда он не надевал голубой, воняющий бензином комбинезон, и не шел за прилавок. За день до своего праздника он ехал в городок к парикмахеру и брился, а потом надевал белую рубашку и сидел дома. С утра пил виски и ждал звонка от сыновей. Стэнли как-то рассказала об этом мать. Точнее, отец ждал звонка от Эндрю. Телефон звонил, Эндрю недолго говорил с матерью. Потом она лгала отцу о том, что

Эндрю передает ему наилучшие пожелания. А отец лгал, что очень рад, отправлялся в спальню, открывал очередную бутылку, шел с ней на веранду и плакал. На следующий день он лечился, с утра от похмелья, потом от тоски. Через день всё приходило в норму. До следующего дня рождения.

Телефонистка на коммутаторе Чикагского университета не знала фамилии его брата. Не знала она и Ферми. Третью фамилию он не смог повторить, тем более назвать по буквам, поэтому пришлось разъединиться. По словам телефонистки, ни доктор Бредфорд, ни профессор Ферми никогда не работали в Чикагском университете. Стэнли не сдавался. Лайза соединила его с деканатом физического факультета. Слова «Нью-Йорк таймс» открывали многие двери. Он поговорил с деканом. Тот тоже ничего не слышал ни о Ферми, ни о Бредфорде. Хотя даже Стэнли, который, по мнению Эндрю, мало что понимал в физике, имел представление о том, кто такой Энрико Ферми. А в Чикаго, в деканате физического факультета, никто, включая титулованного декана, ничего об этом человеке не знал. Когда тайна становится слишком таинственной, она перестает быть тайной и становится очевидным фактом. Стэнли не сомневался, что немецкая или японская разведка не названивает по деканатам физических факультетов американских университетов. Артур был прав. Его братишка Эндрю «имел отношение к очень важным кнопкам»...

Он медленно спустился по трапу на бетонную полосу аэродрома. Его никто не встречал. Он сел на чемодан и закурил. Стояла тишина. Трудно было поверить, что совсем рядом гремит война. Мировая война. Вдали, за деревьями, маячили контуры зданий. Поднялся ветер, который принес с собой мелкий снег. Он плотнее натянул на голову шляпу. И вскоре заметил темный силуэт, медленно приближавшийся к нему. Потом разглядел, что это военный грузовик с черной звездой на зеленовато-коричневом брезенте.

— Привет, коллега! — весело крикнул водитель, спрыгивая на бетон аэродрома из кабины грузовика, когда тот остановился недалеко от самолета. — На войну потянуло, да? Эх, Стэнли, сидел бы ты лучше дома и писал о Бродвее! Если бы у меня хватило денег на учебу, ноги бы моей не было в этом аду!

Он приблизился, отдал честь и с улыбкой протянул Стэнли руку:

— Меня зовут Билл. Рядовой Билл Маккормик. Сигарет не привез? Эту вонючую французскую гадость невозможно курить. Может, есть газеты с родины? Осточертели листовки, которые нам раздают.

Не ожидая ответа, Билл взял его чемодан и сказал:

— Садись в машину, Стэнли. Дорога предстоит длинная. Лейтенант-

пропагандист из Антверпена сказал, что ты хочешь попасть на фронт и вроде как будешь фотографировать наши успехи для «Таймс». Мне приказано довести тебя до первых окопов, я получил всевозможные пропуска. Ты для нас важная птица, репортер Стэнли Бредфорд, — усмехнулся Билл, похлопывая его по плечу.

Они забрались в грузовик, и он тут же тронулся с места. Через какое-то время Билл бросил Стэнли на колени стопку карт.

— Я решил подбросить тебя к Триру. Там все еще сидят фрицы. Во всяком случае, они были там еще два дня назад. Это всего в ста пятидесяти милях отсюда, но здесь иногда одну милю едешь десять часов. Посмотрим, как пойдут дела. Если не получится с Триром, оставлю тебя у наших парней в Люксембурге. В крайнем случае, переждешь там. Пэттон выгнал оттуда немцев неделю назад и остановился на берегах Сюра. От этой реки до Трира рукой подать. Ты пока изучай карты.

— Что ты об этом думаешь, Стэнли? — спросил Билл, когда они миновали последние здания Намюра и свернули на грязную проселочную дорогу, всю изрытую воронками от взрывов бомб и артиллерийских снарядов.

Он ничего не думал. Ему было холодно, хотелось есть и пить, он тосковал по своей постели и к тому же ничего не понимал в картах. Его мутило от нестерпимой вони солярки. Он то и дело проваливался в сон. Водитель, видимо, заметил это. Притормозил, правой рукой пошарил под сиденьем, вытащил зеленый плед, положил ему на колени и сказал:

— На тебя, должно быть, действует смена часовых поясов, Стэнли. Ты же перелетел Атлантику, а в Нью-Йорке сейчас шесть утра. Подремли, Стэнли. А я тем временем подброшу тебя на войну...

Люксембург, вечер, воскресенье, 25 февраля 1945 года

Билл не довез его до Трира, как ни старался. Генерал Пэттон, пока они ехали «к войне», не успел пересечь со своей армией границу Германии. Поэтому Билл — это было десять дней назад — поздней ночью высадил его из уютного, теплого грузовика у замерзшего фонтана на центральной площади какого-то маленького городка, французского названия которого он даже не мог правильно произнести.

Потом Стэнли очутился в Люксембурге. Еще в полдень они тащились как черепахи по разрушенным войной дорогам Бельгии и в тот же день оказались в другой стране. Европа очень маленькая. Эндрю частенько повторял, что ее территорию, размером меньше Техаса, поделили между собой «множество столетиями грызущихся друг с другом индейских племен, которые говорят на всяких смешных языках». Выходило, что, по крайней мере, по части размеров Эндрю был совершенно прав.

У Стэнли не было с этой страной никаких ассоциаций. Он знал только, что она существует. Но он не смог бы назвать ее столицу или вспомнить, какие реки протекают по ее территории. Не знал он и сколько людей здесь живет, сто тысяч или миллионы. Однако гораздо больше его беспокоило полное отсутствие другой информации: радо ли население этой страны, что ее освободили американцы, или напротив, считает их оккупантами. Выяснить это было сейчас для него важнее всего.

Вокруг фонтана сгрудились американские солдаты. По большей части пьяные. С касками, висевшими за спиной, в расстегнутых рубашках, торчавших из-под расстегнутых мундиров, они что-то кричали, ругались. От Билла он знал, что здесь им кто-то «займется». Но никто пока не обращал на него никакого внимания.

Миссия, придуманная Артуром, начинала казаться ему бессмысленной. Несколько фотографий, которые он сделал по дороге из Намюра, не представляли собой ничего особенного. Виды разрушенных городов, воронки от бомб и даже разлагавшиеся на полях трупы лошадей уже ни на кого в Америке не производили впечатления. Такие снимки пачками приходили в «Таймс» от фотолюбителей, которые шли за армией, как проститутки.

Он встал у зарешеченной двери небольшого магазина, закурил.

Минуту спустя перед ним возник молодой высокий мужчина в британской форме.

— Имею ли я удовольствие приветствовать редактора Стэнли Бредфорда? — спросил офицер с типичным английским акцентом.

Он едва расслышал эти слова из-за громких криков, доносившихся от фонтана.

— Я не редактор. Я всего лишь фотокорреспондент газеты «Таймс». Но это не имеет значения. Солдаты всегда так орут? — попытался перекричать он солдат.

Мужчина улыбнулся и протянул ему руку. Сначала представился, потом ответил:

— В общем, всегда, когда им это позволяют. Сегодня для этого есть особый повод. Семнадцатого февраля, восемь дней тому назад, генерал Пэттон объявил, что Люксембург окончательно освобожден. Второй раз. Поэтому со вчерашнего дня они, так сказать повторно празднуют свою победу.

— Почему повторно? — удивился Стэнли.

— Потому что в первый раз Люксембург освободили в сентябре прошлого года, но в декабре сорок четвертого немцы предприняли новое наступление и захватили страну. А теперь тут снова мы. Думаю, то, что случилось в декабре, больше не повторится. Некоторым из этих солдат пришлось второй раз с тяжелыми боями брать город. И они все еще живы. Двойной повод ликовать. К тому же у Люксембурга теперь особая роль. Пэттон со своим штабом разместился в его столице и отсюда будет руководить операцией по форсированию Рейна и вступлению в Германию. Это тоже повод для радости — ведь именно они способствовали освобождению стратегически важной части Европы...

— Это дружественная нам страна? — спросил обеспокоено Стэнли.

— Да, конечно. В окрестностях еще бродят группы недобитых фашистских прихвостней, но в городе их точно нет. Нет причин бояться, — добавил мужчина, снисходительно улыбаясь, — местные ненавидят немцев. Они многое вынесли. В Бельгии, да и не только, — по всей Западной Европе действовали приказы Гитлера. За одного убитого немца уничтожали сто гражданских, за одного раненого — пятьдесят. А вы говорите по-французски или по-немецки? — спросил он.

— К сожалению, нет. Я американец. Мы не изучаем иностранные языки, считая, что каждый человек должен говорить по-английски. Я понимаю, это наглость. Но что делать, мы такие. Вы, в вашей империи, тоже так считаете?

— Боюсь, что вы правы, хотя я как раз говорю по-французски, по-итальянски, по-испански и по-немецки. Защитил диссертацию по германистике. Понимаю еще голландский. Мой отец еврей, и мы жили во всех этих странах. Я спросил вас потому, что у меня возникла проблема. Не знаю, где вас разместить сегодня на ночлег. Если бы вы говорили на одном из этих языков, я мог бы отвезти вас в пансион на окраине города. Это скромное, но очень уютное место, и хозяева местные жители. Вот только, боюсь, они не говорят по-английски. Так что лучше заберу-ка я вас в нашу штаб-квартиру во дворце.

— Знаете, мне вовсе не хочется ни с кем разговаривать. Я мечтаю выспаться, — ответил Стэнли, красноречивым жестом указывая на солдат у фонтана. — Я очень устал. Отвезите меня, если не трудно, в тот пансион. А если не удастся заснуть, я займусь изучением языков. Я вам искренне завидую...

— Не стоит. Я предпочел бы вместо этого просто жить в какой-то одной стране, — ответил военный. — Подождите здесь. Мой адъютант отнесет ваш чемодан в машину. Мы оставили ее сразу за площадью, — добавил он и тут же удалился.

Стэнли было немного жаль, что он не разбирался в знаках различия. Тот факт, что у этого молодого офицера есть адъютант, поразил его. С виду офицер казался его ровесником. «Ученая степень, адъютант. Подумать только! Пожалуй, Эндрю неправ, европейцы вовсе не похожи на индейцев и не только возраст определяет их положение в племени», — подумал он.

Минуту спустя англичанин появился в сопровождении молодого адъютанта. И они быстрым шагом пошли по прилегающей к площади улочке к машине с британскими флагами и эмблемами.

— Я думал, здесь только американцы, — начал разговор Стэнли, когда они расселись.

— К сожалению, по большей части так оно и есть. Но этот регион находится в ведении британского генерала Бернарда Монтгомери. После кровавых событий в Арнеме Монтгомери не слишком-то жалуется американцев. И в особенности Пэттона. Правда, Пэттона вообще мало кто любит из европейских главнокомандующих. Во-первых, из-за его откровенного антисемитизма, а во-вторых, из-за острого языка и неслыханной наглости. Впрочем, американцы заслужили репутацию грубиянов еще со времен пилигримов, которые испортили День благодарения для племени вампаонг⁶. Так что, хотя местные жители и благодарны американцам-освободителям, считают их наглыми и циничными. А генерал Пэттон в этом их не разубеждает. Недавно среди

солдат распространился слух, что он в очередной раз самым хамским образом оскорбил французов, заявив, что «предпочел бы иметь немецкую дивизию в авангарде, чем всю французскую армию в арьергарде». Французы ему этого никогда не простят, они обвиняют Пэттона в том, что тот не скрывает своего восхищения Гитлером, фашистскими генералами и армией. А это, увы, правда. Пэттон неоднократно на официальных совещаниях и во время выступлений рассыпался в похвалах немецким солдатам. А его высказывание о французах совпадает с мнением Гитлера, — тот называет их исключительными трусами. В отместку оскорбленные французы распространяют презрительные слова Гитлера об американцах: «В одной симфонии Бетховена культуры больше, чем во всей истории Америки». Сами понимаете, все это мало способствует поддержанию боевого духа. Поэтому здесь не только американцы. Но и мы. И французы. И еще канадцы.

— Мы? То есть британцы, не так ли? Вы ведь британец? — спросил Стэнли, серьезно задумавшись о том, что, черт побери, может означать это «к сожалению» в самом начале монолога его спутника. К тому же он никогда не слышал о племени вампаонг.

— Нет! Я еврей с британским паспортом. Но у меня есть еще и немецкий, и голландский. И даже польский.

— А польский-то вам зачем?

— Мой отец родился в Кракове.

— Скажите, пожалуйста, а правда, что все евреи родом из Польши? У меня как у жителя Нью-Йорка сложилось такое впечатление, — поинтересовался Стэнли.

— Не думаю. Но те, кому есть что делать в вашей стране, преимущественно из Польши.

— Ну а почему вы тогда не говорите по-польски?

— Потому что поляки после немцев — самые ярые антисемиты. Прежде чем мы уехали в Голландию, мой отец был профессором математики в Краковском университете. В тридцать седьмом некие «неустановленные лица» избили его прямо в аудитории после лекции! Четыре месяца он пролежал в больнице. Разрыв селезенки и перелом челюсти. — Англичанин говорил с явным волнением в голосе. — Вы знаете, что Гитлер, Гиммлер и Гейдрих поначалу планировали переселить всех евреев в окрестности города Люблин, на восток Польши? — спросил он. — Это не случайно. И только потом им пришла в голову мысль вывезти евреев на Мадагаскар. Сами понимаете, Европа не имела бы возможности следить за тем, что там будет происходить, а тем более протестовать.

— А кто такой Гейдрих?

— Рейнхард Гейдрих? Вы не знаете?! — изумился мужчина.

— Да, я — «циничный и наглый» американец — увы, не знаю, кто это такой, — ответил Стэнли, чувствуя, что начинает злиться. — И не желаю знать, — пробурчал он. — А вы знаете, что недавно случилось в Квинсе? Это район Нью-Йорка, слышали?

— Конечно!

— Поздравляю. Так вот, в Квинсе, в Кью-гарденс, квартале, который называют деревней, кто-то избил, нанеся серьезные телесные повреждения, как принято писать у нас в «Таймс», чернокожего гражданина Соединенных Штатов. Я делал об этом фоторепортаж. У него не было лица, а все тело окровавлено. Во всех газетах, кроме нашей, на следующий же день, не дожидаясь результатов полицейского расследования, написали о тех, кто был причастен к преступлению. И знаете, кто это был? Евреи! Потому что подавляющее большинство людей, проживающих в Кью-гарденс, — евреи. Именно они, и это ни для кого в Нью-Йорке не секрет, готовы на все, лишь бы не допустить, чтобы негры селились в этом районе. Евреи из Кью-гарденс относились, да и сейчас относятся — я был там недавно, поэтому знаю не понаслышке — к неграм, как, в лучшем случае, зачумленным или прокаженным. И уж поверьте, просто мечтают, чтобы все американские негры вернулись, желательно вплавь, через Атлантический океан в Африку, в том числе и на Мадагаскар. Я знаю, что Мадагаскар расположен недалеко от Африки. Представляете, это я как раз знаю! И при всем при том никогда не решился бы назвать евреев вторыми после ку-клукс-клановцев расистскими свиньями, — добавил он взволнованно.

— И все же, боюсь, я не понимаю, что вы хотите этим сказать, — прервал его англичанин. — Я знаю, не все американцы любят Ку-клукс-клан, но признайтесь, американский расизм является, так сказать, официальным. Ведь негры у вас служат отдельно от белых!

— Правда? Этого я не знал, — удивился Стэнли.

— Да. Правда. Из-за этого в Великобритании даже произошел серьезный конфликт. Наше руководство не позволяет офицерам по-разному относиться к белым и черным американским солдатам. Но, боюсь, американская армия в этом вопросе не готова на какие-либо компромиссы.

Стэнли ужасно раздражало это постоянное идиотское «боюсь» в речи собеседника. Англичане, наверное, даже на похоронах будут «бояться», высказывая мнение, что лежащий в гробу труп действительно мертв.

— Вы позволите мне закончить? — спросил он. — Иначе, боюсь, вы меня не поймете. Так вот, на самом деле негра избили другие негры. Он

задолжал кому-то деньги. И хотел удрать из Джексон-Хейтс. Это самая негритянская деревня в Квинсе. Но успел добраться только до Кью-гарденс. Его избили на газоне перед зданием на углу Восемьдесят четвертой улицы и Атлантик-авеню. В населенном в основном евреями Кью-гарденс. Вы знаете, где это находится? — спросил он раздраженно.

— К сожалению, нет...

— Вот этого я, блядь, и боялся! Но неважно. Негра избили не евреи. Его избили свои. Артур, главный человек в «Таймс», мой шеф и, смею надеяться, друг, хотя, возможно, я обольщаюсь на этот счет, — стопроцентный еврей. Он не позволил никому в редакции комментировать это дело, пока в нашем распоряжении не окажутся все факты. И вовсе не потому, что хотел, в определенном смысле, обезопасить себя, а потому, что хотел быть уверен. И когда правда, после дотошного полицейского расследования, стала достоянием общественности, Артур сам удивился, что того негра избили свои. Он был на двести процентов уверен, что того отправили на больничную койку евреи. Далеко еще до вашего пансионата? Мне хочется виски, — прервал он свой монолог.

— Боюсь, там нет виски. Тут невозможно его достать. Но, думаю, водка там будет. Правда, нелегальная. Вы же понимаете — время такое. Собственного изготовления. И еще у них наверняка есть вино. В этом я могу вас заверить.

— Отлично. А знаете что, господин британский генерал? Рядом со мной, за стеной, на Манхэттене, живет польская семья. Очень богатая. У мужа кривые зубы, башмаки фасона прошлого века, всегда настолько грязные, что кажется, он только что с поля, и длинные, рыжие, никогда не знавшие ножниц усы. А его жена — идеал классической красоты. Действительно красавица. Это довольно типично для поляков. Мужчины выглядят, в большинстве своем, как прислуга, даже если они благородных кровей, а женщины — как дворянки. Даже если работают у графинь прислугой. Эта миссис как-то пришла ко мне, с письмом от своего родственника, которое нелегально вывезли из Польши в Швейцарию и отправили по почте из Цюриха. Ее родственник живет неподалеку от Освенцима. Это такой городок в Польше, в окрестностях которого немцы создали Аушвиц. Она очень хотела, чтобы в «Таймс» опубликовали это письмо. О трубах, крематориях, мужчинах в полосатых робах, марширующих колоннами в каменоломни. О железнодорожных платформах, на которых матерей везут отдельно от детей, но прежде всего о том, что там, в массовом порядке, как на работающей в три смены фабрике, уничтожают евреев. Мне не удалось его опубликовать, как я ни

старался. Не ради той женщины — ради дела. Артуру нужно было больше фактов. И какие-нибудь снимки. Хотя бы один. У моего главного редактора пунктик по части изобразительного ряда, он считает, что только фотография может подтвердить или опровергнуть публикуемую в газете информацию. И что без фоторепортажа можно публиковать разве что финансовые сводки с Уолл-стрит. Хотя мы и тогда стараемся дать фото какого-нибудь запарившегося дилера. Артуру важно было не дать маху. Я его понимаю. Он опасался, что без явных, неопровержимых доказательств его сочтут сионистом. К тому, что его, еврея по крови и по религиозным убеждениям, часто воспринимают как антисемита, он уже успел привыкнуть. Но это была моя красавица-соседка. Стопроцентная полька. В ней нет ни капли еврейской крови. Это первое, что я у нее выяснил. Ее отец, стопроцентный поляк, тоже преподавал что-то, не знаю, что именно, в Краковском университете. Это я точно помню. Краков. Какое странное стечение обстоятельств, не правда ли? А может, не случайное? Неужели в Польше, мать их, всего один университет?

Английский офицер не успел ответить. Автомобиль вдруг резко затормозил. Они остановились у аллеи, которая вела к большому деревянному трехэтажному дому под сенью развесистых лип. Адъютант торопливо открыл дверцу машины.

Они вошли в темную прихожую, из которой была видна огромная, ярко освещенная комната с деревянными столами и стоявшими вдоль них скамьями. У камина в торцевой стене, на полу из светлых сосновых досок стояла жестяная ванна. Старушка в коричневой блузке и юбке с повязанным поверх цветастым фартуком мыла ноги обнаженному мужчине, лежавшему в ванне. Над водой торчали только его ступни и голова.

— Добрый вечер, мадам Кальм, добрый вечер, герр Рейтер, — сказал офицер, входя в комнату.

Первую часть этой фразы он произнес по-французски, вторую — по-немецки. Мадам Кальм посмотрела на них, улыбнулась и что-то ответила, не прерывая своего занятия. А голый герр Рейтер в ванне не обратил на вошедших никакого внимания. Англичанин подошел к серванту, стоявшему у дверей туалетной комнаты. Принес графин с красным вином и четыре бокала. Мужчины сели за один из столов.

Стэнли не мог отвести восхищенного взгляда от мадам Кальм, склонившейся над обнаженным телом герра Рейтера. Интересно, возможно ли нечто подобное в американском доме? — думал он. Голый мужчина, которого в присутствии совершенно постороннего, то есть в его

присутствии — англичанин с адъютантом, вероятно, бывали здесь и раньше, — моет женщина. И им обоим на вид далеко за семьдесят. Этого не позволили бы себе даже распущенные голливудские актеры! А если бы и позволили, то женщине было бы не больше двадцати пяти, да и мужчине примерно столько же, но, в конце концов, цензура все равно вырезала бы эту сцену. Америка так целомудренна. И при этом такая ханжеская. На Таймс-сквер в Нью-Йорке нельзя спокойно пройти вечером, чтобы к тебе не пристала хотя бы одна из целого табуна проституток. Больницы, особенно в Гарлеме, переполнены больными сифилисом и гонореей, в Центральном парке почти каждый день кого-нибудь насилуют, но на показах моды платье должно прикрывать как минимум три четверти груди, а подол юбки не может быть выше четырех дюймов от колена. Иначе фото с такого дефиле нельзя публиковать в газете. Зато можно спокойно показывать изрешеченный пулями, как сито, живот жертвы нападения — но только до пупка, изуродованное лицо или крупный план спины с ножом под лопаткой. Причем чем глубже нож воткнут, тем лучше.

— Вы будете? Это замечательное вино. Мадам Кальм до войны занималась виноделием, — вывел его из задумчивости голос англичанина. — Это вино очень хорошего, тридцать девятого года.

— Хороший год? Тридцать девятый? Если вы называете так урожай этого года, я с удовольствием выпью.

Они выпили пять полных графинов вина. Мадам Кальм, которая присоединилась к ним после первого, разбавляла себе вино водой. «Действительно, — в какой-то момент подумал Стэнли, — чертов англичанин прав, тридцать девятый год был очень хорошим. Во всяком случае, для винограда».

Когда они допивали третий графин, герр Рейтер уже храпел, но к концу четвертого, видимо, от их все более громких криков, неожиданно проснулся. Он встал в ванне и, как маленький мальчик, которого вдруг разбудили, стал протирать глаза. Мадам Кальм спокойно допила свой бокал и, не выходя из-за стола, со смехом сказала ему что-то.

Стэнли заметил, что это был не французский и не немецкий. Тем не менее все всё поняли. Кроме него. Он подумал, что в Европе общаются на любом языке. И почувствовал себя невежей. По сравнению с мадам Кальм, с этим английским офицером и его адъютантом, он чувствовал себя неграмотной прислужкой. Все за столом понимали друг друга, кроме него. Что тому причиной? Стэнли окончил Принстон. Отличное учебное заведение, по американским меркам. Одно из лучших в стране. Он далеко не глуп. Всегда был трудолюбив. Учил всё, что задавали, и даже больше,

если ему казалось, что этого недостаточно. Но это было в Америке. Там не было необходимости изучать другие языки. Этого не требовали ни родители, ни школа, ни университет. У него не было ни стимула, ни поводов общаться с внешним миром. Если что-то не переведено на английский, значит, оно того не стоит. Заикленная на самой себе, кичащаяся своим величием и силой, относящаяся к всему остальному миру как к отсталому, не поспевающему за прогрессом, Америка болезненно «америкоцентрична», он бы так это назвал. Американская элита подавилась величием и нынешней мощью Америки, как рыбьей костью, которая стала ей поперек горла, и от этого задыхается, а ее мозг не получает достаточно кислорода. А народ? Народ, который — в этом и заключается парадокс — происходит в основном из Европы, относится к этой Европе как к выцветшим, пожелтевшим снимкам в семейных альбомах или к фотографиям из национального заповедника. Сколько можно разглядывать такие фотографии? Десять, ну двадцать раз, потом надоест. И народу становится, как говорят в той же Европе, «egal» — это слово к концу второго графина вина урожая тридцать девятого года он успел уже выучить — пока на его банковский счет в конце месяца капает то, что положено. А оно капает. Потому что война щедро подгоняет конъюнктуру, хотя большинство американцев, если их спросить, что такое «конъюнктура», ответит, что это что-то архитектурное — или французское ругательство. Для Америки достаточно того, что элите это слово известно. И если элита объявит, что это французское ругательство, народ поверит. А если назовет благословением, поверит и в это. Он подумал, что должен на коленях благодарить Бога за то, что Гитлер родился в Австрии, а не в Техасе.

В Европе все совсем иначе. Мало кто верит элите. Европейцы относятся к ней, как к туче комаров над озером в летнюю пору. И тоже, как ему кажется, из-за французской революции. Стэнли очень нравилась французская революция. Скорее с точки зрения искусства, чем истории. Это было очень личное. Он защитил диплом на тему «Образы французской революции в объективе фотокамеры: возможное воссоздание исторических хроник». Очень театрализованный и при этом необычайно фотогеничный исторический акт. Три цвета, три прекрасно звучащих, но лживых слова на знаменах, виселицы, гильотины и красивая полуобнаженная женщина, со знаменем в руках ведущая революционеров к окончательной победе равенства, свободы и братства. Много ярко-красного цвета, еще больше крови. И страшный суд, который, как при любой революции, работает в три смены. Каждый день. Такое нельзя было упустить. Он уговорил своего

друга надеть взятый напрокат в одном из бродвейских театров парик. Тот должен был выглядеть как Дантон, сидеть на троне и, словно Бог, вершить судьбы людей, отправляя их в рай, чистилище или ад. Друг согласился, надел парик, сел на дубовый трон и перед объективом руководил страшным судом на благо его дипломной работы и фотографии. Снимки получились великолепные. И с точки зрения искусства, и с точки зрения техники. Но не с точки зрения политики. Друг, которого он просил изобразить Дантона, был не таким, как все. У него был синдром Дауна. Хотя Стэнли искренне казалось, что он не особенно отличался от других людей.

Научный руководитель отказался принимать эту работу, не из-за Дантона с синдромом Дауна, напротив — он-то считал всех вождей французской революции психически больными маньяками, и синдром Дауна, с его точки зрения, был бы для них не самым худшим диагнозом. Это больше всего расстроило Стэнли. Он не мог понять, почему профессор университета — представитель американской интеллектуальной элиты — не способен уразуметь, что французская революция первой предложила миру модель либеральной демократии, которую скопировала не только Европа, но и Америка. Зато Бог с синдромом Дауна оказался для господина профессора абсолютно неприемлемым. А для Стэнли важнее всего был именно этот образ: Бог с синдромом Дауна вершит Страшный суд. Он хотел донести до зрителей именно эту информацию. Его научный руководитель любил повторять, что студенты в своих работах должны сосредоточиться на информации, передаваемой визуально. А вышло так, что именно информация и не годится. Умственно неполноценный Бог с синдромом Дауна, который в насмешку над историей и вопреки неопровержимым истинам вершит Страшный суд в ходе какой-то если не «красной», то по крайней мере ярко-«розовой» революции, не укладывался в рамки политкорректности для Америки, которая кичилась свободой и правом непринужденно высказывать любую точку зрения.

Он отозвал свою работу. Наивный юношеский максимализм не позволил ему пойти ни на один из предложенных научным руководителем компромиссов. Он написал другую работу. Сделал другие фотографии. Из чувства противоречия, для контраста и чтобы немного позлить руководителя, выбрал другую тему, тривиальную и куда менее важную. Он занялся поразительной, неправдоподобно, с его точки зрения, тонкой талией культовой фотомодели Дориан Ли, которая восхищала и по сей день восхищает своей красотой американцев, да и не только их. В уютном грузовике Билла, который привез его в Люксембург, висели вырезки из цветных журналов с фотографиями Ли. В своей дипломной работе Стэнли

решил разоблачить мастерские манипуляции фотографов «Life» и «Vogue», которые при помощи специального освещения, игры света и тени, обработки в фотолаборатории и других эффектов делали из талии Ли мечту всех девушек и молодых женщин Америки. Эта работа тоже была не совсем политкорректна. И даже нелегальна. Он фотографировал мисс Ли без ее разрешения. Следил за ней, подглядывал за ее частной жизнью, снимал скрытой камерой. Но это совершенно не смутило его руководителя.

В Европе, вдруг подумалось ему, любой человек элитарен. И мадам Кальм, и англичанин, и его адъютант, и даже храпящий как медведь герр Рейтер. Он понял, что в Европе, в отличие от Америки, народ состоит из личностей, хотя именно в американской конституции, во всех ее приложениях и поправках много говорится об исключительности личности и праве на самоопределение и счастье. Америка, возможно, единственная страна на свете, где право на счастье записано в конституции. И в Америке действительно есть личности, это правда. Но, по его убеждению, всего две. Зато очень большие. Элита и народ.

История демократии, которую анализировал пьяный американский фотограф, допивая четвертый графин вина, вдруг показалась ему необычайно простой. Он только пока еще не понял, стал ли уже сам элитой или пока еще оставался народом...

Пока он размышлял о влиянии французской революции на жизнь Европы, герр Рейтер вылез из ванны, повернулся задом и продемонстрировал им и истории свои голые, огромные, поросшие волосами, бледные ягодички, а потом взял с полки над камином полотенце и молча исчез за дверью. Герр Рейтер совершенно точно принадлежал к элите — ведь просто-напросто послал всех и всё в жопу. И Стэнли подумал, что, конечно, это тоже один из способов выразить свои взгляды.

Когда вино в пятом графине закончилось, исчезла и мадам Кальм. Минут через пятнадцать она вернулась и положила на стол два ключа. Было ясно, что абсолютно пьяный адъютант, который с трудом смог самостоятельно дойти до туалета, не в состоянии вести машину. Так же, видимо, подумал и адъютант, потому что молча взял один из ключей, попытался с улыбкой пожелать всем доброй ночи, хотя было уже раннее утро, и нетвердой походкой, задевая столы, направился к двери, ведущей к гостиничной части пансиона.

Мадам Кальм тем временем — пользуясь лингвистической эрудицией английского офицера, — объяснила Стэнли, что он будет спать в их лучших апартаментах на третьем этаже. Кровать она застелила атласным бельем, в таз уже налита горячая вода, кувшин с холодной стоит на подоконнике.

Мыло у них, к сожалению, только хозяйственное, за что она просит прощения, печь растоплена герром Рейтером, в шкафу есть еще одна перина на случай, если ему будет холодно, завтрак подадут только в одиннадцать, поскольку из-за войны единственная в городе пекарня открывается не раньше десяти. Если он не сможет заснуть, на ночной столик она положила для него несколько книг. Английские, из тех, что нашлись в кладовке. Да, а еще, правда очень редко, ночью по крыше бродит кошка, Колетт. Если будет мяукать, царапать когтями окно и разбудит его, он может спокойно впустить ее в комнату и выставить в коридор. Если ему захочется пить, можно спуститься в салон. Она сейчас принесет бутылку воды, или даже две, и наполнит графин вином. А в камин добавит дров, чтобы сохранялось тепло. В его комнате стоят старинные часы с маятником. Некоторым гостям мешает их тиканье. Достаточно на секунду остановить маятник, как тиканье прекратится, и время остановится...

«Время остановится...»

Он задумался, действительно ли она это сказала, или так перевел англичанин. Должно быть, она действительно так сказала. При переводе многое, как правило, теряется. Эта фраза его озадачила. Большинство прочитанных книг он помнил по одному только предложению. Иногда ему казалось, что это не случайно, что авторы пишут книги лишь для того, чтобы написать это одно-единственное предложение. Спрятать его где-то в дебрях тысяч строк, построить вокруг сюжет, разделить все на главы и абзацы, на самом деле написав лишь его, это единственное предложение. И усердно объяснять свою мысль всеми сотнями страниц. Только благодаря этому предложению книги обретают право на существование. Он же изводит десятки метров пленки ради одного удачного кадра.

Люди из книги его жизни тоже существуют в его памяти благодаря одному предложению, которое когда-то, может быть, случайно, а может неосторожно и необдуманно, от избытка чувств или из-за минутной ненависти и злобы, а возможно, и сознательно они произнесли.

Он слушал, вглядываясь в губы мадам Кальм. У его матери были такие же губы. Увядавшие не столько от времени, сколько оттого, что она часто их кусала. И точно такие же морщинки у глаз. Несмотря на все тяготы жизни, больше морщинок оставили улыбки, чем слезы. У его матери были такие же голубые, всегда чуть влажные, блестящие на свету глаза. И такие же натруженные руки. И такие же рельефные линии вен, бегущие от запястья к локтю. И такие же густые седые волосы, гладко зачесанные назад. И такой же взгляд. И эта фраза: «В таз уже налита горячая вода...». Почти как мамино: «Стэн, в ванне горячая вода, искупайся и не забудь хорошенько

вымыть ноги. Воду не выливай, Эндрю помоешься после тебя. Так что смотри, не напай в ванну. Я потом приду сказать тебе спокойной ночи».

— Мадам Кальм вас чем-то обидела? — спросил англичанин, прерывая его задумчивость.

— Почему вы так подумали?

— Вы плачете...

— Плачу? — спросил он смущенно и привычным движением протянул руку к пустому бокалу. — Может, и плачу. Я иногда плачу. А вы никогда не плачете?

Англичанин тоже в этот момент протянул руку к бокалу. И тоже к пустому. Они смотрели на дно своих бокалов, чтобы не смотреть друг на друга.

Он встал. Взял ключ. Подошел к мадам Кальм, поклонился ей и вышел из салона. «Я выучу французский и сам когда-нибудь скажу ей, — думал он, поднимаясь вверх по ступеням, — всё, что хотел сказать сейчас. Сам справлюсь, без этого ученого англичанина...»

На третьем этаже он нашел свою комнату. Тихо повернул ключ и вошел. На подоконнике мансардного окна в стеклянном колпаке керосиновой лампы мерцала свеча. Он почувствовал запах лаванды. Вода в тазу была еще теплой. Он побрызгал себе на лицо. Не раздеваясь, прыгнул в кровать. Прислушался к тиканью часов. «Я не буду останавливать время, — решил он, — не сейчас. Может быть, в другой раз». И мысленно улыбнулся, вспомнив влажные глаза мадам Кальм. Вскоре он заснул.

Его разбудили странные звуки. Он по привычке протянул руку в сторону будильника. И тут же что-то тяжелое упало на пол.

— Спи, Дорис, это всего лишь мой дурацкий будильник. Я забыл его выбросить. Спи, дорогая, — прошептал он.

Но, что-то вспомнив, приподнялся и сел. Протер глаза и посмотрел на пол. Сноп света из окна упал на разбросанные по полу книги. «Все английские, что нашлись у меня в кладовке»... — вспомнил он слова старушки. Звуки слышались снова. Он обернулся и посмотрел в окно. Рыжеватая, облезлая кошка без одного уха царапала когтями оконное стекло. «Это, должно быть, Колетт!» — сообразил он. Открыл окно. Кошка мяукнула, и он ощутил на щеке прикосновение мокрой от снега шерсти. Поспешно вернулся в постель. Ему хотелось вернуться в свой сон...

Он чувствовал жажду. Окунул голову в таз. Из замерзшего фонтана вылетали ледяные снежинки. Прямо ему в рот. Замечательно холодные. Они пахли лавандой, корицей и розовой водой. Колетт и Мефистофель

сидели на радиоприемнике и дружно качали головами. Минуту спустя Дорис везла его в такси на войну. Они ехали по совершенно пустому Бруклинскому мосту. По радио несколько минут передавали речь Гитлера. Он выглянул в окно машины. Рядом с ними все время бежал конь с глазами английского офицера. Дорис остановила автомобиль прямо у двери лифта. На мраморном полу кабины стояли часы с маятником и тикали, как бомба с часовым механизмом. В зеркальном отражении он прикасался к голой спине и ягодицам Дорис. Он стоял сзади и, склонившись, пытался поцеловать ее в шею. И каждый раз ударялся лбом в стекло. След от губной помады на зеркале шевелился и говорил: «Я куплю для нас масло...». Вдруг часы перестали тикать. Стало совсем тихо. Мгновение спустя он услышал стук в дверь лифта...

Люксембург, раннее утро, понедельник, 26 февраля 1945 года

Он проснулся. Стук не прекращался. Колетт царапалась в дверь и прыгала, пытаясь дотянуться до дверной ручки. Он встал с кровати и подошел к двери. Повернул ключ. Стоило ему открыть дверь, как Колетт мгновенно шмыгнула в коридор.

— Не желаете позавтракать? Уже за полдень. Мы хотели бы часа в два отправиться в город, — с приветливой улыбкой сказал английский офицер. — Мадам Кальм готовит яичницу с помидорами на беконе. Это настоящий шедевр, ее фирменное блюдо, поверьте.

— В какой город? — спросил он нервно.

— В Люксембург. Вы же хотели проявить снимки. Боюсь, в сложившихся обстоятельствах это можно сделать только там.

— Но мы ведь и так в Люксембурге, не правда ли? Или я что-то перепутал? В последнее время я каждый день оказываюсь в другой стране...

— Правда, — засмеялся англичанин, — я имел в виду столицу. Она тоже называется Люксембург. Вы спуститесь в салон или нам не ждать вас? Мы не хотели приступить без вас к приему пищи...

— Конечно же, спущусь. Но сначала, наверное, умру от жажды. Вчера мы перебрали, — ответил он с улыбкой. — Я буду внизу через минуту.

Он не мог вспомнить, когда последний раз хотя бы кто-то назвал завтрак приемом пищи. Это прозвучало довольно экзотически. Завтракать ему иногда приходится. В воскресенье утром, если на ночь остается женщина. Обычно же он проглатывает подгоревший тост с джемом и запивает его кофе. Одновременно бреясь. Но все же это тоже можно назвать приемом пищи. Либо английский очень отличается от американского, либо этот англичанин красноречив от природы. Ну и ну. Большинство военных, с которыми он сталкивался, были полной противоположностью англичанину.

Однако узнать, что они не хотят «принимать пищу» без него, было в любом случае приятно. Он только надеялся, что они не будут молиться перед едой. Он не знал ни одной молитвы. Ни на каком языке. Даже по-английски. Потому что считал, что мир не нуждается в Боге. Пусть даже Он создал этот мир — хотя его всезнающий братишка Эндрю объяснял ему когда-то, что с точки зрения науки это маловероятно, — Ему явно нет дела

ни до Земли, ни до людей. Всё и без Него идет своим чередом...

Он ополоснул лицо водой. Почистил зубы, накинул пиджак, мазнул пошее одеколоном и быстро сбежал вниз по лестнице. В салоне пахло точно так же, как в его любимой французской пекарне на углу Мэдисон-авеню и Сорок восьмой улицы. Это была не обычная булочная...

Когда он шел мимо, ему всегда хотелось позавтракать. Даже в полночь. Хозяин пекарни, видимо, знал об этом, поскольку предлагал завтраки круглосуточно. В Нью-Йорке полно чудаков, которые в силу обстоятельств поставили с ног на голову свой распорядок дня. Живут и работают ночью, спят днем, а завтрак у них вместо ужина. В этом не было ничего удивительного. Он сам иногда, когда служебная необходимость требовала остаться в редакции на ночь, а у него разыгрывался волчий аппетит, звонил в пекарню и заказывал свои любимые круассаны с острым топленым сыром и малиновым джемом. Обычно минут через пятнадцать внизу звонил колокольчик, он спускался на лифте и забирал заказ.

В одну из ночей, почти год тому назад, бумажный пакет с теплыми круассанами принесла Жаклин, дочь хозяина пекарни. Иногда, по субботам и воскресеньям, он видел ее за прилавком. Жаклин невозможно было не запомнить. Особенно мужчине. Стоя у столика в углу пекарни, он попивал кофе, проглатывал свой завтрак и, рассматривая ее, думал, какой же дурак позволил ей в такое время покинуть свою постель.

Он помнил, как той ночью, через несколько минут после его звонка в пекарню, пошел сильный, первый весенний дождь. Девушка промокла до нитки. Он пригласил ее наверх, в свой офис, принес ей кружку горячего чая с лимоном, нашел для нее чистое полотенце, усадил в кресло и стал вытирать ее мокрые, блестящие, длинные черные волосы. Потом опустился на колени и попытался снять ее промокшие ботинки. Но, как только прикоснулся к ее стопе, она резко отдернула ногу.

Жаклин свободно говорила по-английски, но с французским акцентом. Об был убежден, что нет ничего лучше безупречного английского с французским акцентом. В особенности когда на таком английском говорит женщина, и слова эти слетают с таких губ, как у Жаклин.

Она изучала литературу в нью-йоркском Королевском коллежде, ей было двадцать три, она интересовалась живописью, играла на фортепьяно и увлекалась астрономией. У нее была тонкая восточная красота, в которой проглядывало что-то славянское. Пухлые щеки, синие глаза, высокий лоб, чуть курносый маленький нос, большая грудь. Ее отец из Алжира через Марокко добрался до Гибралтара, оттуда в Испанию, а потом уже приехал в

Лион. Там он познакомился с ее матерью, разведенной эмигранткой из России. Потом родилась она. Когда ей было четыре года, родители эмигрировали из Лиона в Штаты. Она была мусульманкой. Так же, как отец и мать, которая, будучи российской еврейкой, приняла ислам «исключительно из любви к мужу».

Он показал ей несколько фотографий своих картин. Только с Жаклин, не считая Эндрю, он отважился поделиться своей величайшей тайной — о том, что пишет картины. Так часто бывает. Мы рассказываем случайным попутчикам в поезде или автобусе такое, что не решились бы открыть никому из близких. Только тем, кого никогда больше не увидим, анонимным, неизвестным, не представляющим никакой угрозы, потому что, выйдя на следующей остановке или следующей станции из поезда, они исчезнут из нашей жизни навсегда.

Потом они ели круассаны. Он рассказывал ей о своей работе, а она ему — о своих мечтах. Когда волосы Жаклин высохли, он отвез ее на своей машине домой.

Спустя несколько дней он вновь остался в офисе допоздна. И снова почувствовал голод. Внизу, у входа в здание, с бумажным пакетом в руках стояла Жаклин. Они поднялись наверх. Он пошел на кухню за кофе. Когда он вернулся, Жаклин сидела на его стуле за столом, и ее волосы были мокрыми.

— Ты мне их высушишь? Как тогда? — спросила она, расстегивая пуговицы блузки.

Он поставил кружки с кофе на подоконник. Протянул руку к выключателю настольной лампы. Она перехватила его руку.

— Оставь свет, я хочу все видеть... — прошептала она.

На следующий день Лайза, секретарша, позвонила ему, когда он появился в редакции. Как оказалось, слишком поздно.

— Стэнли, как поживаешь? У тебя прошлой ночью, похоже, опять был приступ трудового энтузиазма? Твой стол такой пустой и чистый, прямо как каток у Рокфеллер-центра. Видимо, ночью ты работал на полу, на четвереньках? Твоя лампа прожгла там огромное пятно, хорошо еще, что бумаги не загорелись. Пропала бы пара неплохих фотографий. Так сказал Артур. Две фотки он забрал с собой. На всякий случай, чтобы ты их не искал. Жаль, что Артур пришел сегодня в офис раньше меня. Я не успела подобрать все с пола и воссоздать обычный бардак на твоем столе. А наш казанова Мэтью из спортивной редакции пришел, как всегда, еще раньше Артура. Он вызвал эту шалаву-практикантку из бухгалтерии, блондиночку, что ходит на работу без чулок, и они вместе искали на твоем столе... следы

органических жидкостей. Так сказал этот чертов извращенец. И кажется, что-то нашли, потому что эта идиотка вела себя так, как если бы хотела отдаться Мэтью прямо на месте.

— Лайза, какую из моих обычных отговорок ты хотела бы услышать сегодня? — спросил он озадаченно, прикусив губу.

— Никакую, Стэнли, не напрягайся. Я хочу, чтобы ты был здесь всегда. Если ты отсюда уйдешь, и я освобожу свой стол. Так что, прошу тебя, если, скажем, ты работаешь ночью, не наводи такой идеальный порядок на столе или работай на полу.

— Спасибо, Лайза. Я запомню, — ответил он и повесил трубку.

Если бы он познакомился с Лайзой в темноте, на вечеринке для незрячих, то сразу же признался бы ей в любви.

Через минуту, как и следовало ожидать, позвонил Артур. Услышав его голос, Стэнли привычным жестом взял сигарету, тлевшую в пепельнице.

— Стэнли, я проходил сегодня мимо твоего офиса, и на полу, совершенно случайно, нашел два фотошедевра. Они валялись рядом с твоим бумажником и расческой. Я и не знал, что ты пользуешься расческой. Ведь ты всегда выглядишь так, будто тебя только что вытащили из постели. Но талант у тебя все же есть. Мы даем их на первую полосу. Оба. Пусть Лайза снимет все остальные. Будут только два твоих. И ничего больше.

— Я передам ей твое распоряжение, Артур, — с явным облегчением произнес он.

— А еще, Стэнли, я хотел тебя кое о чем попросить. Не спали мне, часом, контору. Это все, что я хотел сказать. Ты можешь, конечно, и дальше заниматься этим на редакционном столе, но в следующий раз води себя как большинство американцев. Выключай свет.

— Артур, я все объясню. Лампа просто сползла...

Связь прервалась. Он взял следующую сигарету.

Чертова лампа, вспомнил он, действительно незаметно съехала. Он сбросил на пол со стола всё. Это факт. Всё, кроме лампы. Они ведь должны были «всё видеть». И когда Жаклин уже лежала под ним на столе, они, видимо, эту лампу случайно спихнули. Он этого даже не заметил. Потом, когда он почти ничего не соображал, Жаклин вдруг его остановила. Он перестал понимать, что происходит. А она шепнула ему на ухо, что нужно «не туда, туда не надо, лучше по-другому, там тебе тоже будет хорошо, я мусульманка...», а потом, когда он уже перестал дрожать и лежал, прижавшись к ней, удивленный тем, что — впервые в его жизни — произошло, она вдруг посмотрела на часы, торопливо оделась и с паникой в голосе попросила поскорее отвезти ее домой.

Он так и возил ее до середины декабря. Но для начала стал еще более ненормальным, чем все ненормальные жители этого сумасшедшего города. Днем он должен был работать, а ночью не мог спать. Он стал завтракать дважды в сутки. Первый раз утром — во время бриться в ванной, а второй — после полуночи. Все остальное время он вообще не ел. Ждал, когда последний сотрудник покинет редакцию, звонил в пекарню и заказывал «то, что всегда». А потом, не голодный, а изголодавшийся, не слушал, а вслушивался в нее, поедая взглядом. Они разговаривали о живописи, об астрономии, о фотографии, о книгах, о ее религии и убеждениях. А еще о том, что она чувствует на себе тяжкие оковы принятых в ее семье религиозности и понятий чести, которые ей прививали с детства, но с которыми — поскольку она жила среди других культурных традиций — она не могла примириться. Он так и не успел пресытиться разговорами с ней. Она, видимо, тоже. Но она была более организованной и постоянно смотрела на часы. И в какой-то момент — продолжая поддерживать беседу — начинала раздеваться. Тем, что происходило потом, он тоже не мог насытиться.

Будучи мусульманкой, она не имела права оставаться наедине с мужчиной, который не приходился бы ей отцом, братом либо кем-то из узкого круга ближайших родственников. Но Стэнли для ее отца и брата не был — пока что — мужчиной. А был всего лишь постоянным клиентом, дававшим хорошие чаевые, которые она относилась домой. Она мчалась к нему, как сумасшедшая, с бумажным пакетом в руке, он встречал ее, запыхавшуюся, внизу, они сразу же начинали свое краткое общение и заканчивали его в автомобиле, который он гнал как безумный, чтобы как можно скорее добраться до угла Мэдисон-авеню и Сорок восьмой улицы. Но все то, что происходило в этом подаренном ему Жаклин временном промежутке, было таким волшебным, что стоило любых безумств.

Она так никогда и не согласилась прийти к нему домой, он никогда не был с ней на прогулке, никогда не водил ее в кино или ресторан. Они ни разу не отважились показаться где-либо вместе. Она ни разу не приняла от него цветов. С нежностью прикасалась к ним, когда он их дарил, нюхала и прижимала к себе, но ни разу не приняла. Он прекрасно знал, как женщины принимают цветы. Впрочем, на самом деле она и не была его женщиной. Лишь приносила в бумажных пакетах заказанные им круассаны и так — при случае — останавливалась на время в его жизни. На минуту. Как транзитный пассажир.

Шестнадцатого декабря, в день ее рождения, он получил внизу у входа в редакцию свой последний бумажный пакет. Из рук ее брата. Который был

очень похож на Жаклин. У них даже голоса был похожи. И пронизательный, полный интереса ко всему на свете взгляд. На пахнувшей розовой водой салфетке, которую он обнаружил на дне пакета, она написала: «Через две недели я выхожу замуж. Он хороший человек. Когда-нибудь я его полюблю. Жаклин. P.S. Вчера я сначала намочила, а потом отрезала себе волосы. Я больше никогда-никогда к ним не прикоснусь...».



— Bonjour, madame Calmes, guten morgen, Herr Reuter, good morning, gentlemen! — весело воскликнул он, подходя к столу.

Мадам Кальм укладывала в плетеную корзинку горячие круассаны. Герр Рейтер чесал за ухом расположившуюся у него на коленях Колетт, английский офицер сидел на стуле очень прямо, как перепуганный переводчик во время Ялтинской конференции, — если можно «сидеть по стойке смирно», то он сидел именно так, — а молодой адъютант был похож на человека, у которого оказалось слишком мало воды в тазу.

Они приступили к еде. Никто не стал утруждать себя молитвой. Зато все почти сразу потянулись к фарфоровому блюду с яичницей. Стэнли украдкой взглянул на мадам Кальм. У его матери был точно такой же радостный блеск в глазах, когда они с Эндрю наперегонки протягивали руки к дымящемуся на столе блюду. И если его содержимого было для них явно мало, мать с ними не ела. Мило врала, что у нее «сегодня нет аппетита». Отец на аппетит никогда не жаловался. А руки у него были самые длинные...

Они не выехали в четырнадцать часов, как планировал англичанин. Стэнли был этому рад, поскольку не видел повода спешить. Он решил, что может проявить свои снимки и завтра. Один день задержки в контексте его пребывания здесь не играл никакой роли. Он не был одним из многочисленных военных корреспондентов, которые следовали за армией, чтобы докладывать Америке о победах «ее парней». Артур хотел и ждал от него — как следовало из письма, которое Стэнли обнаружил вместе с деньгами в конверте, — чего-то другого. А именно, будней войны в Европе глазами ее жителей. Ему уже претил официальный, явно идеализированный американский взгляд на войну. Тот, что отражался на первых страницах газет, в том числе и «Таймс». Вторая мировая война, если судить о ней только по этим снимкам, вовсе не была противоречивой. В течение всей войны у американцев поддерживали довольно высокий уровень патриотических чувств. И цензура вкупе с патриотизмом привела к тому, что в американских газетах печатались только те снимки и репортажи, которые несли положительный заряд. Артур был с этим

абсолютно не согласен. Он считал, что это ложная и, в конечном счете, вредная практика. Так же, как те же главные редакторы журнала «Life» или «National Geographic», он стремился отправлять своих независимых фоторепортеров в самое пекло, а не пользоваться фотографиями, предоставляемыми армией, а значит, утвержденными правительственными специалистами по части фотосъемки. Артур был сыт по горло цензурой и одобренными ею снимками. Он прекрасно знал, что существуют и другие. Как, например, опубликованные по чистой случайности — и политически некорректные — фотографии благополучного довоенного Берлина под властью нацистов. Куда более сытого, чем довоенный Нью-Йорк. В конце концов, ему удалось убедить или, что более вероятно, подкупить какую-то шишку в Госдепартаменте США и таким образом получить основания и полномочия позвонить Стэнли той памятной ночью, когда тот впервые спал с Дорис. Позвонить, уговорить и отправить «на войну».

Артур больше ничего не хотел знать об армиях, батальонах, корпусах, дивизиях, фронтах, ударах, отбитых атаках, передислокациях, группировках, форсированных реках, операциях, битвах, точках сопротивления, штаб-квартирах и просто штабах, плацдармах и тому подобном. Всего этого у него хватало. Ему хотелось показать реальные будни войны, которую американцам, наблюдавшим за ней с безопасного расстояния, трудно было себе представить, и именно поэтому она могла стать для них — Стэнли знал Артура, дружил с ним и прекрасно знал, что это журналист с безошибочной интуицией,  нтересной. Артур хотел показать обыденность войны, ее жестокость и бессмысленность, масштаб страданий, которые она обрушивает на людей, но при этом не стремился вызвать жалость к их мучениям. Потому что, благодаря своему возрасту и еврейскому происхождению, знал, что война — это не только жизнь в одном огромном окопе, что даже во время войны созревает земляника, а люди любят друг друга и строят планы на будущее. Конечно, все это происходит иначе, чем в мирное время. В основном из-за вездесущей смерти, которая грозит всем, независимо от возраста. Во время войны смерть перестает ассоциироваться только со стариками, похоронными процессиями, дорожно-транспортными происшествиями и убийствами. Это уже не только некрологи в газетах и черно-белые листочки с фамилиями, приклеенные на своды церквей и стены домов. Смерть перестает быть тщательно соблюдаемым табу. О ней видят сны, о ней думают, разговаривают. Учитывают ее возможность в своих планах. Редко это происходит сознательно, но подсознательно — почти всегда. Во время войны никто не вкладывает деньги в банк под проценты и — вот

парадокс! — не составляет завещаний. Потому что никто не верит, что какие-то бумаги, пусть даже с красивыми красными печатями и витиеватыми подписями, могут иметь в будущем хоть какое-то значение. И не знает, каким окажется это будущее и наступит ли оно вообще. Во время войны девушки не хранят целомудрия — разве что свадьба уже намечена на точную дату; они чувствуют, что у мужчин нет времени дожидаться свадьбы. А мужчины по своей природе никогда — ни в военное, ни в мирное время, даже в начале жизни — не готовы ждать, тем более до свадьбы. Впрочем, женщины — во всяком случае те, которых он встречал до сих пор — тоже были не готовы...

Он думал обо всем этом во время позднего завтрака пополудни, в понедельник, 26 февраля 1945 года, в салоне пансиона мадам Кальм, в освобожденном десять дней тому назад Люксембурге. Ему не верилось, что это и есть «обыденная» война. И хотелось как можно больше узнать о том, кто еще завтракал здесь в эти дни. В какой-то момент он заметил, что англичанин притомился переводить его вопросы и ответы мадам Кальм. Стэнли хотел узнать всё о войне, как ее видела мадам Кальм, а она была готова ему об этом рассказать. Двусторонний перевод длился очень долго. Несчастный адъютант, явно скучая, съел за это время все, что лежало на тарелках. Зато, прощаясь с мадам Кальм, выглядел отдохнувшим и бодрым.

Когда они садились в машину, уже опускались сумерки. Шел снег. Герр Рейтер выглядывал из окна, Колетт сидела на подоконнике рядом с ним и грызла листья фикуса, мадам Кальм стояла на пороге и нервно поправляла на голове платок. Его мать всегда надевала такой платок, когда в доме появлялись чужие или случалось что-то особенное.

Вдруг мадам Кальм повернулась и скрылась за дверью. Адъютант резко остановил автомобиль. Англичанин, похоже, не мог понять, в чем дело. Минуту спустя мадам Кальм подбежала к машине. Адъютант выскочил из кабины и открыл дверцу. Пожилая дама заглянула в салон и молча сунула Стэнли полотняную сумку. И они наконец тронулись в путь.

— Спасибо, — сказал Стэнли с заднего сиденья адъютанту и похлопал его по плечу, — большое спасибо.

Они ехали по извилистым, узким лесным дорогам. Иногда настолько узким, что ветви деревьев, росших по обеим сторонам, сметали с лобового стекла хлопья мокрого снега. Временами казалось, что пути дальше нет. Чаще всего из-за пересекающего дорогу рва или упавших деревьев. Тогда адъютант просто съезжал в лес, вилял между кустами и деревьями и возвращался на дорогу, объехав препятствие.

Англичанин сидел молча, прислонив голову к боковому стеклу. Между

ними лежал большой кожаный портфель.

— Не угостите меня сигаретой? — попросил он вдруг.

— Конечно, извините, я думал, вы не курите. — Стэнли сунул руку в карман пиджака и протянул англичанину пачку.

— А среди ваших предков нет славян? — поинтересовался англичанин, вставив сигарету в рот.

— Почему вы спрашиваете?

— Просто кое-что вспомнил. Только славяне протягивают всю пачку сигарет, как вы сделали минуту назад. Американцы вытаскивают одну сигарету и подают ее, держа пальцами за фильтр. Голландцы обычно врут, что у них осталась последняя, а англичане прикидываются, что не расслышали вопрос. Французы вежливо признаются — и это почти всегда соответствует действительности, — что у них уже нет сигарет, но они бы тоже охотно покурили. Итальянцы и испанцы вытаскивают сигарету изо рта и разрешают затянуться. И только русские, — я их много встречал в вашем Нью-Йорке, — подают всю пачку, как и другие славяне. А если у них нет сигарет, обязательно пойдут просить для вас, но только у своих...

— А немцы?

— Немцы? Я не уверен, но думаю, что они угостят сигаретой. Это очень дисциплинированный народ. Если это записано в какой-то инструкции или законе, перед казнью они обязательно угостят сигаретой. А потом впишут ее в бухгалтерскую книгу в раздел «казни» под рубрикой «накладные расходы», а может, «к списанию». Такие вещи я путаю, ведь я не немец. Немец никогда не спутает.

— Вы хотели бы их всех, то есть немцев, уничтожить? Если бы у вас, предположим, была такая возможность.

— Боюсь, таким вопросом вы все чертовски упрощаете. Обычно это делают специально. Но вы не такой. Вы — другой. Иначе бы старушка Кальм не подала вам рис с корицей и сахаром. Вы ведь этого даже не заметили, не так ли? А я заметил. И герр Рейтер тоже. Вы обратили внимание, что он тогда сразу же встал и вышел из салона? Конечно, вы это видели, но вряд ли с чем-то связали. А такая реакция герра Рейтера понятна, — добавил он. — Дело в том, что старая дама готовила рис с корицей и сахаром только для своего сына, когда он приезжал из Брюсселя навестить ее. Для своего единственного сына. Он был журналистом, как и вы. Работал в одной из бельгийских газет. Через год после начала войны его отправили корреспондентом в Англию. Четырнадцатого ноября 1940 года он погиб в Ковентри, во время бомбежки. В тот день немцы сровняли Ковентри с землей. Вам это известно. Ваш «Таймс» об этом писал. Но

вернемся к вашему вопросу, — сказал англичанин, повернувшись к Стэнли, — вы ведь хотите узнать это для себя, не так ли? Не для каких-то там газет?

— Не для газет, это точно. А если бы и так, то только для одной. Моей. А это не «какая-то» газета. Иначе я не работал бы там и никогда не послал бы к черту Нью-Йорк, чтобы оказаться здесь, с вами. Но сейчас я действительно спросил для себя. Вы правы. Я хочу знать, убили бы вы, имея такую возможность, всех немцев, вы, британский офицер еврейского происхождения. Вот и всё.

— А знаете что, — сказал англичанин, затягиваясь, — простите, но вы задали этот вопрос, как журналист какой-нибудь бульварной газеты. Оставив мне, как водится у газет подобного толка, только два цвета — черный и белый. Никаких полутонов для маневра. Видимо, в этом и состоит секрет популярности таких газет. «Да» или «нет», как в заголовке газеты, которую люди читают в туалете. Мало того, что человек, простите меня за грубое слово, просрется, он заодно без малейших усилий узнает что-то конкретное об окружающем мире. Чаще всего то, что он и так знал и что в точности совпадает с его убеждениями. А убеждение одно: еврей в нынешней ситуации должен хотеть голыми руками задушить всех немцев. Это же, твою мать, естественно. Ведь если бы он сам был евреем, то поступил бы именно так. Он спускает воду, бросает газетенку в мусорное ведро, забывает вымыть руки и выходит из сортира с облегчением во всем теле и вполне понятным и единственно верным, хоть и временным, пониманием евреев. Может быть, и не евреев как таковых, но их права отомстить. А это не так! Я не могу дать вам однозначный ответ. Моя жена родом из Гамбурга. Немцы назвали бы ее расово чистой, без примеси чужой крови, истинной немкой. Она — самый хороший человек из всех, кого я знаю. Нет — лучший. Так вернее. Самый лучший. Именно так. Короче говоря, я не убил бы ни одного немца только из чувства мести. Я не культивирую в себе это чувство. Как и ненависть. Это правда, что большинство людей любит ненавидеть. Такие люди считают, что у них твердые и ясные убеждения. Но я к ним не принадлежу. Вы ведь это хотели узнать, не так ли? — спросил англичанин.

Стэнли слушал его молча, нервно разжевывая оставшиеся между зубами крошки табака. Англичанин был прав. Именно об этом он и хотел спросить. О ненависти и желании отомстить. И никак не ожидал краткого и простого ответа. Может, это так прозвучало, но он не ждал ответа «да» или «нет». Его интересовало, почему «да» и почему «нет».

— Да, именно об этом, но я не хотел обидеть вас своим вопросом, —

ответил он сдержанно.

Англичанин улыбнулся.

— Вы меня не обидели. Честно говоря, я вам даже благодарен. Никогда раньше об этом не задумывался. Я стал солдатом не для того, чтобы убивать, меня больше интересует, почему солдаты убивают... А теперь, если позволите, я хотел бы сменить тему. Через час, если ничего непредвиденного не случится, мы должны добраться до города. Мне объяснили, что я должен передать вас американскому офицеру из отдела пропаганды в Бонневуа. Это район в юго-восточной части города Люксембурга, где расквартированы офицеры из штаба Пэттона. Там вы будете среди своих. Это тихий и почти не пострадавший район города.

Обращаясь к адъютанту, он скомандовал:

— Мартин, едем в северный Бонневуа. Я скажу тебе точно, где остановиться, когда мы туда доберемся.

Несколько минут они ехали в молчании. Сиэнли чувствовал что-то вроде разочарования и нетерпения. С момента посадки в самолет в Ньюарке у него не было возможности самому распоряжаться своей жизнью. А он этого не выносил. Ему приходилось следовать сейчас по пути, проложенному для него другими. Да, это было обусловлено ситуацией, но он чувствовал дискомфорт оттого, что у него нет выбора. Это было непривычно и вызывало раздражение. Ему хотелось быть поближе к войне, а он даже не знал, где эта самая война ведется. И дело вовсе не в том, что ему не терпелось попасть в окоп на следующий день после битвы и почувствовать настоящий запах пороха и крови. Он хотел «на следующий день» после так называемого освобождения — вряд ли немцы назовут это так — оказаться не в окопах и не с солдатами, а в каком-нибудь обычном среднестатистическом немецком доме. Немецком! Это было важнее всего. Достопочтенная мадам Кальм в Люксембурге могла считать себя «освобожденной», но он не верил, что такие же чувства испытывает какая-нибудь фрау Шмидт, проживающая за Рейном в нескольких десятках километров восточнее пансиона мадам Кальм. Это свидетельствовало бы о том, что у фрау Шмидт случился чрезвычайно острый приступ амнезии. При амнезии забываешь обо всем, в первую очередь о своих проступках. А ему хотелось бы, в частности, сфотографировать раскаявшихся немцев, немцев в ожидании кары, неизвестно какой. Артур со своими воспоминаниями о Первой мировой и о том, что началось в сентябре тридцать девятого, не верил в раскаяние немцев. Как и в то, что «обещание исправиться» и наказание могут что-то изменить. Но все же, несмотря на это, Стэнли ожидал увидеть немцев на коленях, побежденных и

униженных. Чтобы был хороший материал на первую полосу. Что-нибудь такое, чего ждет жаждающая мести толпа. Ведь газеты без толпы не бывает. Правда, вокруг «Таймс» объединялась толпа специфическая, более требовательная, более интеллектуальная либо претендующая на интеллектуальность. Но при этом она оставалась толпой. С другой стороны, когда эта толпа удовлетворит свой первый голод, Артур хотел показать — и Стэнли разделял это желание — и немцев, смилившихся только на время, а на самом деле твердо уверенных в том, что у них будет шанс на реванш. И еще он, Стэнли, хотел бы показать и третью категорию немцев. Тех, кто действительно искренне радовался «освобождению». Он верил, что найдутся и такие.

Единственное, чего он никоим образом не хотел, так это чтобы немцы получили возможность публично каяться. Например, со страниц их газеты. Он не собирался этому способствовать. Это было бы слишком наивно, учитывая ментальность американцев, которым достаточно, чтобы какой-нибудь законченный подлец публично покался, посыпал главу пеплом, поплакал, извинился, признал свои ошибки, приплел какую-нибудь байку о несовершенстве человеческой природы, о происках дьявола, о желании избавить мир людской от порока и все такое, чтобы тут же вновь стать одним из них. Американцы обожают, когда кто-то значительный, с первых полос газет, оказывается таким же несовершенным, как они сами. И тут же прощают его.

Он знал, что американцы никогда не поверят в амнезию, но охотно одобряют амнистию. Лично он был категорически против такой гипотетической, а тем более реальной, амнистии. Артур же в этом вопросе, стоял, как казалось Стэнли, на стороне толпы. Видимо, это была продуманная стратегия, одна из многих, имевшихся в его распоряжении, поскольку Артур испытывал к толпе отвращение даже большее, чем к тараканам. И не мог не знать, какую судьбу немцы уготовили евреям. Это Стэнли и беспокоило — что главный редактор наиболее влиятельной в Америке, формирующей общественное мнение газеты отвергает проблему беспрецедентного в истории по размерам и жестокости геноцида евреев. Сам будучи евреем. У него должна быть на это причина. Артур ничего не делает без причин...

Он только один раз заговорил об этом с Артуром. В декабре сорок третьего на традиционном рождественском празднике в редакции. Это был единственный день в году, когда офисы уважаемой газеты превращались во что-то вроде игровых площадок для детей сотрудников «Таймс». Обычно

они устраивали такой праздник раньше, чем появлялась елка на площади Рокфеллер-центра. Артур считал, что сначала должна быть елка в «Таймс», а потом Рокфеллер может делать все что угодно. Артур ненавидел клан Рокфеллеров. В редакции все это знали. И вне ее тоже. Он игнорировал приглашения, исходившие от этой семьи. Считал, что Рокфеллер — опасная и безжалостная акула, пожирающая всё и вся вокруг. Стэнли хорошо помнил, как в один из понедельников у редакционной двери появился огромный аквариум. В воде плавала акула. Настоящая, хоть и маленькая. К стенке аквариума была приклеена бумажка с надписью «Рокфеллер».

Это было в один из дней второй недели декабря. Артур только что вернулся из Тегерана, где был единственным представителем американской прессы и летел туда на одном самолете с Рузвельтом, что не преминул отметить жирным шрифтом на первой полосе. Тогда много писали о том, что «Тегеранская конференция продемонстрировала сплоченность Большой тройки и приблизила падение Третьего рейха». И ни слова — о том, что в Тегеране, в рамках этой «сплоченности», Рузвельт, не моргнув глазом, отдал Сталину Польшу. Писать об этом было неприлично и неправильно с политической точки зрения. Во всяком случае, в сложившейся тогда ситуации. В сорок третьем должны были состояться президентские выборы. По настойчивой просьбе Рузвельта, рассчитывавшего на голоса польской эмиграции в Америке, от общественности скрыли решения «большой тройки» по польскому вопросу. Артур был одним из немногих гражданских лиц, кроме переводчиков, которые знали о нем. И невзирая на так называемую свободу прессы, тоже скрыл его. А ведь «Таймс» с момента возникновения неизменно публиковала на первой странице свой известный и всем понятный девиз «All the News That Fits to Print». Его знают наизусть даже те адепты журналистики, которые не владеют английским. «Все новости, что годятся для печати». Все? Как бы не так! Что за bullshit, подумал он. Слово bullshit тоже понимают те, кто не знает английский.

Стэнли нередко задумывался о том, действительно ли объективна пресса. Конечно, он помнил определение — «передача информации независимо от собственных предпочтений, эмоций и взглядов». Но чем больше работал в журналистике, тем чаще замечал, что, как бы парадоксально это ни звучало, информация в прессе зависит от субъективного вкуса, и даже очень. Артур, когда он спросил его об этом, ответил не раздумывая:

— Стэнли, из всей этой братии мы единственные, кого можно назвать

абсолютно объективными! Посмотри, точнее послушай, что творят Си-би-си или Эн-би-си. По сравнению с ними мы кристально чисты. Но и на кристаллах бывают царапины и трещинки. Журналисты пишут правду-матку, но потом, перед тем как отдать в печать, немного подправляют. Ну, ты сам знаешь...

Они разговаривали, отойдя от елки с оравой возбужденных детей, распаковывавших подарки. Артур был странно задумчив. Он держал в руке бокал с вином, но не пил. И выглядел печальным. Артур редко давал волю чувствам. Тем более — в присутствии посторонних. Мало кто мог заметить, что ему грустно. В редакции, наверное, таким человеком был только он, Стэнли. Это была его привилегия: Артур не считал его посторонним. Стэнли был для него кем-то вроде приемного сына. В Америке принято демонстрировать свое истинное настроение только психоаналитику, который получает за это хорошие деньги. Никто в этой стране не подаст милостыню печальному нищему. Так сформулировал это Артур. И был прав, но лишь отчасти. Неправда, что никто не подаст. Стэнли подавал и тем нищим, которые не успевали ему улыбнуться. Причем им — значительно больше, чем другим.

Прежде чем заговорить, Артур убедился, что рядом никого нет.

— Стэнли, уж кому-кому, но тебе-то не надо объяснять, что свобода прессы не означает вседозволенности. Скажу тебе между нами: Гитлер — психопат и убийца, но настоящий мясник — не он, а Сталин. В Тегеране мне удалось вывезти за город и напоить русского переводчика. То есть напоить-то мне его как раз не удалось. Русских, кажется, вообще невозможно напоить. Но с помощью алкоголя мне удалось добиться, чтобы он перестал бояться и начал говорить. Хотя он все равно, прежде чем заговорить, он долго озирался по сторонам. То, что он рассказал мне об ужасах сибирских лагерей, не укладывается в голове. Моя жена не смогла бы это слушать. Когда обо всем этом узнаешь, по-другому начинаешь воспринимать существование Дахау. Мы не можем писать о Сибири, потому что выведем из себя Сталина, а Рузвельт не хочет, чтобы тот нервничал. По крайней мере не сейчас. Слышишь? Не сейчас! Стоит Сталину чихнуть, и целые бригады Красной Армии останавливаются. Стоит Сталину пёрнуть, и останавливаются дивизии. А если Сталин разнервничается, он может остановить всю армию. И надолго. А это никому, кроме немцев, не нужно.

— И поэтому Рузвельт дарит ему наши самолеты, джипы и танки?

— Браво, парень, браво! Наконец-то ты начинаешь соображать! Советы проглатывают все это, ничего не обещая взамен. Сделка по поводу

будущей восточной границы Польши в Тегеране — лучшее тому подтверждение. Сталину насрать на наши джипы и самолеты. Ему гораздо больше нужны наши грузовики, бензин, но прежде всего — наше продовольствие. Имея грузовики и бензин, он сможет развезти по стране продукты. Это для него сейчас важнее всего. Ты знаешь, что на Украине люди от голода дошли до каннибализма?! Вот Рузвельт ему все это и отправляет. Фрэнки Ди не хочет ссориться со Сталиным. Ему проще поругаться с Черчиллем. Для Рузвельта Черчилль — болтливый империалист с сигарой, а Сталин — симпатичный демократ на советский лад. К тому же Сталин позволяет ему забыть о Восточном фронте. Рузвельт счастлив, что Советская армия сражается там и побеждает. За такую кровавую работу им что-то причитается, не так ли? Рузвельт не осознает, что помогает дьяволу. Представляешь, Стэнли? Мне не нужно себе это представлять. Я это знаю. Когда пройдут выборы, а твой братишка и его друзья в Чикаго с божьей помощью что-нибудь смастерят, появится совсем другое созвездие, а может, и новый президент. Президент с яйцами, — сказал он, развязывая галстук и вытирая пот со лба.

— Артур, ты действительно думаешь, что выборы что-то изменят? — спросил удивленно Стэнли.

Артур посмотрел на него с еще большим удивлением. И цинично улыбаясь, ответил:

— Парень, запомни одно. Раз и навсегда. На всю жизнь. Если бы выборы могли хоть что-то изменить, политики уже давно объявили бы их вне закона. А если говорить серьезно, то перед выборами руку на пульсе держат корпорации. Одну руку. Другой они крепко сжимают яйца Рузвельта. — И добавил, посерьезнев: — Что касается выборов, поверь мне, Стэнли, политика — это выбор из двух зол меньшего. Сейчас, во время войны, это выбор между туберкулезом и раком легких. Кстати, о легких. Если ты будешь столько курить, умрешь раньше меня и даже не узнаешь, что мы напишем. А мы потом напишем и о Дахау, и тем более об Аушвице. Но не сейчас. Когда придет время. Это я тебе обещаю. И прошу тебя, не кури столько. А теперь давай праздновать со всеми. Сегодня не самый лучший день для разговоров о политике и вселенском зле. — Артур взял его за плечо и увлек за собой в холл редакции, заполненный веселящейся толпой.

— Артур, постой еще секунду. Скажи, откуда ты знаешь, что Эндрю в Чикаго? — спросил он, останавливая его.

— А разве нет? — шепнул Артур с улыбкой. — До Тегерана он был там...

Тот разговор с Артуром ничего не прояснил. Даже наоборот, еще больше все запутал. Заговор молчания вокруг истребления евреев в Европе, по мнению Стэнли, не имел ничего общего с замалчиванием преступлений Сталина. Но может быть, он не все знает? Может, Артур именно это хотел ему сказать?.. Все может быть...

— Вы мне не поможете? — обратившись к англичанину, он сунул руку в карман, достал мятую карту и разложил на коленях. — Я хотел бы как можно скорее оказаться в Германии. Разумеется, не раньше Пэттона. Билл, который привез меня к вам, считает, что первым падет Трир. А вы как думаете?

Англичанин повернул выключатель лампы в салоне машины и склонился над картой. Именно в этот момент они опять съехали с дороги в лес. Голова англичанина резко дернулась, и он уткнулся носом в колени. Капли крови из разбитого носа упали на карту.

— Мартин, — сказал он спокойно, — ты не мог бы на минуту остановить машину?

Когда тот выполнил его просьбу, англичанин вытащил из кармана брюк носовой платок, промокнул платком нос, а затем тщательно вытер пятна крови с карты.

— Трир мы возьмем уже скоро, — сказал он, снова прижав платок к носу. — Сегодня понедельник, двадцать шестое февраля. Думаю, этот вопрос будет решен в течение недели, не более. Трир не имеет для нас особого значения. Куда важнее Рурский бассейн — форсировать Рейн, взять Кельн и Дортмунд. Думаю, немцы бросят все силы в район Ремагенского моста через Рейн, а Трир сдадут без серьезного сопротивления. Да там, собственно, и сдавать нечего. В конце декабря мы сбросили на Трир более двух тысяч тонн бомб. С напалмом. Думаю, в ближайший понедельник вы сможете начать делать там снимки и писать свои комментарии. От Люксембурга до Трира всего шестьдесят километров, то есть около тридцати семи миль.

— То есть Трир теперь похож на Дрезден, да? Больше всего я хочу попасть в Дрезден...

Англичанин на секунду отнял руку с платком от своего разбитого носа. Кровь все продолжала идти, и одна крупная капля снова упала на карту, но он этого не заметил.

— Надеюсь, вы шутите?! — спросил он изумленно и, не ожидая ответа, тут же добавил: — В мире на сегодняшний день нет второго такого места, как Дрезден. Если вы специализируетесь на фотографиях кладбищ, у

вас есть шанс сделать там свои лучшие снимки. Более впечатляющего кладбища вам сейчас нигде не найти. Даже в вашей огромной Америке. Но я бы не советовал ехать в Дрезден. Даже если бы вам это —теоретически— удалось. Во-первых, вас, американца, там только и ждут — по вполне понятным причинам. Те, кому удалось выжить в Дрездене, прекрасно помнят, кто именно превратил их город в кладбище. А во-вторых, там скоро будут русские. Это будет их зона. Так решено в Тегеране, а потом утверждено в Ялте.

— А знаете что? Я хотел бы встретиться с русскими. В том же Дрездене.

Англичанин рассмеялся. Прислушивавшийся к их разговору адъютант тоже.

— Поезжай, Мартин. Уже темнеет, — скомандовал ему англичанин твердым голосом.

Только когда тронулись и громкий звук мотора заглушал его слова, он придвинулся к Стэнли, чтобы не услышал адъютант, и сказал:

— Вы меня удивляете. Простите, конечно, но мне кажется, что вам нужны фотографии вроде тех, что иллюстрировали операцию нью-йоркской полиции в Бронксе во времена сухого закона. Этакая «Коза ностра» против полицейских! Война в прямом эфире! Здесь так не получится. К танкам никто не прикрепляет проблесковые маячки и не включает сирены. Война бывает неинтересной. Как-то я сопровождал одного лейтенанта в поездке на так называемый фронт на Рейне. У него в багаже, представьте себе, были детективы Агаты Кристи. Так скучно там было! Недаром англичане называли эту войну «липовой», а французы — «странной», *drôle de guerre*.

Кроме того, я бы не просто не советовал, а даже предостерег от общения с русскими в данный момент. Это очень культурный народ. Сталин истребил их элиту, но она возродится. А простые солдаты, с которыми вы столкнулись бы, имеют полное право на кровожадность и жажду мести. То, что вытворяли в России немцы, и то, о чем потом сообщал всему свету Сталин, невозможно себе представить. И сталинская пропаганда тут ни при чем, это правда.

Вы знаете — я спрашиваю вас сейчас как журналиста, — что случилось в местечке Бабий Яр под Киевом? Нет? Наша разведка сотрудничает с вашей. Я получил эту информацию от наших разведчиков. А они — от немцев. Думаю, в вашей газете наверняка кто-то тоже поддерживает контакты с американской разведкой. Так что если вы это уже слышали, пожалуйста, остановите меня.

Так вот, в лесу, недалеко от Бабьего Яра, есть большой овраг. Пятьдесят метров в ширину и тридцать — в глубину. А длиной в несколько километров. По дну этого оврага течет небольшой ручей. В конце сентября сорок первого года, а точнее, двадцать девятого сентября, он там еще протекал. В течение двух с половиной дней к этому оврагу приближалась колонна людей. Длинными рядами. Когда очередной ряд добирался до оврага, украинские помощники эсэсовцев отделяли от него небольшую группу и заставляли спуститься в овраг. По пятьдесят человек. Потом выходила колонна эсэсовцев и выстрелами из пистолета в затылок укладывала на дно оврага очередной слой трупов. В течение тридцати шести часов таким образом в Бабьем Яру убили 33 771 человека. Другими словами, прошу прощения за эти подсчеты, по пятнадцать человек в минуту. Гора трупов перекрыла ручей уже через четверть часа. Об этом тоже донес наш разведчик. Сталин был менее точен, чем этот агент. Он сообщил, что в лесу под Бабьим Яром «фашисты в течение двух дней, выстрелом в голову, зверски убили около сорока тысяч безоружных граждан Советского Союза». Помимо этой неточности, ни в одном из выступлений, опубликованных в советских газетах, он ни словом не обмолвился, что все убитые — евреи. Бабий Яр был первым зверским актом фашистов, о котором во всеуслышание заявил Сталин.

Обратите внимание, это был сорок первый год, когда немцы еще не предпочли массовым расстрелам на Восточном фронте концлагеря в Польше. Расстрелы, скажем так, они сочли неэффективными. Что такое пятнадцать человек в минуту, когда нужно уничтожить миллионы? К тому же еще придется что-то делать с трупами. Тогда появилась новая идея — примитивная, но весьма эффектная. Газовые грузовики. Не газовые камеры, а именно газовые грузовики. В кузов такой машины загоняли максимально возможное число людей и травили газом. Согласно рапортам, которые попали в руки британской разведки в декабре 1941 года, с помощью только трех таких автомобилей было «переработано» — я цитирую текст рапорта — около «девяноста семи тысяч тел без видимых технологических изменений в состоянии автомобилей». Как заметил один из немецких инженеров, «производительность наиболее велика в случае применения к больным, старикам, калекам, женщинам и детям». Но и этого им было мало. Тогда родилась идея так называемых лагерей смерти. Сначала возник лагерь в Белжеце, потом в Солиборе, потом в Трешлинке и Майданеке и наконец в Аушвице, недалеко от одноименного польского города, название которого звучит так по-немецки. По-польски он называется Освенцим. Эти лагеря позволяли ликвидировать наибольшее

число людей в наикратчайшие сроки. И очень быстро избавляться от трупов. Для этого там были построены крематории. В Аушвице, например, подготовку проекта крематориев поручили, в числе прочих, немецкому пекарю из Лейпцига. Уж он-то прекрасно разбирался в печах. Русские пока добрались только до некоторых из этих лагерей. Месяц тому назад, двадцать четвертого января, они вошли в Аушвиц. И теперь отлично знают, что там происходило. А узнав такое, можно только ненавидеть. Даже вопреки убеждениям... Поэтому я не советовал бы вам приближаться к русским в ближайшем будущем. Где бы это ни случилось. Пока вы будете объяснять им, что вы не немец, — вы уже труп.

На вашем месте я подождал бы решения судьбы Трира, а потом нарисовал бы на карте прямую линию через этот город, с запада на восток, и держался бы территории к югу от этой линии. По моему мнению, там будет спокойнее и безопаснее. Сколько времени вы хотите, то есть должны здесь пробыть? — спросил англичанин, глядя ему в глаза.

Стэнли подумал, что покамест и сам не задавал себе этот вопрос. Сколько времени он хотел бы здесь пробыть? Нет, не так: как долго он должен тут оставаться? Что хотел бы запечатлеть и отправить отсюда или забрать с собой? Какие снимки сделать для Артура, а какие — только для себя? И что должно случиться, чтобы он решил, что выполнил свою задачу и может со спокойной совестью возвращаться домой? Возвращаться?! Но он ведь только что прибыл сюда. Стэнли погрузился в задумчивость. Взял лежавшую рядом с ним на сиденье пачку сигарет и угостил англичанина. Полез в карман за спичками. Коробок упал на стальной пол машины рядом с полотняной сумкой от мадам Кальм. Стэнли ощупал сумку. Поднял ее и положил на прикрывавшую его колени карту. Достал из сумки графин вина со стеклянной пробкой, обмотанной обычным медицинским пластырем. В сумке оказалась еще завернутая в пестрый льняной платок и перевязанная черной резинкой белая фарфоровая миска. Он снял резинку и развернул платок. В миске была порция риса. Кабину пикапа заполнил аромат корицы. У Стэнли встал комок в горле. И заколотилось сердце.

— Как зовут мадам Кальм? — спросил он англичанина.

— Не знаю, не спрашивал. В следующий раз спрошу. Это важно для вас?

— Да, важно. Я всегда знал имена женщин, которые много для меня значат...

Он сорвал пластырь с пробки и протянул графин англичанину:

— Выпьете со мной за ее здоровье? Только вот, боюсь, у нас нет бокалов, — добавил он с иронией в голосе.

— Выпью...

Они сидели молча, передавая друг другу графин. И вдруг англичанин спросил:

— А какая женщина значит сейчас для вас больше всего? По кому вы скучаете?

Стэнли растерялся. В Америке никто — за исключением, конечно, любопытных журналистов, — не решился бы задать такой вопрос. О «женщине, по которой он скучает». Это так же немыслимо, как любопытство со стороны священника во время исповеди. Но что поделаешь, вопрос задан.

Минуту он думал. Слово «скучать» в последнее время буквально истерли. Американцы измусолили его, используя при любом удобном случае. Они «скучали» по газете в воскресное утро, по отсутствию пробок на дорогах, по расчищенному тротуару зимой. Да и само это чувство к середине двадцатого века обесценилось. Поэтому Стэнли редко употреблял это слово. Почти никогда. Для него оно значило, что ему чего-то — или кого-то — безумно не хватает. И связанную с этим тревогу, неудовлетворенность, раздражение, иногда бессонницу. Одним словом, дискомфорт. Такую гамму чувств он испытывал крайне редко. Иногда, в этом смысле, он скучал по Эндрю и матери. Никогда по отцу. Случалось, что он, назовем это так, «скучал» по женщинам, которые появлялись в его жизни. Когда они были недостижимы, либо он был далеко от них, либо они — от него. Но это не было чувством тоски. Скорее, неудовлетворенным желанием. Ведь на самом деле он по ним не скучал. Ему всего-навсего был нужен секс. Их не хватало ему именно в этом смысле. За исключением Жаклин, а теперь еще Дорис.

Эта история с Дорис — неожиданная и странная. Они едва знакомы. Она появилась в его жизни так же, как множество других женщин: случайная встреча, разговор, ужин, флирт за бокалом вина, такси или его машина, сход, у подъезда придуманный предлог подняться наверх, несмелый поцелуй в лифте, музыка из граммофона и первый настоящий поцелуй, недолгие «уговоры» на диване, первое прикосновение, закрытые глаза, учащенное дыхание и его руки под тканью их платьев или блузок, потом нагота и ковер в его комнате или постель, а после — ухмыляющаяся модочка Мефистофеля, сидящего на радиоприемнике.

С Дорис все было по-другому, и уж совсем иначе — когда дошло до самого существенного. Ему не пришлось предлагать ей подняться, а в лифте она и вовсе сделала то, о чем он никогда бы не осмелился попросить, да и потом уже не нужны были никакие уговоры. Он еще не встречал

женщины, которая бы настолько уверенно добивалась своего. Это она придумала и реализовала сценарий той необыкновенной ночи, это она правила бал. Уже одно это пленяло. В самом начале, когда они встретились в редакции, он ощутил ее превосходство. И подчинился ей. А потом вместо будильника его разбудил Артур и за несколько минут круто изменил его жизнь. Она присутствовала при этом, провожала его, сидела с ним на ступенях. У них было так мало времени поговорить. Перебирая в памяти прожитую жизнь, он вдруг осознал, что дольше, чем с другими, оставался с теми женщинами, с которыми ему нравилось разговаривать и которым было что ему сказать. Его удерживали женщины, которые к общению относились серьезнее, чем к макияжу. И тоскует он именно по несостоявшимся или прерванным разговорам. Именно это для него значит «скучать» по кому-то. Именно это. Он скучает по Дорис...

— Знаете что? Я скучаю по разговорам с этой женщиной. Такое со мной происходит впервые — мне больше не хватает общения с ней, чем ее самой. Старею, наверное... — невесело пошутил он и потянулся к графину в руке у англичанина.

— А вы не скучаете по детям? Я больше всего скучаю по Арону, моему сыну.

— У меня нет детей. Я считаю, что не имею права их заводить. Во всяком случае, не сейчас. Когда у тебя есть дети, невозможно жить только для себя. А если они у меня когда-нибудь появятся, мне придется изменить свою жизнь...

Они приближались к городу, который выглядел довольно странно. Вокруг царила кромешная тьма. Ни один уличный фонарь не горел. Если бы не мутный свет в окнах, он бы вообще не понял, что они уже в городе. Англичанин повернулся к адъютанту и сказал:

— Мартин, остановись у здания библиотеки, за ратушей, с южной стороны.

Они затормозили на большой, мощенной булыжником площади прямо у ступеней лестницы, ведущей в дом, похожий на дворец. Единственный город, где он видел подобные площадь и дворец, — Бостон...

Эндрю говорил о Бостоне с иронией. Он считал, что этот город, как ни один другой в Америке, во что бы то ни стало пытается стать «европейским и культурным». Может быть, оттого, что поблизости Гарвард. Но все эти попытки оказываются неудачными, а иногда и просто жалкими. По мнению Эндрю, единственный американский город, который можно было бы сравнить с европейским, — Сан-Франциско. Что само по себе странно,

поскольку в Сан-Франсиско, как мало в каком другом городе, полно китайцев и других выходцев из Азии. И все же, как считал Эндрю, именно Сан-Франциско мог по праву считаться европейским — из-за царившей там атмосферы свободы, в том числе и сексуальной, и толерантности ко всему непривычному. Бостон же оставался по-викториански целомудренным. Причем вовсе не потому, что был расположен в Новой Англии. Если что-то и объединяло его с Европой, то именно старомодность. В Бостоне, как и в Голливуде, аристократом считался любой, кто в состоянии вспомнить имена и фамилии своих предков из предыдущего поколения. В Бостоне считали, что Европу можно построить для себя, совершенно не признавая ее принципов. Поэтому в Бостон по морю доставляли из Австрии булыжники, словно их нельзя было привезти из соседних каменоломен, чтобы замостить площадь. Потом отштукатурили деревянный домишко на этой площади и принялись внушать людям, что Бостон похож на Вену. И все тут же заговорили, что город «по-настоящему европейский и очень стильный». Потом, в течение нескольких месяцев, вокруг площади исчезли книжные салоны, антикварные лавки и мелкие магазинчики, а вместо них появились так называемые стильные рестораны. Тоже «европейские». И гордые американцы — в основном те, кто мнит себя интеллектуальной элитой, — просиживали там ночи напролет, попивая паршивое пиво, якобы импортированное «прямо из Австрии», с умляутами на этикетке, которую они не в состоянии были прочесть, и с умилением смотрели на булыжник, привезенный оттуда же за их деньги. Они воображают, что таким образом будто бы становятся ближе к венской опере и Моцарту, а дискутируя о столь популярном фрейдизме, приобщаются к культуре. Пребывая в состоянии некоего интеллектуального оргазма, они пересказывают друг другу возбужденными от алкоголя голосами бредовые идеи, родившиеся в воспаленном мозгу Гитлера, тоже австрийца, благодаря фрейдовскому эдиповому комплексу, и цитируют в подтверждение Юнга. А выпив еще несколько бутылок пива с европейской этикеткой, желают на практике «поупражняться в подсознательной сексуальности по Фрейду». И если дама согласится, начинают экспериментировать прямо в тесном туалете ресторана. Дама при этом обязательно становится на колени на крышку унитаза, чтобы в щель под дверцей не были видны ее ступни. А если она не соглашается, то к делу приступают сразу после ресторана, либо на заднем сиденье автомобиля, либо у кого-то дома. «Egal», где получится, там и хорошо. Это «egal» звучит так благородно, так по-австрийски. В таком «приподнятом» настроении обычный «fuck» становится для них интеллектуальным «fuck». Именно так это называл Эндрю. Временами в

нем было много брюзгливости, сарказма, цинизма и даже злости. Видимо, самый большой комплекс по поводу Европы испытывал он сам.

Стэнли вспомнил все это, глядя на площадь, и задумался, почему брат имеет на него такое влияние. Ведь он все время маниакально сравнивает Европу с мыслями и мнением о ней Эндрю.

Тем временем англичанин торопливо выбрался из машины и исчез за дверью дома. Стэнли тоже вылез наружу, сжимая в руке графин. Приложил его к губам и опорожнил почти до дна. За здоровье Дорис, подумал он. Наклонился и нежно прикоснулся ладонью к мокрым от талого снега бульжникам. Поставил на них графин. Подошел к автомобилю и открыл багажник. Поспешно вытащил из чемодана фотоаппарат. Снял пальто и бросил его на мостовую. А потом улегся на пальто с фотоаппаратом в руках. В свете, лившемся из окон здания, красно-бело-голубой флаг, развевавшийся на крыше, преломлялся в призме, образованной гранями графина. Как и отражение плаката с перечеркнутой свастикой, приклеенного к одному из окон. В объективе фотоаппарата флаг накладывался на плакат и светился над черным крестом. И все это, словно в зареве пожара, на фоне пурпурных остатков вина. Это было волшебное. Он мог даже точно представить себе, как лягут оттенки серого на негативе. Нажал кнопку.

— Вам помочь? — неожиданно раздался женский голос.

Словно вырванный из летаргического сна, он медленно поднял голову и посмотрел туда, откуда доносился голос. Его «здесь и сейчас» не было. Он все еще смотрел на мир в объектив своего фотоаппарата. Широко расставленные ноги в черных шерстяных чулках. Подол темно-синей форменной юбки чуть выше колен, расстегнутый пиджак с золотой вышивкой, длинные пальцы с покрытыми вишнево-красным лаком ногтями, широкие бедра, белая блузка, заправленная в юбку над плоским животом, туго натянутая на полной груди и схваченная у горла коричневым ремешком, с которого свисал янтарный камень, отсвечивавший металлом, локон, сбегавший по пухлой щеке к ярким губам, над которыми приклеилась какая-то крошка, чуть вздернутый нос, огромные голубые глаза, маленький шрам на левой брови, высокий лоб с морщинками, светлые, зачесанные назад волосы. Не выпуская фотоаппарат из рук, он перевернулся на спину. Женщина улыбнулась. Он нажал на кнопку, и только потом удивленно спросил, поднимаясь на ноги:

— Помочь? Зачем?

Рядом с женщиной стоял, лукаво улыбаясь, англичанин. Стэнли только сейчас его заметил. Едва он поднялся, англичанин сказал:

— Позвольте представить вам лейтенанта Сесиль Галлей.

Женщина энергично пожала Стэнли руку.

— Рада, что с вами ничего не случилось, — сказала она с улыбкой, — и что вы благополучно добрались, — добавила она, отводя прядь волос ото рта.

И посмотрела ему в глаза, медленно застегивая пуговицы пиджака. Она говорила на безупречном английском с легким акцентом, который напоминал ему произношение канадцев из Квебека. Он не смог удержаться. Протянул руку и осторожно убрал пальцем крошку с ее лица.

— Простите, — сказал он, — но эта крошка нарушала гармонию вашего лица.

Застигнутая этим жестом врасплох, она опустила голову и нервно пригладила волосы, стараясь скрыть смущение.

— У меня для вас новости из Нью-Йорка. Я передам их позже, когда мы вас устроим. А сейчас... сейчас я должна, к сожалению, покинуть вас, господи.

Она повернулась и быстрым шагом направилась к открытой двери дворца. Она поднималась по ступеням вверх, а он не сводил глаз с ее упругих ягодиц. Англичанин терпеливо дождался, пока она исчезнет за дверью.

— Лейтенант Галлей работает в штабе Пэттона. Отлично говорит по-немецки и по-английски. И конечно, по-французски. Она француженка. Единственная гражданка Франции в штабе Пэттона. К тому же женщина. Это исключительная личность — не только из-за красоты, которой вы минуту назад имели возможность насладиться. Это во многих отношениях исключительная женщина.

— Что вы имеете в виду? — удивился он.

— Сами убедитесь, — загадочно ответил англичанин. — Лейтенант Галлей будет сопровождать вас в ближайшие дни. А теперь давайте поедem туда, куда вас расквартировали.

В машине англичанин объяснил адъютанту, куда ехать. Слово «расквартировать» звучало странно. Оно ассоциировалось у Стэнли с прокуренным помещением, полным нервных военных, бегающих туда-сюда с телеграммами и поручениями. Карты на стенах, карты на огромных столах, беспрерывно трезвонящие черные телефоны с красными кнопками, — и все это под аккомпанемент треска радиостанции. Вскоре оказалось, что так называемая штаб-квартира — это огромная вилла в стиле модерн, окруженная садом. Если бы не часовой, стоявший у ворот, можно было подумать, что он оказался в уменьшенной в два-три раза копии

виллы Артура на Лонг-Айленде.

Англичанин тут же объяснил ему, что вилла принадлежит немецкому аристократу-фашисту, который в панике бежал в Германию за несколько дней до вступления союзников в Люксембург. Аристократ этот был связан близкими отношениями с Козимой Вагнер, вдовой Рихарда Вагнера, известного своим антисемитизмом, которого чуть ли не боготворил сам Гитлер. Оперу Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» Гитлер слушал сорок раз и специальным указом рекомендовал Геббельсу сделать ее посещение обязательным для немецкой молодежи. Гитлер превозносил Вагнера до небес, был его ярым поклонником и очень часто с наслаждением цитировал в своих речах его слова: «Я верю в Бога, Моцарта и Бетховена, — неизменно добавляя: — И еще в Вагнера». По этой причине на вилле хранится много музыкальных инструментов и есть даже некоторые рукописи Вагнера. В том числе и весьма скандальные. В салоне в застекленной раме висит, например, рукопись эссе Вагнера под названием «Еврейство в музыке». Он ведь не только сочинял музыку, но и, к сожалению, иногда пописывал. Этот текст не что иное, как пасквиль, уничижительный и презрительный по отношению к евреям. Разумеется, он написан по-немецки. Американцы либо не поняли этого, либо проигнорировали, потому что сочли, что вилла отлично подходит для того, чтобы разместить здесь своих офицеров. И разместили.

В просторном зале, куда они вошли, не было ни одной карты. Не заметил Стэнли и телефонов. На стенах вместо карт висели картины в золоченых рамах, изображавшие по-рубенсовски толстых полуобнаженных женщин. На двух дубовых столах и на рояле в центре зала стояли батареи бутылок из-под пива. Единственным, что напоминало «штаб-квартиру», было присутствие военных. Но не было здесь никакой деловитой суеты и спешки, не звучало четких команд. Совсем наоборот. Расслабленные, в расстегнутых мундирах, офицеры расположились на диванах и покрытом шкурами мраморном полу, поближе к огромному пылавшему и потрескивавшему камину. Ни трезвонивших телефонов. Ни суматохи. Тепло и уютно, как в шикарном зимнем отеле в Аспене, в Колорадо, вечером, после приятного дня, проведенного на лыжах. Не было здесь и радиостанции. Откуда-то издали доносились звуки граммофона. Стэнли узнал голоса сестричек Эндрюс. Их новый шлягер «Ром и Кока-кола» вполне соответствовал царившей здесь атмосфере. Словно он вновь оказался в Нью-Йорке. Те же самые звуки доносились из радиоприемника в его автомобиле по утрам. Он не терпел подобной музыки и всегда с досадой ее выключал. Здесь это было невозможно. Глядя на эту

идиллическую картинку, Стэнли вновь поймал себя на том, что никак не может поверить в реальность происходящего, в то, что он «на войне».

Молодая невысокая девушка в черном платье с кружевным фартучком проводила его в комнату на первом этаже. Когда он выхватил у нее из рук свой чемодан, она по-французски запротестовала — он ни словечка не понял — и все время улыбалась. Они остановились у двери его комнаты, и он машинально сунул ей банкноту, даже толком не успев рассмотреть, сколько это было: сто, двадцать, а может, один доллар — сейчас это не имело значения. Девушка быстро спрятала банкноту в карман фартучка и выбрала из связки на металлическом кольце ключ, которым и открыла дверь. Англичанин поднял его чемодан, и они вошли. Стэнли почувствовал сильный запах свежей краски. Кровать стояла перпендикулярно стене, а сразу за ней располагался белый рояль. На стене за роялем висело огромное хрустальное зеркало. У противоположной стены, в углу, охваченная двумя позолоченными обручами, стояла огромная фарфоровая ванна. Казалось, она выросла из пола. Никогда еще ему не приходилось видеть такое странное сочетание: кровать, рояль и ванна...

Он подошел к окну, распахнул его и обернулся к англичанину.

— Если вы когда-нибудь окажетесь в Нью-Йорке, и я буду еще жив, прошу вас... ну, не знаю, как и сказать... Прощу вас, дайте мне знать. Вы скажете мне, как зовут мадам Кальм, а я обещаю, что не буду спрашивать, уж простите меня еще раз, о ненависти. Вы ведь найдете меня, правда? Меня зовут Стэнли Бредфорд. Если что, в «Таймс» всегда подскажут, где меня найти. Даже если я уже буду лежать на кладбище. Нью-Йорк вовсе не такой большой, как может показаться. Пожалуйста, найдите меня...

Англичанин протянул ему руку. Он решил, что это слишком формальный жест, и они обнялись.

— Найду... — прошептал англичанин.

Потом вытянулся по стойке смирно и отдал честь. Стэнли показалось, что у англичанина в глазах стояли слезы. Как и у него самого...

Люксембург, около полудня, вторник, 27 февраля 1945 года

Его разбудили доходившие с улицы звуки музыки, перемежавшиеся хлопанием створок окна о стену. Ему было холодно. Он накрылся периной, которую поднял с пола. Шопен, сопровождаемый хлопанием створок! Он не мог этого вынести. Невозможно ни слушать, ни заснуть. Он встал и со злостью закрыл окно на шпингалет. Возвращаясь к кровати, заметил два конверта на полу у двери. Ему хотелось вернуться назад, под теплую перину. Он и вернулся, но никак не мог заснуть. Музыка прекратилась. Наступила тишина. Он почувствовал странное беспокойство. Встал. Подошел к двери. Поднял с пола конверты. На большом, оранжевом было написано: «From Cécile Gallay to Stanley Bredford, strictly confidential». На белом конверте не было никакой надписи, но зато что-то вроде восковой печати. Стэнли открыл его первым. На клочке бумаги, вырванном из записной книжки, он прочел следующее:

Мадам Кальм зовут Ирэн. Второе имя Софи. В наших отчетах она фигурирует то как Софи Ирэн Кальм, то как Ирэн Софи Кальм. Боюсь, что это какое-то упущение нашей лондонской МИ5. Постараюсь выяснить.

С уважением, Дж. Б. Л.

Инициалы «Дж. Б. Л.» были ему незнакомы, но он понял, что записка от англичанина. И только сейчас сообразил, что не знает ни его имени, ни фамилии. Тот, правда, представился при встрече, в городке, куда Стэнли привез рядовой Билл, но там было так шумно, что он ничего не расслышал, а переспрашивать не стал.

«Ого! — подумал Стэнли. — Мадам Кальм фигурирует даже в документах британской разведки. Причем дважды! Видимо из-за тех перин, которые она держит для иностранцев в шкафах своего пансиона. А может из-за разговоров, которые можно ведутся после очередного выпитого графина вина. Окей. Это можно понять. Ведь идет война. Нужно всех и все проверять. Даже добродушную мадам Кальм». И Стэнли невольно задумался, в какой категории и с каких пор фигурирует в этих «отчетах» он сам.

— В любом случае, я хотел бы у МИ5 фигурировать только в связи с Ирэн Софи Кальм. Этого я, черт побери, определенно хотел бы! — сказал он тихо сам себе и улыбнулся, потирая руки.

Потом вскрыл «строго конфиденциальный» оранжевый конверт от Сесиль. И подумал, что одно ее имя уже звучит эротично. Даже без плоского живота, аппетитного бюста, пухлых губ, светлых волос, а тем более — незабываемых ягодич под синей обтягивающей юбкой. В конверте были два других. Один поменьше, белый, официальный, с печатью «Таймс». Второй побольше, серый, без печати, перевязанный черной кожаной полоской. Стэнли на мгновение растерялся. Вгляделся в полоску повнимательнее. И узнал ошейник Мефистофеля! Он встал с кровати. Сел в кресло рядом с роялем. Разорвал белый конверт. Узнал корявый почерк Артура. Начал читать...

Стэнли,

Твой кот растолстел как свинья. Он теперь даже толще тебя.

Я зашел вчера к тебе покормить его. Купил ему лучшую говядину, какую только можно найти на Манхэттене. А он не стал жрать. Сидел со мной в кресле и мурлыкал, когда я чесал его за ушами. Я не знал, что ты слушаешь Шумана. Эта пластинка лежала на твоём граммофоне. Мы послушали ее вместе с твоим котом. Последний раз я слышал Шумана на нашей свадьбе с Адрианой двадцать пять лет тому назад.

Я не знал, что у тебя дома есть наши фотографии. Я забрал одну. Ту, на которой Адриана смотрит на Ниагарский водопад. Я не знал, что ты это сфотографировал и что она была такая красивая. Хотя должен был знать. Или хотя бы помнить об этом. Я ее тебе отдам. Фотографию. Но сначала в редакции мне ее переснимут.

А вот Лайза грустит. С тех пор как ты уехал, Лайза перестала улыбаться, а два дня тому назад заплакала, когда за твой стол кого-то посадили. Вбежала туда и чуть не силой вышвырнула этого типа из-за твоего стола. Сам знаешь, какой бывает Лайза в гневе. Вся редакция потом это обсуждала. Я понятия не имею, кто это был. Здесь многое происходит за моей спиной. Но теперь туда больше никого не посадят. Я так решил. Можешь быть уверен, Лайза за этим проследит.

Артур

P. S. Стэнли, ты можешь вернуться в любое время, когда

захочешь. Помни об этом. И не делай глупостей. Прошу тебя.

Он встал с кресла. Ему необходимо было закурить. Он нашел сигареты в кармане пиджака. Вернулся в кресло. Поставил хрустальную пепельницу на клавиатуру. Расстегнул застежку кожаного ремешка. Бросил его на кровать, разорвал конверт...

Бредфорд,

я купила масло. У нас теперь много масла...

Утром я просыпаюсь на час раньше, одеваюсь для тебя, сажусь в метро и еду к тебе домой. Консьерж в твоём подъезде внимательно рассматривает мои водительские права и проверяет что-то в своём толстом журнале. Очень медленно. Должен бы уже запомнить. Но каждый раз притворяется, будто не узнает. Можно сказать, что у тебя хороший, внимательный консьерж. А может, ему просто нравится запах моих духов. Потом он улыбается мне и разрешает пройти к лифту. Уверена, что, пока иду, он пялится на мою задницу. Я его понимаю. Задница у меня действительно ничего...

Когда я открываю дверь твоей квартиры, Мефистофель приветствует меня мяуканьем. Не думаю, чтобы это была радость. Скорее, удовлетворение, что его покормят. Потом он бежит на кухню и трется обо все четыре ножки стола. Я кладу ему на блюдце еду и наливаю в мисочку молоко. А потом прислоняюсь к холодильнику и рассказываю ему, что опять по тебе скучала. Правда, не похоже, чтобы это производило на него какое-нибудь впечатление. Наверное, Мефистофель притворяется. Он тоже по тебе скучает. Но, должно быть, вечерами сильнее, чем утром. Как и я. Я тоже сильнее скучаю по тебе вечерами. А особенно ночами. Поэтому вечером я не возвращаюсь в Бруклин, а с работы иду к тебе домой и встречаю другого консьержа. Того самого, лысого худого старичка, который впустил меня в твою жизнь и в твою постель в тот, первый раз. Он не разглядывает мои права, а смотрит прямо в глаза. Поэтому, идя к лифту, я стараюсь как можно лучше вилять бедрами.

Вечером Мефистофель мяукает совсем иначе. И не бежит на кухню, а запрыгивает на твое радио и смотрит на меня. Сначала я подхожу к нему и шепчу ему на ушко твое имя. Это его успокаивает. Потом сажусь в кресло, включаю лампу, ставлю

Шумана и читаю газеты. Я хочу знать всё об этой твоей войне. А больше всего хочу прочесть, что она закончилась и ты скоро вернешься домой. Иногда я читаю вслух, для Мефистофеля. Я думаю, он тоже хочет, чтобы закончилась война.

Два раза в неделю я беру такси и еду после работы в «Вилледж Венгард». Заказываю два бокала вина, иногда и еще два. А бывает, что и больше. Слушаю вместе с тобой джаз и только потом возвращаюсь к тебе, обычно слегка под мухой. Тогда я прижимаюсь губами к зеркалу в нашем лифте. И бегу по узкому коридору к твоей квартире. И забираюсь в душ, где ты тоже со мной. Иногда я становлюсь под душ прямо в одежде, чтобы ты мог меня раздеть. Бредфорд, я обожаю, когда ты меня раздеваешь! Хотя ты сделал это один-единственный раз...

Потом я, голая, ложусь в твою постель. Завожу будильник на три или на четыре (не могу вспомнить, в котором часу он зазвонил той ночью), а когда он звонит, встаю и иду на кухню, чтобы сделать для тебя бутерброды. Утром я кладу их себе в сумку и забираю с собой. Мое платье по утрам иногда бывает еще влажным. Поэтому я держу в твоём шкафу два других, на смену. В полдень я сижу на скамейке в Центральном парке, ем бутерброды и рассказываю о тебе деревьям. Я верю, что каким-то мистическим образом ты слышишь это и ощущаешь мое присутствие. Из парка я возвращаюсь на работу, смотрю на вырезанную из атласа карту Европы, которую приколола кнопками к стене, и гадаю, где именно растут твои деревья.

Два дня тому назад я пережила что-то вроде шока. Ночью в твою квартиру вошел пожилой мужчина. В первый момент я хотела было вызвать консьержа. Но когда он отправился прямиком на кухню, передумала. Мефистофель разволновался куда больше. Потом этот мужчина рассматривал фотографии на твоём письменном столе. Наконец он включил пластинку на твоём граммофоне и сел в твоё кресло. Он не заметил, что я лежу в постели. А я старалась не дышать. Укрылась с головой одеялом, а потом, когда музыка зазвучала громко, осторожно высунула голову. В этот момент мужчина заплакал. Потом встал, выключил свет на кухне и ушел. Мефистофель тут же прибежал ко мне, мы крепко прижались друг к другу, и я перестала бояться.

Утром я сняла с Мефистофеля ошейник. Куплю ему новый. Этот слишком жесткий и жмет ему. Я засунула в конверт это

письмо и перевязала его ошейником. Мефистофель обрадовался. Я поняла это по движениям его хвоста. Он, наверное, не любит ошейников. Видимо, как и ты. Я никогда не надену на тебя ошейник. Мужчины в ошейниках все равно не возвращаются к своим женщинам. А я хочу, чтобы ты возвращался. Ко мне. Будь свободным, но просыпайся утром рядом со мной. И совсем не обязательно в три или четыре...

Вчера в обеденный перерыв я пошла в твою редакцию. Я решила, что это полезная пешая прогулка. Мне хотелось думать о тебе, и чтобы меня никто не отвлекал. Нью-Йорк становится совсем другим, когда я думаю о тебе. Шел снег, но сквозь тучи пробивалось солнце, а я думала о том, какой снег и какое солнце видишь в этот момент ты.

Как только я произнесла в приемной твою фамилию, появилась какая-то толстушка. Ее, кажется, зовут Лайза. Или что-то в этом роде. Когда я положила конверт на стол в приемной, Лайза тут же схватила его и прижала к своему огромному бюсту. Мне показалось, что она не хотела, чтобы к конверту прикасалась молодая секретарша. Не знаю, откуда, но Лайза знала мое имя. Она пообещала, что немедленно «передаст письмо вместе с другой обширной корреспонденцией редактору Стэнли Бредфорду, который временно пребывает в Европе». Она мне понравилась.

Если Лайза передала тебе мое письмо «вместе с другой обширной корреспонденцией», пожалуйста, поблагодари ее — и от меня тоже. Потому что я очень хочу, чтобы ты знал, что я думаю о тебе. Практически постоянно.

Дорис

P. S. Я хочу тебя, Бредфорд. Тоже постоянно...

Он прикурил еще одну сигарету. Не заметив, что предыдущая еще тлеет в пепельнице. То, что он курил две сигареты одновременно, означало, что он перестал себя контролировать. В таких случаях помогала активная деятельность. Нужно было сосредоточиться на очень простых и самых привычных делах. Таких, какие делаешь автоматически. Он открутил позолоченные краны в ванной, смочил волосы теплой водой, почистил над раковиной зубы, вытер голову полотенцем, оделся, спрятал конверты в карман пиджака, повесил на плечо фотоаппарат. В узком коридоре ему встретилась худосочная девица в черном платье и кружевном фартучке,

которую он видел накануне вечером. Она поприветствовала его сердечной улыбкой и отодвинула тележку с чистым постельным бельем, чтобы он мог пройти. Быстрым шагом он прошел через зал, где опять было полно военных. Стэнли притворился, будто никого не замечает. Из граммофона вновь доносился визг сестричек Эндрюс, в камине пылал огонь, и на столе стояли пивные бутылки. «Если штаб Пэттона и дальше будет так воевать, он, черт бы его подрал, не вернется домой до Дня благодарения!» — сердито подумал Стэнли. Хлопнул дверью и вышел.

По широкой, посыпанной гравием аллее он дошел до ворот. Часовой на него вообще не отреагировал. Узкая улица, засаженная с двух сторон лысыми в это время года платанами, заканчивалась небольшой площадью с клумбой в центре. Стэнли остановился, раздумывая, в каком направлении идти. Он знал лишь, что ему хочется выпить кофе, а еще — съесть булку с топленым сыром и выкурить сигарету. Но вовсе не был уверен, что такие простые желания можно удовлетворить здесь, так близко от войны. Больше всего ему хотелось оказаться среди людей и так же, как Дорис, смотреть на солнце и деревья, а потом написать ей об этом.

На некотором расстоянии, в просвете между домами, виднелось небо, из-за туч выглядывало солнце, мелькали силуэты людей и автомобили. Он дошел до перекрестка с широкой улицей. На синей табличке, продырявленной в нескольких местах осколками, прочел белую надпись: «Рю де Галуаз». Это название вызвало ассоциацию с сигаретами, которые он любил. Стэнли свернул на эту улицу. Шел мимо закрытых жалюзи окон, присматривался к редким прохожим. Если бы не проезжавшие изредка военные автомобили и велосипедисты, которых не напугал февральский холод, улица была бы совершенно пустынной.

Его внимание привлекла витрина небольшого магазина. За безупречно чистым стеклом на металлических крюках висели кольца колбас и куски мяса. В центре стояли два прямоугольных столика. Даже сквозь закрытую дверь вкусно пахло вареными сосисками. В двух деревянных ящиках, привинченных к стене, лежали булочки. Он почувствовал нестерпимый голод и вошел. Улыбающаяся румяная женщина в белом, с бурыми пятнами фартуке вышла из-за прилавка и молча накрыла один из столиков клеенкой. Поставила вазочку с искусственным цветком и положила нож и вилку, завернутые в плотную накрахмаленную салфетку. Минуту спустя, хотя он не успел и слова вымолвить, она принесла маленькую чашечку ароматного кофе, белое блюдо и пепельницу. Он подошел к одному из ящиков и взял булочку. Разрезал ее ножом, положил на блюдо и подошел к прилавку. По-прежнему молча. Ему не хотелось, чтобы к нему отнеслись как к

«циничному, наглому американцу». Он хотел быть обычным проголодавшимся прохожим с улицы. Сам не зная почему, в этот момент он вспомнил Бронкс...

В Нью-Йорке, оказываясь в незнакомых районах, он тоже старался помалкивать. А ведь это были не джунгли Амазонки! Значительно ближе. В Гарлеме, или чаще — в Бронксе он не хотел, чтобы по произношению в нем узнали жителя центрального Манхэттена. Потому что те, кто жил в Бронксе, хотя их отделяло от обитателей центрального Манхэттена всего несколько станций метро, отличались от них не меньше, чем от жителей Люксембурга. Хотя вроде бы и говорили на том же языке, и жили в одной стране с общим флагом, общим гимном и общей историей. В одной и той же стране?! Не только! Они жили в одном и том же городе! Вот только Америку разделяли границы, так же, как Европу. Этих границ не было ни на одной официальной карте, зато они реально существовали. Например, в мозгу неграмотного детины, который не знает слова «география» и у которого никогда не будет денег на покупку атласа. Какого-нибудь пуэртиканца, который убирает заляпанный спермой, воняющий мочой туалет грязного бара в Бронксе. Побывав однажды в таком туалете, Стэнли не хотел повторять этот опыт и потом всякий раз приказывал мочевому пузырю терпеть. А когда терпеть уже не мог, расплачивался, брал такси и ехал домой. В Бронксе он не мог даже пописать. А для пуэртиканца это был его мир. Декадентский центральный Манхэттен с лимузинами, подъезжающими к дворцам, — был далеко. Словно за горами, за лесами, в тридесятom государстве. А Люксембург — за следующим рядом лесов и гор, потому что «тридесатое государство», где всё же говорят по-английски, куда ближе. И чтобы попасть туда, нужно заплатить всего 25 центов за билет и проехать несколько станций метро в южном направлении. «Всего» 25 центов?! За 25 центов в Нью-Йорке можно купить, по ценам сорок пятого года, еды на завтрак. Для всей семьи...

Он попытался — жестами — объяснить румяной женщине, что ему хочется плавленого сыра. Улыбаясь, изображал движение ножа по поверхности разрезанной булочки. Женщина что-то спрашивала по-французски. Потом по-немецки. Через минуту, поняв, что это бесполезно, отошла от прилавка и исчезла в служебном помещении магазинчика. Она вернулась с плетеной корзинкой. Разложила на прилавке, на небольших тарелочках, масло, мармелад, творог, кроваво-красный мясной фарш с луком, ломтики сыра, оранжевую пасту, пахнущую рыбой, и шоколадный

мусс. Он указал пальцем сначала на масло, а потом на творог. Она же не виновата, что он не в силах показать, как выглядит топлёный сыр. Вернулся к столику. Подвинул к себе чашку, вырвал из блокнота несколько чистых страниц. Начал писать...

Мадам Д.,

У меня такое впечатление, будто я добрался до тех краёв, про которые древние картографы писали на полях карты: «Дальше только драконы». А мне ещё хочется повстречаться с этими драконами и сфотографировать их. Но один английский офицер, очень хорошо знающий, что такое война, не советует мне это делать. Он считает, что это могут быть мои последние снимки — и что сам я их не увижу. А мне хочется не только увидеть, но и рассматривать их вместе с тобой. Только это меня и останавливает. Я очень хочу вернуться. К тебе. Чтобы закончить наш разговор. И начать много других. Поэтому пережду здесь, пока картографы отгонят драконов, дальше на восток.

Сегодня утром читал твоё письмо. Лайза знала, что я жду от тебя писем. Она всегда знает, каких писем я жду. И от каких мне станет легче на душе. Правда, у неё есть причины не любить таких, как ты. Ты слишком красива и слишком независима...

Читая, я испытал чувство, которое даже не знаю, как назвать. Что-то вроде растерянности. Закурил сигарету, вместе с её пеплом стряхнул мурашки, попытался расставить твои мысли по местам и пожалел, что ты каждый раз опережала меня в этом. Потом я завидовал Мефистофелю, потому что он рядом с тобой. А потом, когда в четвёртый раз читал строчки о тебе в ванной, сходил с ума от желания. Мне хотелось прикоснуться к тебе, бесстыдно и отчаянно. Спустив чувства с цепи.

Сейчас я ем бутерброд с маслом и запиваю его кофе. Мне уютно, я чувствую себя в безопасности. Здесь безопаснее, чем иногда в Бронксе или вечером в Центральном парке. Временами даже слишком безопасно. И мне совсем не хочется чувствовать себя героем. Война, которая здесь идет, отодвигается от меня и выглядит куда менее драматично, чем та, какую описывают на первой странице «Таймс». С момента приземления в Намюре я чувствую себя как слепой, которого добрые люди переводят через улицу. Слышу звуки проезжающих автомобилей, но, защищенный чьим-то заботливым плечом, точно знаю, что

живым и невредимым доберусь до другой стороны улицы. С войной я знаком пока только по рассказам этих людей. Но это всего лишь рассказы, а я, как ты знаешь, иллюстратор.

Я еще не знаю, надолго ли здесь останусь. Через неделю последую за какой-то армией или дивизией — честно говоря, не знаю, что больше и важнее, — и окажусь в Германии. Сначала хочу попасть в Трир, а потом, когда картографы поменяют карты и отгонят драконов, — в Кельн. Оттуда — дальше на восток, может, даже во Франкфурт. А потом, с пачкой фотографий и с не проявленными негативами, хочу как можно скорее вернуться домой. Это может занять какое-то время, но зависит, в первую очередь, от генералов, не от меня. Поэтому я начинаю бояться, что Мефистофель не узнает меня, когда вернусь. Рассказывай ему обо мне как можно чаще и продолжай читать вслух газеты. Это сообразительный кот. Он поймет, что Кельн и Франкфурт связаны с моим возвращением, и отправится на радиоприемник, освобождая для меня место рядом с тобой. В постели.

Кстати, о постели. В последнее время мне часто снятся сны. Почти каждую ночь я вижу один и тот же. В нем значительно больше звуков, чем образов. Уже это странно, потому что обычно мне снятся картины. Сон заканчивается пробуждением. Я просыпаюсь от грусти. С тобой такое бывает? Ты когда-нибудь просыпаешься от щемящей, непреодолимой грусти? Девушку из моего сна зовут Анна, она влюблена и любима. Но Анну любит еще и океан. Однажды ее возлюбленный уходит в море ловить рыбу, и океан из ревности убивает его. Анна не знает об этом, она стоит на берегу, плачет и ждет любимого. Ждет так долго, что превращается в скалу, а океанские волны яростно бьются об эту скалу, желая ее поглотить. Это, видимо, история для психоаналитика, но я действительно слышу во сне плач Анны и несмолкающий рев ревнивых океанских волн. Но даже превратившись в скалу, она никогда не уступит океану окончательно. Я часто явственно вижу ее лицо. Этот сон пугает меня...

Напугавший тебя пожилой мужчина — тот человек, который позвонил мне в ту ночь, нашу единственную и последнюю. Только у него, кроме тебя, есть ключ от моей квартиры, и только его пропустят наверх консьержи. Он даже не посмотрит на них, проходя мимо. Просто пойдет к лифту. Консьержа он предоставит

тому, кто привез его к моему дому. Своему охраннику. Он уже много лет не вступает в переговоры с охранниками. У него есть свои, и он им платит.

Это Артур, мой хороший друг, владелец газеты «Нью-Йорк таймс». Ему больше нравится общаться с котами, чем с людьми. Людям он ни за что на свете не показал бы, что способен плакать. Хотя бы потому, что не хочет делать приятное Рокфеллеру. Артур терпеть не может угождать Рокфеллеру. И если бы кто-то из Рокфеллеров увидел, что он плачет, это, наверное, убило бы его. Поэтому даже самых близких и дорогих ему людей Артур оплакивает в одиночестве. А потом, на похоронах, лицо его бывает словно высеченным из камня.

Ты случайно оказалась единственной — кроме, наверное, его жены Адрианы, — кто видел Артура плачущим. Я напишу ему, что Мефистофель сыт и чтобы он в следующий раз позвонил, прежде чем приехать. И что разговаривать с ним по телефону будет не Мефистофель. А ты снимай трубку, когда будешь там. И не удивляйся, если не услышишь ответа. Когда ты ответишь, Артур повесит трубку, даже если он звонил из будки возле моего подъезда, и уедет. Я хорошо его знаю. Думаю, он тебя больше не напугает. Но если ты не ответишь, он обязательно придет навестить Мефистофеля...

Сегодня, сразу после этого позднего завтрака, я отправлюсь послушать деревья, а потом обойду все закоулки города. Сегодня я не хочу, чтобы меня как незрячего переводили через улицу. После твоего письма мне хочется побыть с тобой наедине.

Я сейчас в Люксембурге. Это маленькое государство в Европе. Если ты не найдешь его на карте в своем офисе, это значит, что картограф выбрал неправильный масштаб или ты невнимательно искала. Люксембург — это неправильной формы округлое пятнышко на северо-востоке от Парижа, если провести от него линию через Реймс, государство, которое своей восточной границей прилепилось к огромной Германии. Люксембург такой маленький, что его можно вообще не заметить. Хотя здесь происходят очень важные для Европы события. Правда, с моей точки зрения, они происходят слишком медленно, но, может, мне так кажется потому, что я соскучился по тебе, а может, таково положение вещей. И я просто не все понимаю...

Если решишь, я буду рассказывать тебе об этой войне.

Бредфорд

Р. С. Дорис, когда вернусь, я попрошу тебя проехать на лифте. Не обязательно в моем доме. Ты остановишь его, как в прошлый раз, между этажами? А после мы сделаем это еще раз в нашем лифте?

Он закончил писать, сложил листки и сунул их под обложку блокнота. Погруженный в свои мысли, он не заметил, что за это время на его столике появился чайник с кофе, прикрытый чем-то вроде островерхой шапки из фланели, блюдце с кусочками черного шоколада и книга в матерчатом зеленом переплете. Он открыл ее и прочел: «Англо-французский словарь». Повернул голову и улыбнулся женщине за прилавком. Показал жестом, что хочет расплатиться.

Женщина снова исчезла за дверью подсобного помещения. Через минуту она вернулась с маленькой девочкой, без сомнения дочерью — они были очень похожи. Он поднялся и достал бумажник. Женщина, держа в руке ситцевую сумку, подтолкнула дочь вперед, и та, покраснев от смущения, начала медленно читать по бумажке. Слово за слово, медленно и четко, по-английски:

— Спасибо вам большое за свободу.

Пока девочка говорила, мать подала ему сумку и жестом попросила спрятать бумажник. А девочка тут же убежала. Он сначала растерялся, потом склонился перед женщиной и поцеловал ей руку. Женщина со слезами на глазах сказала что-то по-французски, показывая на сумку, и проводила его до дверей магазина.

На улице ему припомнились слова англичанина: «Местные жители благодарны американцам-освободителям...». Он не считал, что дал этой женщине повод быть благодарной. Во всяком случае сам он не имел к этому никакого отношения. Ее благодарность предназначалась кому-то другому. И заставила его увидеть новыми глазами и англичанина, и рядового Билла, и тех солдат, что слушают у камина завывания сестричек Эндрюс...

Он перешел на другую сторону улицы. Двинулся по направлению к зданиям, очертания которых показались на горизонте. И вдруг услышал детский голос. Он обернулся. Та самая девочка, что благодарила его «за свободу», подбежала к нему и протянула книгу, которую он оставил на столике. «Англо-французский словарь» и сумка с колбасами и мясными деликатесами тоже были выражением благодарности...

Стэнли обошел, казалось, весь город. Заходил в церкви, заглядывал во

дворики, скрывавшиеся за фасадами зданий, в старые колодцы, пил воду из уличных колонок, собирал листовки, рассыпанные на тротуарах, и пытался прочесть их со словарем. Когда уставал, садился на скамейку и рассматривал деревья. Когда был голоден, открывал ситцевую сумку. Кое-где он видел следы недавних событий. Здания, разрушенные взрывами, пустые глазницы выбитых окон, развороченная гусеницами танков мостовая, таблички на стенах домов, указывающие, как пройти в бомбоубежище. Но больше всего о близости войны свидетельствовали множество французских, американских, британских и канадских военных автомобилей на улицах и патриотическая музыка, звучащая из громкоговорителей. Уже перед закатом он добрался до небольшого кладбища в саду за лютеранской церковью. За воротами, на специально выделенной территории, находились свежие могилы. Их отделяли от остального кладбища натянутые между деревянными шестами канаты. На канатах висели флаги, у каждой могилы горела свеча и лежал венок, перевязанный бело-красно-синей лентой. Он прошел по аллее вдоль могил. Белые надписи на жестяных, покрытых черной эмалью табличках. Фамилия, имя, возраст и дата смерти — почти все в последние месяцы. *Жан, 21 год; Хорст, 25 лет; Поль, 19 лет...* Это маленькое кладбище произвело на него самое сильное впечатление.

Поздним вечером, в маленьком магазинчике у газетного киоска он купил из-под прилавка — что было абсолютно невозможно в Нью-Йорке — бутылку ирландского виски, в десять раз дороже, чем в Нью-Йорке, и сигареты «Галуаз». Он решил, что теперь это будут его любимые сигареты.

Он вернулся на виллу около одиннадцати вечера. Прошел через шумный зал в свою комнату. Сбросил одежду. Налил стакан виски и открутил позолоченные краны ванны. Опустившись в воду, ощутил приятное тепло. До него доносилась музыка. Он закрыл глаза и глотнул виски. Через минуту раздался стук в дверь. Он был уверен, что по привычке не запер дверь на ключ. То есть ему не надо вылезать из ванны. Крикнул по-английски, что можно войти. Услышал скрип открывающейся двери. Поднял голову и увидел на уровне своих глаз округлые бедра лейтенанта Сесиль Галлей. Она стояла в дверях, словно не замечая его, и оглядывалась вокруг. Он еще выше поднял голову и, положив руки на край ванны, сказал:

— Заходите, пожалуйста, если вас не смущает то, что я не одет. Через минуту я буду в вашем распоряжении.

— Не одет? В распоряжении? — переспросила она, входя в комнату и усаживаясь на кровать. — Нет, меня это совершенно не смущает.

Потом она встала, вернулась к двери и повернула ключ в замке.

— Мы беспокоились о вас. Даже очень. Ваш английский опекун был так напуган, что отправил на поиски своего адъютанта и две машины солдат. Чем-то вы его очаровали. Обычно он скрывает свои эмоции. Бедный парень, я имею в виду адъютанта, объехал весь город. Вам надо было оставить хоть какую-то информацию о себе. Достаточно было написать записку, что вам надоела война и захотелось вернуться домой. Но это замечательно, что вам тут не надоело, — добавила она с улыбкой.

Она права. Он действительно повел себя, как мальчишка. Словно турист, который втихаря отбил от группы, чтобы самостоятельно осмотреть город. А ведь он здесь не на экскурсии. Это было глупо.

— Что вы пьете? — спросила она, чтобы переменить тему, потому что заметила его смущение, и откинулась назад, упираясь ладонями о постель.

Но через минуту сбросила ботинки, подошла к ванне и взяла стакан, стоявший на краю. Подняла к носу, понюхала, потом окунула в жидкость кончик языка и медленно облизала губы.

— Ирландский, не так ли? Если не ошибаюсь, выдержанный, хороший «Пэдди виски», контрабандный, прямо из Корка. Как вам удалось найти его здесь? — спросила она с интересом.

Он удивленно посмотрел на нее. Впервые в жизни ему встретила женщина, которая могла определить марку виски по вкусу и запаху.

— Совершенно случайно. В маленьком магазинчике, где торгуют газетами, — ответил он с улыбкой, — но я не уверен, что это именно «Пэдди». Знаю только, что якобы ирландский.

— Я долью вам. Куда вы поставили бутылку? — спросила она, глядя на него и медленно расстегивая пуговицы пиджака.

Сняла пиджак и положила его на клавиатуру рояля. Подняла руку и распустила волосы. Ее белая блузка казалась еще более обтягивающей, чем вчера. И он решил — вопреки этой странной ситуации — вести себя так, как если бы лежал в ванной одетым, и она не могла видеть его наготы.

— Бутылка? — сказал он, глядя ей прямо в глаза. — Бутылка стоит на полу, у ваших ног. Я хотел, чтобы она была под рукой.

Когда она нагнулась за бутылкой, он перевернулся в ванне. Ему не хотелось, чтобы она заметила реакцию, с которой он не мог совладать. Она поднесла полный стакан к его губам. Он взял его, и она отошла к небольшому буфету. Вернулась со вторым стаканом, налила себе виски и присела на край ванны.

— И где же вы провели весь день? — она опустила руку в ванну и стала плескать водой на его плечи и шею.

В эту минуту он подумал, что англичанин прав. Лейтенант Сесиль

Галлей — не такая, как все.

— Сначала меня приятно удивили в мясном магазине, а потом я искал в городе следы военных действий. А потом... потом я думал, когда же, наконец, попаду в страну драконов.

Она нежно массировала ему спину и шею. Молча. Он слегка приподнялся, подставляя свое тело ее ладоням. Сначала спину и шею, а потом голову. Она запустила пальцы ему в волосы и мягко, сантиметр за сантиметром, поглаживала голову. Они не произносили ни слова. Она коснулась пальцами его лба, потом губ. Раздвинула их. Смочила палец в стакане и медленно размазала виски по его губам. Он уже хотел прикоснуться языком к ее пальцу, но именно в этот момент она убрала руку и стала снова массировать ему спину.

— Хотите к драконам? Гм... думаю, это будет не скоро. Попробуем оценить ситуацию, — сказала она, не переставая его массировать. — Генерал Милликин из третьего корпуса третьей армии Соединенных Штатов вскоре будет на Рейне. Почти наверняка. Джордж... то есть, Пэттон после встречи с генералом Ходжсоном объявил об этом, значит, так оно и будет. Я не слишком энергично вас массирую? У вас мышцы совсем задеревенели. Вы чего-то боитесь? Можно нажать посильнее?

Генерал Леонард со своими танковыми соединениями девятой дивизии должен взять важный со стратегической точки зрения Ремагенский мост. Если, конечно, немцы не взорвут его раньше. Допустим, что не взорвут. Взяв этот мост, Леонард должен будет закрепиться на восточном берегу реки и во что бы то ни стало удерживать плацдарм. Леонард всегда держит слово.

У вас на шее небольшой шрам. Там, где кончаются волосы. Как от сильного укуса. Но его почти не видно.

Англичане должны помочь форсировать Рейн. Королевские воздушные силы обещают уничтожить железнодорожный виадук в Билефельде с помощью каких-то особых бомб. Пэттон очень на это рассчитывает. Я присутствовала при разговоре Пэттона и майора Калдера, командующего шестьдесят седьмым дивизионом КВС. Билефельд — важный транспортный узел. Мы должны его уничтожить. Калдер уверяет, что их «Ланкастер» взорвет этот виадук какой-то загадочной огромной бомбой, над которой англичане давно работают.

Вы где-то ушиблись? Над правой ягодицей у вас огромный старый синяк. Вам не больно, когда я до него дотрагиваюсь? Я осторожно.

Потом Пэттон планирует атаковать силами двенадцатого корпуса третьей армии район Оппенгейма и приблизиться к Майну. Не знаю, по

каким причинам, но для Пэттона очень важен Майн.

Знаете, у вас замечательные ягоды. Женщины говорили вам это?

А тем временем генерал Демпси со второй британской и первой канадской армией должны форсировать Рейн в районе города Везеля. Там к ним должна присоединиться девятая армия США под командованием генерала Симпсона. Пэттон уже подписал соответствующие приказы. Расположившись вокруг Везеля, мы возьмем в кольцо Рурский бассейн и доберемся до нижнего течения Эльбы. Это нелегко, потому что немцы будут там яростно сопротивляться. Рурский бассейн для них чрезвычайно важен, важнее всего. Кроме, конечно, Берлина. Но, к счастью, это не наша зона действий. Поэтому я считаю, что немцы проигнорируют территории на юг от Рейна и перебросят все силы на север. Наша разведка, на основании перехвата данных, уверяет, что генерала Густава фон Цангена, главнокомандующего немецкой пятнадцатой армией, уже проинформировал о неизбежности этой передислокации фельдмаршал Рундштед.

Можно дотронуться до ваших ягод? Очень хочется...

Территории на юг от Рейна должны быть освобождены от, как вы их называете, драконов уже скоро. Дж. Б. Л. Сказал мне, что вы хотите добраться до Трира. Я думаю, что в течение максимум десяти дней Трир будет наш, и вы сможете туда спокойно отправиться. Мы могли бы взять его значительно раньше, но у нас, назовем это так, проблемы со снабжением. Я сама слышала, как Пэттон вне себя кричал Эйзенхауэру: «Мои солдаты могут жевать свои ремни, но моим танкам нужен бензин!». Пэттон часто преувеличивает, но на сей раз он был прав... Вы не могли бы теперь перевернуться?

Он слушал с закрытыми глазами, беспрекословно подчиняясь движениям ее рук. Планы передислокации целых армий, о которых она поведала, массируя ему ягоды, казались правилами какой-то настольной игры для взрослых. И если бы пару часов тому назад он не видел табличек на кладбище у церкви, то, может, в это и поверил бы. Но он был там и все хорошо помнил. Жан, 21 год; Хорст, 25 лет; Поль, 19 лет...

Он даже не пытался зафиксировать в памяти названия городов и мостов, фамилии генералов, номера корпусов, дивизий и армий. Военная стратегия, рассказанная таким образом, ассоциировалась у него с рассказом шахматиста, который за чашкой чая, в уютной тишине своего дома, мысленно планирует очередную партию. Рельных людей, конкретных солдат из плоти и крови, с датами рождения, в армиях, дивизиях или корпусах будто и не существовало. Ими жертвовали во имя стратегии,

словно пешками на шахматной доске. Но, возможно, он ошибается. Может, только лейтенант Сесиль Галлей рассказывает все это так, словно зачитывая какой-то проект. Или сама война — тоже только проект? Если так, то неудивительно, что мир рядового Билла Маккормика кажется на много световых лет удаленным от мира лейтенанта Сесиль Галлей. Кроме того, лейтенант Сесиль Галлей постоянно мило меняла контекст своего рассказа. Он отдавал себе отчет, что, слушая ее, должен сосредотачиваться на армиях, но главным образом вслушивался в этот контекст. Рядом с Сесиль Галлей, в этих нетривиальных обстоятельствах, ему, мужчине, трудно было оставаться только журналистом.

Он открыл глаза и подумал о том, что случится, если он перевернется. Честно говоря, он не знал, не решая прогнозировать реакцию Сесиль Галлей. Он не чувствовал стыда. Этого он точно не чувствовал. Совсем наоборот, желал, чтобы она заметила, что с ним происходит. Он не знал, как это бывает у других мужчин, но у него — начиная с определенной стадии вожделения — возникало непреодолимое желание обнажиться. Его возбуждало, вернее, усиливало возбуждение само ощущение, что женщина смотрит на него в этот момент. Типичный случай эксгибиционизма — то ли по Фрейду, то ли по Юнгу, он точно не помнил. Скорее всего, по обоим. Он когда-то читал об этом в одном из материалов, присланных в «Таймс». Сейчас он не мог припомнить номер, под которым профессора психиатрии зарегистрировали этот вид извращения в каталоге «отклонений от нормы». И не в какой-то там брошюрке — в серьезном, распространяемом по всему миру каталоге Американского психиатрического общества. В отдельном выпуске. Полное наименование, под номером. Очень научнообразно и очень официально. Когда однажды они с Артуром читали длинный список этих извращений, он честно признался в двенадцати, а Артур, после четвертого стакана коньяка, — в двадцати четырех. И пошутил, что начальник должен быть хотя бы вдвое большим извращенцем, чем его подчиненные. Только в этом случае, как он уверял со свойственным ему сарказмом, фирма будет процветать. Картина сексуальной жизни американцев, как следовало из этого «черного списка» профессоров-психиатров, была грешной и мрачной, так что вспоминалось Средневековье и даже суровые заветы православных монахов. Он вспомнил, как, изучая список извращений, обрадовался, что сексуальное наслаждение в него не включено — хотя в Средневековье считали иначе. Потому что в противном случае он был бы законченным извращенцем.

Он поставил стакан у бедра Сесиль и перевернулся на спину. Затруднительный момент все же наступил, ему не удастся избежать ее

взгляда. Но она помогла ему. Не смотрела в лицо, а направила взгляд ниже. Он резко втянул живот. Она взяла стакан виски. Пила большими глотками и сама себе улыбалась. Потом поставила стакан на пол, расстегнула блузку, наклонилась и положила ладони на его живот.

— Я еще никогда не видела татуировки в таком месте, — прошептала она, — вам, наверное, было очень больно?!

Она мягко пробежала кончиками пальцев по небольшому черно-оранжевому узору, видневшемуся под лобковыми волосами прямо над пенисом. Ошибка молодости, память о необузданных временах студенчества с пьяными разгульными вечеринками. Герб Принстонского университета на чуть ли не самом важном для мужчины месте. Рисковать «самым важным местом», как это сделали некоторые из его отчаянных друзей, он тогда не решился. И иногда жалел об этом. Ведь если бы герб Принстона был у него на пенисе, сейчас лейтенант Сесиль Галлей ласкала бы его там. Может, она все же решится?!

Не решилась. Встала и взяла с маленькой деревянной тумбочки рядом с ванной полотенце, ожидая, пока он вылезет из ванны. Стала вытирать его. Он поднял вверх руки и позволил ей делать это. Время от времени он прикасался губами к ее волосам. Ничего подобного с ним никогда еще не происходило. Он совершенно не чувствовал стыда. И разочарования тоже не испытывал. Только удивлялся. Причем больше тому, чего не случилось, чем тому, что происходило.

Он оделся. Подошел к окну. Закурил. Сесиль отошла в глубь комнаты и в расстегнутой блузке, с распущенными волосами и стаканом виски в руке бродила вдоль стены, рассматривала картины и фотографии. Время от времени отводя от них взгляд, смотрела ему в глаза.

— Вам нравится Рахманинов? Слышали о таком? — спросила она, подошла к нему и, вынув сигарету у него изо рта, глубоко затянулась. — Это русский композитор, но он уже давно живет в вашей стране. Выдающийся пианист. Рахманинов говорит, что музыки хватит на всю жизнь, но и всей жизни не хватит на музыку...

Если не ошибаюсь, Америка предоставила ему гражданство. Вы должны были об этом слышать! Он умер в собственном доме в Беверли-хиллз, Лос-Анджелес, совсем недавно, в марте 1943 года. Хотел, чтобы его похоронили в Швейцарии, но в тот момент это было невозможно. Я его обожаю. А больше всего эту его русскую тоску. Хотя сам он считал, что только польская тоска может быть настоящей. Здесь на стене есть еще портрет Шопена. На своем последнем концерте Рахманинов играл сонату Шопена, ту самую, в которую входит «Похоронный марш». Будто знал, что

скоро умрет.

У вас нет желания на минутку погрузиться в меланхолию? У меня есть. Можно, я вам это сыграю? Мне очень хочется что-нибудь вам сыграть...

Она застегнула блузку, собрала волосы в пучок, надела пиджак. Сунула ноги в ботинки. Села за рояль и заиграла. Он стоял у окна и смотрел на нее. Через минуту закрыл глаза. Ему хотелось только слушать. Нет. Он не знал, кто такой Рахманинов! А теперь слушал его музыку. И в эту минуту не имело значения, что он всего лишь дурак-недоучка с дипломом факультета искусств Принстона и идиотской татуировкой, которая этот факт увековечила...

Она играла...

Он открыл глаза. Вгляделся в ее пальцы, скользившие по клавишам. Те самые, которые минуту назад прикасались к его телу. Он чувствовал, как торжественное настроение постепенно заполняет комнату. Лишь раз в жизни музыка вызвала в нем подобные чувства. А ведь он часто слушал музыку, в том числе классическую. Очень часто. Только это было давно... Однажды...

Однажды вечером, за ужином, отец сразу после молитвы сказал, что в следующую пятницу они едут в Нью-Йорк. Это случилось ровно через две недели после получения письма о том, что ему назначили стипендию в Принстоне. Две недели отец молчал, а в тот вечер заговорил. Эндрю отважился спросить: «А что мы там будем делать?». Но отец ничего не ответил. Мать как всегда молчала, и он тоже. Стэнли помнил, как отец положил тогда на стол пачку банкнот. На эти деньги они должны «прилично одеться, постричься и побриться». Так он сказал. В четверг, накануне той пятницы, отец помыл машину. Стэнли впервые видел, как отец сам моет машину. В Нью-Йорк они приехали вечером. Поселились на одну ночь в убогом мотеле в Квинсе. Рано утром в субботу они с Эндрю стояли в костюмах у мотеля. Он отлично помнит, как прекрасно выглядела мать в синем платье и как блестели ее глаза...

Было уже темно, когда они добрались до огромного, ярко освещенного небоскреба в центре Манхэттена. Прочли надпись на фронтоне: «Карнеги-холл». Отец подъехал на трухлявом джипе прямо к красному ковру, постеленному у входа. Вышел, открыл дверь машины и подал матери руку. Сунул банкноты и ключи от автомобиля молодому негру, который с презрительным недоумением посмотрел на их машину, но потом быстро пересчитал банкноты и, удивившись еще больше, низко поклонился,

неловко изображая почтение.

Худощавый мужчина в черном сюртуке провел их в огромный, ярко освещенный хрустальными люстрами зал. Посреди сцены стоял черный рояль. Пахло духами, старые, некрасивые женщины сжимали в морщинистых руках золотистые сумочки, сверкая драгоценностями, некоторые мужчины были одеты в черные смокинги и говорили на каком-то странном английском. Они сели в кресла, обитые мягким вишнево-фиолетовым плюшем. В середине второго ряда, прямо перед сценой. Потом на сцену вышел лысый, потный, толстый мужчина с набриолиненными, блестящими в свете софитов волосами и минут десять говорил какую-то ерунду. Закончив свою речь, он сообщил, что сейчас к роялю выйдет Игорь Стравинский. В зале погас свет, и к инструменту подошел очень худой человек в очках. Он небрежно кивнул заполнившей зал публике. Когда стихли аплодисменты, он сел за рояль и начал играть...

В тот момент, когда Стэнли, вслушавшись в музыку, почувствовал эмоциональный подъем, случилось нечто невиданное. Отец, который сидел справа от него, вдруг взял его ладонь в свою. Никогда в жизни они не были столь близки, как в тот момент, когда этот худой человек сидел за роялем, а отец сжимал его ладонь. Никогда до и никогда после...

После концерта подобострастный негр подогнал им джип, отец сунул ему еще сколько-то банкнот, и они уехали. Наутро они уже были в Пенсильвании. Стэнли не помнил, чтобы отец с тех пор хоть раз помыл автомобиль...

Музыка смолкла. Сесиль сидела за роялем, опустив руки вдоль тела и склонив голову. Он подошел к ней.

— Вы не представляете, чем меня одарили и какие вызвали воспоминания, — сказал он, стараясь сохранять спокойствие. — Я бы хотел...

— Я прошу вас больше не исчезать без предупреждения, — прервала она его на полуслове, вставая из-за рояля. — Мне бы хотелось когда-нибудь еще поиграть вам.

Быстрыми шагами она подошла к зеркалу, висевшему напротив ванны. Поправила прическу и, не попрощавшись, вышла из комнаты.

Трир, Германия, суббота, поздний вечер, 3 марта 1945 года

Второго марта 1945 года американская армия, не встретив особого сопротивления, заняла Трир. Сначала он узнал об этом от кричавших во весь голос солдат, потом прочел со словарем в газете, что лежала в туалете, а еще позже, вечером, это официально подтвердила Сесиль.

От ратуши в Люксембурге до центра немецкого Трира около пятидесяти километров — он постепенно научился считать в километрах — то есть менее тридцати двух миль. И это не по прямой линии, нарисованной на карте, а по нормальным дорогам. По тем, что когда-то на самом деле существовали — во всяком случае, судя по карте, старой, еще довоенной, которую Артур еще в Нью-Йорке передал ему в конверте. Он рассчитывал, что, если выедут до восхода солнца, они доберутся до Трира около полудня. Даже с учетом «самых катастрофических военных обстоятельств». Он ошибался. И Сесиль тоже. Она считала, что поскольку у них будет «автомобиль от Пэттона с флагами и всевозможными пропусками», они должны добраться до Трира ранним вечером. Но ранним вечером они, хотя и были уже в Германии, добрались всего лишь до городка Конц.

На главных дорогах им постоянно приходилось пропускать военные колонны. А передвигаться по проселочным и лесным было слишком опасно, потому что они могли быть заминированы отступавшими немецкими войсками. На обочинах им встречались остовы автомобилей и бронетранспортеров, пострадавшие от таких мин. В некоторых даже оставались тела солдат, вернее, фрагменты тел. Он попросил Сесиль остановить машину возле одного из таких остовов. Вылез и с фотоаппаратом в руках подошел к лежавшему на крыше автофургону. Боковые стекла уцелели. Покрытые грязью, перемешанной с кровью, они мешали рассмотреть, что было внутри. Он осторожно подошел к разбитому лобовому стеклу и остановился. Среди хаоса выгнутых труб и кусков жести, поролона и клочьев черного кожзаменителя, попадались фрагменты тел. Отдельно — головы в касках с открытыми невидящими глазами, отдельно руки со сжатыми кулаками. Все это попадало в объектив камеры, когда он нажимал на кнопку затвора. Напуганный и бледный, он вернулся к автомобилю, и Сесиль сказала:

— Вот ты и попал наконец туда, куда стремился...

Потом они три часа стояли на контрольно-пропускном пункте в Конце. Не помогли ни флаги на машине, ни уговоры, ни знаки различия на мундире Сесиль, ни печати и подписи на пропусках, которыми она пыталась впечатлить солдат. Они уверяли, что у них есть четкий приказ не пускать на восток гражданских лиц. В том числе и с американскими документами. А Стэнли — гражданское лицо. Единственное, что их впечатляло и, вероятно, могло бы даже заставить нарушить приказ, — это красота Сесиль. Наблюдая за ней, пока она вела переговоры с солдатами, он размышлял, почему она сама этого как будто не замечает. Если бы он выглядел так, как Сесиль, то прежде всего улыбался бы солдатам, хлопал глазами и говорил с еще более заметным французским акцентом. Но лейтенант Сесиль Галлей предпочитала вести себя как бесполой офицер, хотя с ее женственностью и столь яркой внешностью это было практически невозможно. Времена изменились еще не настолько радикально, как ей хотелось бы. В середине двадцатого века, особенно в конце Второй мировой войны, женщине было не место на фронте. А Сесиль Галлей словно не замечала этого и шла по жизни, преодолевая все препятствия, чтобы добиться своей цели. И несмотря на активное сопротивление, каким-то удивительным образом многого добилась. В штабах — с ее знаниями, экзотической биографией, молодостью и красотой — она была интересной диковинкой, а вот вне их — «всего лишь» женщиной. И пока что еще не обладала властью, отменять приказы мужчин. Даже если у нее на мундире были такие же нашивки, что и у них.

Именно так считал жевавший резинку щербатый британский капрал на КПП у Конца. К тому же он, вместе с каской, был не выше ее подбородка. Видимо, поэтому он велел им съехать с дороги на обочину и ждать, пока он не выяснит, кто они такие. Непонятно было, как он собирался это выяснять, ведь, кроме деревянных перегородок поперек дороги, здесь не было ни телефонного кабеля, ни радиостанции.

Они не съехали на обочину. Сесиль понимала, что так называемая «проверка» займет много времени — в пику ее независимому тону и росту, она велела шоферу ехать в сторону Вествалла. Шофер прекрасно знал, где это находится. По пути Сесиль объяснила Стэнли, куда они едут. Вдоль своей западной границы, в окрестностях города Конц, немцы с 1938 по 1940 год построили около сорока бункеров. Такого не бывало еще ни в одной стране. Около четверти миллиона рабочих по двенадцать часов в день рыли землю и возводили бетонные стены оборонительных сооружений. Напав на Польшу в сентябре 1939 года, Германия ожидала

немедленных боевых действий со стороны Франции, которую связывали с Польшей соответствующие договоренности, предусматривавшие, в том числе, и помощь в случае военной агрессии. Немцы, как и поляки, верили этим обещаниям. В результате наивные поляки оказались один на один с агрессором, а немцы обзавелись несколькими десятками бункеров, которые никто не собирался обстреливать даже из охотничьей двустволки. Уже летом 1940 года здесь не осталось ни одного рабочего, тем более солдата. Но для жителей города Конц эти заросшие диким виноградом, опустевшие бункеры, полные птичьих гнезд и зимовавших белок, были настоящим проклятием. В конце сорок четвертого английская авиация бомбила Конц так же интенсивно, как и Трир. Англичане были намерены уничтожить лишь бункеры, но для верности разбомбили и часть города, зато бункеры почти не пострадали. Все это очень напоминало сценарий бомбардировки Дрездена, где главной целью была небольшая железнодорожная станция, которая практически не пострадала. А Дрезден едва не исчез с лица земли...

Они прошлись вдоль лабиринта бетонных стен. Пошел снег, солнце, низко висевшее над горизонтом, несмело проглядывало из-за туч, и его оранжевые закатные лучи контрастировали с серым небом. Стэнли фотографировал, а Сесиль говорила о толщине стен, ширине и высоте бойниц, о планах немцев соединить бункеры системой подземных ходов. Она знала все это в мельчайших подробностях. Лейтенант Сесиль Галлей была не только красива, но прежде всего умна. И при этом великолепно играла на рояле. Каким-то особенным образом. Многое в ее присутствии становилось особенным. За последние три дня в Люксембурге он убеждался в этом на каждом шагу...

Они тронулись в путь лишь на восходе солнца. Должны были выехать раньше, но он проспал. Было еще темно, когда его разбудил громкий стук в дверь.

— Мы ждем тебя, — сказала с улыбкой Сесиль, когда он открыл ей. — Не кури сейчас, покуришь в машине. Собирайся спокойно, мы подождем...

И погладила его по щеке.

Он торопливо побросал из шкафа в чемодан одежду. Побежал в ванную с открытым чемоданом и одним движением руки смел туда все, что стояло на фарфоровой полке под зеркалом. С зубной щеткой во рту вернулся в комнату. Внимательно огляделся. Подбежал к письменному столу и собрал разложенные на нем фотографии. Осторожно сложил их в конверт. На полу, рядом с кроватью, лежали исписанные страницы из блокнота. Письмо к Дорис, которое он писал при свече под утро. Он собрал

листки и заглянул под кровать, куда унесло воздушной волной еще одну страничку.

Снова вошел в ванную. Намочил теплой водой полотенце и торопливо вернулся в комнату. Белый рояль стал для него чем-то особенным. Очень личным, даже интимным. Он не хотел, чтобы на нем остались следы последней ночи, и осторожно стер с клавиатуры пятна красного вина. Между белой и черной клавишами он обнаружил сережку Сесиль. С рубином. Видимо, она сама не заметила, как та отстегнулась...

Они с Сесиль не возвращались к теме его необычного купания. Словно этого и не было. Когда на следующий день около полудня они встретились, он обращался к ней «лейтенант Галлей», она к нему «мистер Бредфорд». Эта официальность забавляла его, внося в их отношения атмосферу странной психологической игры. И он решил, что ничего не станет менять..

Сначала Сесиль отвела его в фотолабораторию. Они пришли на площадь, поднялись по крутым ступенькам на чердак старого дома. В углу, у окна, завешенного одеялом, на столе стояли кюветы, пахло химикатами. Он обрадовался знакомому запаху. Горбатый мужчина с минуту о чем-то по-немецки поговорил с Сесиль. Было похоже, что они давно знакомы. Потом он взял у Стэнли кассеты с пленкой и выдал квитанцию о приеме. Стэнли достал бумажник и протянул Сесиль. Он был не в состоянии разобраться в местных ценах, да его это мало интересовало. Сесиль достала деньги и положила их на столик возле кювет. Когда они вышли на лестницу, она сказала:

— Старик Марсель сделает все как надо. У нас, правда, при штабе есть своя лаборатория, но полученные оттуда снимки выглядят так, будто лаборант с больными почками проявляет их в своей моче. Поэтому я всегда отношу свои пленки к Марселю.

После визита к Марселю он пригласил ее выпить кофе в магазинчик на Рю де Галуаз. Краснощекая женщина выбежала из-за прилавка и обняла его. От души, очень крепко, как обнимают родственника или старого, верного друга. Они сели за столик и пили кофе. Он попросил, чтобы Сесиль перевела на французский «плавленный сыр». Через минуту на столике появилась корзинка с булочками и четыре вида плавленого сыра, разложенного на уже знакомых ему блюдах. Уходя, он решил не просить счет — просто положил на стол несколько банкнот и прижал их корзинкой с булочками.

Потом они обошли весь город, и Сесиль рассказала ему о нем. Она

знала, что Стэнли интересуется война, поэтому сосредоточилась на сложной судьбе этого маленького государства. На попытках присоединения Люксембурга к Третьему рейху, на организованной немцами неудачной переписи населения в октябре 1941 года, которое превратилось в референдум о независимости страны, на движении Сопротивления и принудительном призыве мужчин в вермахт с середины 1942-го. На том, что всех, кто отказался от этого и принял участие во всеобщей забастовке в конце августа 1942-го, либо расстреляло гестапо, либо вывезли в ближайший концлагерь в Гинцерте, либо выслали в далекую польскую Силезию. Молодые парни, чьи могилы Стэнли видел на кладбище — Жан, 21 год; Хорст, 25 лет; Поль, 19 лет — это те, кто не захотел быть частью вермахта и кто в назидание остальным, в ответ на всеобщую забастовку и сопротивление распоряжениям нацистов были публично расстреляны гестапо 31 августа 1942 года.

— Вам, видимо, трудно в это поверить. Но они погибли за Люксембург, а он гораздо меньше вашего Нью-Йорка... — закончила Сесиль.

Он расслышал нотки иронии в ее голосе, но такое на него уже не действовало. За время пребывания в Европе он уже привык, что к американцам относятся как к тупым недоучкам. По определению. И решил утром пойти в библиотеку. Он знал, где она находится — англичанин тогда велел водителю подъехать именно к ней, — и мог поискать там какие-нибудь учебники по истории на английском. Если они там есть. Стэнли готов был читать их всю ночь, чтобы понять, о чем рассказывает Сесиль.

В библиотеке, куда он отправился на следующий день сразу после завтрака, не было никаких книг. «Все фонды в архиве. Мы боялись, что они могут быть уничтожены», — сообщила ему переводчица, которую позвала перепуганная его визитом старая библиотекарша, сидевшая в пальто и перчатках за письменным столом в очень холодном зале среди пустых стеллажей и книжных полок. «Архив находится за городом, — добавила переводчица, внимательно изучив его журналистское удостоверение и паспорт, — если хотите, я напишу вам, где». Исключительно из вежливости он попросил адрес. Решил, что займется историей Европы в другой раз, а пока будет просто слушать рассказы Сесиль.

После визита в библиотеку он вернулся в свою комнату на вилле и написал письмо Дорис. А во второй половине дня отправился на площадь и поднялся по крутым ступенькам на чердак, в фотолабораторию старого

Марселя. Почти все фотографии получились хорошо. Кроме двух, с кладбища. Они казались затемненными. Марсель заметил, что Стэнли разочарован, придвинул ему стул и предложил присесть. Протянул кассету с негативами, побежал к двери и запер на ключ. Вернулся к своим кюветам. Потом они вместе ждали, пока высохнет бумага. Марсель вытащил из-под стола бутылку с самогоном. Они вглядывались в два бумажных прямоугольника на веревке, прикрепленных деревянными прищепками, и по очереди прикладывались к бутылке. Стэнли подумал о том, что снова оказался в странной ситуации. Кажется, в Европе, в доказательство близости и доверия, принято совместно пить алкоголь.

Изрядно пьяный, он вернулся от Марселя на виллу и присоединился к солдатам в зале. Потягивая с ними пиво, слушал истории об их женах, невестах, девушках. Рассматривал фотографии, которые они поспешно доставали из бумажников. Кивал, вглядываясь в улыбающиеся лица молодых женщин на потрепанных, мятых фотографиях: Джоан на кухне, Сьюзен на дне рождения Патрика, их сына, Мэрилин на свадьбе брата, Диана, купающая их дочурку, Джейн под елкой в доме его родителей, Дженнифер на пляже в Маттитук на Лонг-Айленде...

Парням хотелось поделиться с ним своей тоской по любимым. И он впервые в жизни понял, как важно иметь кого-то, по кому скучаешь. Для них это было, кажется, важнее всего, что вовсе не мешало им пялиться с плохо скрываемым вожделением на девушку в черном платье с кружевным фартучком. И на ее сестру-близнеца. Тоскуя по своим Дженнифер, Джейн, Мэрилин и другим обожаемым женам и подругам, эти парни ни на секунду не переставали быть самцами. А у него в бумажнике не было такого фото...

Он не помнил, после какой по счету бутылки пива ему стало казаться, что сестры Эндрюс поют чудесные песенки. Но это был явный знак, что пора на боковую. Он не помнил и того, самостоятельно ли добрался до своей комнаты. Во всяком случае, спал он у себя, а на следующее утро первым делом сунул голову под струю холодной воды. Потом подошел к окну, открыл его, сгреб с подоконника белый пушистый снег, который намело за ночь, и растер лицо, плечи и грудь. От обжигающего холода голова стала кружиться немного меньше. Но пятницу, второе марта 1945 года, он встретил все еще очень пьяным...

Стэнли вернулся в постель, но изо всех сил старался не закрывать глаза, чтобы потолок не вращался вокруг люстры и не накатывала тошнота. Он страдал от жуткого похмелья, непрерывно повторял про себя, что «больше никогда-никогда не будет пить», пока наконец не заснул.

Около полудня его разбудили громкие крики, доносившиеся из салона. Он торопливо обмотал вокруг бедер простыню и выбежал из комнаты. Солдаты, сгрудившиеся вокруг офицера, читавшего по бумажке «приказ», подписанный «генералом Д. С. Пэттоном», напоминали одуревших от восторга болельщиков победившей бейсбольной команды. Он не разбирался в бейсболе, потому что терпеть не мог этот вид спорта, не понимая, почему люди готовы тратить время на столь пустое занятие. Но здесь и сейчас речь шла не о бейсболе.

Американцы заняли Трир!

Возбужденный этой новостью, он вернулся в свою комнату. Вырвал несколько страниц из блокнота. Ему хотелось описать всё — это место, этот момент, эти переживания. Он и сам не знал, зачем это делает. Ему просто хотелось зафиксировать происходящее, прежде чем все это исчезнет и растворится в памяти, зафиксировать и поделиться с другими. Никогда раньше он не испытывал такой потребности. Он вспомнил, как однажды ночью Артур — после событий в Пёрл-Харбор они ночами торчали в редакции, ожидая новостей с Гавайских островов — сказал ему:

— Стэнли, настанет время, когда тебе мало будет только снимать, и ты захочешь писать — не для себя, ты будешь писать для других. Это очень сильное желание, но все же уступают ему лишь немногие, потому что страх сильнее этого желания. Страх, что их сочтут бездарными и обвинят в графомании, страх обнажить свою душу, ведь желание писать — это уступка своеобразному эксгибиционизму, а еще опасения, что история, которую они хотят рассказать, слишком незначительна. Этот парализующий страх душит и приводит к тому, что книга, которую человек носит в себе, которая уже зачата им, никогда не рождается. Но есть и такие, кто не поддается страху и вынашивает свою первую книгу вплоть до ее рождения.

Я уже старик, но, честно говоря, так и не отважился на подобный эксперимент. Что-то всегда меня удерживало. Писательство было и осталось для меня торжественным элементом религиозного обряда. И я готов преклонить колени. Для нас, евреев, — старых, настоящих евреев, а не эмигрантов из Бруклина, — это имеет значение, в отличие от атеистов и иноверцев. Настоящий еврей не напишет свои просьбы к Богу, не умывшись и не одевшись прилично! И тем более не понесет свою записку к Стене плача в шортах и мокасинах. Нет! Поэтому, если бы я писал книги, то сидел бы за письменный стол в смокинге. В самом лучшем, какой есть. Но у меня вообще нет смокинга, Стэнли. Ты хорошо

знаешь, что я ненавижу смокинги. Они напоминают мне клоунские наряды в цирке. А для меня цирк — это вонь пердящих, погоняемых бичами лошадей и огромные заплаканные глаза испуганных слонов. Ты замечал, какая большая слеза у слона? Присмотрись как-нибудь...

За всю свою жизнь я нацарапал мысленно пару-тройку книг, может быть, даже важных книг, — добавил Артур, — но все еще боюсь, что надо мной будет смеяться даже ящик стола, в который я спрячу свою первую рукопись. А вот ты, Стэнли, совсем другое дело. Ты молод. И к тому же впечатлителен, в отличие от меня. Я вижу это по твоим фотографиям. Иногда они — как сказал мой любимый еврейский писатель Франц Кафка о книгах, — это «топор, который разбивает замерзшее море внутри нас». У тебя это получается...

Поэтому, когда почувствуешь в себе это жжение, не сопротивляйся ему. Пиши. Не бойся того, что люди скажут или подумают об этом. Всегда найдутся моськи, которые будут хватать тебя за штаны. Ты сам знаешь, критикам нужно на что-то жить. Мы даже печатаем их. За большие деньги. Помнишь, как критики прошлись по Хемингуэю после публикации его первых повестей? Спрашивать писателя, что он думает о критиках, — все равно что спрашивать, как уличный фонарь относится к собачкам, задирающим на него лапку. Будь таким, как этот уличный фонарь. Посылай всех в жопу! Пиши, парень. Пиши...

В тот день он встретился с Сесиль уже поздно вечером. Они уселись на самый большой диван в центре зала и пытались перекричать солдат, которые в тот вечер в очередной раз выпили лишнего и шумели еще больше, чем обычно. Он прекрасно видел, как они жадно смотрели на Сесиль. Но ни один не подсел к ним, хотя кое-кто пытался: стоило лишь увидеть ее презрительно приподнятые брови, как храбрец тут же отказывался от своего намерения.

Сесиль была задумчива. В ее голосе он чувствовал усталость и даже грусть. Она начала с того, что «Трир был взят союзными войсками без особого сопротивления и практически без потерь».

— Казалось бы, это не имеет особого значения, кроме, может быть, психологического и пропагандистского, — сказала она. — Но на самом деле, как видите, имеет. — Она с улыбкой показала на ликующих солдат. — Уже завтра вы сможете попасть туда. Если захотите, — добавила она официальным тоном, глядя в бумаги, которые принесла с собой и разложила на коленях. — Мне удалось получить все необходимые подписи и печати на соответствующих документах. Вы ведь хотите, да? — Она подняла голову и внимательно посмотрела ему в глаза.

Конечно, он хотел! Наконец-то появилась возможность попасть в город, который ему так важно было увидеть. Наконец-то!

— Когда я мог бы отправиться туда? — спросил он, безуспешно пытаясь скрыть волнение.

— Может, завтра? На рассвете, — ответила она, перебирая бумаги на коленях и не поднимая глаз.

Он придвинулся к ней и нежно коснулся губами ее щеки.

— Значит, завтра на рассвете, — прошептал он.

Вокруг послышались громкие аплодисменты и крики, но Сесиль их словно не замечала. Она смотрела на него, игнорируя восторг, который он вызвал у собравшихся своим поступком.

— Не обращайте внимания на оголодавших самцов, — заметила она с улыбкой, — я уже давно к этому привыкла.

После долгой паузы она открыла большую кожаную военную сумку, стоявшую у ее ног, и достала оттуда бутылку.

— Тот самый. Ирландский. Я обежала все значные места, чтобы его найти...

Здесь, на диване, этот виски был не так хорош, как тогда, в ванне. Хотя был в точности такой же. Оригинальный «Пэдди айриш виски» из города Корк. В какой момент шум в зале стал таким, что приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга. В определенном смысле он был даже благодарен этим солдатам. В особенности тогда, когда потерявшая терпение Сесиль приблизила губы к его уху и, словно дразня своим теплым дыханием, сказала:

— Господин Бредфорд, я сейчас возьму наш виски и пойду в туалет. Вы посидите здесь еще несколько минут, а потом притворитесь, что устали, тихо встаньте и идите к себе. Я буду ждать вас у вашей двери. Сами понимаете, здесь у нас не получится нормально поговорить. Вы согласны? — спросила она, улыбаясь и поправляя волосы. — Если мы встанем с этого дивана и выйдем вместе, поверьте, завтра в штабе эта тема будет куда более обсуждаемой, чем освобождение Трира...

Не дожидаясь ответа, она убрала бутылку в сумку и, пожав ему руку как будто прощаясь, встала. Через минуту она скрылась в глубине коридора.

Подойдя к своей комнате, он ее не увидел, но знал, что она здесь, потому что чувствовал запах ее духов. Когда он открывал дверь, она уже стояла за его спиной, прикасаясь к нему бедром. Он пропустил ее вперед. Она сняла пиджак и бросила на постель. В руке она держала бутылку. Они сели рядышком на край ванны. Молча. Она подала ему бутылку и,

наклонившись вперед, прикоснулась пальцами к белой полированной крышке рояля. У уже через минуту склонила голову ему на плечо. Он осторожно прикоснулся к ее волосам и стал целовать прядь за прядью. Вдруг она сбросила с ног ботинки, сорвалась с места, подбежала к ночнику, стоявшему на столике. Потом к выключателю у двери. Сноп света от лампы упал на кровать и рояль.

— Я сыграю что-нибудь для тебя. Как обещала, — сказала она, распуская волосы.

Он смотрел, как она для него раздевается. Нагая, она села на рояль и начала играть. Пальцами ног. Обеих ног. Белый, черный, белый, черный, черный, черный... Высокие ноты со сжатыми бедрами. Потом только низкие. Затем высокие и низкие вместе. Она нажимала одновременно черные и белые клавиши по всей клавиатуре, но он не слушал. Смотрел. Только смотрел.

Потом, в постели — прежде чем, прижавшись к ней, заснуть, — он целовал эти пальцы. А утром, когда его разбудил стук в дверь и он, удивленный ее отсутствием, открыл, сначала услышал: «Мы ждем тебя, не кури сейчас, закуришь в машине», а потом почувствовал прикосновение ее ладони на своей щеке. Пока они доехали до того злополучного КПП в Конце, он выкурил целую пачку сигарет...

Когда они вернулись с прогулки по бункерам к деревянному заграждению в Конце, щербатого британского капрала на месте не оказалось. Но с исчезновением одного-единственного закомплексованного бюрократа мир стал совсем другим. Сесиль не пришлось даже предъявлять свои «бумаги», один ее мундир произвел должное впечатление, и заграждения тут же отодвинули.

Они пытались въехать в Трир с разных сторон. И каждый раз их заворачивали. Сесиль говорила, что им следует добраться до гостиницы под названием «Порта Нигра» в центре города. В этой гостинице размещалось американское командование. Но Сесиль не знала точный адрес. И лишь в районе Константинштрассе, когда они въехали в город с южной стороны, им удалось уговорить какого-то перепуганного прохожего проводить их по узким улочкам к зданию, увешанному американскими флагами.

А перед этим, на середине Константинштрассе, в самом центре города, они остановились на краю широкой, овальной, глубиной минимум в пятьдесят футов воронки. По всему ее периметру горели костры. На дне конусообразной ямы, стоя по колено в ледяной воде, несколько человек

разгребали и паковали обломки в грязные брезентовые мешки, которые поднимали вверх с помощью канатов. Они работали при свете дымивших факелов, вставленных в трещины по краям воронки. Это напомнило Стэнли сцену из научно-популярного фильма о строительстве египетских пирамид. Но сейчас это был не фильм. Всё происходило наяву. В самом центре города! Как если бы бомбу сбросили на Таймс-сквер! Такое невозможно было даже представить, а здесь он это видел! Он резко дернул дверцу машины и выскочил на улицу. Подбежал к самому краю воронки, лег на землю и, свесив голову вниз, начал фотографировать. Поднятые вверх руки с кусками камней, наполненные брезентовые мешки на фоне горящих факелов, силуэт мужчины с сигаретой в зубах, пытавшегося жилистыми руками согнуть стальной прут, который торчал прямо из бетонной глыбы, заваленной комьями черной земли.

Он снимал...

Когда Стэнли вернулся в машину, Сесиль молча протянула ему зажженную сигарету. Водитель тут же дал по газам. Прохожий, который согласился стать их проводником, посмотрел на Стэнли как на сумасшедшего, только что очнувшегося после приступа безумия. И отодвинулся подальше, чтобы не испачкаться о его покрытое грязью пальто. Впрочем, это было бесполезно, особенно когда машину кидало из стороны в сторону на крутых поворотах узких улочек.

Перед украшенным звездно-полосатыми флагами зданием респектабельного отеля «Порта Нигра» их трижды тщательно проверили разные патрули. Стэнли обратил внимание, что каждый раз военные подозрительно присматривались именно к нему.

Они вошли в освещенный холл. За стойкой портье сидел американский солдат в зеленом берете и со скучающей миной курил, положив ноги на небольшой столик, заполненный грязными чашками. Он был как брат-близнец похож на британского капрала у заграждений в Конце. Стэнли молча положил свой паспорт на стойку. И приложил палец к губам, давая Сесиль понять, чтобы на сей раз она промолчала. Пока солдат, страница за страницей, внимательно просматривал промокший паспорт, Сесиль сунула Стэнли бумагу с огромной печатью. Солдат, казалось, погрузился в изучение паспорта и не обращал на них никакого внимания.

— Меня зовут Стэнли Бредфорд, я журналист из «Нью-Йорк таймс», — сказал он, желая прервать это странное молчание. — Мое пребывание здесь согласовано со штабом генерала Пэттона. Может быть, вы сообразоволяете заглянуть в этот документ...

Солдат протянул руку к столику, на котором еще минуту назад лежали

его ноги в грязных ботинках, и, взяв оттуда льняное, все в пятнах, полотенце, подал ему и сказал:

— Только не нервничайте, все по порядку. Сначала я хотел бы разобраться с вашей фотографией в паспорте. Что-то я вас на ней не узнаю. Не похожи вы на серьезного репортера. Скорее на кого-то, кто только что вылез из канализационного люка или из окопа. Вытрите лицо.

Сесиль рассмеялась во весь голос, облокотилась о стойку и обратилась к солдату:

— Господин Бредфорд только что на Константинштрассе фотографировал для своей газеты доказательства достижений нашей армии. Поэтому он так выглядит.

Она вытащила из кармана пиджака платок, сбрызнула его духами и, обращаясь к солдату, добавила:

— А этой сраной тряпкой, которую ты, рядовой, не-имею-чести-знать-твоего-имени, подал господину Бредфорду, можешь почистить свои ботинки. Не помню номера статьи воинского устава, который гласит, что солдаты американской армии при общении с гражданскими лицами обязаны соблюдать опрятность. Но могу это проверить. Кроме того, рядовой, как там тебя, на твоём мундире должна быть прикреплена табличка с твоим званием, фамилией и именем. Это тоже указано в уставе. И номер этой статьи я проверю. На твоём мундире нет таблички, к тому же у тебя, парень, ширинка расстегнута...

Она повернулась спиной к перепуганному солдату, отвела Стэнли в сторону и начала осторожно вытирать ему лицо.

— Этот недотепа прав: ты действительно выглядишь как сантехник, который только что вылез из канализационного люка, — прошептала она ему на ухо. — Я не знала, что все это так важно для тебя. Ты восхитил меня, я так боялась, что ты грохнешься в воронку, что с тобой что-нибудь случится. У тебя красивые глаза. Я сейчас сотру с тебя грязь, закрой глаза, не открывай, держи закрытыми, в морщинках вокруг глаз у тебя песчинки, я их осторожно уберу, у тебя такие милые морщинки, ты, верно, много улыбался, не открывай глаза, минутку потерпи, на веках у тебя какие-то серые пятна, а теперь открой глаза, широко, как вчера...

Наконец, мягко взяв за подбородок, она повернула его голову к солдату.

— А теперь, рядовой, как там тебя, ты узнаешь лицо Бредфорда на фото? — спросила она громко.

Испуганный парень нервно поправил берет. На полу валялась тряпка, которой он торопливо стер грязь с ботинок, его брюки были застегнуты, а

на кармане мундира под золотистой пуговицей висела табличка, которую он в спешке прикрепил вверх ногами.

— Так точно! — крикнул он, вытянувшись по стойке «смирно».

На стойке лежали ключ, картонная карта и серый конверт.

— Гражданский С. Бредфорд из подразделения «Нью-Йорк таймс» зарегистрирован по специальному приказу. Мне поручено расквартировать его в номере двести пятнадцать. Вместе с приказом пришла радиотелеграмма для лейтенанта Сесиль Галлей. Я так понимаю, для вас, — докладывал он, глядя на Сесиль.

Эта сцена вызвала у Стэнли улыбку. «Когда я вернусь в Нью-Йорк и встречу с Артуром, так ему и представлюсь: гражданский Бредфорд из подразделения «Нью-Йорк таймс» прибыл в ваше распоряжение», — решил он.

Сесиль не улыбнулась в ответ. Молча взяла серый конверт. Вскрыла его и с минуту сосредоточенно читала текст, написанный на вырванном из тетради в клетку листе с неровными краями. Потом передала лист стоявшему все это время в сторонке шоферу и сказала:

— Марсель, я должна до полуночи быть в штабе. Выясни, пожалуйста, где нам поскорее заправиться.

Марсель тут же выбежал из отеля. Сесиль подошла к стойке и взяла солдата за лацкан мундира.

— Вы позволите? — спросила она спокойно, отстегивая табличку. — Я хотела бы взять ее себе. На память. А по поводу устава я пошутила. Можно?

Она сжала табличку в ладони и, повернувшись к Стэнли, прошептала:

— Не пропадай надолго, дай о себе знать. Я хотела бы еще когда-нибудь сыграть тебе.

Он смотрел, как она быстрыми шагами покидала отель.

Все произошло внезапно. Он вытащил сигареты, сел верхом на чемодан и закурил. Закрыв глаза. Запах табака смешался с ароматом духов Сесиль...

Расквартированный в номере двести пятнадцать отеля «Порта Нигра» в Трире в начале марта 1945 года Бредфорд в первую же ночь понял, насколько привык к роскоши, которой он был окружен сначала в Бельгии, а потом в Люксембурге. Во-первых, он остался совсем один. Он уже не был незрячим, которого кто-то каждый раз переводит через улицу. После отъезда Сесиль он действительно стал «гражданским», который постоянно вертелся у всех под ногами. Никто им не интересовался, никто не мог или не хотел делиться с ним информацией. И хотя в гостинице остановился

офицер из отдела пропаганды — он знал даже его фамилию и номер комнаты — который теоретически должен был с ним сотрудничать, Стэнли ни разу не удалось с ним встретиться. Во-вторых, номер двести пятнадцать был похож на палату в психиатрической больнице для нищих. В этом помещении, размером с его комнату на вилле в Люксембурге, разместили девять двухэтажных кроватей и четыре шкафа, вынеся оттуда все, включая умывальник, стол и стулья. Тут можно было только стоять или сидеть, ну и, конечно, лежать на кровати. Это напоминало лагерь скаутов в Йеллоустоуне, который он когда-то в начальной школе посетил вместе с одноклассниками. С той только разницей, что вечером в комнату деревянного барака входил учитель, гасил свет, и наступала тишина. Здесь было по-другому. Тихо становилось только тогда, когда он, уставший, несмотря на шум, засыпал. Но чаще он просто впадал в дремоту. Его не окружали так называемые простые солдаты. Простым солдатам не разрешалось приходить в штаб в «Порта Нигра». Вокруг него были офицеры американской армии. Семнадцать человек. Ему никогда еще не приходилось делить столь малое пространство в течение столь продолжительного времени с американскими офицерами, но те, кто повстречался ему в комнате двести пятнадцать, были, говоря по правде, сборищем чудаков. У одного была депрессия, и он вставал с постели только по необходимости. И это бы еще ничего. Гораздо хуже было то, что он и ел и спал, не раздеваясь и не моясь. Второй решил на войне непременно научиться играть на гитаре, чтобы по возвращении произвести впечатление на свою подружку. Поэтому без устали брэнчал одно и то же. Просыпался и брал в руки гитару, возвращался со службы — и хватался за гитару. И даже перед сном выводил всех из себя своим брэнчанием. Третий во что бы то ни стало хотел рассмешить и, видимо, восхитить всех громким рыганием. Его мечтой было прорыгать весь английский алфавит. Одним духом. Четвертый до войны был чемпионом по метанию дротиков в своем городке в Северной Дакоте. И без устали тренировался, используя мишень, прикрепленную к двери шкафа рядом с койкой Стэнли. Он мог метать дротики весь вечер напролет. А когда кто-нибудь все-таки добивался того, чтобы погасили свет, этот урод зажигал фонарь и продолжал тренировку. Еще один постоянно рассказывал «на сон грядущий» истории про свое путешествие — как выяснилось, одно-единственное — в Канаду. Всегда одни и те же. При этом он старался перекричать гитариста, сумасшедшего мастера художественного рыгания и чемпиона-метателя. Тоже немного тронутым, но довольно приятным был еще один из офицеров. Он представился как «американский поляк еврейского происхождения» из

Филадельфии. Ему не терпелось постоянно рассказывать еврейские анекдоты. Интересно, что знал он действительно только еврейские. Как будто не существует других хороших анекдотов. Например о придурках-поляках. Он знал очень много анекдотов, но это вовсе не означало, что всем было интересно слушать их каждый вечер. Один из анекдотов очень рассмешил Стэнли, а остальным он не понравился: они предпочитали более примитивный юмор. Он решил, что обязательно расскажет анекдот Артуру, когда вернется. И сам себе повторял его, чтобы не забыть. Он почти всегда забывал анекдоты...

«Приходит еврей в синагогу. Встает на колени в первом ряду и начинает громко причитать, мешая молиться другим: “Боже, пошли мне пятьдесят долларов, Боже, пошли мне пятьдесят долларов...” Причитает и причитает. Через некоторое время из заднего ряда поднимается с коленей раздосадованный другой еврей. Подходит к причитающему бедолаге из первого ряда и злобно шипит ему в ухо, вытаскивая из кармана бумажник: “Возьми свои пятьдесят долларов и вали отсюда. Ты нам мешаешь! Мы здесь молимся о действительно приличных деньгах...”».

Во всяком случае, из семнадцати соседей по комнате, нормальных можно было счесть по пальцам одной руки. Нормальных в его понимании.

К счастью, здесь он проводил совсем немного времени. Утром просыпался под стоны расстроенной гитары, чертыхался, уколов ногу о валявшийся на полу дротик, шел в «помывочную» — язык не поворачивался назвать это помещение душевой — на четвертом этаже, где принимал душ вместе с солдатами. Кое-кто из них без стеснения демонстрировал, как справляется с утренней эрекцией. Затем Стэнли возвращался в комнату, одевался, брал фотоаппарат и отправлялся в город — перед уходом проверив у портье, нет ли для него известий.

Он ждал вестей от... Сесиль. Возможно, потому, что только она могла знать, где он находится. А может, потому что только через нее существовала связь с другими. Например, с Дорис. Как ни странно, это было так. Он не видел ничего предосудительного в том, что «там» была Дорис, а «здесь» — Сесиль. Это были два разных мира. В первый он вернется, а во втором пребывает сейчас. А что до верности — это был не тот случай. Эти две женщины соприкасались только однажды — через конверт, который Сесиль своими руками принесла и положила под дверь его комнаты на вилле в Люксембурге...

Но до последнего дня его пребывания в Трире от Сесиль вестей не было. Он выходил утром из гостиницы «Порта Нигра» и мерял шагами город вдоль и поперек. Уже в первый же день он понял, что воронка от

бомбы на Константинштрассе не представляла собой ничего из ряда вон выходящего. Таких шрамов на теле города было великое множество. Гораздо больше, чем мест, которые не пострадали от бомбежек. И англичанин, и Сесиль были правы, когда говорили: «Трир не имеет для нас большого значения». Это был вымерший город. Большая часть из восьмидесяти тысяч его населения покинула свои дома, как только начались налеты. Так Трир стал городом, «не имеющим особого значения». При этом его сначала методично бомбили два дивизиона американской армии при поддержке британской авиации, а потом взяли американцы — без «серьезного сопротивления», поскольку сражаться было на самом деле не за что. Железнодорожный узел и вагоностроительную фабрику на левом берегу Мозеля уничтожили еще в ходе налетов в конце 1944 года, как и аэродром в районе Ойрен. Он не мог понять, зачем в январе этого года, уже после «ликвидации стратегических объектов» почти пустой город продолжали бомбить, превратив в руины тысячелетний собор, оставив груды мусора на месте исторического музея...

Уже после первого же дня съемок он перестал фотографировать разрушенные здания. Их было слишком много. Он бродил по городу в поисках чего-то обыденного. Ведь никакая война не способна остановить ход вещей, и только картины нормальной жизни находят эмоциональный отклик. Война чужда сознанию людей. Она так же инородна и болезненна, как опухоль в мозгу. В особенности для тех, кто не испытал на себе войны. Читателям в Нью-Йорке уже на четвертой воронке от авиационной бомбы станет скучно. Они подумают, что — как мог бы сказать Артур — «сионистский “Таймс” докатился до того, что рекламирует завод, производящий авиабомбы или бомбардировщики». Поэтому он хотел найти здесь, в только что освобожденном Трире, признаки нормальной жизни. Несмотря на то, что здесь не могло быть ничего нормального. И все же, в каких-то определенных обстоятельствах было. Требовалось лишь соответствующим образом на это посмотреть и немного обмануть мир. Взглянуть на привычный быт сквозь «осколки» войны. Потому что, он это знал, без «войны» в качестве фона обычная жизнь тоже никому не интересна.

Пожилой мужчина в шляпе, выбивающий тростью пыль из линялого ковра на гимнастической перекладине. Стэнли настроил объектив таким образом, чтобы видно было погнутую перекладину, часть двора, занавески в окнах квартир, часть крыши с провалом в черепице, откуда торчал белый флаг, пробитый в нескольких местах осколками. Перекладина, окно с занавесками и мужчина должны получиться на фотографии несколько

размытыми. Главное — дырки от осколков на белом флаге. Они приносили драматизм. Ему важно было создать зарисовку, сюжетные ходы которой подскажет воображение.

Монахиня, кормящая голубей на опустевшей площади у памятника, от которого остались лишь фрагменты пьедестала, возвышающиеся над грудой обломков. Несколько женщин у военного грузовика, тянущие руки за буханками хлеба, которые раздает американский солдат. Тощая собака, пьющая воду из каски на ступенях лестницы, что ведет к разрушенной церкви. Маленький мальчик, который катит перед собой огромную шину, а та постоянно падает среди вывороченных булыжников.

Он ходил по Триру и фотографировал, пытаясь найти в будничных сценах то, что казалось ему необычным. А когда замерзал, присоединялся к людям, которые грелись у сплетенных из стальной проволоки корзин с раскаленными углями — в начале марта в Трире все еще стояла зима. Здесь его повсюду принимали вполне дружелюбно.

Он вспомнил один из разговоров с англичанином. По его словам, Пэттон, хотя порой и вел себя — как политик и как генерал — подобно слону в посудной лавке, позаботился об одном: наученный горьким опытом пребывания в Италии, он потребовал, чтобы американские солдаты вели себя в Германии как освободители, а не как завоеватели. В Италии, и эта весть мгновенно разнеслась по Европе, американцы именно так себя и вели — как надменные завоеватели. В то время как миллионы итальянцев остались без крыши над головой и хлеба, американские офицеры развлекались в роскошных отелях, скупали за бесценок антиквариат и охотно пользовались гостеприимством домов, в которых не так давно с той же помпой принимали эсэсовцев. Генерал Пэттон вовсе не желал, чтобы такое повторилось, и теперь сурово наказывал подчиненных за подобное поведение.

Стэнли пытался разговаривать с людьми, вместе с которыми грелся у огня. Но без особого успеха. Познакомившись, он, по большей части, выслушивал длинные монологи, из которых мало что понимал. «Hitler kaput», «Krieg», «Frieden», «Zukunft»...

Когда опускались сумерки, он возвращался в «Порта Нигра» и съедал что-нибудь в сером от сигаретного дыма ресторане отеля, переоборудованном в казино. Это место напоминало ему столовую в Гарлемской больнице...

Ему довелось готовить материал о том, как люди умирают в американских больницах. Муж уборщицы Артура умер там, в коридоре,

только потому, что у него не было страховки. То есть она была, но ее действие приостановили, поскольку он не уплатил очередной взнос. Начинался учебный год, и он потратил все деньги на учебники, ранцы и школьную форму для своих четверых детей. И не знал, что автомобиль сойдет с рельсов раньше, чем он накопит денег на взнос. Потом в бухгалтерии больницы определили, что это «случай, связанный с опасностью для жизни», но он уже умер. Артур приехал в эту больницу сам. И привез с собой Стэнли и других фотографов. Никогда еще Стэнли не видел Артура в таком бешенстве. И никогда не слышал от него таких ругательств. Перепуганный директор больницы размахивал перед ними какими-то бумагами. Артур вырвал их у него из рук и сказал:

— Сукин ты сын! Засунь эти счета себе в жопу! А потом сходи и выспись ими в грязную дырку своего вонючего сортира, который год не мыли. Вместо того чтобы дать ему кислород, ты проверял состояние его счета?! Да?! Я уничтожу тебя, придурок! Я сделаю все, чтобы тебя уничтожить!

Репортаж из больницы произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Его напечатали в субботнем номере «Таймс», у которого самый большой тираж, — с анонсом на первой странице и полным текстом на второй. Директора через неделю уволили, но это ничего не изменило. Люди в коридорах больницы продолжали умирать из-за неуплаченных взносов. Артур проявил себя как «импульсивный социалист», оттого что в данном случае это коснулось лично его. Но Америка как таковая не стала по этому случаю более социалистической.

Он глотал свою порцию бесцветного варева, которое ему плюхнули из алюминиевого котла в треснутую тарелку, и запивал компотом из непонятно каких фруктов. Потом поднимался по усыпанной окурками лестнице в комнату двести пятнадцать на третий этаж. Под звуки расстроенной гитары и стук дротиков он продолжал писать Дорис длинное письмо. А когда пропадало вдохновение, делал пометки, пытаясь классифицировать снятые кадры по степени важности, нумеровал их, пытался придумать толковые подписи.

За несколько минут до полуночи во вторник шестого марта «американский поляк еврейского происхождения из Филадельфии» в промежутке между двумя анекдотами о евреях, под громкий храп, раздававшийся со всех сторон, возвестил о том, что «американская армия освободила Кельн». Стэнли тотчас вскочил с кровати, в очередной раз укололся об иголку валяющегося на полу дротика, выругался так грязно,

как только мог, оделся и спустился в холл. В ящике для писем, в ячейке двести пятнадцать лежал конверт для «редактора Стэнли В. Бредфорда». Но сонный капрал за стойкой не пожелал выдать его без удостоверения личности. Стэнли вернулся в комнату. Достал из пиджака паспорт и вновь сбежал вниз по лестнице.

В сером конверте были два листка бумаги. На одном, написанном от руки, Сесиль сообщала: «Кельн — основная его часть — наш. Попастъ туда можно с запада. Сесиль», а на втором было написано по-английски, по-французски и по-немецки, с печатью и подписью самого Пэттона: «Настоящим удостоверяются полномочия господина редактора Стэнли В. Бредфорда в осуществлении его профессиональных действий во имя высших целей и всеобщего блага. Просим объединенные силы союзных армий оказывать ему всяческое содействие...».

Стэнли не дочитал до конца. Ему хватило уже того, что он «действует во имя всеобщего блага союзных армий». Он улыбнулся. Представил себе, как веселилась Сесиль, выстукивая на машинке текст документа. Лейтенант Сесиль Галлей прекрасно знала, что его заботит вовсе не «благо союзных армий». А прежде всего «зло», причиненное какой угодно армией. Он говорил ей об этом в тот памятный вечер, когда они пили ирландский виски на диване на вилле в Люксембурге.

Взволнованный этой новостью, он вернулся в комнату. На минуту задумался, откуда Сесиль известно, что его второе имя начинается на «В». Вильям, в честь любимого дедушки со стороны отца. Он никогда не пользовался вторым именем. Кроме Эндрю, его родителей, священника, который давно умер, и одного чиновника в медвежьем углу штата Пенсильвания, никто этого имени не знал. Во всяком случае, не должен был знать. Ни в его паспорте, ни в водительских правах, ни в дипломе из Принстона оно не было обозначено. Везде, как ему казалось, он фигурировал только как Стэнли Бредфорд. Что ж, похоже, его документы в свое время были тщательно изучены американской и, возможно, британской контрразведками. «Дорогая мадам Кальм, рад приветствовать вас среди своих», — подумал он, недоуменно покачав головой. И в очередной раз подумал, что Сесиль умеет передать информацию так тонко, что мало кто, кроме него, смог бы сориентироваться.

Он в очередной раз упаковал чемодан и до рассвета не мог сомкнуть глаз. Как только начало светать, в последний раз спустил ноги со своей кровати в комнате двести пятнадцать отеля «Порта Нигра» в Трире. Тщательно собрал с пола дротики. И, улыбаясь про себя, положил их — иглами вверх — прямо у кровати потенциального чемпиона игры в дартс из

Северной Дакоты.

Часом позже он сидел на груде картофеля под протекающим брезентом военного грузовика, который вез еще уголь и дополнительное обмундирование для американской армии, в результате «совместных усилий армий союзников», добравшейся до Кельна...

Кельн, Германия, среда, сразу после полуночи, 8 марта 1945 года

Он устал считать, сколько раз грузовик останавливали. Водитель откидывал брезент, показывал картошку, уголь, мундиры и протягивал проверяющим паспорт Стэнли и бумагу за подписью Пэттона. Потом они, как правило, несколько часов стояли. Каждый раз, разглядывая документ, проверяющие подолгу раздумывали. И каждый раз он украдкой совал водителю несколько банкнот. Ни одна поездка в жизни не стоила ему так дорого, как это путешествие на картошке из Трира в Кельн.

Было темно, когда водитель в очередной раз откинул брезент и, не стесняясь в выражениях, сообщил: «Мы, блядь, наконец добрались до этого гребаного Кельна». Стэнли посмотрел на часы. Полночь с минутами. Измученный и промокший до нитки, он сполз с картофельной кучи. С трудом шевеля задеревеневшими руками и ногами, выпрыгнул из кузова. Грузовик стоял на площади у огромного здания с высокими остроконечными башнями, смутно проступавшими в свете луны. Вся площадь была завалена обломками и какими-то металлическими прутьями. У главного входа в здание стоял танк, а неподалеку от него — группа американских солдат.

Стэнли с наслаждением выпрямился. Он никогда не думал, что просто стоять, выпрямив ноги, может быть так приятно. Глубоко вдохнул воздух в легкие. Наконец-то мир перестал вонять подгнившим картофелем. Водитель тем временем разговаривал с тремя мужчинами. Все они были в длинных коричневых рясах, подпоясанных белой плетеной веревкой. Через минуту один из них приблизился к Стэнли. Представился, сложив руки в молитвенном жесте. Видимо, этот человек много лет прожил в Калифорнии. Только тамошние жители, не считая азиатов и мексиканцев, говорят по-английски с таким сильным акцентом, что их почти невозможно понять.

— Наши немецкие братья, безусловно, позаботятся о вас, — сказал монах, склонив голову. — Возьмите, пожалуйста, свои вещи и следуйте за мной.


Он так и сказал: «следуйте за мной»! В последний раз Стэнли читал эту фразу, когда учился в начальной школе и учил на память текст какой-то пьесы Шекспира, которую должны были поставить в школьном театре.

Пока он вытаскивал свой чемодан из-под тюков с мундирами, вокруг грузовика собралось множество монахов. Все они толкали перед собой пустые тачки. Тачки быстро наполнялись картофелем или углем. Водитель курил сигарету и спокойно пересчитывал купюры. И Стэнли наконец понял, почему американский военный транспорт по пути к месту назначения остановился у церкви.

Он долго шел за монахом вокруг здания. Ему еще не приходилось видеть такого огромного собора. Они обходили глубокие ямы на площади, перебирались через обломки разрушенных зданий. Однако само здание собора, казалось, не пострадало. Через несколько минут они по широкой улице добрались до ступеней, ведущих круто вниз. Это напомнило Стэнли вход в метро в Нью-Йорке. С той только разницей, что здесь не воняло мочой. Спустившись по ступеням, они остановились у тяжелых, окованных стальными листами деревянных ворот. Им открыл другой монах. «Калифорниец» обнял этого второго и что-то объяснил ему по-немецки. Немец-монах в знак приветствия так же сложил руки в молитвенном жесте и провел Стэнли по темному коридору в помещение, похожее на тюремную камеру, которую тот видел когда-то в Алькатрасе, — такое же мрачное, с проржавевшей решеткой на небольшом окошке в бетонной стене. С той только разницей, что здесь вместо нар стояли четыре кровати, а на стене висел огромный деревянный крест. На одной кровати лежали матрац, простыня, одеяло, кусок серого мыла, белая свеча и спичечный коробок. К стене в углу кельи была приделана раковина с латунным краном. По жесту монаха Стэнли понял, что это и есть его ночлег. И вскоре услышал, как вдалеке захлопнулась дверь.

Наступила тишина. Ее нарушал только мерный стук капель из неисправного крана. Он остался один в этой мрачной келье. Сел на кровать, взял спичечный коробок. Сначала зажег свечу, потом прикурил. «Если бы я сейчас умер, об этом никто даже не узнал бы, — подумал он, затянувшись сигаретой, — никто из тех, кто мне дорог. Потому что они даже не знают, где я нахожусь». Он и сам этого не знал. Ему было известно лишь, что он в Кельне, в десяти минутах ходьбы от огромного собора.

Никогда еще он не испытывал такой тревоги. Это был не страх, а именно тревога. Сейчас он мог абсолютно точно отличить эти чувства одно от другого. Страх непродолжителен и интенсивен. Как оргазм. Тревога другая. Она охватывает постепенно. И длится. Эти монахи, будто сошедшие со средневековых репродукций, этот необыкновенный собор, эта темнота, это подземелье, напоминающее вход в чистилище, эти руины и пепелища, эта война... — наверное, все это вместе взятое достигло

критической массы, которая обернулась для него каким-то странным беспокойством. В таком месте как это, трудно было не думать о смерти. Прежде всего о собственной. И не задавать себе самый важный вопрос. Что потом? После смерти. Стэнли всегда восхищала идея, лежавшая в основе всех без исключения религий: напугать смертью, концом земного бытия, и пообещать бессмертие в безмерно счастливом, идиллическом Эдеме. Как в наивных рисунках из брошюр «свидетелей Иеговы». Но при непременном условии — в течение единственно гарантированной жизни — во всяком случае пока — необходимо соблюдать свод определенных правил. В одной из религий, в той, например, которую исповедовали его дедушка, бабушка и мать — отец не верил ни в какого Бога,  таких правил было ровно десять. И они были похожи на приказы.

В других религиях заповедей было значительно больше, но зато они больше напоминали советы. И поэтому были ему ближе. Но он все равно относился к любой религии как к мифологии. Библия для него мало чем отличалась от греческих мифов. Непонятно, как так получилось, ведь мать каждое воскресное утро будила их с Эндрю рано утром и отправляла в церковь, сунув двадцатипятицентовые монеты для пожертвований. Эндрю делал вид, что бросает что-то в плетеную корзинку прислужника, а сам старательно откладывал эти монетки и потом купил себе первый настоящий баскетбольный мяч. Он до сих пор считает это самым большим обманом в своей жизни, но добавляет с иронией: «Видимо, так было угодно Богу». А Стэнли исправно бросал монеты в корзинку — главным образом потому, что он сидел в церкви рядом с матерью и не хотел ее расстраивать. Эндрю это не волновало. Младшего брата Стэнли всегда интересовал только он сам.

Однажды Эндрю не встал в воскресенье с постели и не пошел с ними в церковь. Мать тогда расплакалась. От бессилия. Отец был спокоен. Он и сам уже давно не ходил в церковь. Стэнли припомнился разговор родителей на эту тему. «Я не хочу в очередной раз слушать о каре господней, — говорил отец, — я бы предпочел услышать, что я со всем справлюсь, что мы выживем. А такого я никогда там не слышал». Единственное, что оставалось у отца от прежних времен, это чтение молитвы перед едой. Но и это, скорее, было просто привычкой. Без молитвы яичница на завтрак показалась бы отцу такой же невкусной, как яичница без соли.

А когда Стэнли уехал из родительского дома в Принстон, церковь и религия вообще перестали для него существовать. В один прекрасный день он понял, что вера ему не нужна и что Бог вовсе не помогает понять мир. Даже наоборот, своей недоказанной вездесущностью только все усложняет.

Этой вездесущности незаметно на фоне всех зол и страданий, которым Бог, с точки зрения Стэнли, должен был бы противостоять. А значит, Его либо просто нет, либо созданный якобы Им мир Ему абсолютно не интересен. Объяснение такого бездействия первородным грехом совсем не убеждало. Напротив, если все так и было, то Бог оказался упрямым и мстительным. И Стэнли постепенно пришел к мысли, что Бога нет.

Позднее, через несколько лет после окончания университета, эта позиция —медленно и незаметно — все же начала меняться. И Стэнли перестал придерживаться модного у студентов Принстона тезиса: «Чем меньше знаешь, тем больше веруешь». Хотя в свое время сам поддался его агрессивному обаянию и, как многие другие, демонстративно носил на груди крестик. Мать это очень радовало, даже трогало. Но она не замечала, что Христос на том «распятии» был изображен вниз головой. Эту наивную демонстрацию протеста Стэнли перерос, когда закончил учебу и начал взрослую жизнь. Чем больше он узнавал, тем меньше понимал. Ему начинало не хватать Чего-то или Кого-то, кто упорядочил бы происходящее, объяснил и заключил всё в рамки единого Смысла, единой Теории с большой буквы. Но ничего такого он не находил. И постепенно стал допускать мысль о том, что это мог бы быть Бог...

Он думал об этом и сейчас, когда, удивленный собственной тревогой, вглядывался в пламя свечи, затягиваясь сигаретой в мрачной монастырской келье где-то в подземелье разрушенного Кельна. Он чувствовал себя здесь как в могиле. Поставил горящую свечу на раковину. Впервые в жизни ему не хотелось засыпать в темноте. И он вдруг осознал, что — тоже впервые в жизни — задумывается о том, проснется ли следующим утром. Ведь сон — это маленькая смерть...

Кельн, Германия, утро четверга, 8 марта 1945 года

Он проснулся от стука. Открыл глаза. Сквозь зарешеченное окошко в келью падал серый свет. Монах-«калифорниец» стоял, прислонившись к косяку раскрытой настежь двери.

— Не разделите ли вы со мной завтрак? — спросил он с улыбкой. — Должно быть, вы очень голодны...

Стэнли сел на кровати. Монах подошел к раковине и налил воду в две металлические кружки, которые принес с собой. Потом опустился рядом со Стэнли на кровать. Подал ему кружку с водой и поставил между ними корзинку, в которой на белой салфетке лежало несколько ломтей черствого хлеба.

— Уважаемый господин Медлок, сержант, который привез вас, сообщил, что вы занимаетесь фотосъемкой для газеты. Если желаете, я могу отвести вас на башню нашего собора. Оттуда видны все окрестности. Сегодня, правда, довольно облачно, но зато спокойно. Никакой стрельбы с той стороны реки.

Они сидели рядышком, ели хлеб и пили воду.

— Какой стрельбы? — удивился Стэнли.

— С того берега Рейна, — ответил монах. — Кельн с этой — левой, западной — стороны уже... наш, но другую его часть все еще удерживают войска противника. Два дня тому назад они взорвали мост Гогенцоллерна, последний из оставшихся. Так что теперь на другую сторону реки трудно попасть. Но это вопрос всего нескольких дней. С той стороны очень спокойно. Все остались здесь. Немцы встретят вас хорошо.

Стэнли взял еще один ломоть. Монах был прав, он очень проголодался.

— То есть с одной стороны Рейна немцы, а с другой американцы?! — уточнил он недоверчиво.

— Вот именно, — подтвердил монах и добавил: — Один из наших братьев отведет вас чуть позже в штаб на Кайзер-Вильгельм-ринг. Думаю, там вам окажут необходимую помощь. Наши возможности, к сожалению, — он показал на корзинку с черствым хлебом, — весьма ограничены.

— А с башни собора я увижу другую сторону?! — спросил

возбужденно Стэнли.

— С башни нашего собора вы увидите весь Кельн. Наш собор...

— Не могли бы вы меня туда отвести? Прямо сейчас! — прервал монаха Стэнли, торопливо проглатывая последний кусок хлеба и нервно хватая пачку сигарет.

Он встал, открыл чемодан и вытащил оттуда фотоаппарат.

— Пойдемте! Мы можем пойти туда прямо сейчас? — вновь нетерпеливо спросил он, стоя перед монахом с аппаратом на шее.

— Вы случайно не из Нью-Йорка? — спросил спокойно тот, не двигаясь с места.

— Нет. Я из Пенсильвании, но я понимаю, что вы имеете в виду. Я веду себя как типичный нью-йоркец. Извините. Пожалуйста, заканчивайте завтрак, — немного остыл Стэнли и отошел к зарешеченному окну. — У вас есть имя? — спросил он через минуту. — Как мне к вам обращаться? Я всегда теряюсь, когда говорю со священниками. Я не хотел бы вас обидеть.

— Я не священник, я монах. Мое имя Мартин. Фамилия Картер. Откуда родом мои родители, я не знаю, но сам я родился в приюте в Гринич Вилледж в Нью-Йорке. Можете обращаться ко мне, как вам нравится, — ответил монах и, подойдя к нему, спросил: — Не угостите ли вы меня сигаретой? Я люблю закурить после завтрака.

— Да, конечно, — удивился Стэнли и протянул ему пачку сигарет.

— Это «Галуаз», да? Мне они тоже нравятся, но я больше люблю старые «Галуаз», полностью белые, без фильтра.

Минуту спустя они вышли из кельи. Стэнли показалось, что ночью, когда они шли сюда, коридоры были не такими длинными. Снаружи, при дневном освещении, тоже все выглядело иначе. Когда они выбрались на улицу, он даже остановился на мгновение, онемев при виде двух устремленных вверх остроконечных башен, которые будто вырастали из приклеившихся к ним капелл, украшенных тысячами вырезанных из камня фигур святых. Он в жизни не видел ничего подобного!

— Какой прекрасный собор! — сказал он после нескольких мгновений восторженного молчания. — Хорошо, что наши пощадили его и не стали бомбить...

— Вы так думаете?! — воскликнул монах. — Я с вами не соглашусь. Да, теперь и наши, и британские генералы разбрасывают по городу листовки, в которых утверждают, что пощадили этот собор из уважения к мировому культурному наследию. Но в ноябре сорок третьего на собор упали бомбы. И, если бы не защитная оболочка, которую в течение нескольких месяцев с большим трудом возвели немцы, северная башня

наверняка бы рухнула. Я покажу вам эту оболочку. Кроме того, я недавно разговаривал с одним польским летчиком из английских военно-воздушных сил. Он сказал, что собор со своими башнями был для бомбардировщиков отличным ориентиром, только поэтому его и не разрушили. Но то, что собор выглядит сейчас так, как он выглядит, это чистая случайность. Счастливая случайность... — добавил он.

Они добрались до главного портала. Видимо, солдаты хорошо знали «брата Мартина» — так решил называть своего проводника Стэнли, — потому что, несмотря на его гражданский статус, все военные посты пропускали их без проблем. Как только они оказались внутри собора, брат Мартин тотчас провел Стэнли к небольшой двери с правой стороны и сказал:

— Эта дверь ведет на самый верх южной башни. Чтобы попасть на смотровую площадку, вам нужно будет подняться по крутым узким ступеням. Это займет около получаса. Наш собор очень высок. Второй по высоте в Европе. Так что представьте, что вам предстоит подняться до половины Эмпайр Стейт Билдинг. Будьте осторожны, часть досок прогнила, кое-какие треснули, а некоторых и вовсе нет, — добавил он, указывая в сторону темного коридора.

— А можно мне на минутку задержаться внизу и подойти хотя бы к алтарю? — спросил Стэнли.

— Да. Конечно! Я совсем забыл, вы ведь здесь никогда не были. Пожалуйста, проходите, смотрите. Я подожду вас здесь. Может, пойти с вами? Я знаю здесь каждую трещинку...

— Если можно, я хотел бы побыть один. Вы расскажете мне все в другой раз. А сейчас я хочу остаться наедине со своим фотоаппаратом...

Стэнли вернулся в центральный неф. Снял крышку с объектива. Ему хотелось запечатлеть монументальность собора. Он невольно вспомнил, что туристы любят снимать витражи против света. Остановился с левой стороны нефа, у горящих свечей. Стекавший с них воск, застывая, принимал причудливые формы и прекрасно рассеивал свет. Вдали, за балюстрадой из черных стальных брусьев, из огромного горшка торчали древка с флагами. Американский и русский. Дальше, прямо у главного алтаря, освещенная проникающим сквозь витраж утренним светом, стояла деревянная телега, полная человеческих черепов. Посредине лежала сломанная свастика. Это выглядело примитивно и вульгарно. Топорная пропаганда. Непонятно, кому предназначенная. Ведь собор охраняли военные, и простые люди не могли сюда проникнуть. А Артур вряд ли опубликует такие снимки.

Стэнли пошел дальше. На пюпитре под фигурой распятого Христа были разбросаны покрытые записями листы бумаги и лежали очки. Чуть дальше старушка в черном платке мыла, стоя на коленях, ступени под картиной в золотой раме. Он продолжал снимать...

Когда он вернулся к двери, которая вела на башню, брат Мартин наливал в мраморную кропильницу воду из алюминиевого ведра. Заметив Стэнли, он поставил ведро на пол и сказал:

— Я подожду вас. Вы ступайте. Найдете меня здесь. Я не уйду из собора, пока вы не вернетесь. Мне есть чем заняться, — добавил он с улыбкой, — здесь много кропильниц... А потом я отведу вас на Кайзерринг! — крикнул он ему вслед.

Мартин Картер был прав: подъем наверх оказался небезопасен. Для лестницы, ведущей в башню, нужно было бы придумать какое-то другое название. Когда Стэнли в первый раз едва успел соскочить с прогнувшейся под ним доски, он подумал, что это случайность. Потом, когда это повторилось во второй, третий, четвертый раз, он стал проверять их надежность. Трудно сказать, сколько времени заняло восхождение. Во всяком случае, значительно больше получаса.

Когда в конце концов он вышел на смотровую площадку под ажурной пирамидой купола, сквозь тучи проглянуло солнце. Стэнли торопливо подошел к балюстраде. Первое, что он заметил, — это торчавшие из воды арки стальных конструкций над затопленными опорами моста. Они заканчивались на середине реки. Город на другой стороне выглядел точно так же, как и на этой, — несколько высоких строений на фоне разрушенных домов, улицы в руинах. Ничего особенного. Как в Трире. Стэнли почему-то почувствовал разочарование. Он и сам не мог сказать, что, собственно, ожидал увидеть. Не драконов, конечно. Но хотя бы одну пушку, направленную в его сторону. Но ничего подобного не заметил. Не занятая войсками союзников Германия по ту сторону реки выглядела точно так же, как и уже завоеванная по эту сторону. Он вспомнил слова англичанина. «Drôle de guerre», в самом деле — скучная война...

Стэнли присел на балюстраду, он курил и крутил рычажок, перематывая пленку. Вставил новую кассету. Пригнулся, пытаясь поймать наиболее выигрышный ракурс затопленного моста.

— Какую диафрагму вы поставили? Пять и шесть десятых, не так ли? Увеличьте диафрагму и время выдержки. Тогда правая часть кадра будет более насыщенной. Там сейчас темнее из-за тучи.

От неожиданности он соскользнул с балюстрады и упал спиной на каменный пол, успев в последний момент схватить на лету фотоаппарат и

прижать его к груди. В бешенстве посмотрел вверх. Молодая женщина в черном пальто с сигаретой в зубах протянула ему руку. Он встал без ее помощи. Она отошла на другую сторону площадки. Он посмотрел на нее. Длинные светлые волосы падают на лицо. Шрам на щеке. На ногах военные гамашы. Он подошел к ней.

— Я мог сорваться вниз. Вы меня напугали, — сказал он укоризненно. Она молчала.

— Я поставил на пять и шесть десятых. При таком освещении это оптимальный режим, я уверен. Если увеличить диафрагму и выдержку, получится смазанный кадр, — добавил он.

Она повернулась к нему. У нее были голубые глаза, высокие скулы и длинные ресницы.

— Неправда, — возразила она, — диафрагма пять и шесть десятых в этой «Лейке» выставляется после замены пленки автоматически. Вы не подумали о том, что ее надо изменить. Это почти со всеми случается. Ничего бы у вас не смазлось. Даже у последнего алкоголика с трясущимися руками и то бы не смазлось. Тем более при таком широком плане...

Она морщила лоб, когда говорила. У нее были обветренные губы и белые зубы.

— Откуда вы знаете, какая у меня «Лейка»?

Она улыбнулась, но ему показалось, что на глазах у нее беснули слезы.

— Такую «Лейку» я узнала бы даже по запаху, — сказала она тихо.

— Почему вы плачете?

— Я всегда плачу, когда улыбаюсь. В последнее время. Но это, наверное, пройдет. Вам это мешает? Тебе это мешает?!

— Как вы догадались, что я понимаю только по-английски?

— Мартин сказал мне, что приведет тебя на башню и что у тебя есть фотоаппарат. Поэтому ты сразу мне понравился. — Она опустила голову. — Я жду тебя здесь с самого утра. Мартин дает мне переводить листовки и разрешает работать уборщицей в соборе. На эти деньги я покупаю еду для себя и тети Аннелизе. Он сказал, что ты типичный американец и не знаешь никаких языков, кроме английского.

— А откуда вы знаете мою «Лейку»?!

— Какого черта ты устроил мне допрос?! — вдруг рассердилась она. — Я всего лишь хотела посоветовать, какую поставить диафрагму. А ты ведешь себя как американский завоеватель. Плевать мне на завоевателей! — И опять отошла в сторону.

Он прикурил две сигареты и снова приблизился к ней.

— Я спросил просто из любопытства. Поймите, что никто никогда не распознал бы мою «Лейку» по... запаху, — сказал он с улыбкой и протянул ей сигарету. — Могу я задать вам еще один, последний вопрос?

Она взяла сигарету. Попыталась затянуться, но сигарета погасла. Она подошла к нему и скользнула рукой в карман его пальто, прижавшись подбородком к его плечу. Ее волосы пахли лавандой. Она достала из его кармана спички и, стоя рядом, прикурила сигарету.

— Задавай, — сказала она, выдыхая дым.

— Вы немка?

— Да. Я немка. Меня зовут Анна Марта Бляйбтрой. Что, не нравится? — спросила она, поворачиваясь к нему спиной.

И пошла к балюстраде. Он последовал за нею. Они стояли, глядя на город.

— Нет! Отнюдь. Дело не в этом. Мне просто интересно.

— Не лги! Тебе не могут нравиться немцы! Я бы на твоём месте тоже их не любила, — сказала она взволнованно.

— Почему вы так хорошо знаете... откуда вы знаете про мой фотоаппарат? — спросил он, игнорируя ее замечание.

— Я знаю все модели фотоаппаратов.

— Почему?

— Потому что знаю, — ответила она, придвигаясь к нему. — А теперь можно мне кое о чем спросить?

— Конечно, спрашивайте.

Она сунула руку в карман пальто и достала оттуда кассету с пленкой. Он заметил, как резко изменилось выражение ее лица. Равнодушие и налет агрессивности исчезли. Глаза сделались еще больше. Она смотрела на него взволнованно, как маленькая девочка, которая не знает, чего ожидать. Крепко сжимая кассету в руке, спросила:

— Ты можешь проявить эту пленку? Проявишь? Ты можешь сделать это хорошо?

— Конечно проявлю. Без проблем. Может быть, даже сегодня.

— Ты сам это сделаешь или отдашь кому-то?

— На этот вопрос я пока не могу ответить. Я нахожусь в Кельне всего несколько часов. И не знаю, пустят ли меня в лабораторию. Я не знаю даже, есть ли она здесь. Брат Мартин обещал отвести меня на какой-то Ринг или что-то в этом роде. Там я все и узнаю.

— Да. На углу Кайзер-Вильгельм-ринг и Кристоферштрассе. Там разместились ваши военные, они теперь управляют городом. Мартин сказал, что ты работаешь для «Таймс». Думаю, ваши примут тебя с

распростертыми объятиями. Мой отец, еще до войны, делал переводы немецкой поэзии для твоей газеты. Он этим очень гордился. Вы даже напечатали его фотографию.

Он слушал ее изумленно. На крыше Кельнского собора встретились два человека, которые могли никогда не узнать о существовании друг друга! Ведь он мог бы не приехать сюда, не встретить «уважаемого господина сержанта Медлока», который продает налево картошку и уголь, а в келью его мог сопровождать какой-нибудь другой «брат». Но его привез сюда именно пройдоха Медлок, приторговывавший казенным добром, а добродушный брат Мартин поручил переводить листовки именно этой девушке. А ее отец переводил для «Таймс», и сама она так хотела встретиться с ним, что взобралась на эту башню и все это ему рассказала. Но самое главное — эта девушка разбирается в фотосъемке так, будто занималась этим с рождения! Она права. Если бы он увеличил диафрагму и выдержку, при таком освещении кадр с разрушенным мостом вышел бы лучше. Она совершенно права. Его «Лейка» автоматически устанавливает пять и шесть десятых после того, как открывается кассетоприемник...

— Почему ты замолчал? Я что-то не так сказала? — прервала она его размышления.

— Нет, конечно. Я просто думал о том, что нам суждено судьбой, а что происходит случайно. Но это неважно, — ответил он. — Давайте вашу кассету.

— Пообещай, что именно ты ее проявишь! — попросила она взволнованно. — И никому не передашь. Обещаешь?

— Обещаю, — сказал он и спрятал кассету с пленкой в карман пиджака.

Девушка встала на цыпочки, нежно поцеловала его в щеку и воскликнула:

— Я принесу тебе за это огурцы и копченую колбасу от тети Аннелизе! И испеку для тебя шарлотку. Я буду ждать тебя здесь через три дня, в воскресенье, в это же время. А теперь я должна идти.

Подпрыгивая на одной ножке как маленькая девочка, она побежала в сторону ведущих вниз ступеней. Но вдруг остановилась и бегом вернулась к нему.

— Дай мне подержать твою «Лейку»! Хоть на минутку! Пожалуйста!

Она была похожа на ребенка, который просит любимую игрушку. Он протянул ей фотоаппарат. Она подошла с ним к балюстраде и направила объектив на мост. Повернулась к Стэнли и крикнула:

— Можно! Только один кадр! Я обещаю...

Он услышал щелчок затвора. Она вернулась к нему и отдала фотоаппарат.

— Как вас зовут? Простите, я не запомнил.

— Бляйбтрой, — ответила она и побежала вдоль террасы.

— Это значит что-нибудь по-немецки?! — крикнул он ей вслед.

— Да! — крикнула она, остановившись у дверей, которые вели к лестнице. — В дословном переводе на твой язык это значит «будь верным» или «останься верным».

Он сделал десяток снимков. И каждый раз, настраивая фотоаппарат, вспоминал об этой девушке.

В массивном административном здании на улице Кайзер-Вильгельм-ринг, 2 действительно находилось что-то вроде правительства. Все были очень важные и, казалось, каждый чем-то управлял. Но только до тех пор, пока не наступал момент принять какое-то решение. Со Стэнли здесь общались исключительно из уважения к брату Мартину. Никого не волновало, что появился какой-то редактор из «Нью-Йорк таймс» с «информационной миссией во имя соблюдения прав на получение независимой информации читателями в Соединенных Штатах», и никто не собирался ему помогать. Один грузный офицер вообще заявил без обиняков, что журналисты во время войны — это «что-то вроде гнойного чирья на жопе».

Они ходили с этажа на этаж в здании на Кайзер-Вильгельм-ринг больше трех часов, и их постоянно посылали из одного прокуренного помещения в другое. Сначала Стэнли злился, а потом почувствовал бессилие, которое сменилось полным равнодушием. К тому же он испытывал неловкость перед монахом, который вынужден был ходить с ним и каждый раз выслушать его объяснения о пресловутой «информационной миссии». Но когда Стэнли был уже готов наплевать на все и вернуться сначала в Люксембург, а потом, связавшись с Артуром, домой, они попали в очередную прокуренную комнату в подземной части здания. Когда они вошли, худой мужчина в офицерском мундире внимательно посмотрел на них, поправил очки и вдруг с радостным возгласом бросился к брату Мартину. Они обнялись. Оказалось, эти двое были знакомы еще с тех времен, когда брат Мартин служил в Ирландии. Потом их пути разошлись, а теперь вот, спустя годы, они встретились в подвале административного здания в Кельне. Выслушав Стэнли, худой офицер вызвал адъютанта и приказал «разыскать, а если потребуется, из-под земли достать младшего лейтенанта Бенсона, который занимается

листочками». Младшего лейтенанта Бенсона не пришлось разыскивать «под землей». Он преспокойно сидел, задрав ноги на письменный стол, в кабинете на третьем этаже, в котором они уже успели побывать, скитаясь по прокуренным комнатам. В присутствии худого офицера Бенсон сделал вид, будто видит редактора Стэнли Брэдфорда впервые. Выслушивая поручения, он громко щелкал каблуками и с готовностью рывкал: «Да, сэр!» Поручения давал Стэнли. А худой офицер в очках превращал их в приказы, подкрепляемые щелканьем каблуков.

— Ты все понял, Бенсон? Давай подведем черту. Сначала ты подготовишь для редактора пропуск на все объекты в городе. Принесешь его мне на подпись. Затем зарезервируешь три часа работы в фотолаборатории. Лучше всего сегодня вечером. Затем оформишь редактору Бредфорду право отправлять телеграммы. Не шифрограммы. Пусть будут обычными. Разрешение на телеграммы я подпишу сам. А сейчас позаботься о том, чтобы у редактора были еда, питье и ночлег. Через полчаса явишься сюда со всеми бумагами и доложишь. Ясно? Тебе все ясно, Бэнсон?

— Да, сэр! — рывкнул в последний раз младший лейтенант Бэнсон, вновь щелкнув каблуками, и тут же вышел.

— А теперь, Мартин, — обратился худой офицер к монаху, — рассказывай. Как твои дела? Как ты сюда попал? И почему именно сейчас? Здесь такая тоска... Вот Шейла удивится, когда я напишу ей, что встретил тебя! Боже мой, вот будет радости! Она часто о тебе вспоминает. Рассказывай... — Он повернулся к Стэнли: — Простите, господин редактор, нам с братом Мартином есть о чем поговорить.

Тот молча вышел в коридор. Сел на деревянную скамейку напротив двери. И подумал, что сегодня предназначение встретилось со случаем, и это очень здорово.

Взмокший от усердия младший лейтенант Бенсон с отчетом и кипой бумаг с печатями явился через два часа. Худой офицер, занятый разговором с братом Мартином, скорее всего, даже не заметил, что прошло столько времени. Он бегло просмотрел документы и возмущенно посмотрел на Бенсона:

— Ты что, охренел? Разве может господин редактор ночевать в общежитии? Да еще в какой-то деревне под Кельном? Ну ты даешь... Хочешь, чтобы господин редактор пропечатал нас в своей газете и это потом прочитал полковник Паттерсон?! — добавил он, повышая голос. — Сам знаешь, Джон не выносит критики и не простит нам, если о нем плохо напишут. Да к тому же в Нью-Йорке...

— На сегодняшний день у нас нет ничего другого, господин полковник! — выкрикнул Бэнсон.

— Как это нет? И у кого это, с позволения узнать, Бенсон, «у нас»? А когда будет?

— Господа, — робко вмешался в разговор Стэнли, — я бы охотно остался в келье брата Мартина. Если, конечно, это возможно, — добавил он, глядя на монаха.

— Конечно, вы можете там остаться, — ответил брат Мартин.

— Поступим так, Бэнсон. Ты от моего имени навешай этим мудакам квартирмейстерам. Скажи, что мы нашли выход из ситуации без них. — Худой офицер улыбнулся. — А сейчас отведи господ пообедать.

— А нельзя ли мне, если вы позволите, — вновь вмешался в разговор Стэнли, — пойти с младшим лейтенантом Бэнсоном в лабораторию? Я совсем не голоден.

— Бэнсон, ты слышал? — спросил худой офицер.

— Так точно, сэр!

Фотолаборатория находилась в самом темном углу здания на улице Кайзер-Вильгельм-ринг, 2. Стэнли шел быстро, иногда переходя на бег, но все равно едва поспевал за младшим лейтенантом Бэнсоном. Они нырнули в проем в стене на уровне земли. На лестнице, да и в коридоре, не было ни одной лампы. Они вошли в какое-то помещение, в котором стоял хорошо знакомый Стэнли химический запах. Молодой солдат сидел за одним из стоявших в ряд деревянных столов. На столах стояли кюветы, а на веревках, прикрепленные к ним скрепками, сохли фотографии.

— Брайан, объясни все господину Брэдфорду, — сказал младший лейтенант Бэнсон молодому солдату и исчез.

— Так точно, сэр! — крикнул тот Бэнсону вслед.

Брайан вылил в металлическое ведро жидкость из нескольких кювет. Собрал их, положив одну на другую, и подошел к раковине. Тщательно вымыл. Потом поставил рядышком на стол и принес стеклянные бутылки с реактивами.

— Если я буду вам нужен, я рядом, в курилке.

Стэнли любил работать в фотолаборатории. Достав пленку, он опустил ее в раствор. Его охватило знакомое возбуждение. На бензоколонке отца он чувствовал себя так же. Есть вещи, которые никогда не меняются. Ему хотелось курить, но он не мог оторваться от работы и только отодвинул стул: он предпочитал работать в лаборатории стоя. Постепенно на бумаге появлялось изображение. Он вспомнил некоторые кадры. Разрушенный мост через Рейн, снятый им, тот же мост, снятый девушкой несколько

минут спустя. Ее мост был другим. Более четким. Более реальным. Ее фотография была лучше, хоть и сделана на ходу. Он как будто снова услышал ее голос: «Можно?! Только один кадр! Я обещаю». Повесил проявленную пленку на веревку. Из кармана пиджака достал ее кассету. У него было такое ощущение, будто он собирается прочесть чужое письмо. Да, она сама попросила его об этом, но все же ему казалось, что он вторгается в чью-то жизнь. Фотографии были для него чем-то даже более интимным, чем письма. Он опустил пленку в кювету. Потом экспонировал негатив. На пленке, погруженной в жидкость, стали появляться отснятые кадры. Один за другим...

Молящийся солдат. Правой рукой он сжимает культию — все, что осталось от левой. В каске у его ног дрожит огонек горящей свечи. Маленькая плачущая девочка с забинтованной рукой, сидящая на горшке рядом с солдатом. В нескольких метрах от них — старушка в шубе и соломенной шляпке гладит сидящего у нее на коленях худющего кота с одним ухом. Рядом мужчина читает книгу, перебирая четки. За его спиной в кресле — священник в огромных очках и с сигаретой исповедует стоящую перед ним на коленях монахиню. Рядом, под крестом, трое. Они прижались друг к другу, низко опустив головы, словно смиренно ожидая казни. Фрагмент стены, оставшейся от дома. Прикрепленная к стене ржавая раковина. На разбитом деревянном столе рядом с раковиной кружка недопитого чая, рядом, на белой фарфоровой тарелочке, кажется надкушенный кусок хлеба с маслом и засохшим сыром. Над раковиной на стене — зеркало с ржавыми подтеками. На маленькой стеклянной полочке под зеркалом — четыре алюминиевые кружки с зубными щетками. Мраморный прилавок в магазине, усыпанный битой штукатуркой. На нем — перевернутые весы, покрытые пятнами, возможно, засохшей крови. Молодой мужчина в белом, в пятнах, халате, сидящий на деревянном стуле у края ямы, заполненной штабелями трупов. Скрипач под люстрой из свечей. Голова замотана бинтом, глаза прищурены. Ряд улыбающихся солдат в немецкой форме, стоя в дверях железнодорожного вагона, мочатся на сугроб. Лежащая в открытом футляре скрипка, несколько автоматов, голова молодого мужчины с окровавленной повязкой...

Теперь только он понял, как в лаборатории жарко. Когда пленки высохли, он достал пачку фотобумаги и настоил штатив. Он печатал снимки и механически перекладывал их из кюветы в кювету. У него дрожали руки, а на лбу пульсировала вена. Привычным жестом протянул руку к пачке сигарет, прикурил. Ему казалось, будто он слышит ее голос: «Проявишь для меня эту пленку? Проявишь? Ты хорошо это сделаешь?».

Фотосушилка работала исправно. Он медленно разложил снимки на две стопки, стараясь не задерживать надолго взгляд на тех, которые сделала она, словно испытывая неловкость за свое вмешательство. Разложил по конвертам. Осторожно смотал пленку с негативами, сложил в металлическую коробочку, засунул в карман пиджака, быстро вышел из лаборатории и направился в курилку.

— Я закончил, — сказал он капралу. — Вы не могли бы прямо сейчас отвести меня куда-нибудь, откуда я смог бы отправить телеграмму?

— Что-то случилось? — спросил Брайан, поспешно затушив сигарету. — Вы такой бледный...

— Нет, ничего особенного. Вам показалось...

Они поднялись на четвертый этаж. В душном помещении без окон светились зеленые мигающие огоньки на пультах радиостанций, похожих на старомодные радиоприемники, и сидели солдаты в наушниках. Капрал заговорил с одним из них. Через минуту он вернулся к Стэнли с листком бумаги в руке.

— Подготовьте, пожалуйста, вашу телеграмму и заявку. Текст напишите печатными буквами и поставьте свои полное имя и фамилию. В заявке укажите звание и дату рождения.

— У меня нет никакого звания, — сказал Стэнли.

— Тогда впишите ноль.

Он сел за столик в углу комнаты и начал выводить печатными буквами текст телеграммы:

АРТУР, БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ ЗА ЗАБОТУ О МОЕМ КОТЕ. Я ХОТЕЛ БЫ НА ТОЙ НЕДЕЛЕ ВЕРНУТЬСЯ В НЬЮ-ЙОРК. ТЫ МОЖЕШЬ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕМНОГО СЭКОНОМИТЬ. У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО. ОРГАНИЗУЕШЬ ДЛЯ МЕНЯ САМОЛЕТ? Я НАХОЖУСЬ В КЕЛЬНЕ. ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ АЭРОДРОМ. Я ПРИЛЕЧУ НЕ ОДИН. МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ В ГОСДЕПАРТАМЕНТЕ ВЫПРАВИТЬ ВИЗУ НА АННУ МАРТУ БЛЯЙБТРОЙ? ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ОНА НЕМКА. ЕЁ ОТЕЦ ПЕРЕВОДЧИК. КОГДА-ТО РАБОТАЛ ДЛЯ НАС. ТЫ МОЖЕШЬ ЭТО ПРОВЕРИТЬ. ПОИЩИ В АРХИВЕ ДО 39-ГО ГОДА. ПРИДУМАЙ ДЛЯ НЕЕ ДАТУ РОЖДЕНИЯ. Я НЕ ЗНАЮ. АРТУР, ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЫПРАВИШЬ ДЛЯ НЕЕ ВИЗУ, Я НЕ ВЕРНУСЬ.

СТЭНЛИ

Он улыбнулся. Артур поймет, что кроется за шутливым ультиматумом: «ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЫПРАВИШЬ ДЛЯ НЕЕ ВИЗУ, Я НЕ ВЕРНУСЬ». Должен понять! Стэнли передал листок молодому парню в наушниках.

— Куда отправить телеграмму? — спросил тот, не скрывая улыбки.

— В редакцию «Нью-Йорк таймс», — ответил он.

Парень начал нервно листать страницы толстой, издававшей виды тетради.

— В Нью-Йорк или Чикаго? — спросил он вдруг.

— В Нью-Йорк, конечно Нью-Йорк. — Стэнли совсем забыл, что они недавно открыли представительство газеты в Чикаго.

— Вы не могли бы сократить текст? — спросил солдат. — У нас ограничения на нешифрованные телеграммы — до пятисот знаков. А в вашей пятьсот девяносто семь, считая пробелы.

Стэнли удивило, что парень так быстро подсчитал. Он послушно сократил текст. Убрал упоминание о коте и об экономии средств, все запятые, точки и лишние пробелы.

— Завтра будет письменное подтверждение о получении от вашего адресата. Но только после полудня. А ответ, если он будет, мы получим, скорее всего, в субботу ближе к вечеру, — сказал парень. — Из-за разницы во времени, — учтиво добавил он.

Стэнли отметил, что все обитатели здания на улице Кайзер-Вильгельм-ринг, 2, которых он еще недавно крыл последними словами, вдруг стали предупредительны. Он никогда их не забудет! И особенно эту фотолабораторию...

Стэнли ощущал необычайный прилив сил — даже дыхание перехватывало. Ему хотелось как можно скорее увидеть ту девушку и рассказать ей, что он чувствовал, разглядывая ее фотографии. А потом спросить, что чувствовала она, когда их снимала. Это самое важное. И изложить ей свой план. Он ведь, в принципе, не имел права все решать без нее. А он уже начал реализовывать задуманное. Стэнли был уверен, что Артур не ляжет спать, пока не поставит на уши весь Госдепартамент и не сделает визу для этой девушки. И что вопрос с визой, хотя и непростой, учитывая бюрократический произвол и волокиту, можно решить. Труднее найти место на борту американского военного самолета для... немки. Но он надеялся, что в Вашингтоне не располагают компрометирующими материалами на ее отца и семью.

Сейчас, когда напряжение и первое возбуждение прошли, он наконец задумался, с какой стати за все это взялся. Почему он решил, что Анна Марта Бляйбтрой должна ехать с ним в Штаты? Но терять было уже нечего.

«Я спрошу ее. Лучше всего прямо сегодня. Ведь сегодня — день рождения предназначения...»

Когда он вышел из здания, было уже темно. Вдали маячили башни собора. Он быстрыми шагами шел через развалины. Его останавливали военные патрули, он предъявлял свои бумаги с печатями и шел дальше. В собор он вошел через главный портал. На скамьях у алтаря сидели погруженные в молитвы монахи, держа в руках зажженные свечи — как дети на первом причастии. Он подошел ближе. Во втором ряду, закрыв глаза, молился брат Мартин. Стэнли сел неподалеку, и когда увидел, как Мартин, закончив читать молитву, перекрестился, встал и поспешно направился к нему:

— Не могли бы вы мне помочь? Мне очень нужна ваша помощь...

Брат Мартин улыбнулся и задул свечу, они отошли к одной из колонн.

— Анна Бляйбтрой... девушка, которая переводит листовки. Вы не знаете, где мне ее найти? Прямо сейчас! — спросил Стэнли шепотом.

— Аня? Она говорила мне о вас. Она за вас молится, хотя и не верит в Бога. Я сказал ей...

— Где ее найти? — бесцеремонно прервал его Стэнли. — Сейчас!

— Она живет с тетей под Кельном...

— Вы знаете, где именно?

— Знаю...

— Скажите мне адрес!

— У меня нет адреса. Это маленький городок километрах в десяти к западу.

Стэнли вытащил из кармана записную книжку.

— Напишите мне название, — попросил он, протягивая монаху карандаш.

— Вы точно из Нью-Йорка, — буркнул тот, покачав головой.

— Прошу прощения, но это чрезвычайно важно. Потом объясню, — оправдывался Стэнли. — Меня пустят в келью, если я вернусь только завтра?

— Пустят, когда бы вы ни вернулись, — ответил монах спокойно.

— Спасибо! — воскликнул Стэнли и пошел к главному выходу из собора.

Выйдя на площадь, он торопливо подошел к солдату, стоявшему рядом с танком. Вырвал страницу из записной книжки, вытащил из кармана пачку сигарет и бумажник.

— Приятель, мне нужно попасть в этот городок, — сказал он и протянул солдату сигарету и листок бумаги. — Как можно скорее.

Солдат долго изучал страничку и наконец лениво ответил:

— Дорога длинная. Да и билет дорогой.

— Сколько?

— Сегодня уже действует вечерний тариф, но тебе полагается студенческая скидка. Поэтому, думаю, сотни будет достаточно. А если захочешь вернуться спать в свою кроватку — сто пятьдесят.

Стэнли вытащил банкноты из бумажника. Лизнув палец, начал отсчитывать деньги.

— Раз, два, три. Триста. Четыре — сто сверху для тебя, если мы отправимся через четыре минуты, не позже. Потом мне это будет уже не нужно. У меня очень строгая мама.

Солдат улыбнулся. Постучал прикладом автомата по броне. Через минуту из люка высунулась голова в каске.

— Джон, — крикнул солдат, — срочно вызывай лимузин в Кенигсдорф! У тебя три минуты.

«Лимузином» оказался разбитый джип с дырявой выхлопной трубой. Когда через час они с грохотом въехали в Кенигсдорф, весь городок, должно быть, подумал, что начался очередной налет. Они остановились у единственного освещенного здания на главной площади. Вышли из машины. В местной пивной сидели завсегдатаи и пили пиво из огромных, покрытых трещинами кружек. Стэнли необходимо было найти женщину по имени Аннелизе, проживающую в Кенигсдорфе. Он не был уверен, что ее фамилия Бляйбтрой. Поэтому он твердил три слова: «Аннелизе, Анна-Марта, Бляйбтрой...»

Все мужчины из пивной знали фрау Аннелизе. Один из них пошел со Стэнли к автомобилю и, не спрашивая разрешения, уселся рядом с водителем. В руке он держал кружку. Так и поехали. Водитель, к счастью, знал, что «links» значит «налево», а «rechts» — «направо». Минут через десять они остановились у небольшой калитки в проволочной изгороди, увитой диким виноградом. Здесь стояла металлическая корзина, полная картошки. Невдалеке светились окна. Стэнли вылез из джипа. Сунул водителю еще банкноту.

— Отвези фрица в кабак и возвращайся, подожди меня. Понял?

Водитель кивнул.

Стэнли отодвинул в сторону корзину, толкнул калитку и прошел по узкой, выложенной камнем тропинке к деревянному дому. Вытащил из кармана смятую бумажку. Постучал. Когда он услышал шорохи с той стороны двери, прочел по бумажке:

— Mein Name ist Stanley Bredford. Ich möchte Anna Maria Bleibtreu

sprechen...

Ключ повернулся в замке.

— Редактору не спится? — спросила она, стоя в дверном проеме. — Твой немецкий такой забавный! Будто пьяный бегемот из детской сказки разговаривает с крокодилом...

Она держала в руке раскрытую книгу, в зубах была сигарета. Ее грудь просвечивала сквозь тонкую ткань ночной рубашки, распущенные волосы падали на плечи. Он сделал над собой усилие, чтобы смотреть ей только в глаза.

— Зайдешь? Или ты здесь проездом и у тебя нет времени? — спросила она, вынимая изо рта сигарету.

Она была похожа на Лолиту. Сочетание девичьей невинности и изощренности проститутки с 42-й улицы у Таймс-сквер. Холодное равнодушие и даже ирония, скорее всего, были всего лишь маской, под которой она пыталась скрыть напряжение и ожидание. Но ей это не удалось.

— Зайду, если позволите, — ответил он, вступая в игру.

Они вошли в прихожую и проследовали на кухню. Она пододвинула ему деревянный табурет. Он сел. За его спиной на раскаленной плите кипел чайник, вызванивая подпрыгивающей крышкой какую-то мелодию. Он почувствовал, как его обволакивает тепло. Они присела на край белой тумбочки напротив него. Сжимая в руке конверт, он смотрел на нее. Заметил ее раздвинутые бедра. Снова заставил себя смотреть ей только в глаза. Вынул из конверта первый снимок. Минуту внимательно глядел на него. Она медленно соскользнула со шкафчика и вытянулась чуть ли не по стойке «смирно». Приподнявшись с табурета, он подал ей первую фотографию. Встал рядом, но на некотором расстоянии. Как зритель. Он хотел смотреть фотографии вместе с ней, ее глазами.

Каждый раз, когда он подавал ей новый снимок, она вся сжималась. Как человек, которого в очередной раз со всей силы бьют кулаком в живот. Когда она посмотрела последний, снимки выпали у нее из рук и рассыпались по полу. Она повернулась к нему лицом и, наступая на них голыми ступнями, сказала:

— Выпьешь чаю? Скажи, что-нибудь. Прошу тебя, выпей со мной чаю! Скажи, что тебе это непременно нужно сделать прямо сейчас. Ты только об этом и мечтаешь. Тогда мне придется достать банку с чаем, найти для тебя чистую чашку, мешульку с сахаром. Займи меня чем-нибудь. Скажи, что хочешь чаю. Ты ведь хочешь, правда?!

— Да, хочу. Я хочу сейчас выпить чаю, — прошептал он.

Она опустилась на колени. Начала собирать фотографии. Словно в исступлении, каждую поднимала с пола и прижимала к губам.

— Ты поедешь со мной в Нью-Йорк? — спросил он тихо.

— Не знаю, где у тети сахар, наверное, в подвале или спальне...

— Ты поедешь со мной в Нью-Йорк? — повторил он громче.

— Наверное, в спальне. Тебе непременно нужен сахар? Тетя уже спит...

— Ты полетишь со мной в Нью-Йорк?! — почти крикнул он.

— Наверняка в шкафу, в спальне. Вряд ли она держит сахар в подвале, как водку. Подожди, сейчас принесу. Я быстро.

Он крепко схватил ее за руку. Привлек к себе. Взял ее лицо в свои ладони и, глядя ей в глаза, медленно процедил сквозь зубы:

— Я пью чай без сахара. Ты поняла? Без сахара! А сейчас слушай внимательно! Ты поедешь со мной в Нью-Йорк?!

Он еще ни разу не видел, чтобы кто-то так страшно дрожал. Все ее тело, кроме головы, которую он держал в руках, дрожало крупной дрожью. Глаза ее были закрыты. Она плакала. На лбу и в волосах в одно мгновение проступил обильный пот.

— В субботу вечером или ближе к ночи я приеду за тобой, — сказал он, крепко прижимая ее к себе. — А сейчас дай мне паспорт или какой-нибудь другой документ с фотографией. В понедельник, когда я все буду знать, встретимся на башне. В самолет можно взять только один чемодан. Я хочу, чтобы ты снимала для «Таймс». То есть я хочу, чтобы ты согласилась делать фотографии для «Таймс». У тебя будет такая «Лейка», какую ты захочешь. Самая лучшая. У тебя будет своя лаборатория. — Она опустила голову и стала целовать его ладони. Он продолжал: — Я не знаю, кого ты здесь оставляешь, но ты оставляешь их надолго. Во всяком случае, до конца войны. В Нью-Йорке мы найдем тебе квартиру, подпишем с тобой контракт, я помогу тебе со всем этим. По-английски ты говоришь лучше меня...

Она перестала дрожать. Он осторожно отпустил ее голову. Она стояла перед ним, опустив вдоль тела руки, и вглядывалась в его лицо. Молча. Он вернулся на табурет.

— Ты сделаешь мне чаю? — спросил он, спокойно глядя ей в глаза.

— Но почему? Почему так, почему я? — шепнула она, не двинувшись с места.

— Потому что я хочу сейчас выпить чаю, — ответил он.

Она проводила его — так и не одевшись, в одной рубашке, — до

джипа, стоявшего у калитки. Он поцеловал ей на прощание руку. Сел в машину.

— Ну-ну. Неплохая штучка... — прокомментировал увиденное водитель, едка они тронулись.

— Отвези меня обратно как можно быстрее, — сказал Стэнли, проигнорировав его замечание.

А потом обернулся и в заднее стекло вдруг увидел Анну, которая бежала за ними по дороге.

— Вернись! — крикнул он шоферу. — Слышишь, блядь?! Разворачивайся! Я кое-что забыл. Поворачивай, живее!

Водитель резко затормозил. Съехал на луг у дороги рядом со сгоревшим танком и развернулся. Они остановились в нескольких метрах от Анны. В свете фар она казалась абсолютно нагой. Стояла чуть ли не по колени в грязи, вытянув вперед руку. Стэнли выскочил из машины. Подбежал к ней.

— Ты не взял мой паспорт, — сказала она.

Он протянул руку к документу в потрепанной корочке. Обнял ее, прикрыл плечи пиджаком. Они сели в машину.

— Подвези мисс Бляйбтрой к ее дому! — крикнул он шоферу.

Она прижалась к нему.

— Я буду ждать тебя в субботу на башне. Приходи туда. Что бы ни случилось, — сказала она, выходя из машины.

Молодой телеграфист в темной комнате без окон на четвертом этаже здания на улице Кайзер-Вильгельм-ринг, 2 сразу же узнал Стэнли.

— Хорошо, что вы пришли. У меня для вас две телеграммы. Одна — шифровка из Госдепа, а вторая — обычная, из Нью-Йорка. Только при получении шифрованной телеграммы вы должны дать подписку о сохранении государственной тайны.

Парень подал ему бланк, он подписал его, не читая, и получил два листа серой бумаги, вырванные из телекса:

Анна Марта Бляйбтрой, 22 года, женщина, особых примет не имеет, дочь Вольфганга (запись 1938-CIA-1705-NYT-NY) и Хильдегард (записи нет) Бляйбтрой, гражданка Германии, родилась в Дрездене, Германия, 31 июля 1922 года, не судима, записей в архиве номер Conf/03/1945/EU/DE/DRSD не имеет, получает настоящим однократное право номер 03/08/45/31/07/22/MAV/WH на пересечение границы Соединенных Штатов в течение 14 (словами: четырнадцати) дней

со дня подписания настоящего документа 03/08/1945. Сопутствующий документ (паспорт или другое признаваемое Государственным департаментом разрешение на поездку) подтверждено под присягой заявлением гражданина США Стэнли Бредфорда, не судимого, не имеющего особых примет, уроженца Пенсильвании, проживающего в настоящее время в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, обладающего паспортом 1139888-PEN/02/18/40, выданным в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, распоряжением 1-01/02/18/40/UNLTD/NYC. Виза подтверждается кодом 03-08-45-211 (словами: ноль-три-ноль-восемь-сорок-пять-двести-одиннадцать). DS, WA, DC, US. Подразделение 12/41/40-45/18. Идентификатор полномочий номер: 03/08/45/R.18/19/NYT/NY.

Он никогда еще не читал столь потрясающей новости, написанной таким ужасным языком. «Конечно, я присягну, — подумал он, — как законопослушный гражданин Америки, проживающий в настоящее время в Нью-Йорке, не имеющий особых примет. И буду всюду предъявлять документы. Все время. Где только потребуют». Он потирал от радости руки. Взял второй лист. И заметил, что в этот момент телеграфист внимательно посмотрел на него.

Стэнли, если эти мудаки из Госдепа в Вашингтоне не прислали тебе еще визы для АМБ, значит, я могу спокойно собрать свои манатки и отправляться на пенсию. Адриана позвонила сегодня в Госдеп. Она никогда не вмешивается в мои дела. Сегодня вмешалась, первый раз в жизни. Я никогда не слышал, чтобы она так материлась. Как же красиво она обложила этих чинуш. Я уверен, что ты хотел бы это услышать. Напиши, что они прислали. Лайза вопила сегодня в редакции, что ты скоро вернешься. Кроме нас с ней, в это никто не верит. Возвращайся. Я пытаюсь организовать самолет. Эти чертовы уроды в касках из Пентагона прикидываются шишками на ровном месте. Им представляется, что они открыли собственные авиалинии и возят экскурсии через Атлантику. Я поручил это Лайзе. Уж она сумеет их построить. Завтра (по нашему времени) у тебя будут билеты. Мы с Адрианой ждем тебя. То есть вас.

Артур

P. S. Визу прислали, да?!

Читая, он не мог удержаться от смеха. Телеграфист, который, конечно же, знал содержание телеграммы, смеялся, кажется, вместе с ним. Стэнли попросил бланк для ответа.

— Вам не нужно заполнять все пункты, — ответил веселый телеграфист, — мы уже зарегистрировали все ваши данные. Достаточно вписать текст телеграммы. Не более пятисот знаков, помните?

Он помнил. Написал:

АРТУР, ВИЗА ДЛЯ АМБ ПРИШЛА. ЕЩЕ НИКОГДА
НИКАКАЯ ДРУГАЯ ВИЗА НЕ БЫЛА ДЛЯ МЕНЯ ТАК ВАЖНА.
СПАСИБО. МЫ ПРИЛЕТИМ, КАК ТОЛЬКО ТЫ
ОРГАНИЗУЕШЬ САМОЛЕТ. ПОЦЕЛУЙ ОТ МЕНЯ АДРИАНУ.
СТЭНЛИ

Он подал листок телеграфисту. Тот прочел и, подняв голову, робко спросил:

— Скажите по секрету, а кто такой этот ваш Артур?

— Артур? Это порядочный и благородный человек. Очень хороший журналист. Правда, иногда его сносит с катушек. Особенно когда все идет не так, как он хочет...

— Окей, — ответил с улыбкой телеграфист, — приходите почаще. Мы давно так не смеялись. А уж когда дошло до «уродов в касках из Пентагона, прикидывающихся шишками на ровном месте», некоторые из парней чуть в штаны не наделали от смеха. Честное слово. Очень повеселились. Этот Артур, видимо, веселый парень.

— Я передам ему это, как только вернусь. Можете быть уверены, — ответил Стэнли в том же тоне, — он тоже был когда-то солдатом. Должен оценить...

— Если придет телеграмма о самолете, я могу послать кого-нибудь из ребят. Где вы живете?

— Неподалеку. Рядом с собором.

— Но где? Кого ни спроси, все живут рядом с собором, — рассмеялся телеграфист.

— Вы не поверите, но я не знаю, где живу.

— Как это?

— Ну не знаю я адреса! Знаю только, как туда попасть. Я живу в помещении, напоминающем монастырскую келью. Туда нужно спускаться по крутой лестнице, почти как в нью-йоркском метро. Это вам что-нибудь говорит?

— Ясное дело! — воскликнул он. — Вы живете в подвале у коричневого племени.

— У коричневого племени?! — переспросил удивленно Стэнли.

— Ну, у этих святош из собора! Окей. Я понял. Если что, мигом пришлю к вам кого-нибудь.

Стэнли вытащил из кармана бумажник и, прощаясь, незаметно сунул телеграфисту несколько банкнот.

Шел третий час ночи, когда он наконец добрался до своей кельи. Сегодня был самый необыкновенный день в поездке «на войну». Самый важный. Ради этого дня и стоило ехать...

Только сейчас он почувствовал, насколько устал. Помыл руки, ополоснул ледяной водой лицо. Не раздеваясь, лег на кровать и моментально заснул. Превратившаяся в скалу Анна из снов явилась и в эту ночь. Она пыталась перекрыть все более шумные удары океанских волн, яростно бьющие в скалы. «Но почему? Почему так, почему я? Скажи!» — молила она. Волны все яростнее бились о скалы. А она кричала все громче.

Он открыл глаза. Минуту пребывал в состоянии полусна-полуяви. Звуки прибоя сменились вдруг звуком льющейся воды. Это был уже не сон: брат Мартин стоял у раковины и наливал воду в металлические кружки.

— Вы позавтракаете со мной? — спросил он, подходя к Стэнли.

Кенигсдорф, 12 км на запад от Кельна, утро пятницы 9 марта 1945 года

— Я убью тебя! Задушу собственными руками! — кричала Анна, бегая как сумасшедшая по кухне и заглядывая в каждый угол. — Старая облезлая тварь, я убью тебя! Сдеру с тебя шкуру! Куда ты спряталась, старая пьянчужка?!

Она была в ярости, которая лишь усиливалась от осознания того, что она сама во всем виновата. Злость на самого себя всегда самая сильная, поэтому человек и стсремится как можно скорее направить ее на кого-то другого. Вот и она носилась как сумасшедшая по кухне, чтобы выместить злость на кошке.

Когда вчера ночью — после отъезда Стэнли, — она вернулась на кухню, Стопка обнюхивала табурет, на котором он сидел несколько минут назад. Потом начала стучать по нему хвостом и с громким мяуканьем повалилась на спину. Было ясно, что кошка ведет себя странно, но Анна, занятая собой, не придавала этому значения.

Она все еще дрожала, но вовсе не от холода. Сняла грязные промокшие ботинки, обтерла тряпкой и поставила сушиться, вымыла под краном ноги. Потом подвинула к шкафу стул, поднялась на цыпочки и погрузила шланг в стоявшую на шкафу огромную бутылку со смородиновым вином. Резко втянула воздух из шланга, глотнув начавшую поступать жидкость. Через минуту розовое вино наполнило хрустальный кувшин. Она сразу почувствовала, как кошка, привлеченная запахом вина, стала истерически царапать ножки стула, на котором стояла хозяйка.

Кошку тети Аннелизе не случайно называли Стопкой: тетя нашла ее на помойке рядом с кабаком в Кенигсдорфе и, когда принесла домой, запертая на кухне кошка перевернула стоявший на столе стакан и слизала с пола разлившуюся жидкость. Утром, когда тетя вошла на кухню, кошка валялась на полу совершенно пьяная и громко мурлыкала. Кажется, она пролежала так до полудня, потом с трудом встала и вылакала две мисочки воды. Как уверяет тетя Аннелизе, кошки так же страдают от похмелья, как и люди. Через несколько дней по городку разошелся слух: фрау Аннелизе мужиков мало, она теперь кошек спаивает. И это была отчасти правда. Стопка с удовольствием пила вино. А тетя Аннелизе действительно ей наливала.

Мужчины же, которых тетя встречала в своей жизни, с ее точки зрения, и так были алкоголиками. Их и не нужно было спаивать. Как раз наоборот. Из каждого мужчины она пыталась сделать, и всегда безуспешно, трезвенника. Поэтому рано или поздно все они ее бросали.

Анна достала из шкафа стакан, села на табурет, налила вина. Стопка тут же запрыгнула на стол. Анна взяла фотографии. *Молящийся солдат. Правой рукой он сжимает культю — все, что осталось от левой. Гробы на фоне пирамиды из черепов.* Она раскладывала фотографии на полу. *Скрипка под люстрой из свечей. Его голова, обмотанная бинтом.* Она закрыла глаза. Кончиками пальцев прикасалась к фотографиям. Она вернулась в Дрезден. Слышала голос матери. «Состриги ему волосы, одень в этот мундир и завяжи повязкой глаза. Повязку надень до того, как он выйдет на свет. Поняла?». Потом шепот Маркуса: «Расскажи мне сказку пока мы еще живы». А вот еще снимок. *«Может, у вас есть водка? Я дам вам кольцо за бутылку. Напою ребенка и сам напьюсь. Нам будет не так больно...».* Крик, заглушаемый стуком колес набирающего ход поезда: *«Береги мою скрипку! Я люблю тебя, Марта! Меня зовут...».* Его имени она не услышала. Зато сейчас она явственно услышала музыку. *«Стук сердца, двух сердец, есть она и он, темно, поздняя ночь, они бегут и смеются, дождь промочил одежду и волосы, они куда-то прячутся, слышны звуки поездов, у них мокрые лица, взгляды, вдруг проскакивает искра, прикосновения, страсть, поцелуи, минута, мгновение, мокрые лица, мокрые волосы, мокрые губы, переплетение судеб, путанные мысли и еще более путанные чувства. И мир, пульсирующий жизнью».*

Стопка села напротив, нервно разбрасывая хвостом лежащие вокруг фотографии. Анна подошла к печи, взяла миску с водой, вылила воду в раковину и налила вина. Осторожно поставила перед кошкой. Стопка стала жадно лакать розовым язычком вино.

— Стопка, — сказала Анна, поднося к губам стакан, — ты знаешь, где находится Нью-Йорк? Наверняка не знаешь. Это немного к западу от помойки у кабака в Кенигсдорфе. Выпей со мной за Нью-Йорк. Даже если этот янки рассказал мне сказку, за это все равно стоит выпить. Я всегда верила в сказки. Папа читал мне сказки. Замечательно читал. Стопка, ты любишь сказки? Я как-нибудь расскажу тебе сказку про Кота в сапогах. Папа, когда читал ее, приклеил себе усы и мяукал, изображая кота. А потом, когда он поцеловал меня, эти усы приклеились ко мне. Я долго хранила их под подушкой. Хочешь, Стопка, я могу рассказать прямо сейчас...

Она сжимала в руке стакан, и по ее щекам текли слезы. Какой

случился день! Какая получилась сказка...

— Понимаешь, Стопка, я не могу, я не в состоянии за один день получить столько добра, — говорила она, глотая слезы. — Сначала там, на башне собора, а потом здесь. Во мне нет столько места. Знаешь, я сегодня молилась! У меня нет своего Бога, поэтому я молилась его Богу. По-английски, чтобы он меня лучше понял. Как ты думаешь, Стопка, говорит ли Бог по-английски? Ты думаешь, Он знает все языки мира? А если это так, стыдно ли Ему сейчас, что Он знает немецкий? А, Стопка? Он теперь всегда будет этого стыдиться? До конца света?

Кошка оторвалась от миски и посмотрела на Анну полосками коричневых зрачков, слизывая капли с мордочки. Анна подлила себе вина.

— А сегодня, подумай только, Стопка, он вдруг спрашивает меня про Нью-Йорк. Твою мать, подумай, Стопка, подумай сама! Сидишь ты себе на спокойной уютной помойке, и вдруг симпатичный котяра спрашивает тебя, к тому же, заметь, в марте, согласна ли ты отправиться с ним в рай. Только за то, что ты поразила его своим взглядом на мир. Ну подумай, Стопка! Я просто онемела... К тому же у меня не было сахара. К счастью не было. Я зациклилась на сахаре, которого нет. А потом он вдруг говорит про чемодан. Стопка, он говорит такую чушь! Представляешь?! Для него имеет значение какой-то чемодан! Да я, Стопочка, готова рассовать все пожитки в карманы пальто. А будет нужно, так и пальто оставлю. Сожмусь так, чтобы занимать как можно меньше места. Не нужен мне чемодан. Только мой фотоаппарат. И скрипка, — добавила она через минуту, опорожняая стакан до дна, — скрипка тоже... Ты как там, Стопка? Смотри не напейся раньше меня, — сказала она, укоризненно глядя на кошку. — Мне еще столько нужно тебе рассказать! Представь себе, у меня будет самая лучшая «Лейка», какую я захочу! Представляешь?! Так он сказал. А потом попросил чаю. Так вот, просто. Чаю. И знаешь что? Когда я наливала в чашку кипятка, я смотрела на него. И знаешь... Я смотрела на него по-другому. У него такие глаза... знаешь... Огромные и голубые. Усталые и честные. И красивые руки. Длинные тонкие пальцы. И вообще. Ты понимаешь... Он сидел на этом табурете как маленький мальчик. Робкий, стеснительный, молчаливый и взволнованный. Я подошла к нему с чашкой в руках. Стояла перед ним, чай был горячий, а его голова была на уровне моего живота. И тогда он обнял меня за талию и прижался лицом к моему животу. И мне хотелось, чтобы чай не остывал и все время обжигал меня. Так же, как его прикосновение. Нет, оно обжигало по-другому. Он, видимо, забылся. Я тоже. А что мне было делать? Вылить на него кипятка? А потом, когда он пил чай, я сидела напротив него и слушала какую-то

фантастическую историю о будущем. О моем будущем, Стопка. После тринадцатого февраля я перестала верить в будущее, а тут слушала затаив дыхание. Все, что он говорил, было похоже на какое-то странное пророчество. Стопка, ты знаешь, где находится Нью-Йорк?

Кошка перестала лакать, легла на спину среди фотографий и заснула. Анна взяла кошку на руки и прижала к груди.

— Стопка, я все-таки расскажу тебе про Кота в сапогах, — шепнула она, нежно почесывая кошку за ухом. — Ты ведь хочешь, правда? У реки стояла мельница. Каждый день мельничное колесо стучало по воде: тук-тук. Но однажды эти звуки заглушили печальные песни: умер старый мельник. После поминок братья разделили отцовское наследство: старшему досталась мельница, средний забрал осла, а младшему отдали кота. Понял младший брат, что нет ему места на мельнице. Взял он буханку хлеба, серого кота и пошел куда глаза глядят...

Она коснулась щекой кошачьей мордочки и крепко сжала веки. Отец прижимал ее к себе. Она слышала его спокойный голос. «Взял он буханку хлеба, серого кота и пошел куда глаза глядят...»

Ее разбудило громкое ржание. За окном светало. Старый Курт Бегитт развозил уголь. Он останавливался у каждого дома на окраинах Кенигсдорфа и выгружал очередную порцию угля в проволочные корзины, стоявшие у дверей или калиток. Начинал он обычно с восточной части городка. А сюда, на Айхштрассе, добирался часам к шести утра. Никто не знал, где Бегитт доставал уголь. Многие уверяли, что он покупает его у американцев. Но ведь Бегитт развозил уголь и до того, как американцы заняли Кенигсдорф. А до войны он развозил молоко. Того угля, что выдавали по карточкам, хватало на неделю, а тем, что привозил Бегитт, топили остальные три, поэтому все уважали Бегитта и подкрепляли свое уважение более или менее щедрой платой. Кто-то платил картофелем, кто-то самогоном, а кто-то — домашним вином или канистрой солярки. Бегитт находил все это утром в проволочных корзинах, загружал в свою повозку и взамен насыпал туда уголь. Кому больше, кому меньше — в зависимости от оплаты. Решетчатую телегу Бегитта, если верить тете Аннелизе, всегда тянула тощая кобыла Березка. С каждым годом она становилась все более тощей и все более ленивой. Старый Бегитт не замечал ее худобы, зато прекрасно знал, что она ленива, а потому хлестал ее кнутом значительно чаще, чем кормил. Когда он бил ее слишком сильно, Березка громко ржала. Так же, как в это утро, когда Анна, в обнимку со Стопкой, проснулась на полу кухни среди фотографий.

Огонь в печи давно погас. Было очень холодно. Анна встала и побежала в спальню. Забралась под перину. Тетя Аннелизе проснулась и всполошилась:

— Где ты была? Я так тебя и не дождалась.

— В Нью-Йорке, тетя. В Нью-Йорке. Вместе с Котом в сапогах...

— Что ты несешь, дитя мое?! Тебе, должно быть, плохой сон приснился. У тебя такие холодные ноги. Прижмись ко мне. Не бойся. Это всего лишь сон.

— Я убью тебя! Задушу собственными руками! Выпущу из тебя кишки! — кричала Анна, собирая с пола фотографии.

Большинство из них Стопка покусала и расцарапала когтями.

— Значит, так это было в Дрездене? — послышался спокойный голос тетки.

Анна обернулась. Тетя Аннелизе стояла у открытого окна и курила.

— Нет! В Дрездене было не так. То, что было в Дрездене, показать невозможно, — ответила она, собирая фотографии. — Ты видела, что эта гадина сделала с моими снимками?!

— Откуда они у тебя? — Анна почувствовала в теткинском голосе злость.

— Из Кельна.

— Это твои снимки? Я хочу сказать, ты их сделала?

— Да. Мои.

— Почему ты раньше их не показывала?

— Не могла. Они были в фотоаппарате.

— А кто их проявил?

— Журналист из Нью-Йорка!

— Откуда? Какой журналист? Что ты несешь?

— Из Нью-Йорка.

— Почему?

— Я не знаю, почему из Нью-Йорка.

— Как это не знаешь?

— Просто не знаю. Я пошла на башню, дала ему пленку, а он ее проявил.

— На какую башню?

— На соборе.

— Что ты ему за это дала?

— Ничего...

— Как это ничего?!

Тетка сорвалась на визг. Анна отлично знала этот момент. Когда голос тетки поднимался на такую высоту, это означало, что разговор закончился и начался допрос. Анна не могла это выносить, так же, как отец, мать и бабушка. А для тети Аннелизе мир делился на две неравные части. Ее часть была больше и проще. И только она была настоящей, хотя вся умещалась в рамки нехитрой бухгалтерии «приход-расход». Вторая же часть была маленькой, никому не нужной ерундой, уделом «восторженных, погрязших в мечтаниях идиотов, как твои отец и мать». Тетка считала, что с определенного момента вести диалог с этим вторым миром бесполезно. И следует переходить к допросу. Она сама так говорила. И хотя не произносила слово «допрос», смысл от этого не менялся. В Анне закипала ярость. Она подошла к окну. Без разрешения взяла из теткиной пачки, лежавшей на подоконнике, сигарету и закурила.

— Ничего, черт бы тебя взял! — процедила Анна сквозь зубы, выпустив в нее дым. — Абсолютно ничего. Я сунула ему пленку, а он ее проявил. Понимаешь? Просто так. Ни за что. За спасибо! А вечером приехал сюда, в деревню, и привез мне снимки. Тоже бесплатно. Даром! Я не давала ему картошки и не ложилась под него. Представляешь?! Человек сделал это для меня просто так. К тому же американец. Понимаешь?!

— Нет! Не понимаю! Чего он хочет от тебя?

— Он хочет забрать меня в Нью-Йорк.

— И ты ему поверила?!

— В то, что хочет, поверила. В то, что заберет, — нет.

— Оденься и притащи корзину с углем. Иначе мы замерзнем. Не верь ему. Даже наша Стопка поняла, кто он такой. И пожалуйста, не выражайся, это некрасиво.

Тетя Аннелизе подошла к печке, присела и начала выгребать в алюминиевое ведро золу. Анна докурила сигарету и, собрав с пола фотографии, сложила их в конверт. Потом вышла из дома и направилась к калитке. Затащила корзину с углем на крыльцо, вышла на дорогу. Замерзшие колеи, оставленные колесами машины, блестели на солнце кристаллами инея. Она заметила следы своих ног, отпечатавшиеся в грязи. Вернулась на крыльцо. Пересыпала уголь в ведра, принесла их на кухню и поставила у печи. Стопка сидела на столе и нервно обнюхивала конверт с фотографиями. Анна взяла кошку на руки и стала ее гладить.

— Я совсем не хотела тебя убивать, ты меня просто очень разозлила, — прошептала она, почесывая кошку за ухом.

— Что ты там бормочешь? — спросила тетка, бросив совком уголь в печку. — Этот проходимец Бегитт в последнее время привозит нам одну

пыль. Надо будет встать пораньше и отчитать его. Ты видела, что он сегодня нам насыпал?

— Нет, не видела...

— Не мешало бы посмотреть. За такое дерьмо мы отдаем ему наш лучший картофель. Завтра я насыплю в корзину одни очистки. Кстати, не почищишь картошки на обед?

— Не почищу.

— Почему?!

— Потому что сейчас я пойду в свою комнату и начну собирать чемодан...

— Ты так же глупа и наивна, как твой отец. Точно так же! — прокричала тетка сердито.

А Анна вдруг отшвырнула бедную кошку. Подошла к печке, окунула руки в ведро с золой и пеплом, а потом резко выпрямилась и крепко сжала сразу почерневшее теткино лицо. С ненавистью крикнула:

— Если ты еще раз хоть что-нибудь плохое скажешь о моем отце, то я... то я...

Мгновение спустя она уже виновато прижалась к Аннелизе и положила голову ей на плечо.

— Ты слышала?! — бормотала она. — Не нужно так. Оставь отца в покое. Прошу тебя. Он любил тебя. Назвал меня Анной в твою честь. Тетя...

— Твой отец... — шептала тетка, крепко прижимая ее к себе, — никак не хочет меня отпустить. Мне с ним очень не повезло. Мой младший брат был наивным человеком и прекрасным поэтом. Он был слишком хорош. Всех своих ухажеров я всегда сравнивала с ним. Всех. Иди, собирай чемодан. Я сама почищу картошку...

Кельн, пятница, 9 марта 1945 года

После завтрака Стэнли побрился. Впервые в жизни он брился, не глядя в зеркало, к тому же тупым и даже немного ржавым лезвием. Окрасившаяся в красноватый цвет вода, стекавшая в раковину, подтверждала, что это была не самая лучшая идея. Интересно, где сейчас в Кельне можно купить лезвия? Надо спросить у брата Мартина. И сам монах, и вся остальная «коричневая братия» всегда были гладко выбриты. Стэнли вырвал чистую страничку из записной книжки и кусочками бумаги на ощупь заклеил порезы на шее и щеках. Он мечтал о теплом душе, чистом сухом полотенце и свежем белье. И решил, что сегодня или в крайнем случае завтра утром попросит этого щелкающего каблуками Бэнсона организовать ему помывку. Ему хотелось при встрече с Анной на башне выглядеть ухоженным и опрятным. Сейчас же он казался себе вонючим бродягой...

Стэнли вынул из чемодана чистые брюки и любимую голубую рубашку. Брюки были влажными, а мятая рубашка пахла затхлым. Проклиная все на свете, он вдруг осознал, в каких роскошных условиях жил в Нью-Йорке. Почувствовал холод влажной ткани, натягивая брюки. Они повисли мешком, а когда он попытался затянуть ремень, подходящей дырочки в ремне не нашлось. Неудивительно, ведь последние три дня он питался лишь сухим хлебом и водой, завтракая с братом Мартином. Но он совершенно не испытывал голода, разве что изредка. Урчало у него в мозгу, не в желудке. Он забывал о еде. В последний раз так было на Гавайях, в Пёрл-Харбор, где он провел несколько дней в сорок первом. Тогда он тоже вернулся в Нью-Йорк «худой, будто отшельник после поста», как выразилась Лайза, которая тут же принялась его откармливать всякими вкусностями, так что уже через неделю он снова набрал свой обычный вес. Сейчас же он подвязал брюки веревкой и сверху прикрыл длинным черным свитером.

Несколько часов Стэнли бродил по городу, но к четырем вернулся в келью. Телеграммы от Артура не было. Он выбрался наверх и направился к собору. На площади у главного входа столкнулся со знакомым солдатом. Тот так и стоял, прислонившись к танку.

— Ну как, путешественник? Автобус вернулся вовремя? Мама осталась довольна? — крикнул солдат и выдул губами большой пузырь из жевательной резинки.

— Я могу рассчитывать на скидку, если мне понадобится к маме еще раз? — крикнул Стэнли в ответ. — Если скидки не будет, я найду другой вокзал...

— Конечно, будет. А та стройная школьница вообще поедет даром. Согласен? На других вокзалах нет льготных школьных билетов.

«Та стройная школьница, ну вот, — подумал Стэнли, — от этого стихийно возникшего “таксиста” ничто не скроешь».

— Даже если опять будет действовать ночной тариф? Я хотел бы знать заранее, — сказал он.

— У нас здесь ночью скидки даже больше, чем днем. Такие времена...

— Я буду на тебя рассчитывать! — крикнул Стэнли и свернул ко входу в собор.

На сей раз у него был с собой бинокль. «Вот было бы здорово, если бы у фотоаппарата была такая же оптика, как у бинокля!» — подумал он. В окопах на другом берегу было тихо, словно там ничего не происходило и не должно было происходить. Каски, разбросанные на отвалах, походные кухни с кипящими котлами, сложенные в ряд автоматы. Атмосфера как на пикнике. «Война взяла сегодня выходной, — подумал он, — на обоих берегах». Все солдаты были очень молоды. Казалось, на войну отправили только старшеклассников.

Он сел на пол смотровой площадки, оперся спиной о балюстраду, вытащил из кармана блокнот и карандаш. Закурил. Начал писать письмо Дорис.

Фрейлейн Д.,

Вот я и попал в страну драконов. И что?! — спросишь ты. Да ничего. Никаких драконов. Сiju в полумиле от немецких окопов на вершине башни Кельнского собора над Рейном и до сих пор не услышал ни одного выстрела, ни одного взрыва или автоматной очереди. Я нахожусь на левом берегу, где живут освобожденные немцы, а те, что на другом берегу, еще ждут своего освобождения. Те, кого уже «освободили», как будто выражают благодарность. Сегодня утром говорил об этом с одним монахом. По рождению он американец, но по образу мыслей — настоящий европеец (я объясню тебе разницу, когда вернусь). Благодарные (с твоего позволения я опускаю кавычки) немцы понимают освобождение по-своему. Они благодарны за освобождение от ужасов войны, но совершенно не осознают, что их освободили от бесчеловечного режима. Этого-то, по мнению любящего всех

людей и всех божьих коровок, и немцев тоже монаха, они вовсе не чувствуют. А он знает что говорит, поскольку беседует с ними, кормит их, дает им работу, отпевает их близких и их самих. Это чтобы ты поняла, кто такой мой монах. Но вернемся к немцам. У них нет чувства вины и ответственности за то, что произошло за эти годы, за то, что они своей всеобщей — в лучшем случае молчаливой — поддержкой всё это допустили. Не все, конечно, но подавляющее большинство. Настоящую свободу обожающие это слово американцы (теперь, здесь, сегодня, после всего что я тут увидел, я тоже по-другому смотрю на нашу так называемую свободу) принесли только нескольким тысячам людей, находившихся на принудительных работах, узникам гестапо, нескольким сотням укрывавшихся в Кельне евреев и нескольким десяткам скитающихся по городу дезертиров. Мой монах, брат Мартин, очень переживал по этому поводу. Но он, избави Бог, не судит их и тем более не осуждает. Он рассуждает об этом спокойно. Говорит, что показал им фотографии двухметрового штабеля, сложенного из голых, обтянутых кожей скелетов в котловане концлагеря в Польше. И знаешь, что отвечали только что освобожденные немцы? «Какой ужас! До чего доводит война!» — и недоверчиво качали головами. Они реагировали примерно так, как если бы им рассказали об урагане, который уничтожил все посевы на поле у одного крестьянина.

Но есть и другие немцы. Я встретил здесь, на этой башне, девушку. Ее зовут Анна-Марта. Она родилась и смогла остаться в живых в Дрездене. У нее такая арийская внешность, что она могла бы быть знаменосцем среди немцев, славящих Гитлера. Или позировать скульпторам, прославляющим красоту арийского тела. У нее абсолютно нордические черты лица, густые светлые волосы, пухлые губы, большая грудь, тугие ягодицы, плоский живот, широкие, идеальные для деторождения бедра, крепкие ляжки. Не спрашивай меня — а ты ведь хочешь спросить, не так ли? — откуда я знаю, какие у нее груди, какой живот и какие ляжки. Знаю. Так получилось, что знаю. Тебе не кажется, что с моей стороны честно, хотя и рискованно, писать тебе об этом? Я ведь мог бы и промолчать. Но не хочу. Я знаю, ты меня поймешь. Так получилось, что я видел ее почти голой и прикасался к ней. Но это не делает ее твоей соперницей.

Анна-Марта запечатлела на пленке агонию Дрездена. Да так,

что у всех от потрясения перехватит дыхание. Этих фотографий еще никто не видел, никто, кроме нее, меня и ее кошки. Но даже если бы я был тогда в Дрездене, все равно не увидел бы то, что видела она. Она смотрела на это совсем другими глазами. У нее идеальное арийское тело, но по сути своей она не арийка, тем более не немка. Такой ненависти к немцам, Гитлеру и прежде всего к войне, какая отразилась в фотографиях, сделанных Анной, я еще не встречал. С этим может сравниться только «Герника» Пикассо.

Я был первым, кто увидел эти снимки Дрездена. Они были еще мокрые, когда я вынул их из проявочной кюветы. В пустой фотолаборатории в подземельях наполовину освобожденного и почти полностью разрушенного Кельна. Может, на меня повлияли обстоятельства. А может, повлияла дотоле неведомая мне тоска по мирной жизни. Нет, наверное, все-таки нет. Ведь я был в Пёрл-Харборе, так что чисто теоретически должен был к такому привыкнуть. Наверное, это глупость, но я хотел бы, чтобы Анна-Марта поселилась на какое-то время в Нью-Йорке. И делала снимки для людей, читающих «Таймс». Не для самой «Таймс», в именно для читателей. Я довольно быстро привык к этой мысли. Артур тоже заинтересовался. Благодаря ему у меня есть виза для этой девушки. Сейчас я жду мест в самолете, который доставит меня к тебе. Если это не получится у Артура, получится у Адрианы, его жены. Адриана всегда была на один шаг впереди Артура. Без Адрианы «Таймс» сегодня не была бы такой, какая она есть. Артур ничего не делает без одобрения жены — молчаливого или явного. Мне кажется, именно Адриана создала «Таймс». И это хорошо. Только женщины — поверь мне — могут сделать хорошую газету. И только женщина способна отказаться от славы и почестей и остаться в тени любимого мужчины.

Я жду, когда найдутся два места в самолете. Я не улечу без Анны-Марты. Я хорошо понимаю, что может подумать об этом любая ревнивая женщина. Но она ошиблась бы. Если только не рассуждала бы, как я. Я уверен, ты поймешь меня правильно.

Сейчас я живу ожиданием возвращения, и очень этому рад. А пока отдыхаю и дышу этим городом. Я хочу все запомнить, не пропустить чего-нибудь важного. Сегодня бродил по Кельну с фотоаппаратом и биноклем. Город постепенно приходит в себя

после катаклизмов последнего времени. Здесь на удивление спокойно. Мне встречаются два типа местных жителей: это прибывающие отовсюду беженцы — с котомками жалкого скарба на плечах, флягами в руках и страхом в покрасневших от усталости глазах, и — местные, те, кого мы освободили. В костюмах (сегодня в Кельне тепло и солнечно), элегантных шляпах, с породистыми собаками на поводках. Прекрасный весенний день в Кельне, твою мать.. Ты увидишь эти снимки. Правда, оказалось, что их фотографировал не только я. В какой-то момент я заметил рядом небритого худого мужчину с длинными волосами и седеющими усами. У него в руках тоже был фотоаппарат. Мы разговорились. Его зовут Джордж Оруэлл. Он военный корреспондент, работает на лондонский «Обсервер». Это чрезвычайно интересный и харизматичный человек. Я сказал ему, что где-то слышал его фамилию. Оказалось, что Оруэлл — английский писатель, а его книги выходили и у нас, в Штатах. Он постоянно кашляет, и у него на шее шрам как от кухонного ножа. Такое впечатление, будто каждое произнесенное слово причиняет ему боль. Но он попросил меня не обращать на это внимания. Оруэлл сказал мне то, с чем я абсолютно согласен. Пропаганда, в особенности немецкая, уверяла нас, что почти все немцы — высокие надменные блондины. А в Кельне нам попадаются преимущественно коренастые темноволосые мужчины с низко опущенными головами. Они ничем не отличаются от своих соседей бельгийцев. Разве что менее худощавы, и, что особенно развеселило Оруэлла, у них новее велосипеды. Кроме того, как уверяет Оруэлл, а я должен верить ему на слово, на улицах Кельна можно встретить гораздо больше женщин в шелковых чулках, чем на улицах Лондона или любого другого города Англии. Но это меня как раз не удивляет. Я дважды бывал в Англии, и там мало кто из женщин носит шелковые чулки. Может, они надевают их только на королевский прием? Англичанки, должно быть, догадываются, что их кривые ноги шелк не украсит.

Оруэлл попросил у меня сигатеру, но из-за кашля не смог или не захотел курить. Просто подержал ее в зубах. Потом мы поговорили о том, чем отличается работа журналиста на разных берегах Атлантики, о фотоаппаратах и... о его шраме на шее. В 1937 году Оруэлл участвовал как доброволец в гражданской

войне в Испании. Разумеется, на стороне коммунистов. Там ему навывлет прострелили горло, и он выжил по счастливой случайности. Кажется, он написал об этой войне книгу, «Homage à Catalonia». Я обязательно отыщу ее, когда вернусь. Потом мы обменялись адресами и разошлись — каждый в свой район Кельна.

Я общаюсь здесь со многими людьми, но очень недолго. Все мы помним, что каждая минута, которую проводим вместе, может оказаться последней. Поэтому мы почти сразу переходим к сути дела, минуя церемониал взаимного сближения. До войны мне было бы трудно представить себе, чтобы такой человек, как Оруэлл, при первой же встрече на улице Лондона рассказал кому-либо о своем шраме на шее. Здесь же это совершенно нормально. Или ненормально. Я уже и сам не знаю...

Дорис, больше всего я хочу, чтобы это письмо прибыло к тебе вместе со мной. В кармане моего пальто, а не в одном из толстых льняных мешков с американской военной корреспонденцией из Европы. Я хочу сам прочесть его тебе. А потом рассказать все, о чем не написал. И заснуть рядом с тобой, а потом проснуться рядом с тобой. И снова заснуть...

Я скучаю по тебе, Дорис...

Бредфорд

P. S. Ты можешь узнать о моих «перемещениях» у Лайзы. Если кто, кроме Адрианы и Артура, и будет знать точно, когда я вернусь, то это она. Никто точно не знает, откуда мы полетим, куда и когда. Я и сам узнаю все последним. И пока знаю только, что полечу из Европы через Атлантический океан, скорее всего на какой-нибудь военный аэродром. К любой дате, которую узнаешь у Лайзы, прибавь еще семь-восемь дней. К концу седьмого дня (звучит как библейский текст о конце света или сотворении мира) я должен быть где-то в Америке.

Темнело. По обеим сторонам реки одновременно стали зажигаться огоньки. Стэнли закрыл записную книжку, сдул с нее пепел и собрал с пола окурки. Подождал, пока в ногу, которую отсидел, восстановится кровообращение, потом встал и осторожно спустился вниз.

По знакомым уже улицам он двинулся от площади в сторону перекрестка Кайзер-Вильгельм-ринг и Кристоферштрассе. Он подумал — и это его позабавило, — что еще несколько дней в этом городе, и он мог бы

запросто работать гидом и водить американских экскурсантов по освобожденному Кельну. Он шел и разговаривал сам с собой:

— Дамы и господа, прямо перед нами новейшая модель американского танка, а слегка обшарпанное высокое здание сразу за ним — главная церковь, которую в Европе называют кафедральным собором. Она гораздо старше, чем пивные бутылки, которые недавно откопали в Сан-Диего наши археологи. Справа вы видите еще теплые руины — результат удачных бомбардировок американских военно-воздушных сил в конце прошлого века. Простите, я хотел сказать, в декабре этого года. Вдали мы видим хорошо сохранившиеся остатки исторической застройки. А сейчас попрошу следовать за мной: из-за сильных разрушений для того, чтобы добраться в резиденцию временного американского правительства, нам придется пройти по соседним улицам...

Ощущая растущее нетерпение, он все быстрее шел в направлении «временного американского правительства». Ему очень хотелось вернуться на родину. Он не рассчитывал найти здесь ничего более важного, чем то, что уже нашел. У него было несколько кассет отснятой пленки, фотографии, сделанные Анной, десятки страниц дневниковых записей. А самое главное — впечатления. Рассказанные по горячим следам кому-то из опытных репортеров, они, как ему казалось, могли стать интересным отчетом «о путешествии американского пацифиста на войну». В Дрезден он не поедет, встречаться с русскими его отговорил англичанин, а в готовый пасть Берлин его все равно не пустят. Кроме того, падение Берлина сейчас, в начале марта 1945 года, кажется еще весьма отдаленной перспективой. Он не видел перед собой никаких задач. К тому же он привезет с собой Анну. Для «Таймс» это большая удача. Он не сомневался, что Артур понимает, какое сокровище ему привезут...

Было уже совсем темно, когда он добрался до здания на Кайзер-Вильгельм-ринг. Часовой внимательно изучил его паспорт, сверился со своим блокнотом и поспешно препроводил к другому часовому внутри здания. Тот, в свою очередь, покрутил ручку телефона и вызвал младшего лейтенанта Бэнсона. Происходило что-то странное. Бэнсон появился почти мгновенно, будто все это время только и ждал Стэнли. Они поспешно спустились в подвал. Бэнсон постучал в дверь в самом конце темного коридора, и они вошли.

— Спасибо, — сказал грузный офицер в звании полковника, обращаясь к стоящему навытяжку Бэнсону. — Постарайся организовать автомобиль для господина редактора. А если машины не будет, можешь прямо сегодня собирать свои манатки! — крикнул он в спину

исчезнувшему в дверном проеме Бэнсону.

«Либо тут все старшие по званию издеваются над несчастным парнем, — подумал Стэнли, — либо Бэнсон ленив от природы и его нужно постоянно подгонять, либо в армии это обычная манера разговаривать с подчиненными».

— Присаживайтесь, господин Брэдли, — сказал спокойно офицер и указал на стул напротив своего стола.

Свет лампы падал на расстеленную военную карту Европы и небрежно разбросанные телеграммы.

— Моя фамилия Бредфорд.

— Извините. Господин Бредфорд. Конечно. Прошу меня простить. — Грузный офицер, нацепив очки, рассматривал лежавший перед ним документ. — Стэнли Вильям Бредфорд, — уточнил он с фальшивой улыбкой.

Стэнли подумал, что, как ни странно, его второе имя скоро станет известно буквально всем.

— Мы получили зашифрованную телеграмму из Люксембурга. Несколько часов назад. Адресованную нашей службе, — сообщил офицер, отрывая взгляд от документа и глядя на Стэнли так, будто ожидал услышать слова восторга и аплодисменты. — Мы искали вас. Много людей вас искали. Очень много. Где вы были?

— А вам не кажется, что это мое личное дело, господин полковник?

— Ну конечно. Это ваше дело. Конечно же. Да, ваше дело... — ответил офицер, плохо скрывая злость, и снова уставился в документы. — Так вот, сегодня после полуночи с нашей базы в Финдельне, недалеко от города Люксембург, отправляется самолет. Генерал Пэттон летит на нем в Вашингтон. Вам известно, кто такой генерал Пэттон, господин Брэдли?

— Моя фамилия Бредфорд! Да, известно. Государственный чиновник Соединенных Штатов, работа которого неплохо оплачивается из моих и ваших налогов. Генерал профессиональной американской армии.

Толстый офицер снял очки и, встав из-за стола, подошел к нему.

— Вы так думаете? Генерал Пэттон — патриот, — сказал он злобно.

— Может быть, вам трудно себе это представить, но я, Стэнли Бредфорд, тоже патриот. А теперь скажите, пожалуйста, к чему вы клоните. Вы ведь позвали меня сюда не для того, чтобы поговорить со мной о патриотизме и Пэттоне, не так ли?

— Честно говоря, да. Но и об этом тоже. Из Финдельна около полуночи летит самолет. Вы и сопровождающая вас особа, немка по имени Анна-Марта Бляйбтрой, в списке пассажиров. Поэтому мы вас и искали.

Вам известно, где сейчас находится эта немка?

— Недалеко отсюда. В Кенигсдорфе.

— Есть ли у нее официальные и действительные документы для поездки?

— Не знаю, — ответил Стэнли, сунув руку в карман пальто. — Является ли этот документ официальным и действительным? — спросил он и положил на стол помятый паспорт Анны.

Офицер взял его, долго рассматривал в свете лампы и наконец заявил:

— Нет! Это не действительный документ. Он не был выдан в Кельне.

— Извините, не понял!

— Не был подтвержден в нашем офисе в Кельне. Это неустановленный документ из города Дрездена.

— Ну и что?

— Анна-Марта Бляйбтрой не может покинуть Германию, не зарегистрировавшись.

— А вы можете зарегистрировать ее сейчас?

— Это входит в обязанности нашей администрации. Но сегодня уже слишком поздно. Администрация будет на месте только завтра...

— А сколько стоило бы появление администрации здесь через минуту? — спросил Стэнли и, стараясь сохранять спокойствие, вытащил бумажник из заднего кармана брюк. — Сколько? — повторил он громче.

— Вы меня не поняли. Вам кажется, что всё и всех можно купить.

— Сколько она стоит? Эта самая регистрация. Сколько? — повторил вопрос Стэнли, игнорируя его замечание. — Без Анны-Марты Бляйбтрой я отсюда не уеду! Сколько? Скажите же, наконец, в какую сумму мне это обойдется. У меня в бумажнике около двух тысяч долларов. Остальное я пришлю вам из Нью-Йорка.

— Сколько?! — произнес офицер с каким-то шипением в голосе. — Вы не понимаете, господин Брэдли, извините, Бредфорд...

— Это вы не понимаете. Я без нее из Кельна не уеду!

— Вы готовы поручиться за нее под присягой?

— Каким образом?

— Что вы ее знаете, подтверждаете, что она говорит правду, и принимаете на себя ее обязательства.

— О, черт! Что вы имеете в виду? Конечно, я знаю ее. Какие обязательства?

— По отношению к правительству и налогоплательщикам Соединенных Штатов.

— Вы шутите?

— Нет. Вовсе не шучу. Анна-Марта Бляйбтру может умереть в Соединенных Штатах. Кто-то должен будет оплатить ее погребение.

— Ее фамилия Бляйбтрой, а не Бляйбтру, неужели это так трудно запомнить? Блядь! Напишите, что я за свой счет похороню Анну-Марту Бляйбтрой. И что правительство Соединенных Штатов и налогоплательщики не потратят на это ни единого цента. И что я буду ее кормить, поить, куплю ей туфли и фотоаппарат...

— Вы готовы подписаться под тем, что только что сказали? — прервал его тираду грузный офицер.

— Подпишусь! Конечно же, подпишусь!

Толстяк протянул ему лист бумаги. Стэнли пробежал глазами написанный на машинке текст. Поставил подпись. Швырнул ручку на стол, встал и направился к двери. У выхода он обернулся:

— Скажите, а как могло произойти, что вы дали мне на подпись готовый документ со всеми данными этой девушки, хотя минуту назад говорили, что у нее нет регистрации, или как там это у вас называется?

Грузный офицер, не поднимая взгляда, ответил:

— Если вы будете продолжать задавать глупые вопросы, то не успеете в Финдельн до полуночи. На входе в здание вас ожидает конвой, и он будет ждать вас еще несколько минут. Советую вам поторопиться, редактор Брэдли.

— Бредфорд, твою мать, Бредфорд! — крикнул Стэнли и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Он сбежал по лестнице к входной двери. Его догнал Бэнсон, на ходу передав выправленные бумаги с печатями.

Конвой у входа в здание состоял из двух джипов с небольшими американскими флагами. В одном из них за рулем сидел тот самый солдат, который возил Стэнли в Кенигсдорф. Они тут же тронулись в путь. Стэнли велел водителю подъехать к собору с восточной стороны. Он так и не выяснил адрес дома, где находилась его келья, но точно помнил, что с восточной стороны собора значительно ближе до крутой лестницы, ведущей в подземелье. Минут через пятнадцать он, тяжело переводя дыхание, вернулся к машине с чемоданом в руках и фотоаппаратом на груди. То, что он не смог взбежать по лестнице до самого верха без остановки, ему не понравилось, и он поклялся себе, что, вернувшись домой, бросит курить.

Вчера им не попалось ни одного КПП. Но на сей раз шофер ехал в Кенигсдорф другой дорогой. Правда, они миновали посты без особых проблем, приходилось только притормаживать. Флаги на машине и одном

из джипов открывали все шлагбаумы.

— Почему мы едем на двух машинах? — спросил Стэнли водителя. — Хватило бы и одной.

— Такие у нас инструкции. Вы являетесь, скажем так, очень важной персоной, которая куда-то очень спешит. В таких случаях в конвое должно быть не меньше двух машин. Если по пути что-то случится с нашей, вы сможете пересесть в другую.

— Вот как... — пробормотал Стэнли, меняя свое мнение о грузном офицере.

— Мы едем за той красоткой, да? — поинтересовался после паузы шофер. Его это явно интересовало.

— Я хотел бы забрать ее с собой...

— Ясное дело. Всякий хотел бы, — рассмеялся водитель.

Они остановились у калитки. Как Стэнли ни просил, водители не выключили ни фар. А он не хотел никого пугать. Отодвинув металлическую корзину с картофельными очистками, он толкнул калитку и прошел по узкой тропинке к беседке. Вытащил бумагу с подготовленным текстом и постучал в дверь. Как и вчера, услышав скрип ключа в замке, начал громко читать по бумажке:

— Mein Name ist Stanley Bredford...

Он не успел закончить. На пороге показалась женщина с кошкой на руках. У нее были седые волосы, собранные в пучок, высокий лоб и накрашенные яркой помадой губы.

— Sie möchten zur Anna, nicht wahr? — спросила женщина по-немецки, с беспокойством поглядывая на автомобили.

Она жестом пригласила его в дом и закрыла дверь. Он вошел на кухню. Анна стояла у деревянного стола у окна и вылиwała что-то из фаянсовой миски в плоский жестяной сосуд. На мгновение ему показалось, что это его мать. Анна обернулась к нему и улыбнулась.

— Пирог будет готов к завтрашнему дню, Стэнли. Ты пришел слишком рано... — сказала она тихо и продолжила спокойно выливать желтоватую густую массу в жестяной сосуд.

— Ты поедешь со мной? Сегодня. Сейчас.

Пожилая женщина подошла к Анне. Взяла у нее из рук миску и сунула кошку. Анна инстинктивно прижала к себе животное, но тут же опустила на пол. Сняла цветастый фартук. Не говоря ни слова, вышла из кухни. Стэнли сел на табурет и погладил кошку. Женщина стояла у деревянного стола, повернувшись к нему спиной. Вдруг она подошла к нему и сказала по-немецки:

— Werden Sie gut aufpassen auf Anna, nicht wahr? Sie hat schon so viel schlimmes in ihrem Leben durchgemacht. Werden Sie?

Он тотчас встал. Смотрел ей в глаза и пытался извлечь из своей памяти все немецкие слова, которые помнил. Но смог сказать только:

— Ich möchte Anna... ich möchte for Anna no Krieg und happy. Ich möchte Anna gut, very gut... Sie understand? Ich möchte Anna smile... Sie understand... Ich möchte Anna no egal... No egal. Sie understand... No egal! Nothing more Kaputt...

Он услышал звук открывшейся двери. Анна вошла на кухню. На ней было темно-синее длинное пальто, подпоясанное коричневым кожаным ремешком. У ее ног стоял обшарпанный фибровый чемодан. В правой руке она держала скрипичный футляр. Кошка подбежала к ней и стала тереться сначала о ее пальто, а потом о чемодан. Девушка подошла к женщине. Они обнялись. Потом женщина сняла с запястья часы и положила их на ладонь Анны. Они что-то шептали друг другу.

Стэнли взял чемодан, вынес его в прихожую и закурил. Кошка побежала за ним. Через минуту в прихожей появилась Анна. Он снова взялся за чемодан. Вдруг кошка подскочила к его руке. Он услышал громкое шипение, а потом почувствовал резкую боль. На руке остались глубокие царапины. Он вспомнил, что Мефистофель точно так же выражал недовольствие. Выходит, немецкие и американские кошки ведут себя совершенно одинаково. Братец Эндрю, навестив Стэнли в один из уик-эндов в Нью-Йорке, вышел из его квартиры с точно такими же царапинами на запястье. Мефистофель по какой-то причине не выносил Эндрю — с первой же встречи...

Водитель ждал в машине. Тетка Анны во что бы то ни стало хотела, чтобы они подвезли ее до кабака на площади. Она собиралась купить себе водки и уверяла, что вино ее сегодня не возьмет и иначе она не вынесет одиночества. Два военных американских автомобиля с флагами остановились на небольшой площади в центре Кенигсдорфа. Из одного из них вышла заплаканная фрау Аннелизе Бляйбтрой. У мужчин, толпившихся у пивной, от удивления отвисли челюсти. И Стэнли подумал, что, должно быть, именно так в маленьких городках рождаются легенды.

Как только Аннелизе исчезла за дверью пивной, они двинулись дальше. Анна сидела молча, прижавшись лбом к стеклу. Когда огни городка остались позади, Стэнли накрыл рукой ее ладонь. Она крепко сжала его пальцы и долго не отпускала. А потом поднесла его расцарапанную руку к губам и поцеловала.

— Стопка еще не знает, что ты хороший, это просто от нервов. Ты по-

другому пахнешь. В этом доме давно не было мужчин. Тетя в последнее время даже нищих и священников на порог не пускает. Стопка полюбила бы тебя, Стэнли. Ей просто нужно немного времени. Я ее знаю...

Слово «стопка» было ему знакомо. Мать часто называла так рюмки. Когда в 1920 году в Америке ввели сухой закон, отец разливал из металлического молочного бидона по бутылкам вонючую коричневатую жидкость, которую ночью гнал в деревянном сарае. И пил ее стопками. Стэнли удивило, что у кошки такая странная кличка.

Он высвободил руку и стал нежно гладить лицо Анны, другой рукой пытаясь прикурить две сигареты. Протянул ей одну.

— Я испекла бы для тебя отличный пирог, Стэнли, — прошептала Анна, затянувшись. — Я ходила в пекарню к Роллеру за изюмом. Мне пришлось сделать над собой усилие, потому что Роллер — нацистский сукин сын, но изюм у него лучший в нашем городке. Ты любишь дрожжевой пирог с изюмом, Стэнли? Мой отец обожал его. Любишь, да?

Он придвинулся к ней. Она положила голову ему на колени. Он гладил ее лоб и волосы. Довольно долго они молчали.

— Мы едем в Нью-Йорк, правда? — вдруг спросила она шепотом. — Сегодня утром я рассматривала атлас. Это очень далеко. Мы ведь полетим на самолете? Знаешь, я никогда не летала на самолете. Я очень боюсь летать. Ты будешь держать меня за руку? Стэнли, ты любишь музыку? Самолеты ассоциируются у меня с бомбами, но и с музыкой тоже. Не знаю почему. А тебя любит какая-нибудь женщина? Кроме мамы и сестер? Ты гладил ей лоб и волосы так, как мне сейчас? Она любит тебя? Говорила тебе об этом? Она успела тебе об этом сказать? Как ее зовут? — спрашивала она, приподнимая голову.

Он чувствовал, как с каждым вопросом ее руки все сильнее сжимают его колени. Она прижималась к нему как испуганный ребенок.

— Я буду держать тебя за руку. Не отойду от тебя ни на шаг. Все будет хорошо, все будет хорошо...

— Стэнли, не оставляй меня ни на минуту, прошу тебя! У меня уже есть одна скрипка...

Она затихла. Он укрыл ее своим пальто и попросил водителя выключить коротковолновую радиостанцию, но тот вежливо и решительно отказался.

— Мы находимся в конвое, у меня должен быть постоянный контакт с головной машиной и Бэнсоном. Он же там обосрется от страха, если я вовремя не отвечу, — усмехнулся он.

Еще до того, как они достигли пригородов Трира, Анна заснула.

Стэнли закурил. Он думал о Дорис. О том, что ни разу не гладил ее лоб и волосы. В последнее время он мечтал об этом. У них было слишком мало времени. «Тебя любит какая-нибудь женщина? Кроме мамы и сестер?» — вспомнил он вопрос Анны. Ответа он не знал.

Дорис появилась в его жизни случайно — как и другие женщины. Ему не приходилось искать их, это они его находили, точнее говоря — это они у него «случались». Схема была простая. Какое-то служебное дело, которое нужно решить, беседа, недолгий флирт, ужин, вино или коктейль, первый секс, иногда — но не всегда — несколько следующих встреч, потом его длительное молчание, «чтобы не привязывались», последний разговор и последний секс, и наконец его полное исчезновение из их жизни. Пока что ему везло. И исчезать удавалось без особых последствий. Ни драматических сцен при расставании, ни ночных звонков, ни писем с угрозами в почтовом ящике, ни попыток шантажа. Его — в отличие от некоторых коллег по редакции — нечем было шантажировать. Он был свободен и независим. Да, временами он ощущал, что одинок. Но даже у этого были свои положительные стороны. Он заметил, что именно в такие периоды делал свои лучшие снимки. К тому же положение свободного мужчины, особенно в его уже довольно зрелом возрасте, и статус хорошо зарабатывающего интеллектуала с претензиями делали Стэнли еще более привлекательным в глазах женщин. Пока что только две из них не вписались в эту схему: Жаклин, которая с самого начала знала, что никогда не сможет ему принадлежать, и Дороти, которая с самого начала знала, что никогда не захочет, чтобы он принадлежал ей. Оба эти случая оставили глубокие раны в его душе. Рана, нанесенная Дороти Паркер, и сейчас иногда его беспокоила...

Артур терпеть не мог Дороти Паркер. Он считал, что, она не просто проститутка, но еще и проститутка от журналистики, что гораздо хуже. «Торговля своим телом за деньги существует тысячи лет, — говорил он, — но торговать своими мозгами за денежные знаки — это настоящее блядство». Он говорил так, поскольку не мог простить Паркер того, что ее светлая голова не принадлежала — в качестве собственности — его «Таймс». Артур, вопреки возникшей в середине двадцатых годов тенденции, не признавал журналистов, сотрудничавших с разными газетами. Он хотел иметь их полностью в своем распоряжении. А Дороти Паркер не желала никому принадлежать. Ни как журналистка, ни как женщина. Когда в 1925 году начала печататься в «Нью-Йоркере», она автоматически стала врагом Артура, который видел в новом еженедельнике

опасного конкурента. Сотрудника редакции, застигнутого за чтением «Нью-Йоркера», вызывали на ковер к Артуру. Им приходилось врать, что они «должны знать конкурентов в лицо». Стэнли, конечно, тоже читал «Йоркера» — чтобы узнать, какой спектакль на Бродвее посетить и сколько стоит контрабандный виски, продающийся из-под прилавка в джазовых клубах Гарлема. Необыкновенному успеху «Йоркера» способствовало также и то, что туда перебралась целая группа так называемых «алгонкинов». Это элитарное объединение состояло из почти двух десятков молодых энергичных искусствоведов с журналистской и даже писательской жилкой. Агрессивных, честолобивых, самовлюбленных и совершенно не подверженных угрызням совести. Они регулярно собирались в ресторане фешенебельного отеля «Алгонкин» на 44-й стрит в Манхэттене. Во время шумных встреч, где рекой лились контрабандные алкогольные напитки, они высказывали свои мнения, создавали направления, определяли моду, низвергали авторитеты и возносили на пьедестал никому не известных авторов — чтобы по прошествии времени, если те не оправдают доверия, без колебания сбросить их с пьедестала и предать полному забвению. Такие встречи в отеле «Алгонкин» вскоре стали чем-то вроде страшного суда над художественной и светской жизнью Нью-Йорка. То, что там изрекалось, немедленно попадало в статьи и колонки светских сплетен не только «Вэнити Фэйр», «Вог», «Харперс базар» или «Нью-Йоркер», но и еще в пятнадцать ежедневных газет, часть которых к тому же имели два выпуска, утренний и вечерний. Город воспринимал мнение «алгонкинов» как истину в последней инстанции. Идея их встреч была не оригинальна и уже много лет практиковалась в Европе в так называемых «литературных кафе». Но в Америке нечто подобное удалось реализовать впервые.

Среди отцов-основателей этой группы была только одна женщина: Дороти Паркер. Ее ненавидели больше всех, но и восхищались тоже больше всех. Это она могла написать в рецензии на новую бродвейскую премьеру: «Если ты не умеешь вязать, возьми с собой в театр хотя бы книгу». Как-то раз она отказалась упомянуть в своей статье автора драмы, «чтобы не оскорбить этого человека его же собственной фамилией». Именно у нее из всей этой братии было самое острое перо и она умела задеть своими резкими высказываниями больше всех. А если слов не хватало, она их придумывала. Вскоре в ежедневном лексиконе жителей города, причем не только так называемой элиты, благодаря Паркер появились такие определения, как *one night stand*, *high society* и *face lifting*. Именно она придумала их и ввела в обращение.

Летом, в последнюю неделю августа 1928 года Артур поручил Стэнли сделать для «Таймс» «непосредственный и решительный отчет» о встречах «алгонкинов». В устах Артура это означало, что не обязательно быть объективным. Группа уже давно перестала быть лишь кружком эксцентричных людей, теперь это была влиятельная организация, формирующая общественное мнение. И весьма независимая. А Артуру не нравились независимые организации, в особенности «слишком независимые». Вдобавок «алгонкины» явно игнорировали «Таймс» и продавали право на публикацию самых лакомых новостей другим газетам. Это особенно раздражало Артура.

Стэнли недавно поселился в Нью-Йорке и еще только начинал свою журналистскую карьеру. Это был один из его первых репортерских проектов для «Таймс». В тот жаркий полдень он с аппаратом в руке стоял у лифта в отеле «Алгонкин». Стоял скромно, в стороне от многочисленной группы зевак. Из лифта вышла женщина с собакой на поводке. Немного за тридцать, небольшого роста, очень изящная, темноглазая, с бледной кожей. Резкие духи, экстравагантная короткая стрижка и платье без корсета, слишком короткое для пуританской Америки. В этом была вся Дороти Паркер.

Она как всегда опоздала, хотя идти ей было ближе всех: она уже много месяцев жила в этом отеле. Встреча в ресторане давно началась, но это не имело значения. Все знали, что главное произойдет, когда к ним присоединится эта женщина. Дороти Паркер, бесспорный лидер нового типа женщин конца сумасшедших двадцатых. Провокационно независимая и демонстративно грешная. Приводившая в восхищение, обожаемая одними, вызывавшая ненависть и презрение других. Поэтесса, писательница, но прежде всего неукротимая бунтовщица. Всегда говорит то, что думает, курит, пьет, меняет любовников и неизменно пользуется успехом...

Ее собака неожиданно с громким лаем бросилась на Стэнли. Дороти подошла и, схватив его за руку, громко сказала:

— Вы, видимо, недавно вляпались в собачье говно. У моего пса аллергия на этот запах. В этом городе полно говна. В том числе и в прямом смысле слова. Но вместо того чтобы его убирать, все мусорщики рванули на Уолл-стрит покупать акции. Это плохо кончится. Вы так не считаете?

Он был так обескуражен случившимся, что не смог выдать ни слова.

— Но вообще-то от колен и выше вы пахнете превосходно, — сказала она шепотом, прильнув к его плечу. — Не наполните ли своим запахом наш лифт по пути наверх? После встречи? Мне очень нравится все, что

прилагается к этому запаху, — добавила она игриво.

И исчезла за красным плюшевым занавесом. А ее глупый пес до последней минуты истерически лаял и грозно рычал на Стэнли.

Из встречи, которая была главной целью его визита, он запомнил только, что Дороти Паркер была очень разговорчива и часто заказывала шотландский виски «Хэйг энд Хейг» без содовой. И с каждым выпитым стаканом говорила все громче, все чаще перебивая собеседника на полуслове. Когда ее собака под столом начала проявлять признаки беспокойства, Дороти демонстративно вытащила из сумочки таблетки со снотворным и дала ей одну. Вскоре собака успокоилась.

Стэнли никак не мог сосредоточиться на том, что она говорила. С одной стороны, он чувствовал себя униженным этим ее бесцеремонным комментарием насчет того, что он будто бы «вляпался в говно». Тем более что она не ошиблась. И прежде чем войти в зал, он тщательно отмыл ботинок в туалете. С другой стороны, этот неприятный инцидент выделил его из толпы. «Наверное, я должен быть благодарен нью-йоркским мусорщикам», — усмехался он про себя.

Паркер была права. В этом городе все меньше людей работает. Все как безумные покупают и продают акции. И что самое интересное, зарабатывают на этом. Дилер на бирже, знакомый Стэнли по Принстону, с иронией говорил, что даже чистильщик обуви, сидящий на Уолл-стрит, спросил его как-то раз, как лучше поступить: оставить акции «Дженерал электрик» или продать и купить акции «Юнайтед фаундерс», а может, даже «Вестингхаус». Это была одна из жизненно важных проблем нью-йоркского чистильщика обуви! В течение четырех лет акции непрерывно росли в цене. И все больше людей, даже не пытаясь найти работу, могли позволить себе новое радио, новую машину, а кое-кто даже новые дома. Это касалось как богатого владельца фирмы, так и его шофера. В обеденный перерыв мойщики окон нью-йоркских небоскребов не ленились спуститься вниз, чтобы ознакомиться с новыми курсами акций. Уолл-стрит стала излюбленным местом для прогулок, а по радио спекулировать акциями призывали уже не только экономисты, но и гадалки с астрологами. Все знали, что такое индекс Доу-Джонса, а одна семья из Калифорнии, когда у них родились двойняшки, назвала мальчика Доу-Джонсом, а девочку — Индекс. Стэнли был согласен с Паркер. Это не могло не кончиться плохо. Когда — вопрос времени. Сегодня он знает, что все закончилось даже хуже, чем можно было предположить. Во вторник, 29 октября 1929 года. С того «черного вторника» все изменилось...

Он спрашивал себя, что же имела в виду Дороти Паркер, упомянув о

лифте. Но не прошло и двух часов, как он «наполнил» сначала «их» лифт своим запахом, а еще через несколько минут — вагину Дороти Паркер. Своим пенисом. На разворошенной постели, усыпанной крошками хлеба, в номере с кондиционером на девятом этаже отеля «Алгонкин». Сидя на нем верхом, она кусала его губы и говорила что-то по-французски. Зазвонил телефон. Она взяла трубку. Не прерывая разговора, продолжала ритмично двигаться. Потом повернулась к нему спиной и продолжила скачку, напрягая покрасневшие ягодицы. Он вглядывался в эти красные пятна и видел явные следы ударов. В какой-то момент она прижала телефонную трубку к груди, издала короткий громкий стон и, приподнявшись, соскочила с кровати. Потом поднесла трубку к уху и продолжила разговор. Он лежал будто парализованный, не зная, что делать со своей эрекцией. Она подошла на минутку к холодильнику, стоявшему в углу комнаты, вынула оттуда белую мисочку с розоватой жидкой массой, напоминавшей йогурт, и тщательно размазала ее рукой по его пенису и мошонке. Он почувствовал холодок и запах клубники. Она все продолжала говорить по телефону. Наконец положила трубку на ночной столик, склонилась над ним, взяла его пенис в ладони и начала медленно слизывать с него розовую массу. Когда он был готов кончить, она закрыла ему рот ладонью. Потом снова взяла трубку, отошла к окну, открыла его настежь и продолжила разговор. Он торопливо оделся и вышел, не сказав ни слова...

Сам не зная почему, Стэнли еще несколько недель регулярно приходил в отель «Алгонкин», «наполнял своим запахом лифт», а потом, на очень короткое время, — вагину Дороти Паркер. Каждый раз, когда они поднимались вверх, у него теплилась надежда на более близкие отношения. Но после каждого оргазма, который он переживал в ее присутствии и никогда — вместе с ней, он испытывал что-то вроде презрения к самому себе. Ей не было до него дела, она с ним даже не разговаривала. Ее интересовали только его пенис и йогурты с различным вкусом и запахом. Иногда ему казалось, что цветы, которые он ей приносил, она даже не ставила в вазу, а выкидывала на помойку сразу после его ухода. Даже массажистка Нофи, эмигрантка из Индонезии, рожденная на Бали, которая жила теперь в Чайнатауне, на юге города, была ему тогда ближе, чем Дороти. На массаже он тоже всегда лежал обнаженным. И однажды — в тот период он как раз бывал у Паркер и страдал от этого, — когда он перевернулся на спину, Нофи спросила его: «Что с вами? Вы плачете?» Да, он плакал. Тогда он часто плакал. Особенно когда у него было время подумать о себе.

Если верить сексологам, в общении с Паркер он вел себя как мазохист.

Говорят, такое не так уж редко случается. Правда, по статистическим данным, чаще с женщинами, чем с мужчинами. У некоторых остаются после этого красные следы на ягодицах от ударов хлыста, ремня или руки. У других — от приливов крови к головному мозгу и наступающего после этого чувства стыда — краснеют лица. А некоторые переживают такие эпизоды без последствий.

Но однажды его мазохизм дошел до предела. В тот вечер в лифте гостиницы «Алгонкин», кроме него и Дороти Паркер, был еще один пассажир, мужчина. Примерно одного возраста со Стэнли. Они вошли в ее номер втроем. Но когда голая Дороти вышла из ванной, Стэнли выскочил вон...

Проезжая мимо отеля «Алгонкин» на 44-й стрит, он всегда вспоминал ее слова: «Вы, видимо, недавно вляпались в собачье говно. В этом городе полно говна». Теперь он точно знал, что августовским днем 1928 года он в течение нескольких часов умудрился вляпаться не в одну, а в две кучи говна. И смрад одной из них чувствовал и поныне...

Автомобиль резко сбросил скорость. Они остановились у КПП в городе Конц. Анна проснулась и села, потягиваясь. Сквозь опущенное боковое стекло просунул голову солдат-британец в каске. Едва он открыл рот, Стэнли сразу узнал его. Это был тот самый щербатый капрал, жевавший резинку, который на несколько часов задержал его и Сесиль на пути в Трир.

— Включи свет, приятель, — сказал он приказным тоном, обращаясь к водителю, — и выключи радио. Тарахтит как трактор.

Водитель щелкнул тумблером. Свет ослепил Стэнли. Анна, крепко прижимавшаяся к нему, задрожала.

— Я вижу ты, парень, гражданских катаешь, — сказал капрал, направив свет фонаря в лицо водителя.

Тот прищурился, протянул капралу пачку документов и начал спокойно объяснять ситуацию. Анна прижималась к Стэнли все крепче, ее ногти впивались ему в кожу. Капрал при свете фонаря внимательно изучал каждый документ.

— Не выходи из машины, Стэнли! Прошу тебя, не оставляй меня одну, — шептала Анна.

Водитель, видимо, в зеркало заднего вида заметил, что с ней творится. Его лицо сначала порозовело, а потом покраснело. Он спокойно выключил радио, взял автомат, лежавший на сиденье, и, выйдя наружу, махнул водителю следовавшей за ними машины. Когда она подъехала и

остановилась рядом, подошел к британскому капралу и сказал:

— У тебя, ебанный карлик, есть одна минута, чтобы поднять шлагбаум. Я предъявил тебе все необходимые документы. Настоящие, лучше быть не может. В соответствии с инструкциями. И если ты до сих пор не научился читать, то сейчас учиться уже поздно. Нас ждет сам Пэттон. И если он нас не дождет, ты пожалеешь, что родился на свет. Если вообще успеешь о чем-то пожалеть. Поднимай свой шлагбаум, потому что через минуту его тут вообще не будет! — добавил он, поднимая автомат.

Зарычал мотор второго автомобиля. Из-под его колес полетели брызги грязи. Несколько солдат выскочили из деревянной будки рядом с заграждениями. Они бросились на землю и приготовились стрелять. Анна отчаянно закричала и соскользнула с сиденья на пол, увлекая за собой Стэнли. Но тут они услышали крики и хлопок закрываемой двери. Рев мотора стал более спокойным и деловитым, и машина тронулась.

— Долбанные англичане. Этим козлам от скуки захотелось поиграть в войнушку, — спокойно сказал водитель, — но мы успеваем, теперь уже точно. Скажите фрейлейн, что ей нечего бояться. Мы успеем...

Военный аэродром в Финдельне, Люксембург, сразу после полуночи, суббота, 10 марта 1945 года

Они действительно успели. В начале первого ночи обе машины конвоя подъехали прямо к освещенному прожекторами самолету, стоявшему на взлетно-посадочной полосе. С виду самолет был точно такой же, на каком Стэнли прилетел в Намюр. Все вышли из машин. Анна никому не позволила дотронуться до скрипки. Стэнли взял с собой только фотоаппарат. Их чемоданы внесли в самолет шоферы.

В группе офицеров, выстроившихся в ряд у трапа, была Сесиль. Стэнли остановился. Сесиль подошла к нему, но, видя, что он собирается ее обнять, резко отстранилась, вытянулась по стойке «смирно» и повернула голову в сторону Анны.

— Я никогда вас не забуду, господин Бредфорд. И сыграю для вас. Даже если вы не сможете это услышать, — сказала Сесиль, передавая ему серый пакет, перевязанный веревкой.

И пока он подбирал слова, она уже вернулась в строй.

По тряскому трапу они торопливо поднялись в самолет, который внутри выглядел совсем не так, как тот, что доставил Стэнли в Намюр. Сразу за кабиной пилотов стояли четыре ряда просторных кожаных кресел. За плотной шторкой по обеим сторонам находились два ряда низких металлических сидений. На каждом лежал оранжевый спасательный жилет. Молодой человек в мундире стального цвета указал им на два места с левой стороны, сразу за шторкой. Они уселись. Через минуту по узкому проходу в хвостовую часть самолета потянулись солдаты. С окровавленными бинтами, на костылях, с руками на перевязи и туго забинтованными культиями. Поймав их сочувствующие взгляды, солдаты улыбались и проходили дальше.

Через несколько минут наступила тишина и погас свет. Они слышали нарастающий шум двигателей. Самолет бойко двинулся с места и через несколько сот метров взмыл в небо.

— Я совсем не боюсь, — прошептала Анна, — все будет хорошо, Стэнли. Я люблю тебя, люблю тебя, помни, что я люблю тебя... — повторяла она, прижимаясь к его плечу.

У него иногда возникало ощущение, что Анна говорит вовсе не с ним,

что в ситуациях крайнего эмоционального напряжения, волнения, страха или просто умиления она возвращается в какой-то свой, отдельный мир. Так было, когда она произнесла непонятную фразу про «одну скрипку, которая у нее уже есть», и так случилось минуту назад, когда она истерично признавалась ему в любви. Когда напряжение, страх или умиление проходили, она возвращалась в реальный мир.

Он посмотрел сквозь затуманенный иллюминатор. Огоньки внизу постепенно уменьшались, пока не исчезли под облаками. Он глубже вжался в металлическое сиденье. Шум моторов, который поначалу был грозным, спустя некоторое время стал мерным и даже успокаивающим, словно убеждая, что все идет нормально. Анна спала, положив голову ему на колени и время от времени что-то бормотала во сне. По-немецки, а иногда и по-английски. Но стоило ему коснуться ее волос, как она сразу же успокаивалась.

Он закрыл глаза, безуспешно пытаясь заснуть. Путешествие в охваченную войной Европу, которое он не планировал, не ожидал и куда Артур оправил его почти насильно, подходило к концу. Он возвращался домой, но не чувствовал, что выполнил свою миссию, что бы это слово ни означало. Все, что он здесь пережил, мелькало в памяти как обрывки мыслей, слов, предложений, встреч. Все, кого послала ему судьба или случай, казались прохожими, которых он теперь наверняка будет высматривать в толпе и по которым будет скучать. Англичанин, мадам Кальм, Сесиль, брат Мартин... Неоконченные разговоры, недосказанные мысли. Даже все прощания и расставания были незавершенными. Он возвращался домой, размышляя обо всем этом. Именно об этом. И вдруг осознал, что его жизнь — в том числе и до этого путешествия — была полна таких «незаконченных дел». Наверное, он обижал этим близких. Ему припомнились вдруг слова рядового Билла: «Подремли, Стэнли. А я пока отвезу тебя на войну». И он наконец заснул.

Непонятно, сколько прошло времени, когда его разбудил какой-то шум. В самолете включили полное освещение. Офицер в зеленом мундире энергично тряс спящую Анну за плечо. Она приподняла голову и села. Протерла глаза. Из-за спины офицера показался пожилой мужчина в генеральском мундире.

— Моя фамилия Пэттон. Имею ли я удовольствие говорить с госпожой... — он взглянул на листок бумаги, который протянул ему адъютант в зеленом мундире, — Анной Мартой Бляйбтрус? — спросил он, не без труда прочитав ее фамилию.

— Моя фамилия Бляйбтрой. А в чем дело? — спросила она испуганно.

— Вы из Дрездена?

— Да. Из Дрездена. Что-то не так? Стэнли, покажи господину военному наши документы! — Она нервно схватила Стэнли за руку.

— Я хочу перед вами извиниться. Это все из-за придурка Гарриса...

— За что вы передо мной извиняетесь? — прервала она его на полуслове.

— Ну, за Дрезден. Моя фамилия Пэттон.

— Вы тоже из Дрездена? На какой улице вы жили? — спросила она.

— Нет. Я не из Дрездена. Но я понимаю, что вам пришлось пережить.

— Вы не из Дрездена?! Нет?! Тогда вы никогда не поймете! Стэнли, черт побери, помоги мне! Что ему нужно?! Покажи ему документы! — твердила Анна в ужасе.

Он немедленно встал и вытянулся в струнку перед Пэттоном.

— Господин генерал, госпожа Бляйбтрой очень устала и, возможно, сейчас не в состоянии правильно выразить свои мысли по-английски. Простите ее, — сказал он.

— Конечно, конечно. — Пэттон покачал головой и удалился.

Анна успокоилась только когда генерал со своим адъютантом исчезли за шторкой, отделявшей их часть салона от той, где находились раненые солдаты.

— Кто это был, черт его подери?! — спросила она, понизив голос. — Он как две капли воды похож на одного противного контролера из семнадцатого трамвая. У меня было ощущение, будто меня поймали без билета, — добавила она с улыбкой.

— Это был Пэттон. Очень важный, сейчас, наверное, самый важный американский генерал. Это его армия заняла сначала Трир, а потом пол-Кельна.

— Блядь! Стэнли, неужели?! — спросила она с ужасом и недоверием в голосе. — Прости меня. Я не хотела. Я в последнее время боюсь всех людей в форме. Того контролера я тоже ужасно боялась.

Он громко засмеялся. Они летели в самолете Пэттона и только благодаря Пэттону. Присутствие немки на борту американского военного самолета вообще было чем-то абсурдным, и сам этот факт был, скорее всего, военной тайной. Полная неосведомленность Анны и это наивное, искреннее признание, скорее рассмешили, чем разозлили или удивили Стэнли. К тому же он невольно представил себе Пэттона в роли контролера, проверяющего билеты в немецком трамвае. Даже восклицание «блядь!» в устах хрупкой, нежной и беспомощной девушки с лицом ребенка было не вульгарным, а всего лишь забавным. Но через минуту он

вновь стал серьезен.

— Ты расскажешь мне сейчас о Дрездене? — спросил он, глядя ей в глаза.

— Нет.

— А когда-нибудь?

— Не знаю... — Она отвернулась. — Постараюсь. Ты же видел снимки. Что тут еще рассказывать?

— Много чего. Например, почему ты ездила на семнадцатом трамвае без билета? И многое другое, чего нет на снимках. Я бы очень хотел, чтобы ты рассказала мне о своем Дрездене, в том числе и довоенном. Почему ты ездила на семнадцатом зайцем? Я всегда считал, что уж кто-кто, а вы, немцы, — дисциплинированный народ.

— У меня тогда не было денег, приходилось экономить даже на билетах. Все карманные деньги, которые я получала от родителей, и все, что давала мне бабушка, я тратила на фотопленку, книги по фотоделу, бумагу, химические реактивы для фотолаборатории. И на белье. Я обожала красивое белье. Когда у меня вдруг стала стремительно расти грудь... мне пришлось изрядно потратиться, — добавила она с улыбкой и вдруг спросила: — У твоей женщины большой бюст?

Стэнли не ожидал такого вопроса. Так, ни с того ни с сего, открыто, прямо в лоб? Пытаясь скрыть смущение, он поспешно отвернулся и потянулся за сигаретами к карману пиджака, висевшего на спинке металлического сиденья. Закурил...

В Штатах такой вопрос мог задать только психоаналитик, да и то если бы отважился. В последнее время в Америке нет психиатров. Все они, поддавшись европейской моде, стали именовать себя «психоаналитиками». К психиатрам ходили чокнутые, а к психоаналитикам — всего лишь «люди с проблемами». Такие ассоциации полезны для обеих сторон. Хотя на самом деле лишь некоторые психиатры сумели стать настоящими психоаналитиками. Прочим так только казалось.

Да, такой вопрос задал бы не психиатр, а психоаналитик — пациенту, который провел на его кушетке несколько месяцев. И разумеется, уже уплатил ему несколько сот долларов гонорара. Если учесть, что еженедельная зарплата, к примеру, Лайзы не превышала пятидесяти долларов, визиты к психоаналитикам в конце двадцатых были неприличной роскошью. Американские, и в особенности нью-йоркские и калифорнийские психоаналитики принимали на веру все, что писал Фрейд, они просто бредили его идеями. Их кабинеты в пуританской Америке были средоточием «разнузданной и извращенной безнравственности, облеченной

в насквозь фальшивые, но элегантные одежды псевдонаучной медицины, которая имеет с наукой столько же общего, сколько заклинания и заговоры колдуна или шамана из племени Новой Гвинеи или Африки, находящегося, как и сам Фрейд, в наркотическом трансе». В подобном тоне писали о психоанализе почти все консервативные и особенно религиозные газеты Америки. Зигмунд Фрейд для редакторов этих газет был «еврейским извращенцем-кокаинистом, который сводит священное, дарованное Богом человеческое сознание к какому-то подсознанию, руководящему тупыми обезьяньими движениями тела». По их мнению, все, кто теряет время в кабинетах так называемых психоаналитиков, «соблазненных фрейдизмом», и тратят там свои заработанные тяжелым трудом деньги, — «попавшиеся в ловушку простак». Но появление еврея, извращенца и кокаиниста в одном лице, конечно, не случайность. И если о нем пишут американские религиозные газеты, значит, в эти кабинеты точно стоит пойти. Тем более что он, Стэнли, во всех подробностях знал о том, что там происходит, из материала, который подготовила по случаю юбилея Фрейда вездесущая Матильда из отдела культуры «Таймс». Кто мог сделать это лучше, чем она?

Старший редактор «Таймс», доктор философии Венского университета Матильда Ахтенштейн родилась 20 апреля 1889 года в Австрии, в городе Браунау на реке Инн. В тот же день и в том же городе, что и Адольф Гитлер. Поэтому свой день рождения, перейдя из иудаизма в католицизм, она перенесла на 25 декабря. Она была третьей дочерью еврейского лавочника и обедневшей австрийской аристократки. Их лавка и квартира над ней находились всего в нескольких улочках от дома Гитлера. Клара, мать Адольфа, скромная, печальная, измученная женщина с огромными блестящими глазами, часто покупала в их лавке молоко и хлеб. По воспоминаниям матери Матильды, Клара Гитлер, мать шестерых детей, почти постоянно была беременна. Иногда она приходила к ним с коляской, в которой лежал маленький Адольф. Алоиз Гитлер, отец Адольфа, толстый усатый сотрудник таможенного управления, тоже, хоть и редко, заходил в лавку, но только по вечерам. Он покупал — причем иногда в кредит — крепкую венгерскую водку и рыбу, которую отец Матильды ловил в реке Инн. Но в конце месяца всегда регулярно расплачивался. Так о семье Гитлеров рассказывала мать Матильды.

Моше Ахтенштейн, отец Матильды, скромный молчаливый лавочник из Браунау, мог изменить мировую историю, но не изменил. И до сих пор гордится этим. Однажды теплым майским вечером 1894 года Моше Ахтенштейн поехал на велосипеде ловить рыбу. Проезжая вдоль высокого берега реки Инн, он вдруг увидел, как в реку упал и начал тонуть маленький мальчик. Ни секунды не раздумывая, Моше остановился, бегом спустился к берегу и прыгнул в воду. Когда мальчик пришел в себя, оказалось, что его зовут Адольф Гитлер. Моше Ахтенштейн отвез его на раме велосипеда в родительский дом. Он и теперь помнит слезы в глазах Клары Гитлер, которая сначала плакала от благодарности, а потом умоляла Моше ничего не говорить ее мужу и не рассказывать никому в городке, ведь маленький Адольф ухитрился незаметно выйти из дома. Отец Матильды сохранил это в тайне, но не ото всех. Он рассказал об этом жене, которая не могла понять, почему он вернулся с рыбалки так рано, без рыбы, да еще и в мокрой одежде.

По мнению Матильды то, что ее отец оказался на берегу реки Инн именно в ту минуту в мае 1894 года, — чудовищная шутка экспериментирующего судьбами мира бога. Еврей спас жизнь Адольфу Гитлеру! Звучит как издевка — но это чистая правда.

Матильда должна была составить короткий репортаж, а написала о нью-йоркских психоаналитиках полкниги. Артур после долгих препирательств выделил ей три колонки в субботнем номере. Ему казалось, что если он даст больше места, все его враги завопят, что он снова сделал из «Нью-Йорк таймс» еврейский кибуц. Несмотря на болезненные для Матильды купюры, статья вызвала волну протестов. Главным образом потому, что в ней давалась высокая оценка психоанализу, особенно его самому противоречивому аспекту: сексуальности, которую он вскрывает и с которой пациенту, или, как выражаются психоаналитики, «клиенту» позволяет столкнуться лоб в лоб. Но именно эта часть материала Матильды показала Стэнли самой убедительной.

Во время связи с Дороти, если это вообще можно назвать связью, у него начались проблемы с эрекцией, которые не исчезли и когда он перестал с ней встречаться, и Стэнли понял, что нуждается в помощи. Он ходил к психоаналитику, точнее, к трем сразу не потому, что в конце двадцатых это было модно. Настолько модно, что представители нью-

йоркской элиты стали говорить, распространяя свое не совсем адекватное мнение, что психоаналитик «необходим человеку больше, чем завтрак». И это после «черного вторника» в октябре 1929 года, когда многим не хватало денег на этот самый завтрак! Конечно, люди нуждались в психоаналитике, но гораздо больше все-таки в хлебе насущном. Стэнли же «анализировал себя» не из-за того, что поддался веяниям моды: он прекрасно знал, как эти веяния создаются. Он приходил в три разных кабинета и ложился на кушетку, потому что действительно нуждался в помощи и у него были на это деньги. Он не мог справиться с последствиями истории с Дороти Паркер самостоятельно. Не помогал ни алкоголь, в зависимость от которого он постепенно впадал... ни, как выяснилось спустя несколько месяцев, психоанализ. А помогла — микстура от кашля...

«Чудесную микстуру» первым притащил в редакцию Мэтью из спортивной редакции. И это никого не удивило. Мэтью прикуривал одну сигарету от другой и кашлял беспрерывно — что вовсе не мешало ему пропагандировать в своих статьях и очерках здоровый образ жизни. Он интересовался всем, что могло бы помочь его проблемам с горлом, бронхами и легкими. И в один прекрасный день его заботливая жена Мэри купила в аптеке новую «фантастическую» микстуру от кашля. Ее уже давно рекламировали во всех, не только нью-йоркских, газетах. Героин. Из Европы. От солидной, старинной мюнхенской фирмы «Байер». Американские профессора, доктора медицины без устали писали о достоинствах этого лекарства. «Эффективное, необыкновенное, абсолютно безопасное», к тому же не требующее рецепта. Героин можно пить в виде микстуры, глотать в виде таблеток, а женщины могут его употреблять в виде влагалищных свечей. После приема героина кашель якобы проходил мгновенно. У мужчин, женщин и детей. Мэтью тоже перестал кашлять. Всех в редакции это чрезвычайно удивило, ведь хронические «сигаретные» приступы кашля были так же неотделимы от образа Мэтью, как и не менее «хронические» интрижки. Он изменял жене даже чаще, чем у него случались приступы. И тут вдруг Мэтью, хоть и не стал меньше курить, совершенно прекратил кашлять. Он признался Стэнли, что ему помогла микстура, и открыл приятелю еще одну особенность воздействия героина. Мало того что Мэтью перестал кашлять, он ощутил себя другим человеком. Сильным, привлекательным,

брутальным, избавившимся от комплексов.

Мэтью рассказал это Стэнли однажды вечером в «Коттон клубе», джазовом клубе на 142-й стрит в Гарлеме, после долгого и трудного дня в редакции. Был концерт Дюка Эллингтона. В антракте они сидели в баре и торопливо, дабы не опоздать на второе отделение, накачивались «Мэдденс № 1». Эта производимая подпольно водка, которую во времена сухого закона по-тихому наливали в кофейные чашки, была излюбленным напитком ловкого, хорошо известного в нью-йоркском криминальном мире владельца клуба Оуэна Мэддена, который, пользуясь захлестнувшей Америку волной интереса к джазу, привозил самых лучших музыкантов из южных штатов. Именно поэтому «Коттон клуб» быстро превратился из малоизвестного заведения в черном Гарлеме в культовое место Нью-Йорка. Здесь можно было послушать и увидеть Бенни Гудмена, Луи Армстронга, Томми Дорси, Флетчера Хендерсона, Чика Уэбба и, как в тот вечер, Дюка Эллингтона.

Стэнли часто приходил туда, но только ради музыки. Черной, волнующей, ошеломляющей афроамериканской музыки из Нового Орлеана. Но только музыка здесь была черной. И конечно же, музыканты. В «Коттон клубе» царил апартеид. Негры могли находиться на сцене, подавать напитки, мыть посуду и убирать туалеты. За столиками сидели исключительно белые. И поэтому Стэнли не любил тут бывать. И если бы не Мэтью, которому приспичило выпить и поболтать, он ни за что не покинул бы зал и не перешел в бар, где высокая стойка со столешницей черного дерева символично делила мир на две части: по одну сторону вертелись как белка в колесе черные бармены, а по другую сидели белые клиенты, раса господ. Рабство в Америке, может, и ушло в историю, но даже положивший ему конец покойный Авраам Линкольн до последних своих дней считал и публично утверждал, что «хотя негры никогда не будут равны белым как раса, они заслуживают свободу как граждане». Этого хватило, чтобы черные окрестили его «отцом Авраамом», сравнивая с библейским Моисеем, который привел свой народ в землю обетованную. «Коттон клуб» в нью-йоркском Гарлеме, и в особенности его бар, ничем эту землю не напоминал. За барной стойкой стояли «граждане», которые — хотя здесь в это трудно было поверить, — имели точно такие же права, как и Стэнли.

Они отличались от него лишь концентрацией пигмента кожи. Теоретически — как это ни абсурдно звучит — любой из них мог однажды, согласно свято чтимой американцами конституции, стать президентом Соединенных Штатов. Президент-негр?! Присягающий на верность конституции, положив руку на Библию у вашингтонского Капитолия, построенного руками черных рабов?! На площади, где еще сто лет тому назад неграми торговали как скотом?! Это казалось столь же невероятным, как то, что человек будет когда-нибудь гулять по Луне. Если бы Стэнли довелось родиться негром, он чувствовал бы себя в баре «Коттон клаба» униженным...

А вот Мэтью всего этого совершенно не замечал. По рождению, по происхождению и убеждениям он был чистой воды расистом. Он считал, что порядок возможен только тогда, когда «негры знают свое место, а женщины готовят еду, рожают детей и ублажают мужчин». Но кое в чем он неграм завидовал, а именно — их легендарно длинным пенисам. Мэтью считал, что негры «портят белых женщин: после секса с ними тем подавай член длиной в двадцать дюймов. А азиаткам — так вообще в двадцать пять». Именно от Мэтью, во время одной из бурных дискуссий об американском расизме, Стэнли узнал, что у азиаток «неглубокие вагины, поскольку у азиатов очень короткие члены. Эта зависимость обусловлена эволюцией, и особенно заметна на примере корейнок и корейцев. Поэтому хватит и половины палки, чтобы удовлетворить азиатку. Но только если ее еще не поимел черный. Такой подавай полторы». Расизм Мэтью был очень конкретным, хотя иногда довольно странным. Но в тот вечер в «Коттон клабе» они не говорили о расизме. Мэтью не терпелось рассказать Стэнли об удивительной немецкой микстуре от кашля.

— Один раз меня так сильно прихватило, что я думал, сейчас, бля, выкашляю гортань, бронхи, легкие и диафрагму прямо на письменный стол. Поэтому, недолго думая, я выпил всю бутылку, хотя в инструкции было написано, что максимальная доза — одна рюмка, — начал Мэтью. — И тут же улетел. Стэнли, ты не поверишь, но я действительно улетел. Мир вокруг стал таким дивным! Я почувствовал себя непобедимым римским гладиатором. Небольшая бутылка микстуры от кашля — и мне стало насрать на брюзгу Артура, наплевать, что «Янкис» проиграли четвертый раз подряд, и уж совсем пофигу стали все

эти трагедии на Уолл-стрит. Я купил цветов и поехал к Мэрилин. Трахнул ее. Потом еще раз. Конечно, идея с цветами оказалась не самой удачной, а с траханьем на бис — еще хуже. Когда ты являешься без предупреждения к любовнице с букетом цветов — первый раз в ее жизни, — и потом трахаешь ее два раза подряд, ей в голову приходят всякие глупости. И это плохо, Стэнли. Но меня так торкнула эта немецкая микстура, что я не понимал, что творю. А моя маленькая глупенькая Мэрилин решила, что цветы, необузданный секс и все такое означают, что я собираюсь предложить ей руку и сердце. Будто, как только выскочу из ее теплой кровати, я сломя голову побегу в муниципалитет разводиться с женой. А это не так. Один раз я там уже был. Больше не пойду. На самом деле я верный муж. Да что там говорить, Стэнли, ты сам знаешь. Скрепить любовь узами брака можно лишь однажды. Разве я не прав? А вечером, дома, случилось такое, чего никогда еще не было. Я испытал такое чувство вины перед Мэри, что после ужина помог ей вымыть посуду и уложить детей спать. Я так искренне раскаивался, что затащил ее в постель. И у меня была эрекция. Настоящая. Я бы сказал, что такая эрекция бывает за день до свадьбы. Мэри, кажется, удивилась даже больше, чем я, она ведь давно поняла, что у меня на нее не стоит. Но в ту ночь у меня на нее так стоял, что я был похож на отважного рыцаря с поднятым копьем. Стэнли, поверь мне, эти фрицы со своей микстуркой не прогадали...

Они дружили много лет, и именно Стэнли познакомил Мэтью с Мэри, а потом был свидетелем на свадьбе, так что он прекрасно знал, что Мэтью любит приврать, особенно о своих амурных похождениях, и потому слушал приятеля с недоверием. Однако информация о микстуре заставила его задуматься. Мэтью мало чем восхищался, кроме, конечно, американского футбола и женщин не старше двадцати пяти. Да, ему не откажешь в любви к напиткам. Изысканный контрабандный французский коньяк, русская или польская водка из дорогих магазинов Бруклина, натуральный абсент, купленный прямо из рук «художников» в Гринич Вилледж, — ими Мэтью мог восхищаться. Но никак не микстурой от кашля.

Поэтому в тот же вечер, возвращаясь из «Коттон клаба» домой, Стэнли остановился у ночного магазина «7-Илэвэн» возле

вокзала «Пенсильвания стейшн». Он точно знал, что там есть большой отдел с лекарствами. И нашел то, что искал, рядом с коричневыми флаконами витамина С, слабительными, средствами от поноса и разноцветными коробочками с таблетками от головной боли. Героин был представлен в виде микстуры в изящных стеклянных флаконах и таблеток в коробочках. Большие упаковки — с оптовой скидкой, стандартные — по нормальной цене, а также специальные, для детей, ведь как правило они не любят пить микстуру, — с розовой мерной ложечкой, которую держит в руке пластиковый Микки Маус из диснеевских мультиков. Стэнли купил две самые большие бутылки — чтобы хватило.

Мэтью оказался прав. Героин творил чудеса.

Стэнли убедился в этом той же ночью. Он покормил голодного Мефистофеля, сел за кухонный стол, закурил и налил себе полную рюмку густой жидкости. Выпил. Жидкость оказалась сладковатой, почти без запаха. Он вспомнил слова Мэтью: «Я выпил всю бутылку, хотя в инструкции было написано, что максимальная доза — одна рюмка». Стэнли тоже выпил всю бутылку. А потом достал из холодильника виски: ему захотелось чего-то покрепче.

«Улёт», как назвал это Мэтью, начался через пятнадцать минут. Виски после героина или героин до виски? Плюс три полных стакана «Мэдденс № 1», выпитые в «Коттон клабе». Получился даже не «улёт», — Стэнли снесло крышу. С ним происходило что-то необычное. Сначала ему было просто хорошо. Спокойно. Исчезла тоска по Дороти. Потом он перестал стыдиться своей импотенции. Да у него и не было никакой импотенции! Он сбросил брюки. Какая там, к черту, импотенция! Ее нет! Сейчас он мог бы трахать Дороти Паркер во все дырки снова и снова. Он больше ничего не боялся, ни одиночества, ни будущего. Стэнли прошел в спальню и разделся догола. Вытащил фотоаппарат и стал снимать себя. У него была полная эрекция! Такая, как и всегда! Ему хотелось это запечатлеть. Он вернулся во времена до встречи с Дороти Паркер. Он снова стал нормальным Стэнли Бредфордом. Сильным, свободным, непобедимым...

Проснулся он от холода. И обнаружил, что лежит, скорчившись, на полу у кровати. Рядом, на телефонной трубке, лежал Мефистофель и лизал ему руку. Он не помнил, звонил ли

той ночью Дороти. Если да, то, видимо, не сообщил ей ничего хорошего, потому что с тех пор она никогда ему не звонила. Он не мог вспомнить, когда дрожил, до телефонного разговора или вместо него. По пути на работу Стэнли остановился у того же магазина у вокзала «Пенсильвания стейшн» и купил восемь бутылок героина «про запас». Первую он осушил уже в машине, когда стоял в пробке недалеко от Таймс-сквер.

Трех «улётных» месяцев ему вполне хватило, чтобы уже совершенно не бояться Дороти Паркер. Зато теперь он боялся продавцов в «7-Илэвэн» у вокзала «Пенсильвания стейшн». Они встречали его как старого знакомого и доставали ему героин, прежде чем он успевал их об этом попросить. Однажды он собрался с духом и рассказал об этом психоаналитику. Выяснилось, что у того среди пациентов немало любителей героина. Он помогал им вернуться к прежней, «догероиновой» жизни. И в больницах уже полно было подобной публики. С тех пор как морфий стал недоступен, большинство морфинистов перешли на героин. Как и те, кто «улетал» от опиума, — в основном эмигранты из Китая, для которых опиум был примерно тем же самым, что облатка для католиков. Зачем же платить бешеные деньги за опиум, если бутылочка героина дешевле бутылки польского самогона из Бруклина? Тот факт, что героин можно купить без рецепта, по мнению психоаналитика, был ничем не оправдан. А то, что он продается в аптеках, являлось преступлением. Немецкая фирма «Байер» ловко надула весь мир, продавая героин как невинное средство от коклюша. И если в Германии, Австрии или Швейцарии люди очень дисциплинированы и мало кто выпьет всю бутылку, если в инструкции написано, что больше рюмки принимать нельзя, то в Америке это не работает. Американцы считают себя свободными — в первую очередь от инструкций. Они их как правило не читают. А когда вместе с кашлем избавляются от страхов и печалей, начинают пить по бутылке регулярно. Или действуют еще хитрее: чтобы добиться мгновенного эффекта, растворяют кристаллы героина в дистиллированной воде и вводят себе внутривенно...

Врач был абсолютно прав, и примерно в тридцать четвертом героин из аптек исчез. А несколько месяцев спустя пресса устроила шумиху, и его объявили вне закона. Однако фирма

«Байер» так и не признала героин опасным, быстро вызывающим зависимость наркотиком. Как и очарованные героином американские профессора и доктора наук, которые не отреклись от своих похвальных статей о «микстуре от кашля» из Германии. Никто не знает, куда подевались тонны героина после того, как он был запрещен. Но в Нью-Йорке, Сан-Франсиско, Лос-Анджелесе и Бостоне остались места, где еще можно было купить «Геро» (именно так было написано на упаковке). Америка очень медленно освобождалась от героина.

А вот Стэнли освободился от него на удивление быстро — по сравнению с другими пациентами. У него это заняло около девяти месяцев. Он стал немного больше курить, старался объезжать стороной вокзал «Пенсильвания стейшн», сбежал на три недели на Багамы, потом вернулся и долго не мог вновь войти в сумасшедший темп жизни Нью-Йорка. Артур заметил это и отправил его на полгода в «санаторий», как он это назвал. Такой жест трудно было не оценить.

Стэнли взял Мефистофеля и поехал к родителям. Мать не верила своему счастью. Стэнли с котом поселился в бывшей детской комнате. Целых полгода его будил аромат кофе и детства любимого творога с зеленым луком. Он вставал, натягивал голубой комбинезон и двенадцать часов подряд заливал бензин в баки автомобилей, тормозивших у бензоколонки отца. А по воскресеньям проявлял пленку в темном закутке у туалета. Когда Стэнли впервые вошел туда после стольких лет, всюду висела паутина, а по полу бегала стая мышей. Но зато отец сохранил там все в целости и сохранности, как и стояк во дворе — с деревянным щитом и металлическим кольцом, к которому была привязана сетка. Тот стояк, что помог Эндрю стать мастером баскетбола. Отец любил своих сыновей не меньше, чем мать, а может, даже сильнее. Но по-другому. Он не умел говорить о своей любви. Есть такие люди, которые не говорят о своей любви, и это вовсе не значит, что они не любят. Когда клиентов не было, Стэнли выходил к стояку и пытался попасть мячом в кольцо. Отец тоже приходил, садился на выгоревшую траву, курил сигарету за сигаретой и смотрел на него. Его старший сын просто бросал мяч, в то время как младший, Эндрю, попадал в кольцо. И хотя Стэнли никогда не отличался особенной меткостью, отец видел только удачные броски...

Однажды Стэнли позвонил брату — за неделю до дня рождения отца. Почти час они болтали ни о чем. Стэнли готов был вести пустую беседу сколько угодно, лишь бы — совершенно случайно — напомнить Эндрю про день рождения отца. А после того как ему удалось вставить в разговор эту фразу, он мог спокойно слушать рассказ о «больших успехах» маленького Эндрю и скучные экскурсии в проблемы физики. В последнее время брат мог говорить только о двух вещах: о своих успехах и о физике.

Настал день рождения. Отец, как обычно, надел свадебный костюм и с утра накачивался вонючим самогоном. Первый стакан он выпил еще до утреннего кофе, второй — вместе с утренним кофе, последний — уже после полуночи. Эндрю не позвонил. После того как отец с трудом встал с кресла у столика с телефонным аппаратом и нетвердой походкой вышел из салона, Стэнли довольно быстро напился. За час он дошел до той же кондиции, что и отец. Но все же не выдержал и, после очередного стакана, набрал номер Эндрю. Теперь он уже не помнит, сколько раз за ночь набирал этот номер и слушал короткие гудки. В промежутках между звонками он несколько раз связывался с телефонистками, но те утверждали, что с линией все в порядке: «Видимо, абонент ведет телефонный разговор или неправильно положил трубку». Стэнли хорошо знал брата — кто угодно мог неправильно положить телефонную трубку, только не безупречно аккуратный доктор Эндрю Бредфорд. Ему трудно было поверить, что Эндрю непрерывно разговаривал с кем-то с часу ночи до пяти утра. Стэнли никогда еще так не злился на брата, как в эти несколько часов. Но та ночь, несмотря на все его раздражение, бессилие и разочарование, была очень важна для Стэнли. Потому что, похоже, именно тогда он понял, что значит быть отцом...

В Нью-Йорк он вернулся, когда убедился, что может бросить пить. И хотя так и не бросил, все же научился себя контролировать. Для возвращения он специально выбрал воскресенье — ему хотелось побыть одному. Около полудня он пришел в пустую редакцию и сел за свой стол. В старой, прожженной сигаретами папке нашел заказы «на завтра», подготовленные Лайзой. Словно этих вырванных из его жизни девяти месяцев и не бывало. Минуту спустя зазвонил телефон.

— Стэнли, — узнал он голос Артура, — поезжай,

пожалуйста, прямо сейчас с фотоаппаратом на Уолл-стрит. Какой-то идиот хочет на ступенях биржи перерезать себе бритвой горло. Шестнадцатый в этом году. Сделай несколько снимков и попытайся разузнать, кто такой. Если нам повезет, то он зарежется, и у нас будет свежая новость. Предыдущий псих только грозился. Я не стал бы отправлять тебя туда именно сегодня, но этот тип уверяет, что он близкий родственник Чарлза Митчелла. Этот след особенно важен. Тогда у нас действительно будет сенсация, даже если он передумает сводить счеты с жизнью. Потенциальный самоубийца — родственник парня, который годами раздувал дурацкую эйфорию на Уолл-стрит, — это уже кое-что. Ты со мной согласен, Стэнли?

— Ясное дело, Артур, — ответил он, — уже еду. Это куда больше, чем кое-что. Я буду на Уолл-стрит через минуту.

— А как у тебя дела, Стэнли? Адриана очень хочет тебя видеть. Не забежишь к нам вечером? Она сказала, что ты в последнее время часто ей снился. Везет тебе, парень. Хотел бы я сниться женщинам, Стэнли. Даже если это будет только Адриана. А вот одной вредной бабе я совсем не хочу сниться... Паркер далеко. Тебе до нее не дозвониться. Но я знаю, где она. Скажи, что тебе не нужен номер ее телефона в Европе!

— Не нужен, Артур...

— Ты все еще помнишь эту Паркер? Теперь можешь спокойно соврать.

— Помню.

— Соврал?

— Да.

— Ну и хорошо, сынок. Иногда просто необходимо соврать. Ты вечером сам приедешь, или мне отправить за тобой машину?

— Я приеду сам.

— И градусов с собой не привезешь, Стэнли?

— Не привезу, Артур, не привезу...

— А что привезешь?

— Несколько сотен фотографий из Пенсильвании.

— Приезжай, Стэнли, мы с Адрианой ждем тебя...

Положив трубку, он окончательно поверил, что вернулся к нормальной жизни.

Он посмотрел на Анну, которая так и не дождалась его ответа. В

последнее время он довольно часто игнорировал задаваемые ему вопросы, надолго погружаясь в воспоминания. Это было наследственное — его дед Стэнли нередко только за ужином отвечал бабушке на вопрос, который она задала во время завтрака.

Анна спала, прижавшись щекой к спинке сиденья. Он посмотрел на нее. Ее растрепанные светлые волосы блестели в свете мигающей лампочки. Временами она прикусывала во сне губу и крепче сжимала веки. Он осторожно снял с нее ботинки, уложил на сиденье и заботливо укрыл пальто. Она что-то пробормотала сквозь сон, но не проснулась. Сунув руки под пальто, он взял в руки ее супни, желая согреть. Взглянул в темный иллюминатор. И вдруг опять вспомнил ее странный вопрос: «У твоей женщины большой бюст?»

А есть ли вообще та, кого он может назвать «своей» женщиной? Он никогда не предъявлял на женщин, с которыми встречался, особых прав. Они появлялись в его жизни со всем багажом своего прошлого — иногда всего на несколько дней или даже часов, — и он никогда не спрашивал их, с кем они проснулись утром и к кому после проведенной с ним ночи вернутся. В первый вечер они были ему за это благодарны. Но он и потом не задавал вопросов, и они начинали беспокоиться. Он заметил, что женщины, изменяющие своим мужчинам, — а изменяли почти все, — непременно хотели об этих мужчинах рассказывать. Или хотя бы упомянуть. Стэнли не мог понять, зачем им это. Чтобы как-то перед ним оправдаться? Доказать, что на самом деле они верные и будут такими и с ним? Что изменили своему мужчине только потому, что им не хватало любви, нежности, общения, прикосновений? Что устали от равнодушия, пренебрежения и холодности? Да, вероятно, именно это они имели в виду, рассказывая о своих мужчинах. Чтобы дать понять, чего именно ждут от него. А ему совершенно не хотелось слушать эти истории. К тому же, такие надежды его пугали. Он вовсе не собирался их обнадеживать! Он хотел этих женщин просто «иметь» — хотя не выносил этого слова — ненадолго, для свиданий, чтобы это был праздник. Он прекрасно знал, что когда начинается настоящая связь, ощущение праздника тонет — и часто безвозвратно — в рутине бытовых проблем, и отношения незаметно превращаются в привычку. Мужчины вместо цветов покупают продукты. Но чтобы это произошло, нужно... нужно любить. Он, как и все, хотел любить, однако еще не был готов к такой фазе отношений, а потому избегал настоящих связей.

Все изменилось, когда поздним вечером, во вторник, 13 февраля 1945 года его секретарша Лайза позвонила ему и с нескрываемым раздражением

сообщила, что «некая Дорис П. уже несколько минут ожидает его в приемной по какому-то делу».

Стала ли Дорис П. его женщиной? Их удивительная близость в ту первую и единственную ночь, необычное прощание перед поездкой в Европу, одно-единственное письмо от нее... Это было немало, но все равно не позволяло надеяться, что Дорис ждет его в Нью-Йорке. А ему так хотелось, чтобы она ждала...

Во всем салоне вдруг погас свет. Стэнли, пытаясь заснуть, вытянул ноги. Послышался шелест бумаги, Стэнли наклонился и поднял с пола сверток, который ему вручила на прощание Сесиль. В суматохе перед взлетом он совершенно забыл о нем. Зубами перегрыз веревку, развернул бумагу и увидел квадратную коробку. Под картонной крышкой он нашел граммофонную пластинку. На помятом конверте была черно-белая фотография пустого концертного зала с роялем в центре и надписью: «Sergej Rachmaninov, the best piano concerts». А из конверта торчал уголок белого шелкового платка. Стэнли достал его. На нем Сесиль нарисовала черной тушью нотный стан, заполненный нотами, и своим легким почерком подписала: «Prélude cis-mol». Платок хранил аромат ее духов. Под пластинкой в коробке лежали две завернутые в шерстяной шарф бутылки виски. Того самого, ирландского, что продается из-под прилавка в ночном магазинчике в Люксембурге по цене в десять раз дороже, чем в Нью-Йорке. «Пэдди Айриш виски». Стэнли явственно услышал голос Сесиль: «Я обежала все притоны этого города, чтобы найти его».

Он открутил желтую жестяную пробку с изображением листка клевера и приложился к горлышку, мысленно возвращаясь в Люксембург, в Трир... Его охватила грусть, а виски без Сесиль почему-то отдавал паленой контрабандной водкой. Во сне он слушал Рахманинова...

Его разбудил резкий толчок в плечо. Адъютант Пэттона вошел с фонариком в отсек и сообщил, что скоро дозаправка в Гандере. Значит, они уже пересекли Атлантику и летят над Канадой. Через минуту самолет попал в зону турбулентности. Анна схватила Стэнли за руку.

— Еще недолго, да? — спросила она испуганно.

— Что недолго?

— Я люблю тебя, помни...

Они приземлились. Сначала он услышал аплодисменты из хвостовой части, потом звук открываемых дверей. Через несколько минут салон самолета наполнил холодный воздух, пропахший парами бензина.

В канадском Гандере они провели около часа. Сразу после взлета, когда перестало трясти, Анна поднялась с сиденья и встала перед ним.

Растрепанные светлые волосы, огромные испуганные глаза, припухшие губы, облепившая большой бюст мокрая от пота блузка. Она прошла в сторону туалета в хвост, и там, как он и ожидал, сразу раздались аплодисменты и свист.

— В хвосте самолета, сидит на разбухших яйцах стадо самцов в период гона! — сказала она в ужасе, когда вернулась. — Американские солдаты все такие?

— Большинство, — ответил он с улыбкой. — Неудивительно, ведь они возвращаются домой после нескольких месяцев воздержания.

— А у тебя когда последний раз была женщина? — спросила она как бы невзначай, вытаскивая из-за пояса юбки зеленые банкноты. — Представляешь, они тянули ко мне руки и совали деньги. Вот чокнутые... Этого хватит, чтобы купить хорошего вина в Нью-Йорке? — спросила она, бросая купюры ему на колени.

— погоди, я посчитаю, — ответил он. — За один выход ты получила сто двадцать долларов, то есть почти четыре недельные зарплаты городской служащей! На эти деньги ты сможешь купить себе роскошное белье на Пятой авеню. Недурно!

— А сколько нужно на новую «Лейку»? Вроде той, что у тебя? — спросила она возбужденно.

— На такую, как у меня? По нынешним ценам, примерно в десять, максимум в двадцать раз больше. От десяти до двенадцати месячных зарплат, — ответил он с улыбкой.

— Как ты думаешь, если я сниму блузку и лифчик и еще раз схожу пописать, нужная сумма наберется?

— Ясное дело! Конечно! — расхохотался он, уверенный, что она шутит.

Но тут произошло нечто неожиданное. Анна сначала стянула блузку, потом медленно расстегнула лифчик, сняла и бросила ему на колени. Она стояла перед ним полуголая.

— Ну я пошла, — сказала она, прикуривая сигарету.

Он вскочил и схватил ее за плечо, пытаясь остановить.

— Аня, я пошутил! Пожалуйста, не делай этого! — воскликнул он.

— Я тоже пошутила, — ответила она.

Он усадил ее и накрыл ее плечи пальто. Сел рядом. Она взяла его руку и прижала к своей груди. Он чувствовал, как у нее бешено стучит сердце. И вовсе не был уверен, что она шутила. Анна Марта Бляйбтрой непредсказуема. В особенности когда чего-то очень хочет. Таких женщин он еще не встречал...

Они приземлились. Он узнал знакомый аэропорт на Лонг-Айленде. Именно отсюда он отправился в Европу. Они вышли из самолета последними. Анна спустилась по трапу и остановилась, прижимая к груди футляр со скрипкой и рассматривая окрестности.

— Мы едем в Нью-Йорк, Стэнли? Да? — спросила она испуганно.

— Да. Это недалеко.

— Это правда, Стэнли?! И никто тебя у меня теперь не отберет?

— Никто.

Сначала уехала колонна автомобилей, сопровождавшая машину Пэттона, потом желтый автобус с ранеными солдатами. Они остались одни. Несмотря на сильный ветер с океана, было по-весеннему тепло. Двое солдат выгружали из люка на бетон аэродрома багаж. Стэнли взял их чемоданы и поставил у трапа. Вскоре подъехал военный джип.

— Бредфорд и Бляйбтрук? — крикнул водитель.

— Нет!

— А кто?

— Бредфорд и Бляйбтрой, — ответил Стэнли, тщательно выговаривая фамилию Анны.

Водитель вышел из машины, отдал честь и, передав ему запечатанный сургучом конверт, положил чемоданы в багажник. Стэнли подал Анне знак садиться в салон. На аэродроме их документы никто не проверял.

— Поезжайте сначала в Бруклин, в район Флэтбуш-авеню, а потом на Манхэттен. Я покажу где остановиться, — скомандовал Стэнли водителю и стал читать подробную инструкцию, подготовленную для него Лайзой.

Она писала, что Артур снял для Анны меблированные комнаты на одной из улочек неподалеку от Флэтбуш-авеню, в самом центре Бруклина. Хозяйка дома — старая приятельница Адрианы, которая «сделает все, чтобы мисс Анне Марте Бляйбтрой там было хорошо». Квартплата за шесть месяцев уже переведена, ее будут постепенно вычитать из зарплаты мисс Бляйбтрой, которая с сегодняшнего дня зачислена «практиканткой в штат издательства газеты “Нью-Йорк таймс”». Поскольку — далее следовала приведенная Лайзой слово в слово цитата из письма Артура, — «эти мудаки из иммиграционной комиссии уверяют, что мисс Бляйбтрой якобы не имеет права на трудоустройство на территории Соединенных Штатов», ее зарплата будет временно перечисляться на счет Стэнли. Далее, продолжая цитировать Артура, Лайза писала: «Эта унижительная для мисс Бляйбтрой ситуация будет пересмотрена, когда к переговорам с иммиграционной комиссией подключится юрист издательства, что возможно, к сожалению, только после того, как в нашем распоряжении

окажутся подлинные личные документы мисс Бляйбтрой». К письму Лайзы были подколоты скрепкой два чека. Один, на сумму в четыреста долларов, выписала на фамилию Анны Адриана, второй, на десять долларов, — Лайза. Стэнли был тронут — особенно этим чеком на десять долларов от Лайзы.

— Что там, Стэнли? — встревожено спросила Анна. — Случилось что-то плохое?

— Нет! Совсем наоборот. Что-то хорошее, Анна, — ответил он, прижимая ее к себе.

Всю дорогу она, приклеившись к окну автомобиля, сжимала его руку. Через час они добрались до Бруклина и с Тиллари-стрит свернули налево, на Флэтбуш-авеню. Сразу за перекрестком был маленький продовольственный магазин, в котором Стэнли, оказавшись в Бруклине, покупал апельсины и бананы. Он когда-то делал репортаж о его хозяине, пуэрториканце Луисе, которому иммиграционная комиссия отказала в продлении вида на жительство: тот якобы укрывал свои доходы, что «грозило Соединенным Штатам огромными расходами, связанными с содержанием за счет американских налогоплательщиков очередного нелегального иммигранта». Это была неправда. Луис ничего не утаивал. Просто после «черного вторника» людям не хватало денег, и они постепенно перестали закупать у него продукты, предпочитая делать это в больших и более дешевых магазинах, таких, например, как «Ки Фуд». У них просто не было выбора. Продовольственные талоны, которые выдавали самым бедным, — а таковые вскоре составили большинство, — принимали только в больших магазинах. Так решили коррумпированные муниципальные чиновники. Маленькие магазины не имели права принимать талоны. Решение об экстрадиции семьи Луиса было отозвано только после публикации материала в «Таймс» и долгих юридических препирательств с иммиграционной комиссией. С тех пор раз в неделю Луис присылал ящик бананов и апельсинов на адрес «Таймс». В его магазинчике были лучшие в городе апельсины и бананы. Свежие, прямиком с Кубы.

Стэнли вдруг понял, что давно не ел фруктов. Кто бы мог подумать, что обычные апельсины и бананы вдруг станут представляться кому-либо несбыточной мечтой. Он попросил водителя на минуту остановиться у магазина и вернулся в машину с бумажным пакетом, полным фруктов. Разорвал его и высыпал содержимое Анне на колени. Салон наполнился запахом апельсинов. Только теперь Стэнли почувствовал, что вернулся с войны...

Нью-Йорк, Бруклин, воскресенье, раннее утро, 11 марта 1945 года

Анна проснулась, когда за окном светало. Посмотрела на часы. В Дрездене как раз миновал воскресный полдень. И в Кенигсдорфе близ Кельна тоже. Сейчас она сидела бы на кухне над ведром и чистила картошку, время от времени от скуки бросая очистки в лежащую у печки Стопку и стараясь не слышать треска радиоприемника, из которого круглосуточно звучали речи Геббельса и Гитлера под аккомпанемент проклятий тетки Аннелизе. Еще позавчера она воспринимала такую жизнь как наказание за грехи. А сейчас ей вдруг захотелось вернуться на кухню в тихий теткин дом.

Она встала и на цыпочках подошла к окну. Села на подоконник, закурила. На здании, стоявшем у входа в парк, мигала огромная неоновая реклама. Анна осторожно открыла окно и услышала звонкие птичьи трели. Она не помнила, когда в последний раз слышала птиц. Во время войны ведь и они погибают. И неона в Германии нет. Это все походило на прекрасный сон, и ей не хотелось просыпаться. Она закрыла глаза и мысленно вернулась в Дрезден, в Анненкирхе. Это было совсем недавно. Еще и месяца не прошло. Она приложила руку к груди. Сердце билось. Закусила губы. Сильнее. Еще сильнее. И только ощутив соленый привкус крови, открыла глаза. Она действительно жива. Это не сон...

Она оглядела комнату. Просторную, благоухающую лавандой. Маленькие льняные подушечки, наполненные высушенными стеблями и цветами лаванды, лежали повсюду. Больше всего их было в ванной, оклеенной бирюзовыми обоями. Унитаз и ванна на этом фоне выглядели ослепительно белыми. Как и фаянсовое биде, которое само по себе, в этой скромной обстановке, казалось роскошью. Стэнли вчера эта роскошь здорово позабавила.

Анна перевела взгляд на большой шкаф у входа в крошечное помещение, похожее на клетку, где были чугунная раковина, стеллаж с розовой занавеской и газовая плита. У нее была единственная комната с кухней во всем трехэтажном здании! Астрид, владелица дома, не уставала это подчеркивать, когда перечисляла Анне все достоинства ее «нового гнездышка»...

Астрид Вайштейнбергер, женщина лет шестидесяти, встретила их вчера вечером на ступенях своего типично американского дома, который в Германии сошел бы в лучшем случае за дачу. Она была в черном платье с глубоким декольте, а на шее у нее красовалось бриллиантовое кольцо. Она представилась как подруга Адрианы, жены Артура, издателя газеты «Нью-Йорк таймс», не называя их фамилии. Видимо, сам факт, что Артур «издатель», с ее точки зрения, должен был произвести на будущую жилищку впечатление. И тут же добавила, повысив голос: «Я еврейка, и моя семья в Европе сильно пострадала от немцев. Вы ведь немка, не так ли?». Стэнли взял Анну за руку.

— Пойдем отсюда, — шепнул он ей на ухо, — ты не обязана это слушать! Переночуешь у меня.

Анна застыла с протянутой для приветствия рукой и молчала. Стэнли встал между нею и Астрид Вайштайнбергер и сказал:

— Насколько мне известно, издатель «Нью-Йорк таймс» перевел на ваш счет квартплату за шесть месяцев проживания гражданки Германии госпожи Бляйбтрой. Нас не интересует, точнее, меня не интересует, ваша национальность. Так же, как и судьба ваших родственников в Европе. Короче говоря, мне на это наплевать. Мне это глубоко безразлично, госпожа Вайштайнбергер. Я сейчас позвоню издателю «Нью-Йорк таймс» и проинформирую его о том, что контракт с вами из-за вашего поведения аннулирован. Я также потребую, чтобы вы вернули деньги с процентами. И за наше такси на Манхэттен заплатите тоже вы. А еще — за моральный ущерб, нанесенный вашими словами мисс Бляйбтрой.

Астрид Вайштайнбергер спокойно, с непроницаемым выражением лица выслушала Стэнли. Потом обошла его и, обращаясь к Анне, сказала по-немецки, без малейшего акцента:

— Знаете, мой отец родился в Ульме. А младший брат ходил в одну школу с Эйнштейном. Вы знаете, кто такой Эйнштейн? Это очень умный немец. Хоть и еврей. Не слушайте этого журналистишку. Все они умеют красиво говорить. А пишут еще лучше, да только всё глупости. Пусть звонит хоть самому черту. А у меня вам будет хорошо. Я приготовила для вас комнату с кухней. Вам нравится этот парень? Правда?! Какой-то он тощий, лысоватый. Староват для вас...

С этими словами Астрид подала Анне руку и повела вверх по лестнице, будто Стэнли и тут вообще и не было.

— Успокойся, — сказала Анна, повернувшись к нему. — Госпожа Вайштайнбергер меня вовсе не обидела. Иди сюда...

Стэнли послушно подошел, и она нежно поцеловала его в лоб.

— Ты совсем не лысый, — прошептала она ему на ухо.

Они поднялись на третий этаж и прошли через узкий холл к большому горшку с фикусом, стоявшему на полу у окна. Астрид Вайштейнбергер открыла дверь и с гордым видом пригласила их в комнату. С этой минуты она говорила только по-немецки, продолжая делать вид, будто не замечает Стэнли.

— Это моя самая любимая комната. С кухней! Только для вас. Вам здесь будет хорошо, фрейлейн. Но у нас есть несколько условий...

Она подняла вверх руку и стала отгибать пальцы.

— Первое: никакого радио после десяти тридцати вечера. Второе: выключать свет, выходя из комнаты. Я не собираюсь платить лишнее этим жуликам из «Кон Эдисон»⁷. Третье и последнее, но самое важное: не курить в постели! Кузен моего последнего, увы, покойного мужа, заснул с сигаретой, сгорел сам и, что гораздо хуже, спалил весь дом. Он был поляк. И пьяница. Вам все понятно, фрейлейн?

Анне все было понятно, в отличие от Стэнли. Но после короткого разговора за закрытой дверью в ванной, у биде, он сдался, согласившись, что хотя госпожа Астрид Вайштейнбергер чересчур эмоционально высказалась в адрес немцев, Анне здесь действительно будет хорошо. В заключение он сказал:

— Я приеду в понедельник утром, часов в десять, и отвезу в редакцию. Если что, звони, в любое время. Если тебе будет здесь плохо или кто-нибудь обидит тебя, или просто заскучаешь по Стопке, звони, — повторил он, оторвал кусок туалетной бумаги и записал на нем номер телефона.

— Стэнли, ты никогда не поймешь, что для меня сделал! Я сама еще это не до конца понимаю. А ты не поймешь никогда. Знаешь, Стэнли, когда-нибудь я сфотографирую благодарность. Воплощение благодарности. Я не смогу тебе это сейчас объяснить... Но когда-нибудь у меня получится, слышишь?! Благодарность! Только для тебя... — сказала Анна и прижалась к нему.

Он ушел вместе с Астрид Вайштейнбергер, и Анна осталась одна. Она лежала на кровати, ела апельсины и плакала...

В постель Анна вернулась с зажженной сигаретой, нарушив условие Астрид Вайштейнбергер. Заснуть она не могла. Вслушивалась в звуки незнакомого города, но, кроме шума воды в трубах и чириканья птиц за окнами, ничего не слышала. Нью-Йорк ассоциировался у нее с чем угодно, только не с поющими трубами и чириканьем птиц. Ей хотелось поторопить время, и она с трудом дождалась, когда в комнате стало светло. Завязала

шнурки, набросила пальто, вынула из чемодана фотоаппарат и вышла из комнаты. Осторожно, почти на цыпочках, спустилась по лестнице, замирая при каждом скрипе ступенек. Ей не хотелось сейчас никого видеть и ни с кем говорить — она решила просто выбежать на улицу и побыть с этим городом с глазу на глаз. Осторожно повернув в замке ключ, Анна спустилась по узким ступеням на тротуар. И вдруг услышала вдалеке звук сирены.

Она бежала по улице, а звук сирены становился все громче. Она бежала все быстрее, крепко сжимая руку Лукаса. Ее мать поторапливала их. Они бежали со всех ног. Потом Лукас упал, и она немного протащила его по тротуару, а когда остановилась и подняла с земли, увидела, что форма гитлерюгенда, в которую он одет, запылилась, а сам он улыбается. «Я больше не упаду», — сказал он виновато. И они побежали дальше...

— Вы что, с ума спятили?! — услышала она громкий крик. — Вам жить надоело?! Бросилась прямо под колеса...

Молодой мужчина опустился возле нее на одно колено и шарил по асфальту в поисках своих очков.

— Что же мне теперь делать?! — говорил он скорее себе, чем ей. — Без очков я ничего не вижу. Даже лица вашего разглядеть не могу. С вами все в порядке? Как вы себя чувствуете? Может, вызвать... — И вдруг громко рассмеялся. — Нет, пожалуй, «скорую помощь» я вызывать не буду. Скажите что-нибудь! Вы в порядке?

— Простите меня. Я думала, это самолеты. Я бежала с Лукасом в бомбоубежище, — сказала тихо Анна.

— Куда вы бежали?! Какие самолеты, какой Лукас? Что вы мне рассказываете? Вы были одна. Бежали по тротуару. И вдруг выбежали на перекресток, прямо под колеса кареты «скорой помощи». Я перехватил вас в последний момент. Может, все же позвать врача?

— Нет! Пожалуйста, не надо. Все хорошо. Спасибо вам и извините. Все в порядке. Я заплачу за ремонт ваших очков. Все-хорошо-прошу-прощения-спасибо, — в одно слово выпалила Анна.

— Тут уже нечего ремонтировать, — прервал он ее, показывая свои разбитые очки с треснувшей оправой. — Впрочем, они были уже старые и слабые. Не берите в голову. Вставайте. Если, конечно, можете, — сказал он и подал ей руку.

Она поднялась и стала отряхивать пальто.

— Еще раз прошу простить. Не знаю, что это на меня нашло.

— Вы живете где-то поблизости? Я провожу вас. Куда вам?

— Точно не знаю, где-то здесь, неподалеку. Из моего окна видны платаны и клены в большом парке. И еще большая неоновая реклама. Если ехать туда на машине и сворачивать с Флэтбуш-авеню, то рядом находится больница.

— Я понял. Этот парк называется «Парейд Граундз». Вы, должно быть, живете на Вудруфф-авеню или на Крук-авеню. Это недалеко от моего дома. Я живу на Вудруфф. И тоже вижу из окна этот парк. «Скорая помощь» наверняка возвращалась в больницу, которую вы проезжали. Давно здесь живете? Я вас здесь раньше не встречал.

— Со вчерашнего вечера.

— Вот оно что! Теперь понятно. А где вы жили раньше, можно спросить?

— Последние несколько дней недалеко от Кельна, но вообще-то я из Дрездена.

— Где, извините?! — воскликнул он удивленно.

— В Дрездене. В Германии. Я немка...

— В том самом Дрездене?!

— Что вы имеете в виду?

— Ну, в том... в том, которого нет?!

— Как это нет?!

— Последние несколько дней, — задумчиво произнес он, проигнорировав ее вопрос. — Вы не ошибаетесь? Извините, вы были там в феврале, когда...

— Да, была, — прервала она. — Я заплачу вам за очки. Когда я вас встречу или когда вы меня встретите в следующий раз

— Меня зовут Натан. Забудьте об очках. Я все равно хотел купить новые. Это ерунда. Мелочь. Как вас зовут?

— Анна. Здесь рядом есть церковь?

— Церковь? Здесь? — ответил он удивленно. — Здесь множество церквей. Какая вам нужна? То есть какой религии?

— Все равно. Дело не в религии. Я просто хочу пойти в церковь.

— Тогда вы наверняка наткнетесь на какую-нибудь из них. В этом квартале больше церквей, чем школ, но сейчас они еще закрыты. Откроются часам к десяти.

— Простите, мне нужно сейчас побыть одной. Когда-нибудь я вам это объясню.

— Конечно, конечно, — кивнул он, — в этом городе все любят одиночество, а даже если и не любят, все равно одиноки...

Она торопливо пошла прочь. Потом остановилась и оглянулась. Мужчина все еще стоял там, где она его оставила.

Домой она вернулась уже в сумерках, весь день без определенной цели пробродив по окрестностям. Она не была уверена, но, как ей показалось, из Бруклина она вышла только один раз. Добралась до огромного моста, пешком его пересекла и оказалась на Манхэттене. Она была единственной, кто шел по мосту пешком. Мчавшиеся мимо автомобили сигналили ей. Пройдя через, казалось, бесконечный, мост, она присела на деревянную скамейку, чтобы перевести дух, прямо перед собой увидела надпись «Франкфурт-стрит» и улыбнулась.

Анна вернулась в Бруклин по противоположной стороне моста, глядя на воду. Она не знала, река ли это, или уже океанская бухта, и просто шла на север. Потом ненадолго углублялась в боковые улочки, проходя мимо невысоких, похожих друг на друга, тесно стоявших домов и магазинчиков с выставленными на тротуар лотками с товаром. На дверях и витринах были итальянские, греческие, русские, испанские, арабские, польские, еврейские надписи. Некоторые языки она даже не могла распознать. В какой-то момент остались в основном польские. Как на старых, коричневатых, выцветших фотографиях из альбома бабушки Марты. Она решила не возвращаться с этой улицы на набережную и вскоре наткнулась на замусоренную станцию метро. На двух перекрещенных табличках прочитала: «Гринпойнт авеню», «Манхэттен авеню». Из метро вывалила толпа людей. Она внимательно вглядывалась в лица: женщины в разноцветных платках, мужчины с усами, в синих беретах или шляпах, дети в слишком длинных, до щиколоток, пальто, словно пристегнутые короткими поводками к матерям. Совсем как на бабушкиных фотографиях из польского Оппельна! Она смешалась с толпой и шла так до самых ступеней, ведущих в церковь, но не вошла. Ей хотелось сегодня попасть в церковь, но там не должно было быть ни души...

От церкви на Гринпойнт по лабиринту одинаковых улочек она спустилась к какому-то водоему. Это не могла быть река, скорее море или огромное озеро. От усталости она не чувствовала ног. Села на бетонный парапет. Дул сильный ветер, она подняла ворот пальто и, укрываясь от ветра, закурила. От маленькой пристани как раз отчаливал паром с огромной надписью на борту «Jamaica Bay Ferry Service».

Последний раз она плавала на корабле в конце июля тридцать седьмого года, когда отдыхала с родителями на острове Силт. Кто мог знать, что тот незабываемый вечер на пляже изменит всю ее жизнь. Впрочем, иногда ей кажется, что отец об этом знал.

Паром удалялся, пока не исчез за горизонтом. Анна бросила окурок в воду, прижала к себе фотоаппарат и вернулась на улицу. Начинало темнеть. Ей хотелось вернуться домой до заката. И хотя она торопилась, когда до нее доносилась сирена «скорой помощи», Анна останавливалась, отходила к стене или ближайшему дереву, закрывала глаза и затыкала пальцами уши.

Часа через два она добралась до Флэтбуш авеню. Улицу ярко освещали мигающие неоновые огни и свет фар. По обе стороны мостовой по тротуарам двигались шумные толпы людей. Когда на Вудруфф авеню она увидела здание больницы, свернула налево. Пройдя несколько сот метров, почувствовала, что шума здесь почти не слышно. Тишину нарушали лишь проезжавшие изредка автомобили. Она узнала очертания платанов и кленов в парке.

И вдруг сообразила, что, уходя утром, не взяла ключ от входных дверей. Постучалась. На пороге появилась Астрид Вайштейнбергер в черном шелковом халате, с длинной сигаретой в зубах и бокалом вина в руке.

— А вот и ты, детка! Экскурсия по городу, да? — спросила она. — Тут тебя уже все ищут. Редактор этот звонил уже, наверное, тысячу раз. И моя подруга Адриана тоже, — говорила она, не вынимая сигареты изо рта. — А примерно час тому назад приходил один небритый еврей. Назвался Натаном. Очень странный. Расспрашивал о тебе. Принес какой-то документ с твоей фотографией. Водительские права, что ли? Якобы нашел утром в кустах. Кто в наше время роется в кустах?! Наверное, это извращенец. Будь с ним осторожна! Очень странный — и почти слепой. Держись от него подальше...

Анна пошарила в карманах пальто. Паспорт, который ей вернул в самолете Стэнли! Должно быть, он выпал, когда тот человек толкнул ее на улице.

— Он оставил документ? — спросила она испуганно.

— Нет, не захотел. Очень недоверчивый. Сказал, придет завтра. Ты мне расскажешь об этих кустах, малышка?

— Как-нибудь в другой раз, госпожа Вайштейнбергер. Сегодня я очень устала. В другой раз...

— Как угодно, фрейлейн, — злобно ответила та по-немецки.

Анна поспешно поднялась вверх по лестнице. Вошла в комнату, сбросила пальто, легла на кровать и мгновенно заснула.

Нью-Йорк, Бруклин, утро, понедельник, 12 марта 1945 года

Около восьми утра Анна уже стояла у окна, прикуривая одну сигарету от другой, и высматривала Стэнли. Она хотела быть совершенно готова к моменту, когда он за ней придет. Ей нужно было выглядеть исключительно. Она вывалила на пол содержимое чемодана и то и дело подходила в ванной к зеркалу. Единственное, что соответствовало исключительности этого дня, было ее платье. То, которое было на ней в «склепе» в последний день. Но зато ни комбинации, ни белья, ни белой сумочки, ни туфель у нее не было. У нее не было ничего! Поэтому, когда Стэнли наконец посигналил около десяти часов у ее дома, она сидела в этом платье на кровати и курила очередную сигарету, чувствуя себя почти голой и изо всех сил стараясь не расплакаться. Стэнли быстро вошел в комнату, и она в ужасе вскочила.

— Стэнли, извини! Мне так хотелось сегодня хорошо выглядеть! Это такой особенный день, твой и мой, но у меня нет ничего... подходящего. Только это платье.

Он минуту смотрел на нее, потом медленно подошел и сказал:

— Помнишь, в Кенигсдорфе ты подошла ко мне со стаканом чая? Помнишь? Я тогда прижался головой к твоему животу. Ты даже не представляешь, насколько ты сексуальна. А теперь обуйся и накинь пальто. Мы подыщем тебе что-нибудь в городе. Иначе Мэтью... Я еще не рассказывал тебе про Мэтью? Ладно, расскажу в другой раз. Впрочем, ты познакомишься с ним сегодня.

По пути, в машине, он «объяснял» ей город. Не рассказывал, а именно объяснял. Где находятся нужные ей станции метро, где дорого, а где дешево, какие музеи стоит посмотреть, чем Бруклин отличается от Манхэттена, а Бронкс от Гарлема. Она сидела, вглядываясь в мелькающие за окном виды, и почти не слушала его. На Манхэттенском мосту они попали в ужасную пробку. Анна еще никогда не видела столько автомобилей в одном месте. Берлин, где она была на экскурсии еще в школьные времена, по сравнению с Нью-Йорком казался маленькой деревней.

Они остановились напротив огромных витрин магазина на Пятой авеню. Анна уже слышала название этой улицы. Продавщица подбежала к

ним, как только они вошли.

— Нам нужно приобрести для этой молодой дамы, — Стэнли кивнул в сторону Анны, — соответствующие... ну, соответствующее... Анна, что нам нужно? Объясни продавцу, пожалуйста.

Она забыла, как будет по-английски «комбинация». Попыталась объяснить, но безрезультатно. Тогда, убедившись, что все ее усилия напрасны, на глазах у изумленной продавщицы просто сняла пальто. Стояла перед ней без лифчика, без трусов, в почти прозрачном платье и мужских ботинках. Продавщица потеряла дар речи. Стэнли хмыкнул, закурил и, поспешно отойдя, уселся на кожаный диван у входа.

— Мне нужно что-то под это платье, — обратилась она к продавщице, молитвенно сложив руки.

Девушка окинула взглядом магазин, схватила странную покупательницу за руку и потащила по направлению к зеркальной стене.

Из магазина Анна вышла в светлой бело-кремовой комбинации, нейлоновых чулках со швом, белом кружевном лифчике и трусиках. Туфли фисташкового цвета, в тон узору на платье, были на невысокой черной платформе. Сумочек в этом магазине не оказалось. К счастью. Потому что Анна боялась, что на чеке от Адрианы не хватит денег, чтобы все оплатить. Но ей не пришлось предъявлять этот чек: Стэнли оставил в кассе свою визитную карточку и попросил, чтобы счет прислали на адрес редакции. Как только они вышли из магазина, Анна бросилась ему на шею и воскликнула:

— Стэнли, ты не сказал, нравлюсь ли я тебе теперь! Скажи, что нравлюсь!

В машине она молчала. Нервно кусала губы и беспрестанно поправляла прическу. Они ехали в его «редакцию». Обратного пути не было. И хотя Анна с нетерпением ждала этого момента, она боялась его, как школьница, отправляющаяся на выпускной экзамен. Редакция «Нью-Йорк таймс»! Через минуту она там будет. И останется, чтобы делать снимки! Она даже ущипнула себя. Больно. Значит, не сон...

Они несколько раз проехали по Таймс-сквер, виляя между автомобилями и пропуская переходивших улицу людей: Стэнли не мог найти место для парковки и очень злился. В конце концов от небоскреба отъехал грузовик, и они припарковались. Вышли из автомобиля. «Нью-Йорк таймс билдинг», — прочла Анна надпись на огромной вывеске над вращающимися дверьми. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не убежать. Она крепко сжала руку Стэнли. Он почувствовал ее напряжение и страх, и в лифте, когда они поднимались наверх, шептал ей на ухо, не

обращая внимания на стоявших рядом людей:

— Анна, там тебя ждут, все будет хорошо, очень хорошо, вот увидишь...

Выйдя из лифта, они по короткому коридору подошли к стеклянной двери. Стэнли нажал на кнопку звонка. Анна шагнула назад и встала за его спиной. Из динамика раздался женский голос:

— «Нью-Йорк таймс», чем могу служить?

— Моя фамилия Бредфорд, Стэнли Бредфорд.

— Стэнли?! Стэнли!!! — раздался громкий вопль.

Через мгновение с той стороны двери появилась толстая женщина в черном парике. Она широко распахнула дверь и они вошли.

— Стэнли, Стэнли! Наконец-то ты объявился! — повторяла женщина, обнимая и похлопывая его. — Почему не позвонил? Боже, какой ты худой! Артур каждый час звонит из Вашингтона, ждет тебя. И Мэтью. И Адриана. Почему не позвонил? Я испекла бы шарлотку. Стэнли, дружище, как я рада, что ты опять с нами! Я приведу тебя в порядок...

Наконец она выглянула из-за плеча Стэнли. Вытерла слезы, медленно подошла к Анне и, протянув руку, сказала:

— Меня зовут Лайза. Я его секретарь. И с сегодняшнего... Я имею честь общаться с мисс Анной Мартой Бляйбтрой, не так ли?

Анна, пытаясь унять дрожь, только кивнула. Женщина крепко пожала ей руку и добавила:

— С сегодняшнего дня я и ваша секретарша тоже.

Стэнли схватил Анну за руку и увлек за собой. Они быстро шли вдоль стеклянной стены. Некоторые части стекла были закрыты опущенными жалюзи. Они вошли в пахнущую розами и табаком комнату. На стенах от пола до потолка висели фотографии. Посередине стояли два письменных стола, причем один был совершенно пустой. Едва они вошли, зазвонил телефон. Стэнли указал Анне на вешалку у входа и подбежал к аппарату.

— Стэнли Бредфорд... — сказал он, подняв трубку.

Анна сняла пальто, медленно подошла к пустому столу. На краю столешницы стояла черная табличка с фамилией. Прислушиваясь к разговору, она медленно ощупывала буквы на черной пластмассе.

— Да, жив. Привет, старик! Нет, Мэтью, сейчас не могу. Забеги позже. Мне нужно посмотреть в окно, прошвырнуться по городу и разобраться с бумагами. Дел наверняка накопилось много. Дашь мне, скажем, два... нет, три часа?.. Я сейчас не хочу об этом, Мэтью. Это очень личное... Мисс Бляйбтрой?.. Рядом. Ты сам оценишь, Мэтью. Зная твой вкус, я уверен, что ты будешь в восторге. Конечно, она хочет с тобой познакомиться, Мэтью.

Но часа через два, вернее, через три, не раньше...

Он положил трубку и подошел к Анне. Увидел табличку и радостно воскликнул:

— Не может быть! Это гениально! Они написали твою фамилию правильно. Я уверен, это Лайза постаралась.

— Стэнли, если тебе будет нужно обсудить какие-то личные вопросы, дай мне знак. Я тогда выйду из...

— Из нашего офиса, — прервал он ее, не дав закончить.

— Ты же знаешь, что мне часто нужно выходить по-маленькому, Стэнли...

— Ты выйдешь когда захочешь, — добавил он с улыбкой. — А у меня очень скоро не будет личных дел. С сегодняшнего дня мы с тобой устраиваем здесь коммунальное жилье. Не на все сто процентов, но все же. Для начала я организую для тебя телефон.

Он быстро вернулся к своему столу и протянул руку к трубке.

— Лайза, дорогая, ты не могла бы найти какой-нибудь хороший номер телефона для Анны? Наш, редакционный. Нет, еще нет. Но только не убивай из-за этого техников, прошу тебя! И может, стоит подумать о визитных карточках? Уже есть?! Где? Окей. В правом верхнем ящике ее стола. Слушаю! Что?! Повтори, пожалуйста, еще раз, Лайза... — Анна почувствовала, что он взволнован. — А по какой статье расходов ты это провела, можно поинтересоваться? Ни по какой?! Как это ни по какой? От кого? От Адрианы? В самом деле?

Он положил трубку, затушил в пепельнице сигарету и приблизился к Анне. Подал ей руку и подвел ее к шкафу, стоявшему между окном и высоким, до потолка, стеллажом, заполненным рядами серых папок. Открыл шкаф, встал на цыпочки, дотянулся до верхней полки и, повернувшись к Анне лицом, подал перевязанную широкой лентой коробку. Она увидела, что у него дрожат руки.

— Адриана оставила здесь кое-что для тебя, — сказал он изменившимся голосом.

Она развязала ленту, быстро развернула бумагу и, подойдя к столу, осторожно вынула из коробки фотоаппарат и положила на середину столешницы. Несколько раз обошла вокруг стола. Из глаз у нее лились слезы.

— Стэнли, ты выпьешь чаю? Скажи, что ты хочешь чаю! — прошептала она.

— Да, выпью. Без сахара. Ты помнишь? — ответил он, подходя к ней ближе. — А теперь пошли, еще успеешь нарадоваться.

Он протянул ей носовой платок. Наконец она успокоилась, они вышли из офиса в огромный, гудящий как улей зал. Шли по лабиринту коридоров между стеллажами и письменными столами. Со всех сторон раздавался треск телексов, звонки телефонов, стук печатных машинок, обрывки разговоров. Стэнли представлял сотрудникам Анну.

— Как поживаешь?

— Позволь представить тебе Анну Марту Бляйбтрой, нашу новую сотрудницу...

— Стэнли! Явился, наконец, вояка...

— Очень рад познакомиться с вами, мисс...

Вдруг Стэнли сказал:

— Я забегу на минутку к Мэтью. Он не простит мне, если встретит нас здесь. Ему нравится всегда и везде быть первым и единственным. Я сейчас вернусь! — и он удалился в сторону кабинета со стеклами, закрытыми жалюзи.

Анна подошла к окну и присела на подоконник. Закурила. Большинство проходивших мимо женщин смотрели на нее с интересом. В их глазах она читала если не враждебность, то неодобрение. Мужчины же, напротив, улыбались. За те несколько минут, что Стэнли отсутствовал, некоторые умудрились несколько раз пройти мимо.

Она не могла запомнить, сколько пар глаз внимательно посмотрели на нее при встрече, сколько рук она пожала. Наконец Стэнли привел ее к дверям с надписью «Фотолаборатория». Они вошли в темный, освещенный только мигающей красной лампочкой коридор и прошествовали до второй, окрашенной красной краской двери с белой надписью: «Даже и не думайте сами открывать эту дверь». Анну это развеселило. Стэнли нажал на красную кнопку звонка.

— Слушаю! — ответил хриплый недовольный голос.

— Макс! Ты нам откроешь? — сказал Стэнли.

— Стэнли, сукин ты сын! Наконец! Сигарету погасил?

— Я не курю. То есть сейчас не курю.

На пороге появился высокий плечистый мужчина в белом халате с большим шрамом на щеке. Он впустил их и тотчас захлопнул за ними дверь. Анна почувствовала знакомый запах химических реактивов. Откуда-то издалека доносилась музыка. Мужчина крепко пожал руку Стэнли и подошел к Анне. Не представляясь, спросил:

— Это вы сделали негатив?

Она молчала, несколько напуганная.

— Это вы автор негатива? Вы снимали Дрезден? — повторил он,

повысив голос.

— Макс, в чем дело? — вмешался в разговор обеспокоенный Стэнли.

— Я имею в виду снимок в церкви, — настаивал он, глядя Анне в глаза и словно не замечая Стэнли.

— Нет, не я. Стэнли, — ответила она, не совсем понимая, что нужно этому человеку.

— Окей. Вы хотите сказать, что Стэнли их напечатал. Ладно, пусть так. Но ведь это вы снимали эти кадры, так?!

— Да, я...

— Понимаете ли, — она почувствовала в его голосе странное волнение, — здесь, в этой лаборатории таких снимков еще не бывало. Я работаю тут больше двадцати лет. Двадцать два года, если быть точным. Просмотрел в своей жизни много тысяч снимков. Действительно много тысяч. Самых разных. Многие из них были пропитаны болью и страданием, ведь в этом городе много боли и страдания. Но увидев ваши снимки, я впервые в жизни надел очки и с нетерпением ждал, когда они высохнут. А потом... потом мне захотелось курить. Уже семь лет, после инфаркта, я не курю. К счастью, у Бренды, моей ассистентки, в тот вечер не было сигарет, — закончил он с улыбкой. — Я увеличил ваши снимки. Велел Бренде подготовить их к экспозиции. Хотите посмотреть? — спросил он торжественно.

— Нет, не сегодня. Сегодня я не хочу возвращаться в Дрезден. Прошу меня понять! У меня сегодня...

— Нет? Понятно. Извините меня. Но когда захотите, постучите к нам. Меня зовут Максимилиан Сикорский. Меня здесь все знают...

— Анна Бляйбтрой, — сказала она, протягивая руку.

— Макс. Просто Макс. Вы можете приходить сюда, когда захотите.

— Макс, ты пожалеешь о своем предложении, — вмешался улыбающийся Стэнли. — Она просто не будет отсюда вылезать. У нее бзик по этой части. Она фотограф-наркоман.

Они вернулись в свой кабинет. На столе у Анны появился черный телефонный аппарат. Рядом лежала бумажка с номером, а у аппарата — стопка визитных карточек.

— Стэнли, — прошептала она, — я уже говорила тебе сегодня, что я тебя люблю?

Он улыбнулся и сел в свое кресло. Начал изучать лежащие на столе бумаги. Иногда хватался за телефон и разговаривал с кем-то, делая пометки в календаре. Иногда вставал и вытаскивал стоявшие на полках стеллажа папки.

— Стэнли, представь себе, что меня здесь нет, — вдруг попросила Анна. — Позволь мне к нему прикоснуться. Оставь меня с ним наедине, — добавила она.

Заправив пленку, с фотоаппаратом в руках она уселась на пол у кресла Стэнли, словно маленькая девочка с новой игрушкой. Он нежно погладил ее по голове. Она взяла его руку и поцеловала. Нажала на кнопку затвора, фотографируя его ноги. Потом легла на спину и сфотографировала потолок. Потом заползла под стол Стэнли и оттуда снимала офис. Вдруг в дверь энергично постучали. В комнату вошел мужчина в грязных ботинках, на которые спускались штанины слишком длинных серых брюк. Из-под стола она видела только его ноги до колен.

— Стэнли! — воскликнул мужчина. — Ты вернулся с войны, а ведешь себя так, бля, будто вернулся с обеденного перерыва! Привет, старик!

— Привет, Мэтью...

Ботинки мужчины приблизились к Анне.

— Ты должен мне все рассказать. Может завтра? Я отправлю Мэри на кухню, она приготовит что-нибудь польское, как ты любишь, а мы поболтаем, выпьем. У нас здесь сегодня штормит. Мало того что ты вернулся, так еще эта немочка, которую ты привез из окопов, произвела в редакции настоящий фурор. Мужикам сперма в голову ударила. Говорят, у нее такой бюст, что Дориан Ли по сравнению с ней — плоскогрудая монашка. Многим парням захотелось поставить ее на колени у стола. Некоторые наши бабы уверяют, что у нее потрясающие тряпки и что за шмотками теперь нужно лететь в Дрезден. Я был уверен, что я, твой самый близкий друг, удостоюсь чести увидеть это чудо первым. Что ж, старик, видимо, я ошибся. В очередной раз. Где ты ее прячешь, эгоист чертов?

— Да что ты, Мэтью, как ты можешь так говорить! Нигде я ее не прячу. Она на коленях. Под моим столом, — ответил спокойно Стэнли.

— Я вижу, ты в Европе научился оригинально шутить, старый похабник! — заржал Мэтью.

Анна быстро поправила волосы, старательно облизала губы, расстегнула на спине несколько верхних пуговиц платья, чтобы выглядывало голое плечо и лямка лифчика на левой ключице. Выползла из-под стола, поднялась на ноги и подошла к Мэтью. Прищурившись и демонстративно облизывая губы, она прошептала, стараясь изобразить сладострастие:

— Анна Марта Бляйбтрой. Очень приятно...

Его лицо порозовело, потом побагровело. Он подал ей руку, стараясь не смотреть в глаза.

— ...познакомиться также и с вами, — добавила она решительно после короткой паузы.

— Стэнли, я заскочу за этими материалами попозже, — пробормотал Мэтью и пулей вылетел из кабинета.

Стэнли, который во время сцены знакомства зажимал руками рот, фыркнул, вскочил с кресла и, бросившись перед Анной на колени, согнул руку в локте и сжал кулак. Он хохотал и стучал по полу кулаком.

— Так ему и надо, засранцу! Он этого никогда не забудет! Ты была неподражаема...

Они оставались в кабинете до позднего вечера. Анна сидела за столом и старательно, как на уроке, записывала в тетрадь все, что говорил ей Стэнли. О начале работы над проектом, о том, как надо снимать на месте событий, об интервью, о сборе информации, о том, что иногда приходится возвращаться на место съемки второй и даже третий раз. О том, как отличить то, что действительно важно, от того, что только кажется таковым. Он рассказывал о том, какой долгий путь проходит каждый кадр, прежде чем его напечатают в газете. О документах, которые придется заполнять. Он вводил ее во все тонкости работы фоторепортера, демонстрируя готовые снимки, реконструируя с ней описания и отчеты других редакторов, объяснял, почему некоторые фотографии пошли в печать, а другие, хотя и выглядят лучше, нет. Объяснял, каким требованиям должен отвечать снимок для первой и последней полосы, а каким — для внутренних, менее престижных. Он говорил об ответственности репортера. О праве людей на частную жизнь, о профессиональной этике и о том, что пока не регулируется в Америке законом, но стало неписаным правилом для сотрудников «Таймс».

Он засыпал ее информацией, отвечал на вопросы, задавал свои. И она впервые заметила, что Стэнли, который казался ей впечатлительным, несобранным романтиком, на самом деле — в профессиональных вопросах — педантичен, бескомпромиссен и требователен. Когда она в очередной раз громко вздохнула, он понял, что Анна уже не в состоянии воспринимать его слова, прервался и пригласил ее на кухню, на чашку кофе.

Пчелиное гудение в «холле», как Анна назвала про себя это помещение, стихло. Только на нескольких столах еще горели лампы. Стэнли привел ее в узкую и очень длинную комнату, в которой вдоль стены стоял ряд невысоких стеллажей с газовыми плитками. Напротив гудели четыре очень высоких, выше нее, холодильника. Все они были разного цвета, и один — розовый, что очень развеселило Анну. Рядом с

холодильниками висел застекленный шкафчик, на верхней полке которого стояли разноцветные мешочки и коробочки, а на двух нижних — чашки. Под окном на деревянной столешнице, примыкающей к раковине, красовался ряд эмалированных чайников.

Стэнли поставил на огонь чайник и заварил кофе.

— Когда ты последний раз пила кофе? — спросил он, увидев, с каким удовольствием она, закрыв глаза, смакует каждый глоток.

— Ячменный или как этот, настоящий?

— Разве кофе может быть из ячменя? — удивился он. — Я думал, из злаковых делают только водку. Лучше всего польская...

— Может, поверь мне, может. А такую водку мы с мамой пили во время нашего последнего обеда, во вторник, тринадцатого февраля. А вот когда я пила настоящий кофе из жареных зерен, честно говоря, даже не помню. Думаю, двадцатого апреля сорок четвертого года. В день рождения Гитлера. Тогда в Дрездене в продажу «выбросили» шоколад и настоящий кофе...

Стэнли понимающе кивнул, но Анна сомневалась, понял ли он, что значит «выбросить что-то в продажу». Здесь, видимо, никто, включая нищих, которых она видела во время пешей прогулки по Бруклину, не мог бы это понять. Длинные, волнующиеся, исполненные злобы и агрессии очереди у магазинов, ругательства, унижения, драки, а еще непередаваемое ощущение счастья, когда со ста граммами кофе в сером бумажном пакете и плиткой шоколада человек выходил на улицу и летел домой. Нет! Стэнли не способен такое понять.

Он вытащил из кармана пиджака пачку сигарет. Они закурили и продолжили разговор о работе. На сей раз не было никакой теории — они обсуждали ближайшее будущее Анны.

Пока что они будут работать вместе. Во всяком случае, до конца месяца. Каждый раз будут снимать все на два аппарата. А Артур выступит арбитром, именно он будет решать, какие снимки пойдут в печать. Тем временем Анна «надышится городом и проникнется его атмосферой», а Стэнли постарается «прорубить ей широкие и безопасные просеки в этих джунглях». Раздобудет для нее «настоящие карты города, такие, какими пользуются в департаменте нью-йоркской полиции и ФБР», познакомит со своими деловыми партнерами и информаторами, будет всячески помогать ей, но постарается не вмешиваться в ее работу. Если в апреле она почувствует, что может справиться без него, то... сразу же сможет попробовать свои силы. С начала апреля Анна будет «на коротком поводке» — Стэнли будет сидеть в офисе на телефонах, а она постарается

справиться со всем сама. Сама! От начала и до конца. И если все получится, в середине апреля они поделят между собой сначала город, а потом и весь регион. Если же произойдет сенсационное событие вне города и региона, какое-то время они будут ездить туда вместе. А потом поделят и карту Штатов. Стэнли сразу поставил ее в известность, что хочет закрепить за собой Бостон, Чикаго и Гавайи. Когда-нибудь он объяснит ей свой выбор. Еще было бы хорошо, чтобы все без исключения фотографии из Европы проходили через ее глаза и руки. А если это будут материалы о Германии и войне, он передаст Артуру только те, которые она сочтет достоверными. Он уверен, что Артур на это согласится. Впрочем, они поговорят об этом, как только Артур вернется из командировки в Вашингтон. Закончив излагать свои планы, Стэнли спросил, устраивает ли это Анну, а если нет, то имеются ли у нее, как он выразился, предложения «лучше».

Она сделала последний глоток кофе, глубоко затянулась сигаретой и сказала:

— Стэнли, попробуй влезть в мою шкуру. Возникли бы у тебя другие предложения? Да или нет? Хотя одно? Единственное, что я хотела бы попросить у тебя, это Гавайи. Я тоже когда-нибудь объясню тебе, почему. Ты так обо всем этом говоришь, что у меня возникает ощущение, будто здесь, рядом с нами, находится еще какая-то женщина. Стэнли, ты случайно не забыл, что еще два дня тому назад я чистила картошку на кухне у тети Аннелизе в Кенигсдорфе, и у тебя до сих пор остались на руке царапины от когтей Стопки. Поэтому прошу тебя, Стэнли, не нужно спрашивать о моих предложениях. Еще какое-то время у меня их не будет... Я пока еще не могу прийти в себя, — продолжала она тихим, срывающимся голосом. — Когда слышу звуки сирен «скорой помощи», мне хочется спрятаться в бомбоубежище. Моя психика еще не пришла в норму, Стэнли. Но, обещаю, это пройдет. Тебе не грозит работать с чокнутой. Ты уже обеспечил меня фотоаппаратом, так дай еще немного времени. А пока возьми на себя мою жизнь. Помогите мне. Учите меня. У меня есть только ты, Стэнли. Только ты... — закончила она со слезами на глазах.

Он молча вслушивался в ее слова. Когда она замолчала, крепко прижал ее к себе и сказал:

— Анна, я научу тебя всему, а сейчас отвезу домой. Сегодня был длинный день...

Нью-Йорк, Манхэттен, вечер, пятница, 16 марта 1945 года

В то солнечное пятничное утро Анна не стояла на тротуаре у дома Астрид Вайштейнбергер и не ждала Стэнли. Накануне вечером она сказала ему, что это несправедливо и бессмысленно, чтобы он вставал чуть ли не среди ночи и пробирался из Манхэттена по забитым машинами улицам в Бруклин только для того, чтобы отвезти ее, как таксист, на... Манхэттен.

— Я не хочу, чтобы меня возненавидела женщина, которую ты из-за меня оставляешь одну в постели. Завтра я приеду в офис на метро... — заявила она и, выходя из машины, поцеловала его в щеку.

— Ты уверена, Анна? — спросил он.

— Совершенно уверена! — воскликнула она и взбежала по лестнице в дом.

Хотя вовсе не была уверена. Она, правда, изучила этот маршрут в среду вечером с Натаном, но за несколько дней пребывания в городе уже успела убедиться, что вечерний Нью-Йорк сильно отличается от утреннего.

Натан появился у дверей дома Астрид с букетом тюльпанов, книгой, обернутой в цветную бумагу, и «найденным в кустах» паспортом. Она принимала ванну, когда раздался стук в дверь, завернулась в полотенце и поспешила открыть.

— Этот небритый еврей-извращенец опять пришел. Сегодня он, правда, нацепил очки, — прошипела Астрид в приоткрытую дверь. — Что мне с ним делать?

— Не могли бы вы занять его чем-нибудь на пару минут? Я сейчас оденусь, и вы сможете его сюда проводить.

— Вы с ума сошли! — воскликнула Астрид возмущенно. — Я ни за что на свете не пущу его сюда!

— А почему? Ну ладно. Через минуту я спущусь, — смирилась Анна, увидев гримасу на лице Астрид.

Она спустилась вниз в халате. Натан стоял у двери, а хозяйка сидела в кресле-качалке у камина, читала газету и курила. Он протянул Анне букет, она приняла тюльпаны и поцеловала его в щеку. Он покраснел. Анна попросила у Астрид разрешения присесть на минутку в холле. Та что-то пробурчала себе под нос, Анна расценила это как разрешение, и они с Натаном сели на диван.

— Вы чуть не потеряли паспорт. Думаю, он вам еще пригодится,— произнес Натан робко. — Я каждое утро высматривал вас в парке.

— Большое вам спасибо! — ответила она. — В последнее время я была очень занята. Возвращалась домой почти ночью. Это мой паспорт. Он мне действительно вскоре понадобится. Я так рада, что вы его нашли! Сколько я должна вам за очки?

— За какие очки? — спросил он удивленно.

— За ваши, которые я разбила, когда вы спасали мне жизнь. Вы что, забыли?

— Давайте не будем об этом. Прошу вас... — прошептал он. — Я сразу понял, что вы хватитесь и будете расстроены, — сказал он и замолчал, нервно потирая руки. — А еще я думал о том, что вы мне сказали. Я не хотел обидеть вас вопросом про Дрезден. Я ошибался. Ваш город, хоть и сильно разрушен, жив. Я позвонил вчера в Вашингтон, и мне сказали, что...

— Вы вовсе меня не обидели. Я знаю, что город жив, ведь я была там совсем недавно, — прервала она его с улыбкой.

— Я был в библиотеке и почел о вашем городе. У него необыкновенная история. А вечером я поехал в Гринич Вилледж и на блошином рынке в коробке со старыми книгами нашел то, что давно искал. Я хочу подарить это вам, — и он протянул ей сверток.

Она разорвала черную бумагу и прочла заглавие на выцветшей обложке.

— Почему именно Генрих фон Клейст, а не Гёте, к примеру? — спросила она с улыбкой. — Я знаю этот текст. «Разбитый кувшин» я прочла еще в гимназии. Это самая грустная из известных мне комедий. Я всегда удивлялась, как Геббельс мог оставить ее в списке книг, разрешенных для школьного чтения. Или в этом был какой-то скрытый смысл?

— Клейст меня восхитил. В большей мере своей жизнью, чем пьесами. К тому же он связан с Дрезденом.

— Правда? Я не знала...

— Он редактировал там какой-то художественный журнал.

— На уроках нам об этом ничего не говорили. А что же так восхитило вас в его биографии? Его смерть?

— Как вы догадались?! — воскликнул он громко, и Астрид, которая, закрывшись газетой, все это время подслушивала разговор, издала какой-то хрюкающий звук.

— Очень просто. Его смерть сама похожа на литературный сюжет. Не его собственной пьесы, а например, драмы Гёте. Совсем молодой, тридцатитрехлетний мужчина уговаривает молодую женщину совершить

совместное самоубийство. Ноябрьской ночью они едут на озеро под Берлином, и там он, с ее разрешения, стреляет в нее, а потом кончает с собой. Такой эпилог на любого произведет впечатление. Такая безграничная любовь, такая преданность... Но подробности известным не всем, — продолжала она, — эта женщина, Генриэтта Фогель, любила Клейста без взаимности и была смертельно больна. У нее был рак. Клейст об этом не знал. Самоубийство было для нее избавлением: и от безответной любви, и от физических страданий. Так что их двойное самоубийство — не шекспировская любовная страсть. Во всяком случае, не для Клейста. Для него это был тщательно продуманный эстетический акт, к которому он долго готовился. Когда он познакомился с философией Канта, им овладела мысль о том, что истина непознаваема. А то, что он уговорил на совместное самоубийство эту женщину, на самом деле скорее трусость и подлость с его стороны, — закончила она.

— Откуда вы все это знаете? — спросил изумленный таким выводом Натан.

— От моего отца. Он был профессором, преподавал литературу в Дрезденском университете и занимался литературными переводами. Он переводил на английский, в том числе и произведения Генриха фон Клейста, — пояснила она, и ее голос едва заметно дрогнул.

Потом она открыла книгу и перевернула титульный лист. Указывая на набранный мелким шрифтом текст, возбужденно воскликнула:

— Боже мой! Это как раз его перевод!

Натан заглянул в книгу.

— Госпожа Вайштейнбергер, — обернулась Анна в сторону Астрид, — можно мне здесь закурить?

Астрид положила газету на колени и сказала:

— Кури, деточка, кури! Моим жильцам курить можно везде, за исключением кровати. А вот посетителям нельзя! — и грозно посмотрела на Натана.

— Какое невероятное стечение обстоятельств... — бормотал Натан, поглаживая обложку книги.

Анна подошла к Астрид и попросила у нее сигарету. Вернувшись на диван, она взяла из серванта хрустальную пепельницу и поставила ее между собой и Натаном.

— Вы влюблены? Я хотела сказать, вы безответно влюблены? — спросила она, затянувшись.

— Почему вы так думаете? — ответил он удивленно.

— Мне так показалось. У вас очень грустные глаза... — Она понимала,

что присутствие любопытной Астрид ему неприятно, и ей захотелось побыть с ним наедине. — Вы хорошо знаете город?

— Не уверен, что очень хорошо. Но я в нем родился и живу здесь уже более тридцати лет. А почему вы спрашиваете?

— Вы ездите по городу на метро?

— Да. Или на велосипеде. У меня нет водительских прав.

— А далеко от станции на Флэтбуш-авеню до Таймс-сквер?

— Вовсе нет. Недалеко. К тому же вам и не нужно добираться до Флэтбуш. Ближайшая станция находится на перекрестке Черч-авеню и Нострэнд-авеню. А оттуда до Таймс-сквер... Дайте подумать... Знаю! Конечно, линия два, без пересадок. Вы доедете до станции на пересечении Таймс-сквер и 42-й стрит. Это займет минут сорок пять — пятьдесят.

— У вас есть время? — спросила она, глядя ему в глаза. — Может, вы проводите меня на метро до Таймс-сквер?

— Сейчас? Станция на углу 42-й стрит и Таймс-сквер в это время дня — не самое лучшее место для прогулок молодой женщины...

— Я оставила в офисе очень важные записи, — солгала она, специально повышая голос.

— В каком офисе? — спросил он удивленно.

— Я работаю в «Таймс». Их здание недалеко от этой станции.

— В «Нью-Йорк-таймс», в газете?! — еще больше удивился он.

— Да, с понедельника. Вы поедете со мной? — повторила она просительно.

— Конечно поеду!

— Подождите, пожалуйста. Я оденусь и через минуту спущусь! — радостно воскликнула она и помчалась по лестнице.

Когда она вернулась, Натан стоял у двери, а Астрид продолжала сидеть в кресле с очередной сигаретой в руке. Уходя, Натан вежливо поклонился и сказал:

— До свидания, мадам Вайштейнбергер. Благодарю вас за гостеприимство.

Астрид не ответила. Когда они были уже на улице, Анна сказала Натану:

— Миссис Вайштейнбергер весьма любопытна и недоверчива, но вообще-то она милая женщина.

— Я успел заметить, что она любопытна, — усмехнулся он. — Когда вы ушли одеваться, она спросила, хожу ли я в синагогу и есть ли у меня постоянная работа.

— А ты ходишь? Извините! А вы ходите в синагогу?

Он остановился на минуту и, протянув ей руку, сказал:

— Мне будет приятно, если вы, то есть ты, будешь обращаться ко мне по имени. Нет, я не хожу в синагогу. Я чувствую себя евреем только потому, что у меня характерная внешность, мне в свое время сделали обрезание, и я часто сталкиваюсь с совершенно непонятной враждебностью. Извини за вопрос, но там, в Дрездене, ты встречала евреев? У тебя были причины любить их или ненавидеть?

Теперь остановилась она. Достала сигарету.

— Понимаешь, Натан, знакомясь с людьми, я никогда не интересовалась их национальностью. Мне было все равно, еврей это, поляк, русский, австриец или баварец. Но иногда люди сами говорили мне, что они евреи. Они мне нравились. Одного я даже любила и сейчас по нему скучаю. Но давай не будем об этом. Когда-нибудь, если захочешь, я все тебе расскажу...

Они дошли до станции метро молча. И только когда спустились вниз и встали в очередь в кассу, Анна призналась, что на самом деле ничего в офисе не забыла. Просто ей хотелось убежать от Астрид и остаться с ним наедине, а еще, хотя это может показаться смешным и наивным, ей очень хочется, чтобы он научил ее ориентироваться в метро. Натан не видел в этом ничего странного. Он переписал для нее расписание движения поездов второй линии в будни и выходные дни. Дважды уточнил у женщины-кассира, действует ли оно. Выяснил, как быстрее доехать по нужному Анне маршруту, когда вагоны переполнены и когда народу меньше. Кассир даже начала раздражаться. Когда он все записал, они наконец вошли в вагон. Анна взглянула на часы. На станции у Таймс-сквер они были через сорок четыре минуты. В пути она с интересом наблюдала за другими пассажирами. Все возможные цвета кожи и волос, обрывки разговоров на разных языках, самые разные запахи. Точно так же, как на нью-йоркских улицах.

Несмотря на позднее время, они подошли к зданию редакции в бесконечной толпе.

— Значит, если не случится ничего непредвиденного, я доберусь от станции в Бруклине до дверей здания «Таймс» всего за час! — радостно воскликнула Анна и взяла Натана под руку. — Разве это не здорово, Натан?! Всего за час! На всякий случай я добавлю еще минут тридцать и... буду пунктуальна, как немецкая железная дорога! — рассмеялась она. — Довоенная. А теперь пошли, — добавила она, ускоряя шаг и увлекая его за собой. — Я приглашаю тебя выпить. Можно женщине в пуританской Америке пригласить мужчину выпить? Я хочу поднять тост. За тебя, за

моего отца, за Клейста и за нью-йоркское метро. Я уже давно не выпивала. Последний раз я напилась вместе с кошкой тети Аннелизе в Кенигсдорфе. Мне тогда и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь буду прогуливаться под ручку с мужчиной по Таймс-сквер.

Натан замедлил шаг и через несколько шагов остановился. Он посмотрел на нее как-то странно, будто видел впервые в жизни.

— Ты куда-то спешишь? Может, домой, к жене? — спросила она, удивленная такой реакцией. — Ты женат, Натан? Прости, я давно должна была об этом спросить, — поспешно добавила она, высвобождая руку.

— Нет, я не женат. Ты уже спрашивала меня об этом, — ответил он.

— Нет! Об этом не спрашивала. Я спросила лишь, влюблен ли ты. Бывает так, что брак и любовь — совершенно разные вещи.

— Послушай, — он крепко схватил ее за руку. — Утром в прошлое воскресенье, когда ты бежала с закрытыми глазами... Я оказался там совершенно случайно. Обещал коллеге, что принесу ему результаты теста в субботу вечером, но так устал, что из лаборатории отправился прямо в постель. В воскресенье я обычно сплю до полудня, а потом читаю. В то воскресенье я не мог спать и не хотел читать. Поэтому вышел на улицу с этой папкой и столкнулся с тобой. А потом я все время думал о тебе, о твоём Дрездене и о бомбоубежище, в которое ты бежала. Движимый каким-то странным предчувствием, я отправился на блошинный рынок в Гринидж и случайно отыскал в коробке, полной книг, именно ту, на которой указана фамилия твоего отца. Там было полно этих коробок. Но я вытащил именно эту книгу. Тебе не кажется, что это какая-то магия? А самое волшебное — ты сама. Это так волшебно, что ты запросто ведешь меня под руку пропустить стаканчик. И то, как ты откидываешь волосы со лба и кладешь ногу на ногу. Давай зайдем вот в этот ресторан. Именно в этот. Может быть, он тоже попался нам на пути не случайно.

Это не было случайно. В этом ресторане она узнала об Америке нечто новое. Зал был полон людей. Чернокожий официант провел их к бару в глубине зала и велел подождать, пока освободится столик. Натан заказал вино. «Лучше всего рейнское», — сказал он бармену. Анне не хотелось садиться за столик. Она не была уверена, что одета соответствующим образом, а в баре можно было не снимать пальто.

Натан рассказал ей о своей «постоянной работе», о которой его так бесцеремонно расспрашивала Астрид. Он защитил диссертацию по биологии и уже несколько лет работал в Бруклине в фармацевтической фирме «Чарльз Пфайзер компани». Руководил небольшой группой, тестирующей новые лекарства на мышах, крысах и хомячках. Это была

очень интересная и ответственная работа. Сейчас они занимались новой вакциной против туберкулеза.

— Но хомячки, кажется, не болеют туберкулезом? — спросила Анна.

— Обычно нет, но мы их специально заражаем.

— Это жестоко! — возмутилась она.

В этот момент к бару приблизилась необычная пара — высокий худощавый чернокожий мужчина в элегантном светло-сером костюме, черной рубашке и серой шляпе с атласной лентой и повисшая у него на руке коренастая мулатка в карминно-красном костюме с нитью белого жемчуга на полной шее. Они уселись за столик рядом с Натаном, и Анна краем глаза наблюдала за ними, слушая Натана, который бубнил что-то о необходимости проведения опытов на животных. Рыжеволосый веснушчатый бармен демонстративно игнорировал новых посетителей, и через некоторое время потерявший терпение мужчина сделал красноречивый жест и вежливо попросил два бокала мартини. Бармен сказал:

— В нашем ресторане негров не обслуживают.

Он именно так и сказал: «негров не обслуживают». Этот рыжий сукин сын действительно так сказал! Анна почувствовала, как у нее закололо в груди и застучало в висках.

Жаркий июньский полдень тридцать седьмого года. Она сидит на белом стуле между родителями за столиком в кафе «Цвингер» в Дрездене. После посещения дворца отец повел их с мамой поесть мороженого. Толстый потный официант в белом халате с красной повязкой со свастикой на левом рукаве громко кричал пожилой паре, сидевшей за соседним столиком:

— Здесь евреев не обслуживают!

Улыбка моментально сползла с лица отца. Он дрожащей рукой схватил бумажник, бросил на стол несколько банкнот, взял Анну за руку и потащил за собой на террасу перед кафе. А потом обернулся, высматривая мать. Сквозь стеклянные двери Анна видела, как мать, энергично жестикулируя, что-то говорила официанту, потом резко перевернула вверх дном вазочки с недоеденным мороженым и направилась к мужу и дочери...

В это мгновение Натан перестал для нее существовать. Чернокожий мужчина закурил, женщина успокаивающе погладила его по руке. Анна видела красные прожилки на белках его глаз. Она подала знак бармену и,

стараясь быть вежливой, заказала два martini. Когда бокалы оказались перед ней на стойке бара, взяла бокалы, встала перед мужчиной и сказала:

— Прошу вас, выпейте за мое здоровье и за здоровье моего друга Натана. Нам это было бы очень приятно!

И вернулась на свое место. Натан не понял, что произошло. Он только заметил, что она нервничает. Бармен подошел к чернокожей паре, забрал у них бокалы и поставил на поднос. Анна тут же привстала, наклонилась вперед, схватила бармена за галстук и притянула к себе. Вино из бокалов потекло по его белой рубашке.

— Эти люди — мои гости! Извинитесь перед ними немедленно и принесите еще два martini! — сказала она, приблизив лицо к лицу испуганного бармена.

— Прими успокоительное, девушка! И убери от меня свои лапы, — процедил он.

Она еще сильнее потянула за галстук. Лицо бармена медленно краснело.

— Ах ты, рыжий сукин сын! Гребаный расист со свиной кожей! Прошу тебя по-хорошему: принеси два martini для этих людей, или я устрою здесь такой скандал, что твой шеф уволит тебя, не дожидаясь конца смены. И можешь не угрожать мне полицией. Если ты ее вызовешь, завтра об этом напишут во всех газетах, а послезавтра люди будут за версту обходить этот притон. Когда приедет полиция, я обвиню тебя в расизме, а когда приедут журналисты, то еще и в нацизме и фашизме. Мне поверят. Я немка. А все знают, что уж немцы-то хорошо разбираются в фашистах. Я тебе последний раз говорю! Отнеси этим господам два martini. Я плачу! — крикнула она в конце.

Бармен стоял как парализованный. Вино капало с его одежды на пол. Анна поправила галстук на шее официанта, с нескрываемым отвращением оттолкнула его, громко вздохнула и села, вцепившись в барную стойку, чтобы унять дрожь в руках. Натан подвинулся ближе и обнял ее. Она не могла выдавить из себя ни слова. Бармен исчез за занавеской, отделявшей бар от служебного помещения. Он вернулся в свежей рубашке, белой салфеткой через локоть и двумя бокалами и поставил их перед черным мужчиной. Проходя мимо Анны, бармен бросил на нее исполненный ненависти взгляд. Она положила на стойку банкноты со словами:

— Сдачи не нужно!

Отошла от бара, приблизилась к мулатке и сказала:

— Простите нас! Могу себе представить, какой у этого martini сейчас мерзкий вкус...

На улице она вдохнула полную грудь воздуха. Натан шагнул рядом. Она взяла его под руку, и они вернулись к станции метро. Говорить не хотелось. У дома Натан спросил:

— Твоя фамилия что-нибудь значит по-немецки?

Она проигнорировала его вопрос, встала на цыпочки и, поцеловав его в лоб, прошептала:

— Спасибо тебе за тюльпаны. И за Клейста...

И взбежала вверх по ступенькам. Прежде чем открыть дверь, Анна обернулась. Она была уверена, что Натан все еще стоит на тротуаре.

— Тебе идут новые очки. Спокойной ночи, Нат!

Солнечным утром, в пятницу 16 марта 1945 года, Анна в толпе пассажиров держала путь к станции метро на Черч-авеню. Она впервые чувствовала себя частью этого города. Как и все, купила билет, стояла среди других пассажиров на перроне, втиснулась, подталкиваемая сзади, в вагон, ехала в переполненном поезде положенное число станций, читала заголовки газет в руках сидящих пассажиров, прислушивалась к их разговорам, вышла на своей станции, поднялась наверх и уже на улице, в постепенно редющей толпе, двинулась к зданию редакции. Теперь она уже не паниковала и не прижималась к стенам при звуке сирены «скорой помощи», разве что замедляла шаг и на мгновение прикрывала глаза, чтобы потом продолжить идти в том же темпе, что и остальные. И если все получалось так, как она планировала утром, стоя под душем, она гордилась собой...

Для верности Анна выбрала в расписании такой поезд, чтобы в любом случае успевать на работу до восьми. Хотя рабочий день начинался в девять, ей хотелось быть уверенной, что она не опоздает. Стэнли ждал ее, опершись спиной о дверцу машины, припаркованной у входа в здание редакции.

— У тебя что, бессонница? — спросила она.

— Нет. — Он поцеловал ее в щеку в знак приветствия. — Но если меня мучает кошмар, я просыпаюсь рано.

— А что тебе снилось сегодня?

— Мне приснилось, что Черчилль приказал разбомбить нью-йоркское метро.

Она улыбнулась, поняв, что он имеет в виду. Сняла перчатку и нежно погладила его по лицу.

— Этот сон тебе приснился именно сегодня, Стэнли?

— Да...

Они поднялись на лифте наверх. В офисе просмотрели телексы и телеграммы, пришедшие минувшей ночью, составили план на день. Стэнли предложил не выезжать за пределы Манхэттена. Ему хотелось быть недалеко от редакции, ведь сегодня из Вашингтона возвращался Артур!

Сначала они прошли пешком по 42-й стрит до Брайант-парка. Стэнли сказал, что хочет оказаться там, «пока не зазвонили будильники». Окна солидного здания нью-йоркской публичной библиотеки с одной стороны выходили в парк, а с другой — на Пятую авеню. Стэнли считал, что именно на газонах Брайант-парка должен находиться географический центр Нью-Йорка. Вскоре Анна поняла, что он имел в виду, говоря о будильниках. Здесь, на газонах, в центре самой богатой столицы мира, на одеялах, картоне, в спальнях мешках и просто на траве спали бездомные. Сотни бездомных! Даже в Дрездене, когда его захлестнула волна беженцев с востока, Анна не видела столько людей, которые спали бы под открытым небом! Они обошли парк и сняли несколько кадров, причем каждый раз Анна старалась найти такой ракурс, чтобы лица людей, среди которых было немало женщин, невозможно было распознать.

Из Брайант-парка они поехали в детский приют на 68-й стрит. Только за последнюю ночь на ступенях приюта оставили трех новорожденных. Стэнли беседовал с работавшими там монахинями и волонтерами, а Анна фотографировала огромный зал, в котором в десять рядов стояли кровати с младенцами. В течение одного этого года в приют подбросили не менее тысячи малышей. Не считая тех, кого передавали сюда «официально», то есть после всех возможных бюрократических процедур. По мнению заведующей приютом, эмигрантки из Сербии, именно из-за этой бумажной волокиты отчаявшиеся женщины оставляли детей на ступенях приюта. Ведь часто они были не только бедны, но и неграмотны, и оформление документов становилось для них непреодолимым препятствием. К тому же многие из тех женщин старались не сталкиваться с иммиграционной комиссией. «Думаю, вы понимаете, что я имею в виду», — добавила она в конце.

Анна вышла из приюта потрясенная. Она не могла припомнить ни одного неграмотного в Германии. А от детей в довоенном Дрездене отказывались так редко, что эти случаи тут же попадали на первые страницы газет. Стэнли заинтересовался этой темой потому, что в последнее время детей стали подбрасывать постоянно.

Возвращаясь в редакцию, они говорили о том, что Манхэттен поражает не только своим богатством, но и бездомными в Брайант-парке и такими вот приютами, словно вопящими о том, насколько несправедливо

это богатство распределено.

— В этой стране так было, есть и будет. Можешь быть уверена, социализм на берега реки Гудзон не придет никогда, — подытожил свои рассуждения Стэнли. — То, что сейчас делаем мы с тобой, всего лишь обнажит верхушку айсберга. И все же я надеюсь, что это хоть кого-то заденет за живое, и он, движимый сочувствием, любовью к ближнему, альтруизмом, а главным образом — угрызениями совести, поможет этим людям. Кстати, многие помогают. Именно из-за угрызений совести. А наши материалы эти самые угрызения пробуждают.

В тот вечер они разложили фотографии на полу кабинета и жарко спорили, отбирая лучшие. Стэнли с ехидцей в голосе заметил, что, когда в лабораторию к Максусу идет с пленками Анна, они получают готовые отпечатки через час, а вот ему приходится ждать их до середины следующего дня.

— Ты охмурила еще одного мужчину на этой фабрике. Мэтью и рад бы подкатить к тебе, но боится. Ходит вокруг кругами, как пес вокруг кошки, опасаясь ее когтей. Макс... Ну что же, Макса ты приручила легко, как любимая дочурка папашу. Для тебя он готов на все, — констатировал Стэнли, после того как Макс сам принес им в кабинет фотографии. — С тех пор как умерла его жена, он почти не выходит из лаборатории. Но ради тебя не поленился прийти сюда. Ему, должно быть, пришлось расспрашивать по дороге, как тебя найти, — добавил он ворчливо.

Разглядывая снимки, они долго не могли прийти к общему мнению. Анна ратовала за кадр, на котором бездомный читал книгу, лежа в мокрых кустах на грязном картоне, а вдали нечетко, но вполне узнаваемо просматривались контуры здания библиотеки. А Стэнли больше нравился снимок из приюта. Несколько пар маленьких ручек, торчащих над стенками кроваток. Они будто бы просили о помощи. Увлеченные спором, Стэнли и Анна вздрогнули, когда над их головами раздался голос.

— Мы напечатаем оба. И еще один, тот, где монахиня моет плачущего ребенка в ржавой раковине рядом с писсуарами и туалетной кабинкой без дверцы. Этот поставим первым. Пусть мэр, блядь, своими глазами увидит американский приют в своем городке...

Они как по команде подняли вверх головы. Стэнли вскочил с колен.

— Артур!

— Стэнли, сынок! А ты похудел, парень. Наконец-то я тебя вижу! В Вашингтоне поговаривают, что ты оказал честь Пэттону, разделив с ним перелет через Атлантику.

Крепкими, покрытыми вздувшимися венами руками Артур обнял

Стэнли. Анна встала. Застегнула пиджак и отбросила волосы со лба.

— Разреши, Анна, представить тебе... — начал Стэнли, повернувшись к ней.

— Оставь эти церемонии. Меня зовут Артур. О вас тоже уже говорят в Вашингтоне. Якобы вы в самолете спросили у Пэттона, не жил ли он в Дрездене. Очень мило! Жаль, меня при этом не было. Я много бы отдал, чтобы полюбоваться в эту минуту лицом этого зазнайки.

Артур по-свойски рассмеялся и, усевшись на стол, продолжил:

— О вас судачат и в Бруклине. Астрид Вайштейнбергер докладывает моей жене по телефону — они приятельницы, — удивительные истории, связанные с вами. Как вы за несколько часов соблазнили какого-то подслеповатого еврея, уговаривали его совершить совместное самоубийство, а потом потащили посреди ночи в район красных фонарей. Вдобавок, вы вообще ничего не едите, зато кормите всех кошек в округе, и теперь они по ночам воют под окнами. Когда Адриана, моя жена, справедливо заметила, что в марте коты воют по причинам, не имеющим ничего общего с потребностью в приеме пищи, Астрид заявила, что рядом с ее домом живут только приличные или кастрированные коты. Адриана чуть со смеху не померла. Мы знаем Астрид уже тридцать лет и нам хорошо известно, как далеко она может зайти в своих фантазиях, особенно после второй бутылки. Но доля правды в ее рассказах наверняка есть. Ладно, это все к слову, — сказал Артур. — Прежде всего я хотел бы поприветствовать вас от лица Адрианы и от себя тоже. И от имени газеты. Для нас большая честь, что вы покинули родину и приехали в Нью-Йорк. Сегодня я говорил с нашим юристом и поручил ему в самый кратчайший срок сделать так, чтобы эти козлы... простите, чиновники из иммиграционной комиссии оформили все необходимые документы, чтобы мы могли изменить статус вашего трудоустройства. Кстати, имейте в виду: это всего лишь ничего для нас не значащая формальность.

Анна смотрела ему в глаза. Он был удивительно похож на Якоба Ротенберга, отца Лукаса. Тот же тембр голоса, такой же пронзительный взгляд, лоб в морщинах, так же жестикулирует во время разговора, даже одет в очень похожий пиджак, с какого мать срезала тогда, в Анненкирхе, желтую звезду.

— Макс пригласил меня в свою нору лишь однажды. И если он приглашает к себе, значит, для этого есть важный повод. Очень важный. Макс покидает свое смрадное убежище в исключительных случаях. Предыдущий раз я был там, когда он хотел показать мне снимки Стэнли из Пёрл-Харбора. А последний раз — совсем недавно, когда он показывал мне

ваши снимки из Дрездена. Макс не вставляет фотографии в рамки, кроме, разве что, свадебной. Да и то я не уверен. Но ваши снимки он вставил в рамки. То, что я увидел на них, меня потрясло.

Он повернулся к Стэнли и спросил:

— Ты предупредил мисс Бляйбтрой, что я сквернословлю? Даже тогда, когда чем-то тронут? — И, не дожидаясь ответа, продолжил: — В принципе, меня, еврея, должно радовать, что вашу Германию вместе с Дрезденом разьебали в пух и прах. Но, поверьте, при виде ваших фотографий мне стало стыдно за то, что я чувствовал до этого. На следующий день, поздно вечером, я привел в лабораторию Адриану. Она не любит приходить сюда, когда здесь полно людей. Она рассматривала снимки молча. А если моя Адриана молчит, то либо от восторга, либо от ужаса. В случае с вашими снимками имели место и то и другое, — так она сказала мне в машине, когда мы возвращались домой.

Артур замолчал и взгляделся в лежавшие на полу фотографии. Потом повернулся к Стэнли:

— Дружище, у тебя есть что выпить?

— Нет, Артур. Пока еще нет. Я не успел толком обзавестись хозяйством после возвращения.

— Отлично. Значит, тебе выпивка не нужна. Это здорово, мой мальчик!

Анна отодшла к вешалке и из кармана пальто достала маленькую плоскую бутылку водки.

— А у меня есть. — Она подошла к Артуру. — Сегодня мне это очень пригодилось. Выпьете со мной?

Артур изумленно посмотрел на нее. Взял бутылку, открутил крышку и приложился к горлышку. Возвращая бутылку, сказал:

— Вы второй человек в этой фирме, с которым я выпиваю. И первый, с кем я пью из горлышка. — Выходя из офиса, он остановился на пороге и пристально посмотрел на нее: — Вы другая. Эта ебнутая Астрид права. Вы совсем другая...

Нью-Йорк, Таймс-сквер, Манхэттен, около полудня, понедельник, 7 мая 1945 года

Артур вызвал всех в редакцию в воскресенье вечером, шестого мая. За одними отправил лимузин, за другими такси, за некоторыми заехал сам на своем автомобиле. И все те, кто взял трубку телефона и был в это время в городе, появились в редакции. В воскресенье вечером редакционный холл напоминал гудящий улей, как это бывало только по понедельникам. Все знали, что для Артура воскресенье было делом святым. И лишь что-то еще более святое могло заставить его нарушить традицию. А тот факт, что он ни на минуту не покидал телексный зал, принимая телеграммы и не выпуская из рук телефонную трубку, свидетельствовал о том, что происходило нечто подобное.

Анну Артуру вызывать не пришлось. Она была на работе с утра. Как и в любое другое воскресенье с тех пор, как прибыла в Нью-Йорк...

Ей нравилась воскресная опустевшая редакция. Она вставала затемно, спускалась по лестнице, садилась в полупустой поезд метро и через час уже пила кофе, опершись о розовый холодильник. Потом садилась за стол в их тихой комнате и занималась самообразованием. Стэнли считал, что она напрасно теряет время, шлифуя английский. Он уверял, что она говорит по-английски лучше него. Мало того, он внушал ей, что у нее британское произношение, «само звучание которого свидетельствует о высоком уровне культуры», к тому же, уверял он, она была единственной из всех, кто правильно управлялся с такими грамматическими сложностями, как согласование времен. «Это было не под силу даже моему преподавателю истории литературы в Принстоне», — добавлял он. А иногда шутил, что когда ей надоест фотография, она может спокойно заняться редактированием и корректурой чужих текстов. Но Анна ему не верила: ей очень хотелось избавиться от «европейского акцента». Поэтому брала с собой привезенные из Германии учебники и занималась.

Около полудня она выходила из редакции и с фотоаппаратом в руках бродила по Нью-Йорку. Она прошла весь Манхэттен вдоль и поперек. И не только Манхэттен. Каждый раз она забиралась все дальше — в Куинс, на Кони-Айленд и даже в Джерси-сити на другом берегу Гудзона. Она все лучше узнавала город, и теперь нередко случалось, что, когда они ехали

«делать материал», именно она показывала Стэнли дорогу.

Ближе к вечеру Анна возвращалась в офис и садилась изучать теорию журналистики и фотодела. Стэнли привез ей целую кипу книг на эту тему. Еще столько же он раздобыл у сотрудников редакции. А если Анне требовалось что-то, чего она не могла в них отыскать, она шла в библиотеку в Брайант-парке и сидела там в читальном зале. По вечерам она открывала бутылку вина и просматривала прессу за всю прошедшую неделю.

Война заканчивалась. Во всяком случае, война в Европе. Анна с удивлением заметила, что для американцев — как тех, кого она видела на улицах, так и для ее коллег, — война в Азии казалась более важной. Стэнли объяснял ей это «комплексом Пёрл-Харбора». То, что там произошло, было для американцев шоком и унижением. Удар, нанесенный непосредственно по территории Соединенных Штатов?! Это было пощечиной национальной гордости. Пусть будет война, пусть будут бомбы, но не здесь, не у нас! Избави бог! В декабре 1941-го японцы жестоко нарушили это правило. Теперь они должны понести заслуженное наказание. Так считают и президент, и уборщица президента. Поэтому война в Азии и на Тихом океане для американцев — нечто более личное, чем война в Европе. Этим и объясняется их повышенный к ней интерес.

Анна читала о сжимавшемся вокруг Германии кольце. Захватывая город за городом, с востока наступали русские, с запада и юга — союзники. В четверг 29 марта американцы оказались в Мангейме, Висбадене и Франкфурте. В субботу 4 апреля французы заняли Карлсруэ, во вторник 10 апреля американцы вошли в Эссен и Ганновер, а неделю спустя — в Дюссельдорф. В понедельник 30 апреля первые американские танки появились в Мюнхене, а 3 мая британцы вошли в полностью разрушенный Гамбург. В «Таймс» и других нью-йоркских газетах почти не было материалов о Восточном фронте. Анна искала информацию о Дрездене и ничего не находила. Американская пресса то ли намеренно, то ли из-за недостатка информации игнорировала военные события на востоке Германии. Анне казалось, что намеренно, поскольку информация была — если не у американской, то у сотрудничавшей с ней британской прессы, тесно связанной с разведкой. Именно оттуда пришло сообщение, что Германия «находится на грани голодной смерти», со ссылкой на курьезный документ, перехваченный британской разведкой в Берлине. В четверг 5 апреля Министерство здравоохранения рейха рекомендовало своим территориальным подразделениям пропагандировать альтернативные продукты питания, такие, как клевер, люцерна, лягушки и улитки, а в муку,

из которой выпекается хлеб, рекомендовать добавлять камыш и древесную кору, недостаток же витаминов восполнять, употребляя в пищу молодые побеги сосен и елей. По данным разведки, вечером в пятницу 20 апреля, в день своего пятидесятишестилетия, Гитлер принял в разрушенном саду имперской канцелярии делегацию гитлерюгенда и СС и во время его речи слышны были отзвуки боевых действий, развернувшихся в тридцати километрах от Берлина.

Русские, как ни крути, были союзниками, и без Сталина эта война длилась бы бесконечно, но они, как однажды образно заметил Стэнли, напоминали «ненавистную тещу, которую трудно убрать со свадебных фотографий». Одну такую опубликовали в «Таймс». На первой полосе, 26 апреля. Днем ранее советские и американские дивизии встретились в Торгау на берегах Эльбы. Улыбающийся щербатый русский солдат идеально подходил на роль тещи.

Кроме сухих сообщений с фронта время от времени появлялись репортажи из освобождаемой союзниками Германии. Анна никогда не забудет один из них. Он ее потряс, и потом она всю ночь не могла сомкнуть глаз.

11 апреля 1945 года американский радиожурналист вместе с Третьей американской армией добрался до Бухенвальда. Отступавшие немцы не успели сжечь в крематории более тридцати пяти тысяч трупов. Пэттон, который лично посетил лагерь, был поражен зверствами нацистов и распорядился доставить на грузовиках немецкое население из близлежащего Веймара, чтобы люди могли своими глазами увидеть, что творилось у них под носом в этом самом Бухенвальде.

Репортер британской Би-би-си в воскресенье 15 апреля был свидетелем освобождения Второй британской армией концлагеря в Берген-Бельзене. Около десяти тысяч захороненных человеческих останков лежало на плацу лагеря. А в течение нескольких дней после освобождения от истощения и тифа умерло еще пятьсот бывших узников.

Американскую армию, которая 28 апреля освободила Дахау, сопровождала шведская журналистка, которая тоже увидела все собственными глазами. На железнодорожном терминале стояла бесконечная череда вагонов, забитых трупами, которые не успели сжечь. Узники лагеря были так слабы, что, несмотря на яростное желание расправиться со всеми охранниками, у них не хватило сил это сделать и они попросили, чтобы их повесили или расстреляли американские солдаты.

Последний репортаж появился накануне в вечернем выпуске «Таймс». Швейцарский доброволец Красного Креста Луис Хэфлигер самым

подробным образом описал свои впечатления о концентрационном лагере Маутхаузен в пятнадцати километрах на восток от Линца, куда он попал после освобождения лагеря Третьей армией Соединенных Штатов. Кроме описания крематориев и газовых камер, в газете была опубликована информация о зверских медицинских экспериментах, которые проводил на узниках австрийский врач, некий Ариберт Хейм. Из найденной там «регистрационной книги» с собственноручными записями Хейма следовало, что «в исследовательских целях» он и лагерный аптекарь Эрих Васицки впрыскивали прямо в сердце еврейским узникам разнообразные яды, в том числе фенол и бензин. Из показаний узников лагеря следовало, что Хейм «в тренировочных целях», от скуки или из чисто садистских побуждений, во время операций удалял у «пациентов» органы, а потом смотрел, как долго можно прожить, например, без селезенки или поджелудочной железы...

Когда читала эти репортажи, она не могла не думать о том, что должны чувствовать читавшие их американцы. Что думают Лайза, Мэтью, Натан, что приходит в голову Астрид и Лилиан Гроссман, еврейской девушке, которая недавно поселилась рядом с ней в доме Астрид? Ассоциируются ли у них каким-то образом немцы, о которых в них говорится, с ней, Анной? Не думают ли они, что самым фактом своего существования она, немка, недавно приехавшая оттуда, каким-то образом связана со всем этим ужасом, что она-то и допустила его — одним своим молчанием? Распространяется ли вина за эти преступления, с их точки зрения, на всех немцев — или только на неких абстрактных, которых не встречаются тебе в коридоре, на улице, в ресторане или парке? Должна ли она за все это извиняться? Не только сейчас, но в течение всей оставшейся жизни? Будет ли это ее личным пятном позора? Вот о чем она думала, когда не могла заснуть в ту ночь.

Стэнли появился в это воскресенье около полудня. В новом костюме и голубой рубашке он выглядел исключительно нарядно. Она впервые видела его в галстук, а его глаза казались какими-то особенно голубыми. Через четверть часа в редакции появился Артур. Он тут же прошел в «машинное отделение». Так называлось помещение, в котором без усталости щелкали тридцать телексов, а в последнее время появились еще и факсимильные аппараты. С помощью этих таинственных приспособлений можно было отправлять и получать телеграммы, написанные от руки. Артур оказался, как выразился Стэнли, «куда более дальновидным, чем весь Голливуд». Как только факсимильные аппараты появились на рынке, он тут же закупил для

редакции несколько штук.

Они открыли двери офиса. Им хотелось слышать, что происходит снаружи. Но оба не могли сосредоточиться на работе. Стэнли рассказывал ей о мадам Кальм из Люксембурга, а она смотрела на него и думала, какой добрый Бог послал ей этого человека. Около девяти часов в холле все стихло. Они выбежали из офиса. Артур стоял у входа в машинное отделение и держал в руке лист бумаги. Он закрыл дверь и, когда наступила полная тишина, стал медленно читать:

Реймс, Франция, 7 мая 1945 года

В воскресенье в 2.41 по французскому времени или в 8.41 вечера по Восточному военному времени Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции перед союзниками и Советским Союзом. Капитуляция была подписана в небольшом, красного кирпича, здании школы, в штаб-квартире генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра. Капитуляцию, которая формально завершила войну в Европе, длившуюся пять лет, восемь месяцев и шесть дней и принесшую множество жертв и разрушений, от имени Германии на акт о безоговорочной капитуляции подписал генерал Альфред Йодль. Генерал Йодль является новым начальником штаба германской армии. Акт капитуляции с американской стороны был подписан генералом Уолтером Беделлом Смитом, начальником штаба генерала Эйзенхауэра. От имени Советского Союза он был подписан генералом, а от имени Франции генералом Франсуа Севезом. Официальное сообщение будет объявлено во вторник, в девять утра, когда президент Гарри С. Трумэн выступит с радиообращением к народу, премьер-министр Уинстон Черчилль издаст указ о провозглашении Дня Победы в Европе. В это же время генерал Шарль де Голль обратится с таким же обращением к французскому народу.

Артур закончил читать. Вытер пот со лба и без каких-либо комментариев вернулся в машинное отделение. Сквозь стекло все видели, как он с остервенением стучит по столу кулаком. После минуты абсолютной тишины раздались оглушительные аплодисменты, а затем — громкие вопли. Стэнли, подхваченный толпой, неожиданно куда-то исчез. Анна одиноко стояла, со всех сторон толкаемая людьми. Подошла к стене и, стараясь держаться подальше от кричащей толпы, пробралась на кухню. Она выключила свет, встала на колени и, прижавшись головой к

холодильнику, заплакала.

— Я вас искал, — услышала она чей-то голос.

Встала. Поспешно вытерла слезы.

— Не включайте свет. Я лучше вижу в темноте.

Она узнала голос Макса.

— Не могли бы вы пойти сейчас со мной в лабораторию?

Он крепко обнял ее и осторожно погладил по голове.

— Ты считаешь, что они меня презирают? Ты так считаешь? Ведь я не хотела этой войны, — шептала она, уткнувшись лицом в его рубашку.

— Забудь о них, Анна, забудь. Они точно так же кричат, когда «Янкис» выигрывают в бейсбол. А может, громче. Забудь.

— Но я не хочу забывать! Я радуюсь больше, чем они. Макс, я не пойду сейчас в лабораторию. Сегодня не пойду. Сегодня эти фотографии убьют меня. Сегодня нет...

Спонтанная радость после объявленной новости длилась до самого утра. Редакция солидной газеты напоминала бесшабашный клуб в новогоднюю ночь. Всюду валялись бутылки, по радио звучала громкая музыка, люди танцевали среди письменных столов. После полуночи на этих же столах сидели парочки. Стэнли стоял рядом с Анной на пороге офиса, смотрел на всеобщее ликование и прижимал ее к себе. Она закрыла глаза и подумала о доме на Грюнер, о тете Аннелизе, суесящейся на кухне, о пьяной Стопке, лежащей у печки и — неизвестно почему — о той девушке на амвоне в Анненкирхе, которая повторяла «я люблю тебя, люблю тебя, помни, что я люблю тебя...».

Холл опустел около четырех утра. Стэнли выпил слишком много, чтобы возвращаться домой на машине, а ее последний поезд метро давно ушел. Они закрыли на ключ двери офиса, опустили жалюзи, погасили свет. Она лежала на полу рядом со Стэнли и нежно целовала его руки.

— Стопка тебя любила. Правда... — прошептала она.

Он крепче прижал ее к себе и спросил:

— Ты возьмешь меня когда-нибудь в Дрезден?

— Возьму, Стэнли. Я всюду тебя возьму. Теперь всюду. Я так рада, что все кончилось! Я так ждала этого дня...

Она проснулась около девяти утра. Стэнли еще спал. Она быстро поправила мятую одежду и побежала на кухню. По дороге она улыбалась встреченным в холле людям, занятым ликвидацией последствий минувшей ночи. Она вернулась в офис с двумя чашками кофе. Через несколько минут оба уже сидели за своими столами.

Нью-Йорк, Таймс Сквэр, Манхэттен, вечер, суббота, 12 мая 1945 года

Во вторник восьмого мая около полудня она сидела с сигаретой на подоконнике и смотрела на плотную, колышущуюся и восторженно кричащую толпу, собравшуюся на Таймс-сквер. Американцы отмечали День Победы. Плакаты, лозунги, воздушные шары, маленькие флажки с аббревиатурой «V-E-Day» — американцы обожают легко запоминающиеся сокращения — перемешаны были с американскими флагами. Victory-over-Europe-Day, День Победы над Европой, объявленный во вторник в девять утра в официальном радиообращении президента Трумэна, вызвал общенациональную истерию. Холл опустел. Все побежали вниз, чтобы смешаться с толпой. Наверху осталась только Анна. Она боялась толпы, а особенно — толпы в состоянии патриотической истерики.

Через несколько минут она вернулась к столу. Вместе со Стэнли Анна работала над репортажем о подземельях Нью-Йорка. По случайному стечению обстоятельств во время разборки здания на юге Манхэттена, недалеко от китайского квартала, рабочие обнаружили засыпанный вентиляционный канал станции метро. Упавшие камни убили двоих детей, которые спали под трубой канала. Выяснилось, что недалеко от перронов станции в течение четырех лет жила группа нелегальных эмигрантов из славянских стран, численность которой превышала двадцать человек. Четырех лет! Когда она и Стэнли пошли вдоль рельсов и добрались до места, где обитали эти люди, их глазам предстало чудовищное зрелище. Среди кашлявших, лежавших на картоне агонизировавших стариков бегали дети. В центре площадки горели костры. В дальнем углу, за баррикадой из мусора, находилось двенадцать свежих могил. Людей, которые здесь умирали, не поднимали наверх. Это было слишком рискованно. Их хоронили за грудой мусора. Анне вспомнился склеп в Дрездене. Стэнли был шокирован. Он даже не делал снимков, не мог. В этот же день он встретился с Артуром. Вечером Артур позвонил мэру этого пригорода, который попросил его придержать этот материал. Ночью Артур перезвонил Стэнли, попросил закончить статью и на следующий день положить ему на стол. «Все, мать их, всю правду, со всеми подробностями!» — добавил он в конце. Стэнли пересказал ей разговор с Артуром слово в слово, с ненормативной лексикой, которой на сей раз была просто усыпана речь

Артура.

На лежавших на ее столе фотографиях из подземелья она заметила свернутую в рулон бумагу с телексом.

Сегодня, 8 мая 1945 года около 10.00 по Гринвичу части советской Пятой Гвардейской армии вошли в Дрезден. Город сдался без особого сопротивления и находится под полным контролем советов. Глава округа (гауляйтер) и одновременно градоначальник Мартин Мучманн, который 14 апреля провозгласил Дрезден крепостью, покинул город до вступления русских. Место его пребывания неизвестно (источник: «Ассошиэйтед Пресс»).

На шершавой бумаге, вырванной из телекса, было от руки написано: «Думаю, тебе будет интересно об этом узнать». Она узнала почерк Макса Сикорски.

— Знаешь, никто так хорошо не снимает в темноте, как ты, — сказал Макс, приветствуя ее на пороге лаборатории. — Ты как летучая мышь с фотоаппаратом. Картинки из подземелья под Чайнатауном просто великолепны.

— У тебя найдется для меня минута, Макс? — спросила она, закрывая дверь. — Я бы хотела немного побыть в Дрездене. Особенно сегодня.

Села за стол напротив фотографий. Смотрела...

Молящийся солдат. Провой рукой сжимает культию левой руки. Из каски, лежащей у ног, поднимается огонек горящей свечи. Маленькая плачущая девочка с забинтованной рукой рядом, на горшке.

— Макс, знаешь, этот солдат после молитвы подошел к девочке, взял ее на руки и отнес к родителям... После каждой из этих фотографий жизнь продолжалась дальше, хотя должна была остановиться. Хоть на минуту...

— Сколько тебе лет? Двадцать? Двадцать два? — спросил неожиданно Макс и, не дождавшись ответа, добавил: — Ты видишь мир глазами такого старика, как я. Ты замечаешь то, что люди в твоём возрасте замечать не должны. Расскажи мне хоть немного о том, как продолжалась жизнь после каждого из этих снимков.

Она сидела рядом с Максом напротив висевших на стене фотографий и рассказывала. О том, что старушка в шубе и соломенной шляпке,

глядящая сидящего у нее на коленях тощего кота с одним ухом, после очередного налета ходила по церкви и искала своего кота, а когда не нашла, просто вышла на улицу и больше не вернулась. О том, что монашка, исповедующаяся перед курящим сигарету священником, минуту спустя играла в прятки с бегавшими по церкви детьми.

О том, что никакая вода не была такой вкусной, как та, что текла из латунного крана раковины, торчащей среди руин. О том, что рядом с придавленной частью балкона женщины с мертвым младенцем в руках собирались голодные вороны. О том, что этот скрипач, который стоит и играет под люстрой из свечек на фоне гробов и черепов, целый день вытаскивал из разбомбленного подвала мусор, чтобы купить для нее одеяло. А она? Она не знает даже, как его зовут. Сначала не хотела знать, а потом не успела спросить. Она замолчала. Быстро вытерла следы слез со столика и, вставая, сказала:

— А теперь, Макс, мне нужно покурить.

После обеда Лайза обходила всех, раздавая конверты с приглашением на официальный прием по случаю Дня Победы. Артур оценил «готовность всего коллектива» и приглашал от своего имени и от имени правления фирмы «Нью-Йорк таймс» на торжественный ужин. В субботу, 12 мая, в восемь вечера в ресторане в «Эмпайэр Стейт билдинг».

Она не была уверена, что ей следует туда идти. В субботу Натан пригласил ее «на ночное посещение» музея искусств «Метрополитэн». Музейщики решили по случаю Дня Победы на всю ночь открыть для посетителей свои залы. Анна еще никогда не была в музее ночью и хотела это увидеть. Особенно этот музей и особенно с Натаном, который об искусстве и литературе знал не меньше, чем о заражении хомячков туберкулезом. Это во-первых. Во-вторых, ей не хотелось выслушивать вопросы типа: «Как вы чувствуете себя, будучи немкой?», «Вы когда-нибудь встречались с Гитлером?» или: «Почему немцы так ненавидели евреев?». Ей уже много лет тяжело с этим жить, но она родилась немкой и не может этого факта изменить. Гитлера своими собственными глазами она видела один раз, на параде в Дрездене, когда ей было пятнадцать. У него были ужасные усы, и он громко кричал. А если говорить о евреях, то один врач-еврей когда-то спас жизнь ее отцу, то есть благодаря ему она вообще появилась на свет. Кроме того, в течение двух последних лет она ежедневно выносила из тайника под полом горшок с испражнениями еврейского мальчика, по которому и сейчас скучает. А потому пусть они все убывают со своими вопросами. Пусть убираются в самый дальний уголок своей размазанной диснеевской мечты!

Стэнли считал, что ее отсутствие в субботу большинство сочтет демонстративным. Всем как будто известно: она только что приехала оттуда, но она — «совсем другая немка». Они знают это от него, от Артура, Лайзы и Макса. Но не мешало бы, чтобы они узнали это и от нее самой. Она может не обращать внимания на глупые вопросы, будет достаточно, если ответит на умные. Но главное — ей непременно нужно там быть.

Натан тоже так считал. Кроме того, как он признался, ему очень хотелось проехаться в метро «с такой красивой женщиной». Он проводил ее до самых дверей «Эмпайр Стейт билдинг». Перед выездом она хлебнула для храбрости из маленькой фляжки, надела новое платье и положила в сумочку флакон духов, два шелковых носовых платка и обручальное кольцо бабушки Марты. На счастье.

На стенах лифтов в «Эмпайр Стейт билдинг» были большие хрустальные зеркала в деревянных рамах. У пульта с кнопками стоял чернокожий лакей в забавной фиолетовой униформе. В лифте ехала парочка стариков и молодой, очень высокий, худой, загорелый мужчина в светлых брюках и темно-синем пиджаке. Его глаза были еще более голубые, чем у Стэнли, и он был удивительно на него похож. Когда Анна сдала пальто в гардероб и зашла в лифт, он посмотрел на нее с улыбкой и вежливо поклонился. А потом погрузился в свои мысли и больше не обращал на нее внимания. На тринадцатом этаже она вдруг с ужасом почувствовала, что платье сползло у нее с плеч. Видимо, она не до конца застегнула платье, у него ведь была такая неудобная застежка, сзади. К тому же она не надела бюстгальтер: вот-вот должна была начаться менструация, грудь увеличилась и болела. Анна решила доехать до ресторана и там, в туалете, разобраться с платьем. Пара стариков вышла на девятнадцатом этаже. Платье продолжало вести себя странно. На двадцать первом этаже Анна подошла к зеркалу и, закинув руку за спину, попыталась дотянуться до застежки. Чернокожий лакей повернулся к ней спиной. И тогда она, придерживая платье на груди, подошла к высокому мужчине и, задрав вверх голову, спросила:

— Не могли бы вы помочь мне с этой чертовой застежкой?

Оторвавшись от своих мыслей, он минуту смотрел на нее, как на пришельца из других миров.

— Конечно помогу. Что нужно сделать?

— Пожалуйста, затегните до конца мое платье. Только и всего.

Начиная с тридцать девятого, следующие восемнадцать этажей Анна скромно стояла в углу лифта и разглядывала огромные ладони, а потом и лицо своего «спасителя». Он по-прежнему пребывал в глубоком раздумье

и, казалось, не замечал ее, даже когда поглядывал в ее сторону. На пятидесятом этаже он достал из кармана пиджака небольшой блокнот и карандаш. Наконец лифтер громко объявил: «Пятьдесят пятый этаж!». Здесь находился ресторан, куда пригласил своих сотрудников Артур, и Анна вышла, а потом быстро обернулась. Незнакомец остался в лифте, он продолжал что-то записывать в блокнот. Анна поняла, что ей вовсе не хотелось выходить из лифта...

В устланном красными коврами холле толпились многочисленные гости. У дверей, которые вели в ярко освещенный зал, Анна увидела Артура. Он приветствовал всех входивших, здороваясь с каждым за руку, и представлял своих гостей стоявшей рядом худенькой женщине в длинном черном платье. Анна встала в конец очереди. Кое-кого она уже знала. Женщины в вечерних платьях, мужчины в костюмах или смокингах. В холле стоял густой аромат духов. Официанты, пробираясь сквозь толпу, подходили к гостям с подносами, уставленными бокалами. Анна повесила сумочку на плечо и взяла два бокала. Один выпила залпом, так что официант даже не успел отойти, а из второго пила маленькими глоточками, медленно продвигаясь вперед вместе с очередью.

— Адриана, позволь представить тебе, — наконец услышала она голос Артура, — нашего нового сотрудника из Дрездена. Мисс Анна Марта Бляйбтрой...

Женщина поспешно достала из сумочки очки и надела их. Потом обняла Анну и прошептала ей на ухо:

— Я сегодня начала изучать немецкий. Очень красивый язык, но такой трудный! Одно слово я все же запомнила и надеюсь, что уже никогда не забуду.

— Какое?

— Das Herz. Я правильно произнесла? Даже если нет, неважно. Это слово я знала и раньше. Я очень рада, что вы приехали. Научите меня фотографировать?

— Я как раз хотела поблагодарить вас, я чувствую та...

— Артур говорил, что вы похожи на меня, какой я была, когда он просил моей руки, — прервала ее женщина, — но это неправда. Он меня идеализирует, к тому же, видимо, стал подслеповат. — Она повернулась к стоявшему рядом официанту и сказала: — Проводите, пожалуйста, мисс Бляйбтрой к ее столику.

Анна шла за официантом, пытаясь скрыть выступившие на глазах слезы. Макс встал и отодвинул для нее стул. Она села, стараясь не поднимать глаз на соседей.

— Макс, пожалуйста, сделай для меня кое-что, — прошептала ему на ухо. — Налей водки в стакан и разбавь лимонадом. Только незаметно. Пусть водки будет больше, чем лимонада.

— На столе нет водки, есть только бренди, — прошептал Макс через секунду.

— Не страшно. Пусть будет бренди. Но лимонада много не наливай.

Анна чувствовала, что все смотрят на нее. Но в этот момент конференсье объявил:

— Дорис Дэй и Лес Браун споют свой хит «Сентиментальное путешествие». Здесь, сегодня и только для нас!

Все как по команде вскочили. И в перерывах между куплетами подпевали:

Seven... that's the time we leave at seven.
I'll be waitin' up at heaven,
Countin' every mile of railroad
track, that takes me back⁸.

Анна тоже знала эти строчки наизусть. Почему-то именно эта песня стала особенно популярной в эти дни. Ее постоянно передавали по радио. Казалось, после 8 мая Нью-Йорк слушал только американский гимн и «Сентиментальное путешествие». Анна ведь тоже однажды села в поезд, хотя и не в семь часов...

Бренди подействовал только после второго бокала, но раньше, чем Дорис Дэй покинула сцену, потому что люди продолжали петь и аплодировать еще довольно долго. Соседний стул пустовал. Карточка на столе гласила, что это место Стэнли Бредфорда. Но его не было! Примерно к десяти Анна начала беспокоиться. Достала монетки и, протискиваясь сквозь развеселившуюся толпу, отправилась в коридор к телефону-автомату. У двери, рядом с фуршетным столиком с закусками, стоял Артур. Он остановил Анну, склонился к ее уху и спросил шепотом:

— Та бутылка у вас с собой? Водка была отличная. А здесь подают какую-то паленую.

— Очень жаль, но сегодня я оставила ее дома. Это была настоящая польская водка. От еврея из Грин-Пойнт. Хотите, я куплю вам несколько бутылок? А вы не знаете случайно, куда подевался Стэнли? Мне его очень не хватает.

— Стэнли? — Он внимательно посмотрел на часы. — Он должен

сейчас быть в Сан-Франсиско.

— Где?!

— В Сан-Франсиско. Сегодня рано утром в камерах лагеря для интернированных повесились сразу восемь японцев. Стэнли считает, что это произошло не случайно именно теперь, сразу после Дня Победы. Он уверен, что им помогли. Кроме того, лезть в петлю не характерно для японцев. Если они решают уйти из жизни, то вспарывают себе кишки или, если это невозможно, вскрывают вены. Стэнли полетел туда, чтобы во всем разобраться. Вернется послезавтра.

— Как это?! Почему он мне ничего не сказал?! — удивленно воскликнула Анна.

Артур обнял ее и вдруг сказал кому-то:

— Привет, Эндрю! Рад, что у тебя нашлось для нас время. Как развивается наша американская физика?

Анна обернулась. Перед ней стоял тот самый мужчина из лифта и с интересом ее рассматривал.

— Привет, Артур, я не знал, что у тебя есть дочь. Послушай, где я могу найти Стэнли?

— Сейчас? Думаю, во Фриско. Разве он не позвонил и не извинился? Он всегда перед тобой извиняется. Никак не могу понять, почему и за что...

— В последнее время мы мало общаемся, — ответил мужчина, пропустив замечание Артура мимо ушей.

— Понятно, Эндрю, понятно. У нас у всех полно работы. А у тебя теперь, должно быть, больше всех, так? Мне особенно приятно, что ты все же нашел время и явился на вечеринку. Позволь представить тебе мисс Анну Марту Бляйбтрой. Благодаря твоему брату она теперь работает в «Таймс».

Мужчина протянул Анне руку:

— Эндрю Бредфорд. Очень приятно.

Она взяла его руку, посмотрела на нее и сказала:

— Какая у вас большая и красивая ладонь!

— Эндрю был когда-то отличным баскетболистом, но потом ему это разонравилось, и теперь он очень талантливый физик, — вмешался Артур. — А сейчас извините меня. Я вынужден вас покинуть.

— Как вам удалось такими большими руками справиться с моей застежкой? — спросила Анна, глядя Эндрю в глаза. — Мне стыдно за этот случай в лифте. Но вы ведь не сердитесь, правда? У вас со Стэнли глаза очень похожи, только ваши еще голубее.

— А как вы с ним познакомились, если, конечно, не секрет?

— На башне кельнского собора.
— Где?! Какого собора?
— Кельнского. Это такой город в Германии, на Рейне.
— Это я знаю. Но как? Когда?
— В четверг утром, 8 марта 1945 года. Я ждала там Стэнли.
— В четверг, 8 марта, на башне, в Кельне, в Европе, гм... А что Стэнли там делал?
— Фотографировал противоположный берег Рейна.
— Вы шутите! Мой брат ни с того ни с сего стоял на башне кельнского собора два месяца тому назад и снимал противоположный берег Рейна?
— Не только стоял, какое-то время он лежал под балюстрадой. Но недолго.
— Мой брат Стэнли?! Запросто отправился за океан, на войну, чтобы поснимать в свое удовольствие? А вы, вы-то какое имеете к этому отношение?
— Не знаю, но все время пытаюсь узнать. Во всяком случае, ваш брат сделал много важных для него кадров и увез меня с собой.
— Извините, что я так прямо об этом спрашиваю, вы немка?
— А за что вы, собственно, извиняетесь? Какого черта вы передо мной извиняетесь?! Позвоните своему брату и сами его спросите! Когда вы последний раз с ним разговаривали? Когда заканчивали школу? — выпалила Анна и отвернулась.

Кто-то поставил рядом недопитый бокал вина. Она выпила его до дна и молча вышла. Успев на последний поезд метро, она приехала домой, но не смогла заснуть. Накинув плащ прямо на халат, спустилась вниз и перебежала через улицу в парк. Села на скамейку. В свете фар проезжавшего по улице автомобиля она увидела глаза вглядывавшегося в нее кота...

— Стопка, я расскажу тебе сказку про Кота в сапогах, — шепнула она, нежно почесывая кошку за ухом. — Ты ведь хочешь, правда? У речки стояла мельница. Каждый день мельничное колесо стучало по воде: тук-тук. Но однажды эти звуки заглушили печальные песни. Умер старый мельник. После поминок братья разделили отцовское наследство: старшему досталась мельница, средний забрал осла, а младшему отдали кота. Понял младший брат, что нет ему места на мельнице. Взял буханку хлеба, серого кота и пошел куда глаза глядят...

Нью-Йорк, Бруклин, ночь, 19 мая 1945 года

Весь день Анна лежала в постели, пила какао, объедалась — забыв диете — кексами «Брауниз» и взахлеб читала «Черный», автобиографическую книгу Ричарда Н. Райта, которая уже несколько недель возглавляла список самых продаваемых книг в Соединенных Штатах, а в списке «Таймс» фигурировала четыре недели подряд. Райт, тридцатисемилетний негр, родился в южном штате Миссисипи. В 1940 году он стал первым в истории Соединенных Штатов негритянским автором, чья книга «Сын Америки» попала в список бестселлеров. Годом позже Орсон Уэллс сделал по этой книге инсценировку и поставил ее на Бродвее. Но то была сокращенная версия. Цензура тщательно вымарала сексуальные фантазии главного героя по отношению к белым женщинам — и в романе, и в пьесе. Стэнли по просьбе Анны раздобыл у издателя полный машинописный текст книги Райта. Теперь она читала ее и не могла понять, что же не понравилось цензорам. Райт знал, о чем писал. Он хорошо знал белых женщин. Его первая жена была белой, так же, как и вторая, которая родила ему дочь. Книги Райта представляли мрачную картину американского расизма во всей его красе. Если бы он написал «Черного» сейчас, после Бухенвальда, Бельзена и Дахау, рассказы Анны о расизме в Германии уже никому не казались бы небылицами. «Здесь негров не обслуживают» звучало точно так же, как «мы не обслуживаем евреев»! Из книги Райта Анна узнала, что слово «негро» на юге Америки произносят иначе, чем на севере, — как «knee-grow», то есть «выросший на коленях» — и наверняка не без причины.

Зазвонил телефон. Так поздно, в одиннадцать вечера, мог звонить только Стэнли. Натан никогда бы себе такого не позволил.

— Стэнли, что случилось? — спросила она, проглотив кусок кекса.

Минутная пауза. Смущенное покашливание.

— Я решил позвонить вам, чтобы...

— Привет! Как поживаете, Эндрю? — сказала Анна, пытаясь скрыть удивление.

— Я хотел перед вами извиниться за по-дурацки сформулированный вопрос.

— Какой вопрос, мистер Бредфорд? Я не помню никаких вопросов.

Зато помню ваши руки на моей спине и ваши удивительно голубые глаза. И запах вашего порфюма...

— Извините за поздний звонок. Я забыл, что у вас уже поздняя ночь. Я вас не разбудил?

— Нет. Вы оторвали меня от кексов и Райта. Это хорошо. Я рада, что вы оторвали меня от сладкого.

— От какого Райта? — не понял Эндрю.

— От Ричарда Райта. Я как раз его читала...

— Вы читаете Райта?! Да вы что?! Это же чокнутый коммунист, к тому же...

Анна бросила трубку. Она разозлилась. Закурила, подошла к окну. Сигарета ее успокоила. Еще через минуту телефон зазвонил снова. Она вернулась к кровати. Телефон все трезвонил. Она долго не снимала трубку, но потом все-таки не выдержала.

«Стэнли, я как раз думала о тебе, — прошептала она. — Представляешь, только что мне позвонил твой брат. Я знаю, братьев не выбирают, но он ведь законченный шовинист. И к тому же слишком высокого о себе мнения. Ты совсем не такой. Ты обнимешь меня, Стэнли? Мне это очень нужно. Сейчас. Обними меня, крепко-крепко...»

В трубке раздался щелчок и короткие гудки.

Нью-Йорк, южный Манхэттен, день, понедельник, 20 июня 1945 года

Около трех часов дня на горизонте появились клубы пара, потом — очертания корабля. В толпе раздались приветственные крики, и Анна закричала вместе со всеми. Уже два часа она стояла на Саус-стрит, неподалеку от Бэттери-парк, в нетерпеливом ожидании. Британский пассажирский лайнер «Куин Мэри» торжественно гудел, возвещая о своем триумфальном прибытии в Нью-Йорк. Анна схватила фотоаппарат. В небе парил дирижабль американских военно-морских сил, а за величественным пароходом, который на время войны перекрасили из черного в светло-серый, следовали две моторные яхты. На палубах яхт танцевали девушки с цветами в волосах и махали руками солдатам, стоявшим на палубе лайнера. «Куин Мэри» медленно приближался к Гудзону в окружении парусников, торговых судов, паромов, землечерпалок и буксиров, которые тоже гудели на все голоса, приветствуя победителей. Недалеко от Бэттери-парк корабль портовой противопожарной службы «Файерфайтер» салютовал им фонтанами воды. На палубах «Куин Мэри» пели и кричали более четырнадцать с половиной тысяч глоток. «We made it Mom»⁹ — было написано на плакатах, которые держали над головами солдаты. Время от времени в небо взмывали и падали надутые презервативы. Толпа на берегу ликовала, водители проезжавших по улицам автомобилей останавливались и гудели в клаксоны. Нью-Йорк взрывался радостными возгласами, приветствуя «своих парней», возвращавшихся с войны в Европе. Это была еще не вся война: «Осталась только Япония, мама», прочла Анна на очередном плакате.

Они со Стэнли договорились, что Анна будет снимать вход судна в гавань, а он — швартовку. Вечером в редакции он рассказал ей и Артуру о том, что когда пароход «Куин Мэри» наконец пришвартовался у девяностого пирса в Вест-сайте, солдаты чуть не смели полицейских и, не обращая внимания на ожидавших их при полном параде генералов и представителей городских властей, ринулись к женщинам в толпе.

Когда они с Анной остались в офисе одни, Стэнли подсел к ней. Он курил и вспоминал Люксембург. Рассказывал Анне о молодых мужчинах, которые показывали ему фото улыбающихся женщин из своих бумажников.

— Там, в Люксембурге, я впервые понял, — сказал он, — как важно,

чтобы у тебя был кто-то, по кому ты скучаешь...

На следующий день на первых страницах большинства американских газет появилась сухая информация:

Пять дней тому назад, вечером 15 июня 1945 года, в 7.35 по местному времени «Куин Мэри», самый большой пассажирский корабль в мире, принял на борт в небольшом шотландском городке Гурок 12 326 американских солдат, выполнявших освободительную миссию в Европе. Спустя 135 часов пути, вчера, в 3.30 пополудни, корабль вошел в порт Нью-Йорка.

Нью-Йорк, Манхэттен, 10.15 утра, суббота, 28 июля 1945 года

Анна стояла в редакционном кабинете у окна и курила. Туман в тот день стоял такой плотный, что не видно было даже улицу внизу. Стэнли ругался с кем-то по телефону. На Бруклинском мосту из-за тумана столкнулось более тридцати автомобилей, и никто не знал числа пострадавших.

— Раненые меня не интересуют! — кричал в трубку Стэнли. — Только погибшие. Особенно дети. Выясни, сколько их, и перезвони. Я жду.

Минуту спустя в офис вбежала запыхавшаяся Лайза.

— Стэнли, поезжай сейчас же в «Эмпайр». Звонил Артур. Там происходит что-то невероятное! — кричала она в ужасе.

«Эмпайр Стейт билдинг» оцепили полицейские. Верхние этажи здания были окутаны клубами густого черного дыма, лифты не работали. Анна и Стэнли побежали наверх по лестнице. Стэнли кашлял и ругался:

— Черт побери! Здесь семьдесят три лифта! И ни один не работает. Сколько ты выкуриваешь в день, Аня?

— Двадцать штук. Не больше...

— Тогда беги вперед. Я догоню. Какой этаж мы проскочили?

— Двадцать девятый.

— Только?! Этот самолет залетел на восьмидесятый. Беги...

В холле на шестьдесят пятом этаже молодая радиожурналистка из Сиби-эс записывала разговор с охранником, который читал заявление по бумажке.

Анна достала блокнот.

Около 9.40 по местному времени самолет, летевший со скоростью 332 километра в час, врезался в восьмидесятый этаж здания «Эмпайр Стейт билдинг». По словам свидетелей, во время столкновения все здание содрогнулось. Бомбардировщик Б-25 проломил стену на высоте восьмидесятого этажа, и один из его двигателей упал на соседнее здание. От удара в стене возникло отверстие размером пять на шесть ярдов. После взрыва топливных баков самолета возник пожар, который удалось потушить через сорок минут. По последним данным, в результате

происшествия погибли четырнадцать человек, тяжело ранены двадцать четыре. Как сообщается, катастрофа не вызвала серьезных повреждений конструкций здания. Материальный ущерб пока трудно оценить.

Штаб военно-воздушных сил в Пентагоне специальным коммюнике выразил сожаление по поводу этого инцидента. Самолет пилотировал опытный летчик, подполковник вооруженных сил США Уильям Ф. Смит-младший.

Бомбардировщик Б-25, не несущий боезаряда, вылетел из Бедфорда, штат Массачусетс, в Ньюарк, штат Нью-Джерси. Из Ньюарка самолет должен был отправиться на базу в Северной Дакоте. На борту, кроме экипажа, находились два пассажира. Из-за густого тумана, который окутал окрестности Нью-Йорка, самолет направили в аэропорт «Ла-Гуардиа» в Нью-Йорке. Подполковник Смит, однако, имел также разрешение на экстренную посадку в Ньюарке. По пути в аэропорт Ньюарка и произошло трагическое столкновение. Командование военно-воздушных сил США выразило сочувствие родным и близким погибших в катастрофе.

Кашляя как чахоточный, с красными пятнами на лице, Стэнли появился в дверях холла на шестьдесят пятом этаже как раз в тот момент, когда охранник отбивался от вопросов журналистов. Анна подбежала к нему.

— Стэнли! Это больше, чем просто происшествие, но у нас нет ни одного снимка! Лестницу наверх закрыли. Фото охранника напечатают все. Придумай что-нибудь, Стэнли! Придумай, пожалуйста. Как бы я хотела увидеть эту дыру!

Стэнли огляделся. Перед дверью на лестницу была протянута широкая желтая лента с надписью «Стоп!». Возле нее стоял молодой полицейский.

— У нас нет никаких шансов. Ничего не поделаешь. Ты холл сняла? Записи сделала? — спросил Стэнли, понизив голос.

Анна, не отвечая, побежала в туалет, встала перед зеркалом, сняла жакет, расстегнула блузку, сняла лифчик, спрятала его в сумочку, повесила аппарат на плечо и поправила прическу. Потом вернулась в успевший опустеть холл. Стэнли стоял у окна и курил. Увидев ее, хотел подойти, но она знаком остановила его и направилась к полицейскому, который преградил ей путь.

— Я была здесь две недели назад. В субботу. Это вас я встретила тогда

на террасе, не так ли? — спросила она кокетливо.

— Две недели назад? Это невозможно. У меня был выходной, — ответил он официальным тоном.

Анна изо всех сил старалась не засмеяться. У него был выходной. Вот тебе раз! Именно тогда. Какая неудача! Номер не прошел. К тому же он ниже ее ростом. Полное фиаско.

— А когда у вас будет следующий выходной? Может, встретимся сегодня вечером? — спросила она шепотом, подходя почти вплотную.

— Сегодня не будет. Сегодня вечером у нас инструктаж по уходу за оружием. У меня выходной во вторник, а потом в пятницу. И конечно, в воскресенье, но только после мессы.

В воскресенье. После мессы.

Анна сделала последнюю попытку:

— Какой ужасный случай с этим самолетом! Я бы хотела помолиться. Вы не пройдете со мной наверх, не покажете мне это место?

Полицейский внимательно осмотрел холл. Стэнли стоял довольно далеко, повернувшись к ним спиной. Полицейский приподнял желтую ленту. Анна не помнила, когда последний раз бежала по лестнице с такой скоростью.

Полицейский, стоя в углу, молился, а Анна снимала. Огромный пролом в стене. Недопитый кофе на остатках письменного стола. Забрызганные кровью листы бумаги. Обгоревшее женское лицо в оплавленной рамке. Вдруг она услышала голос Стэнли.

— Выстави другую диафрагму, потемнее, иними еще раз...

Полицейский вскочил.

— Что вы здесь делаете?! Немедленно уходите отсюда!

В редакцию они вернулись около двух часов дня. Тут же побежали в лабораторию. Макс принес проявленные снимки в четыре. Они выбрали те, что получились темнее. В воскресенье утром, в специальном номере, на первой полосе газеты «Нью-Йорк таймс» появилось пол-лица женщины в оплавленной рамке. В понедельник это фото перепечатали все крупные газеты страны. Под ним стояла подпись: «© Анна Марта Бляйбтрой, “Нью-Йорк таймс”, все права защищены».

Журналистов пустили на этажи, пострадавшие от столкновения с самолетом, только в среду. Как образно выразился Артур, «это напоминало ситуацию, когда на завтрак подают яичницу из протухших яиц». Но в четверг история столкновения бомбардировщика с «Эмпайр Стейт билдинг» вновь вернулась на первые полосы газет из-за «чуда в “Эмпайр”,

как назвали случай с Бетти Лу Оливер, скромной лифтершей, которая во время катастрофы была на своем рабочем месте. Когда стену здания протаранил Б-25, Бетти находилась как раз на восемьдесят первом этаже. Ей обработали ожоги, а потом посадили в другой, якобы исправный лифт и отправили вниз. Но лифт не был исправен: кабель перебило во время столкновения. Бетти Лу Оливер упала в кабине лифта с высоты тысячи футов, то есть около трехсот метров, и осталась жива! Разорванные кабели сложились на дне шахты лифта и, словно подушка, амортизировали удар. Именно после происшествия с Бетти Лу Оливер было принято решение немедленно выключить все лифты. Стэнли уверял, что это их общий с Анной ангел-хранитель велел Бетти войти в лифт раньше, чем они добрались до «Эмпайр».

К описанию чудесного спасения Бетти Лу Оливер, которым целый день жила Америка, большинство газет присовокупило фото из воскресного номера «Таймс».

Нью-Йорк, Манхэттен, вечер, 20.55, понедельник, 6 августа 1945 года

Анна ужасно хотела есть. Из Принстона они вернулись только в восемь вечера. Стэнли узнал из своих источников, что в полдень, впервые после длительного перерыва, Эйнштейн прочтет лекцию для студентов университета. Эта лекция официально была закрытой для публики и журналистов, но, как оказалось, не «герметично» закрытой. Одна знакомая Стэнли по учебе в Принстоне вписала их фамилии в список приглашенных. Им следовало в полдень быть у дверей аудитории. С фотоаппаратами. Знакомая Стэнли не была уверена, что Эйнштейн согласится на фотосъемку, но, по ее словам, как правило, он не возражает. Особенно если его снимают молодые привлекательные женщины.

Расстояние до Принстона около девяноста километров. Учитывая возможную пробку у тоннеля Линкольна, они рассчитывали доехать за три часа. Из Бруклина выехали ранним утром и около одиннадцати уже стояли у входа в аудиторию. Два часа Анна скучала, не понимая абсолютно ничего из того, что Эйнштейн говорил и писал на доске. Ее удивил его сильный немецкий акцент. Временами, услышав его замечания о «красоте физики» и сравнения интегралов и дифференциалов с «партитурой скрипичного концерта», она с интересом поднимала голову. Но только в таких случаях. Все остальное было до смерти скучным.

После лекции Эйнштейна обступили студенты, а Анна и Стэнли вышли в коридор. Стэнли записывал вопросы, которые собирался задать Эйнштейну, а Анна должна была снимать их беседу. Эйнштейн и его ассистент вышли из лекционного зала последними. Было похоже, что они очень спешат. Стэнли бросился к ним, но ассистент преградил ему дорогу.

— Простите, но у профессора нет времени! — сказал он решительно, провожая Эйнштейна к двери.

Когда они проходили мимо Анны, она спросила по-немецки:

— Вы ненавидите немцев?

Эйнштейн остановился как вкопанный. Ассистент опять запричитал:

— Извините, но профессор...

Эйнштейн, не обращая на него внимания, подошел к Анне и, улыбаясь, ответил тоже по-немецки:

— Это слишком громко сказано, фрейлейн. Я всего лишь считаю, что

немцы как нация должны понести наказание. Это они избрали Гитлера и они позволили ему реализовать свои планы. Вы немка? Разрешите, я угадаю, откуда вы? Судя по вашему акценту, скорее всего, из Саксонии? — спросил он.

— Да. Я из Дрездена.

Краем глаза она увидела, что к ним приближается Стэнли, и сняла с плеча аппарат.

— Из Дрездена? Там есть замечательная синагога. То есть была. Я посещал ее когда-то. А что же вы делаете здесь, в Принстоне?

— Пытаюсь вас сфотографировать. Но ваш ассистент не позволяет, — ответила она искренне.

— Как?! Майкл, ты действительно не подпускал ко мне эту даму?! — спросил Эйнштейн, обращаясь к своему ассистенту по-английски.

— Не было такого! — воскликнул тот возмущенно.

— Вы думаете, здесь достаточно светло? — спросил Эйнштейн, снова переходя на немецкий.

— Думаю, что нет.

— А где будет лучше?

— Вон там, у портрета ректора, — ответила Анна. — Вы не могли бы туда подойти?

— Нет. Я не люблю фотографироваться на фоне профессоров, которых изображают на картинах. Может, лучше вон у того растения в углу?

— Отлично.

Эйнштейн подошел к горшку с развесистым фикусом, поправил галстук и принял позу. Но Анне не нужен был фикус! Она хотела сфотографировать лицо Эйнштейна крупным планом. Только это! Она легла на пол. Эйнштейн разразился смехом. Искренним.

— Для кого вы так стараетесь? — спросил он весело, когда она закончила фотографировать.

— Для «Нью-Йорк таймс», сэр...

— Тогда передайте от меня привет Артуру. Непременно, — сказал Эйнштейн, направляясь к двери.

— Вы знаете Артура?! — воскликнула она изумленно.

— Да. Мы, евреи, все здесь знаем друг друга, — ответил он и вышел.

Стэнли стоял, опустив руки, и вначале не мог вымолвить ни слова, а потом спросил:

— Вы, немцы, все друг с другом знакомы?

— Нет. Не все. Кроме того, он уж точно не немец.

После полудня Стэнли устроил для нее ностальгическую экскурсию по Принстону. Она слушала его воспоминания. «Здесь, в этом здании... а в том здании...». Давно она не видела его в таком приподнятом настроении.

В восемь вечера он высадил ее на Таймс-сквер и поехал домой.

Анна сразу отнесла пленку в лабораторию. От голода у нее урчало в животе, но она ждала, когда позвонит Макс и скажет: «Материал готов, забирай».

Раздался звонок телефона, но это не был Макс.

— Анна, включи радио! Немедленно! — услышала она крик Стэнли.

— Какую станцию?

— Любую! Немедленно!

Она нажала на кнопку радиоприемника, стоявшего на столе Стэнли. Раздался голос президента Трумэна.

...хотел бы сообщить, что сегодня была сброшена первая атомная бомба на военную базу в Хиросиме. Мы выиграли в научно-исследовательском соревновании с Германией. Наша задача состоит в том, чтобы завершить агонию этой войны и спасти жизнь тысяч молодых американцев. Мы будем продолжать использовать это оружие, чтобы полностью уничтожить военный потенциал Японии, продолжающей военные действия...

Анна не стала дожидаться конца речи Трумэна и поспешила в «машинное отделение». Над телексами склонились сотрудники редакции, которые вышли на ночное дежурство. Анна стояла у ближайшего к двери телекса. Агентство «Ассошиэйтед пресс», с пометкой «срочно»:

После вылета с базы Тиниан на Тихом океане три бомбардировщика Б-29 393-го бомбардировочного эскадрона за шесть часов долетели до цели. Полет шел на высоте 32 тысячи футов, видимость хорошая. Капитан военно-морских сил США Уильям Парсонс привел в боевое состояние бомбу, которая к моменту взлета была недоукомплектована во избежание досрочного взрыва. Его помощник лейтенант Моррис Джеппсон снял блокировку заряда за тридцать минут до достижения цели. Бомба была сброшена с самолета «Энола-Гэй», пилотируемого капитаном военно-воздушных сил США Полом Уорфилдом Тиббетсом в 9.15 утра по местному времени. Гравитационная бомба, содержащая 130 фунтов урана-235, взорвалась над

городом на высоте 1900 футов.

Из-за сильного бокового ветра бомба не попала в цель — мост Аиои, а взорвалась над госпиталем «Сима».

Мощность взрыва соответствовала примерно 13 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Радиус полного уничтожения составил около 1,1 мили, что соответствует приблизительно 3,8 квадратной мили. По оценкам специалистов более 90% зданий в Хиросиме повреждено или полностью уничтожено. На данный момент нет точных данных о числе человеческих жертв. Президент Гарри Трумэн в своем сегодняшнем обращении к народу не исключил использование очередных атомных бомб для уничтожения других военных объектов в Японии, которая однозначно отвергла условия капитуляции, сформулированные Соединенными Штатами, Великобританией и Китаем в Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года.

Анна в ужасе читала сообщения. Одна бомба уничтожила более девяноста процентов зданий в городе! Чтобы уничтожить Дрезден, англичане и американцы сбросили несколько десятков тысяч бомб и осуществили три налета. Почему же тогда они не сбросили на Дрезден одну такую бомбу?! Ведь могли! Это же было меньше полугода тому назад.

Если одна небольшая бомба уничтожила центр большого Дрездена, то что случилось бы, если бы такие бомбы сбрасывали тысячами? Какое число жертв, «подтвержденных данными», появилось бы в заголовках газет? Если бы газеты вообще вышли на следующий день. Анна не могла себе это представить. Даже если у американцев нет еще сейчас тысячи таких бомб, вскоре они будут, это вопрос времени. А если такие бомбы будут у американцев, значит, и другие захотят их иметь. Чтобы быть уверенными, что и они могут разбомбить Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон. У русских такие бомбы будут наверняка. А может, уже есть.

Что должны чувствовать те, кто придумал, сконструировал и, наконец, сбросил такого монстра на живой город? Что чувствует сегодня капитан Тиббетс? Гордость или угрызения совести?

К ней подошел Макс Сикорски. Он не смог до нее дозвониться и отправился ее искать.

— Макс, ты читал это? — спросила она, вырывая лист бумаги из телекса и передавая ему.

— Читал. С сегодняшнего дня мир стал другим, — ответил он.

Они вышли из офиса вместе. Стоял теплый, душный летний вечер. Анна не спешила возвращаться в свою комнату в Бруклин. Ей не хотелось оставаться одной. Она шла рядом с Максом и рассказывала, как снимала Эйнштейна в Принстоне сегодня днем. На углу Мэдисон-авеню и 48-й стрит Анна услышала запах свежее испеченного хлеба, доносившийся из ярко освещенной, заполненной посетителями пекарни, и вспомнила, что еще полчаса тому назад умирала с голоду.

— Макс, — призналась она, — мне нужно поесть! Я с самого утра только на кофе и сигаретах.

Они вошли и сели за небольшой столик напротив прилавка с застекленными полками. Макс подошел к полкам и окликнул Анну.

— Что ты будешь? — спросил он, показывая на пирожные и выпечку.

— Больше всего мне хочется съесть булочку из дрожжевого теста, такую, какую пекла бабушка Марта, и выпить молока. Но здесь этого нет.

Небритый мужчина в белом халате стоял за прилавком в ожидании заказа.

— У вас есть булочки из дрожжевого теста? — спросил его Макс.

Продавец явно не понял, что ему нужно, и крикнул в открытую дверь, ведущую в служебное помещение:

— Жаклин, выйди сюда на минутку!

Обращаясь к Макс, он вежливо сказал:

— Подождите, пожалуйста. Моя сестра в этом лучше разбирается.

Из дверей появилась молодая женщина. Если бы не иссиня-черные короткие волосы, ее можно было принять за польку из Грин-Пойнта. Макс повторил ей вопрос про булочки.

— Минутку, сейчас принесу. Присаживайтесь, пожалуйста.

— А вы не могли бы принести мне молока? — робко попросила Анна.

— Только молоко? Может, хотите какао?

— Только молоко. Это не трудно?

— Конечно нет.

— А что для вас? — обратилась Жаклин к Макс.

— Мне только кофе. Черный. Без сахара.

Они сели за столик, разложили фотографии Эйнштейна и стали рассматривать их.

Через некоторое время появилась девушка с заказом. Она стояла с подносом у столика и прислушивалась к их разговору, глядя на фотографии.

— Я думаю, Стэнли выберет ту, на которой Эйнштейн смеется. Как ты считаешь, Макс? — спросила Анна.

Девушка дрожащими руками поставила поднос на стул рядом со столиком.

— Спасибо большое, — сказала Анна с улыбкой и внимательно посмотрела на нее.

Она не была уверена, но ей показалось, что девушка плачет...

Нью-Йорк, Манхэттен, полдень, вторник, 14 августа 1945 года

Выйдя из метро на углу 42-й стрит и Таймс-сквер, Анна услышала звуки труб и стук барабанов. Музыканты оркестра военно-морских сил маршировали по площади, приветствуемые возгласами ликующей толпы. Известие о подписании императором Хирохито Акта о безоговорочной капитуляции Японии и окончательном завершении Второй мировой войны передали прошлой ночью все американские радиостанции. Трумэн подтвердил это в своем обращении к нации в восемь часов утра. После уже подзабытого Дня Победы в Европе Америка дождалась очередного торжества. На некоторых плакатах, висевших в витринах магазинов и на стенах домов, практичные американцы вместо «Европа» вписали «Япония». Америка с энтузиазмом праздновала очередную памятную дату в своей истории: 14 августа 1945 года, Victory-over-Japan-Day, День Победы над Японией.

Астрид Вайштейнбергер выражала патриотические чувства по-своему.

— Наконец-то наши парни вернутся домой! — кричала она, стоя у двери в свою комнату. Несмотря на раннее время, в одной руке у нее был бокал вина, а в другой американский флажок. — Деточка, ты должна присмотреть себе кого-нибудь. Солдаты в Америке — уважаемые люди. Ты наконец сможешь не работать. Женщина должна сидеть дома и ждать мужа. Тогда ты точно ничего не потеряешь в каких-то там кустах...

Анна узнала о капитуляции Японии еще ночью. После четверга 9 сентября, когда была сброшена вторая атомная бомба, Артур говорил, что «Хирохито был бы законченным идиотом и упрямым ослом, если бы после Хиросимы и Нагасаки стал дожидаться, пока с карты Японии исчезнет еще один город, например Киото». В ожидании событий Артур распорядился ввести особые ночные дежурства в редакции. Анна и Стэнли подменяли друг друга. Вчера ночью была ее очередь. Именно она прочла первые телексы, пришедшие из Токио. Война закончилась вчера ночью...

Там, в «машинном отделении», это были сухие факты, лишённые эмоций. Теперь же, в толпе ликующих, счастливых людей на Таймс-сквер, Анна тоже прониклась ощущениями этого особого дня. Смотрела на танцующие в центре площади пары, на обнимающихся прохожих, на вскинутые вверх руки с пальцами в виде буквы V. И вдруг заметила

молодого мужчину в морской форме. Он бежал вдоль по улице и обнимал всех встречных женщин, старушек и молодых, толстых и худышек. Перед моряком бежал другой мужчина, с фотоаппаратом в руках. Он останавливался и фотографировал. Моряк обнял женщину в белом халате и начал ее целовать. Это было очень естественно, красиво и очень точно передавало праздничную атмосферу дня.

Две недели спустя фотография целующего на Таймс-сквер медсестру моряка появилась на обложке журнала «Лайф». Анна почувствовала укол зависти. Ведь она тоже там была! И фотоаппарат был при ней! Это была необычная фотография, самым простым из всех возможных способов она демонстрировала радость и надежду. Анна поняла, что именно этот снимок станет символом окончания войны. Так и случилось. Она отыскала в журнале имя и фамилию фотографа: Альфред Эйзенштедт. Через два дня Артур раздобыл номер его телефона.

Анна позвонила ему и как только назвала свою фамилию, он перешел на немецкий. Она предложила встретиться на Таймс-сквер, и он согласился. Эйзенштедт и сам не знал, почему выбрали этот снимок. У него было много других, но в «Лайфе» решили опубликовать именно этот. Альфред рассказал, что он из Германии, родился в еврейской семье в Тчеве, недалеко от Данцига, по-теперешнему Гданьска. Но родным ему городом был, есть и будет Берлин. До войны он снимал для крупнейших немецких газет. Томаса Манна, Марлен Дитрих, Рихарда Штрауса, а также Гитлера, Муссолини и Геббельса. В 1935-м, когда евреев стали активно преследовать, Альфред эмигрировал в Штаты, где его «приютили» в «Ассошиэйтед пресс». Теперь, после публикации в «Лайфе», с ним готовы сотрудничать многие издания, но он не соглашается, потому что ценит независимость. На Таймс-сквер он снимал точно такой же «лейкой», какую Анна держит в руках. Он выбрал выдержку 1/125 секунды и диафрагму 5,6 и снимал на пленку «Кодак-супер2Х». Другими словами, все как обычно. Он видел ее июльские снимки из «Эмпайр», отличная работа. По фамилии он понял, что она тоже немка. В Дрездене бывал часто. Анна может не рассказывать, что там случилось. Он тоскует по Берлину, но боится туда ехать. С удовольствием будет время от времени с ней встречаться: приятно поговорить об искусстве фотографии с тем, кто разбирается в этом не хуже тебя самого. И к тому же по-немецки...

Нью-Йорк, Бруклин, вечер, четверг, 22 ноября 1945 года

Артур позвонил Анне в среду вечером.

— Прошу прощения, что вмешиваюсь, но Астрид не дает моей Адриане спокойно жить. Звонила ей вчера и жаловалась на меня. Якобы я превратил своих сотрудников в рабов. Завтра День Благодарения. Я знаю, что этот праздник для вас ничего не значит, но здесь это как Рождество для католиков. Вы католичка? Окей. Это неважно. Во всяком случае, Астрид сказала, что вы не можете помочь ей запечь индюшку, потому что должны вечером быть на работе. Она считает, что я вас использую, слишком мало плачу и заставляю работать без выходных. А когда вы состаритесь, продам на аукционе в «Нью-йоркер». Я знаю, что Астрид с большим приветом, но моя Адриана ей по привычке верит. Вы меня слушаете?

— Слушаю, — ответила Анна, с трудом сдерживая смех.

— Можно вас кое о чем попросить? Не могли бы вы завтра в виде исключения не приходить в редакцию? Очень вас прошу. Один раз. Обещаете?

— Обещаю, — сказала она и засмеялась.

— Вы можете повторить это по-немецки?

— Ich verspreche, — сказала она медленно.

— Ужасный язык. Ну что ж. Я вам очень признателен. Желаю хорошо провести День Благодарения.

Вечером на кухне Астрид Вайштейнбергер сетовала на то, что индейка с прошлого года сильно подорожала.

— Деточка, включи духовку. Я купила уже ошипанную. Растительное масло стоит на нижней полке в шкафу, — распоряжалась Астрид.

— А где индейка?

— Как это где? В холодильнике, детка, в холодильнике.

Анна открыла холодильник. Индейка лежала на средней полке, завернутая в газету.

— Какая огромная! — воскликнула Анна. — Больше страуса.

— У нас сегодня много гостей. Будут все. А ты можешь пригласить этого слепого еврея. Как его зовут?

— Натан, миссис Вайштейнбергер. И он вовсе не слепой. У него просто плохое зрение, потому что он слишком много читает.

Анна развернула индейку и улыбнулась, узнав заголовки «Таймс». Она стала ее потрошить прямо над газетными полосами и вдруг прочла нечеткие, написанные детским почерком буквы: «Лукас Ротенберг». Она схватила газету, индейка упала на пол и покатилась под ноги Астрид. На запачканной кровью индейки странице были рисунки Лукаса! Только он так изображал солнце! Только он — и никто другой. С газетой в руках Анна выскочила из кухни и побежала вверх, в свою комнату. Набрала номер Стэнли. Номер был занят. Она накинула пальто, выскочила на улицу, остановила такси. Консьерж дома, где жил Стэнли, посмотрел на нее как на сумасшедшую.

— Позвоните, пожалуйста. Стэнли Бредфорд. Вы слышите?! Позвоните немедленно! Прошу вас.

Она слышала, как консьерж говорит в трубку:

— Некая Анна Бляйброй хочет с вами увидеться. Уверяет, что у нее очень срочное дело. Вы уверены, что я могу пустить ее?

Анна вбежала в лифт. На восьмом этаже ей открыла улыбающаяся женщина.

— Прошу прощения. Я бы никогда не посмела...

— Анна, что случилось? — услышала она голос Стэнли.

Она протянула ему забрызганный кровью клочок газеты.

— Стэнли, кто делал этот материал?

— Какой материал? — не понял он.

— Этот, про Лукаса!

— Про какого Лукаса?

— Проходите, пожалуйста! — сказала женщина.

Они вошли в комнату. Анна села в кресло. Черный кот стал тереться об ее ноги. Он напомнил ей Стопку.

— Успокойся, Анна! Какой материал?

— Его напечатали три дня назад. Воспоминания еврейских детей.

— Ну и что? — спокойно сказал Стэнли.

В комнату вошла женщина. Поставила перед Анной стакан чая.

— Дорис, позволь представить: это Анна Бляйбтрой. Я тебе о ней рассказывал.

— Я видела этот материал. Это ужасно. Очень рада с вами познакомиться, — сказала Дорис.

— Я люблю этого мальчика, Стэнли...

— Какого мальчика, Анна?

— Лукаса.

Стэнли взял из ее рук грязный клочок газеты и начал читать статью.

Потом он спросил:

— Откуда ты его знаешь?

— Я его всегда знала...

И она начала рассказывать. О своем отце, о тайнике под полом на Грюнерштрассе, 18, о Ротенбергах в Анненкирхе, об улыбке Лукаса, когда она рассказывала ему сказки, о его рисунках, о черешне, которую складывала для него в треснутую чашку бабушка Марта, о смерти бабушки Марты...

— Стэнли, позвони Артуру. Он должен знать, как этот материал попал в газету! — воскликнула Дорис.

Стэнли пошел к телефону. Дорис гладила сидящего на ее коленях кота.

— Стэнли рассказывал мне про Стопку. Иногда по ночам он разговаривает во сне и произносит ваше имя. Мне оно очень нравится. Я хочу назвать нашу дочь Анной. С тех пор как познакомился с вами, он стал другим человеком.

Стэнли говорил по телефону, до Анны доносился его возбужденный голос.

— Да, Артур, это чертовски важно. Как раз сегодня. А может быть, именно сегодня. Почему? Потому! Слушай меня внимательно...

Два часа спустя они услышали звонок в дверь. Посыльный принес большой серый конверт. В нем были рисунки Лукаса и записка от Матильды Ахтенштейн. Она сообщала, что бандероль с этими рисунками попала в редакцию «Таймс» неделю тому назад. К рисункам не приложили никакого письма. Не было также адреса отправителя. Но, судя по еле видной печати на марках, бандероль была отправлена из Нью-Джерси.

Новость о том, что Лукас жив и даже, возможно, находится где-то совсем близко, не давала Анне покоя. Для начала она просмотрела все телефонные книги, изданные в штате Нью-Джерси. Фамилия Ротенберг довольно часто встречается у евреев, поэтому в ее списке оказалось около тысячи номеров. Она обзвонила всех. Безрезультатно. Потом Стэнли, используя свои знакомства в телефонных компаниях, обслуживавших штат Нью-Джерси, получил номера телефонов тех Ротенбергов, чьи номера нельзя было узнать обычным путем. Им Анна тоже позвонила. Стэнли сомневался, что у «этих Ротенбергов» вообще есть телефон. Если в середине февраля они еще были в разрушенном Дрездене, вряд ли семь месяцев спустя они обустроились в квартире с телефоном в Нью-Джерси. Ведь им нужно было выбраться из Дрездена, потом, скорее всего, попасть в Швецию, перебраться через Атлантический океан, пройти очень сложную иммиграционную процедуру и осесть здесь. Правда, еврейская община

очень активна и солидарна, но все же прошло слишком мало времени. В конце он сказал то, во что Анне не хотелось верить:

— А может, в Америку попали только рисунки. Допустим, кто-то прислал их сюда по почте. А получатель письма, взволнованный тем, что увидел, переправил их дальше, в «Таймс».

— Стэнли, перестань! — воскликнула Анна. — Я чувствую, что он здесь. Где-то очень близко...

Она продолжала поиски. Связалась со всеми учебными заведениями в Нью-Джерси и соседнем штате Нью-Йорк. Потом вспомнила, что Якоб Ротенберг был профессором Дрезденского университета. Если попал сюда, он может преподавать в хотя бы в колледже. Наконец секретарша ректората «Куинс колледж» в нью-йоркском районе Квинс ответила:

— Да. С недавнего времени у нас работает профессор Якоб Ротенберг. На юридическом факультете. Он попал к нам из...

— Из Дрездена?! — перебила ее Анна.

— Откуда? Это город в Канаде? Недалеко от Торонто?

— Нет. Это город в Европе. В Германии... — ответила Анна, стараясь скрыть раздражение.

Она твердила себе, что пора уже привыкнуть к этому. Американское общество состояло преимущественно из недоучек, поражавших отсутствием элементарных школьных знаний. Последний тупица, окончивший простую немецкую среднюю школу, не говоря уже о гимназии, знал больше, чем выпускник американской High school. Анне трудно было представить, чтобы секретарь в немецком университете не знал, где находится такой большой город, как, к примеру, Филадельфия.

— Ну, если так, — спокойно заявила непробиваемая секретарша, — то вы ищите другого Ротенберга. Наш прибыл из Торонто, сразу после защиты диссертации. Ему двадцать восемь лет...

После истории с рисунками Лукаса Артур изменил свое отношение к Анне. Из фамильярного, иногда черезчур прямолинейного начальника он превратился в заботливого, внимательного опекуна. Иногда он без предупреждения забегал в их кабинет и с порога спрашивал:

— Как тут мои дети?

Правда, от сотрудников редакции он тщательно скрывал эту близость. Ему не хотелось, чтобы о его особых отношениях с Анной стало известно. В присутствии посторонних она была для него мисс Бляйбтрой. Со своей стороны, Анна старалась его не подводить. Ее приглашение на должность фоторепортера «Таймс» многие поначалу считали капризом потерявшего

голову Стэнли, который просто уговорил Артура. Но положение Анны в редакции постепенно укреплялось, и перелом наступил в июле, после фотографий из «Эмпайр Стейт билдинг». Тогда всем окончательно стало ясно, что это не каприз Стэнли и что «у этой молоденькой немки, помимо везения, есть еще и талант».

А Стэнли, с тех пор как она познакомилась с Дорис, словно избавился от тяготившей его тайны. Будто Дорис, о которой он никогда не рассказывал Анне как о своей женщине, могла повлиять на их отношения. Анна считала, что отчасти сама в том виновата. Ведь она совершенно не стеснялась Стэнли и могла, например, переодеться в его присутствии, любила прикасаться к нему, хотя в этом не было никакого сексуального подтекста, а ее невинные признания в любви могли натолкнуть его на мысль, что она будет ревновать, переживать, а может, и отдалится от него, когда узнает, что у него есть другая.

Анна и Дорис быстро подружились. Часами болтали по телефону, вместе ходили по магазинам и на прогулки, сплетничали, читали одни и те же книги, менялись тряпками. И уже очень скоро знали друг о друге все: и то, что Натан замечательный, но совсем не интересуется Анну как женщина; и то, что они обе становятся злобными сучками, когда у них случаются «эти самые дни». Именно Дорис и только ей, после того как они распили бутылку вина, Анна отважилась рассказать о своем скрипаче из склепа. Дорис стала для нее тем человеком, к которому она обращалась в минуты самой большой радости и в минуты тоски. В ее жизни бывали моменты, о которых знала только Дорис, а Стэнли даже не догадывался. А бывало и так, что Стэнли узнавал о чем-то от Дорис уже после Анны. Например о том, что скоро станет отцом...

Санбери, Пенсильвания, вечер, понедельник, 24 декабря 1945 года

Из гаража, находившегося в подвале дома Стэнли на Парк-авеню, они выехали около полудня. Стэнли во что бы то ни стало хотел оказаться в Санбери раньше, чем «на небе появится первая звезда». Дорис не поняла, что он имеет в виду. Когда они проехали Ньюарк, на автостраде уже начинались пробки. А между тем Стэнли вновь вернулся к теме «первой звезды».

— Моя бабушка, мама моей мамы, родилась в Польше. Она приехала в Америку из Ирландии. А в Польше Рождество начинается тогда, когда на небе появляется первая звезда, — объяснял он Дорис.

— Почему?

— В память о Вифлеемской звезде, которую увидели на небе волхвы.

— Какие волхвы, Стэнли? Какая звезда?

Анна про себя улыбнулась. Они в Дрездене тоже садились за рождественскую трапезу только после первой звезды. А когда небо было затянуто тучами, появление первой звезды определяла бабушка Марта. Маленькой Анне всегда казалось, что эта звезда появляется на небе слишком поздно. Мало того, что весь день пришлось поститься, так еще и подарки под елкой ждут не дождутся, когда их оттуда достанут.

— Дорис, это всего лишь такая польская традиция.

— А ты откуда знаешь?! — воскликнула Дорис.

— Моя бабушка была полькой, то есть наполовину полькой.

Анна давно не чувствовала себя такой счастливой и спокойной, и нежно поглаживала живот сидевшей рядом Дорис, пока Стэнли рассказывал о своих рождественских вечерах в Санбери.

— И обязательно должны быть пироги с капустой и селедка, — сказал он.

— И такой красный суп, — добавила Анна. — Очень вкусный...

Бензоколонка на трассе при въезде в Санбери была вся в снегу. На деревянной скамье у дома сидели, закутавшись в пальто, двое. Когда Стэнли свернул с дороги в сторону заправки, женщина вскочила и бросилась им навстречу. Стэнли резко остановил машину. Анна видела, как дрожат его руки. Она приподнялась с заднего сиденья и шепнула ему на ухо:

— Оставь нас здесь. Беги...

За стол на кухне они сели, когда стемнело. Стэнли долго сидел с отцом в гостиной. Женщины помогали накрывать на стол. В квартире пахло «красным супом» и пирогом с маком. Под льняной скатертью по углам стола лежали пучки сена, а вокруг него стояло семь стульев. Улучив момент, Дорис шепнула Анне:

— Эта звезда давно успела бы погаснуть. Боже, как здесь вкусно пахнет! Я такая голодная! Мы кого-то ждем, как ты думаешь? Видишь, семь стульев...

Анна знала, кого они ждут.

— Это еще одна польская традиция. За столом должно быть одно лишнее место и одна лишняя тарелка с приборами — для случайного путника. В этот вечер никто не должен оставаться один.

— Какой чудесный обычай! — заметила растроганная Дорис. — Но здесь два лишних стула и два лишних прибора.

Анна набралась храбрости и прямо спросила мать Стэнли:

— Эндрю тоже будет с нами в этот вечер?

— Да. Но он, видимо, задержался в пути. Он в последнее время очень много работает.

Они сели за стол, и отец Стэнли прочел молитву. Потом протянул руку к плетеной корзиночке, разломал прямоугольный белый, очень тонкий хлебец и раздал всем присутствующим. Анне все это было хорошо знакомо. Бабушка Марта, разламывая облатку, тоже читала молитву. Не уловив смысла происходящего, проголодавшаяся Дорис захрустела облаткой. Стэнли подошел к ней, обнял и поздравил с праздником. Потом с облаткой в руке подошла его мать, и Дорис громко расплакалась.

Когда время подходило к одиннадцати, мать Стэнли внезапно выскочила из-за стола. Анна как раз рассказывала Дорис, что на Рождество в польском доме должно быть двенадцать блюд, по числу апостолов. В неурожайные годы и во время войны за отдельные «блюда» считали воду и соль. Дорис начала что-то спрашивать, но Анна не разобрала вопроса: рядом с ней вдруг сел Эндрю Бредфорд. Тогда Анна встала, взяла в прихожей сумочку и отправилась в туалет. Там она подкрасила губы, поправила прическу, сбрызнула духами плечи и запястья. Вздохнула. Она чувствовала возбуждение, настолько интимное, что не хотела признаваться в этом никому, даже Дорис. То же самое она почувствовала, когда Эндрю позвонил ей и извинился. Тогда она нарочно, чтобы насолить ему, притворилась, что ждет звонка от Стэнли. А после того как он бросил трубку, упала спиной на кровать, развела ноги, поклонявила пальцы и

засунула их в себя...

Когда Анна вернулась в гостиную, все уже стояли под елкой.

— Мы ждем тебя, Анна! — воскликнул Стэнли. — Пришло время подарков.

Она тоже приготовила для всех подарки. Стэнли получил от нее альбом с репродукциями картин и гравюр Дюрера. Дорис обрадовалась пластинке со скрипичными концертами Паганини, а родителям Стэнли она вручила настенный календарь на Новый 1946 год, на страницы которого приклеила фотографии Стэнли. Две кельнские, остальные — нью-йоркские. Эндрю Бредфорда Анна тоже не забыла. Она предполагала, что он может здесь появиться, и в фирменный конверт с эмблемой Принстонского университета положила фото Эйнштейна. То, что не отдала редакции «Таймс». На этом фото Эйнштейн улыбался ей, высунув язык. И подписала: «© Анна Марта Бляйбтрой доктору Эндрю Бредфорду. Не все права защищены».

В тот рождественский вечер она старалась не оставаться с ним наедине. Было уже совсем поздно, когда Анна мыла на кухне посуду. Родители Стэнли уже легли. В квартире звучала музыка Рахманинова. Дорис и Стэнли, обнявшись, сидели на диване в гостиной.

— Я приехал сюда из-за вас, — услышала Анна голос Эндрю.

Он неслышно подошел сзади и встал так близко, что она чувствовала тепло его тела. Анна мыла тарелку, и от неожиданности выронила ее в тазик с чистой посудой. Тарелка с грохотом разбилась. Дорис крикнула из гостиной:

— Это на счастье!

Анна повернулась к Эндрю и сказала:

— Интересно! А я-то думала, вы приехали провести мать. Не отца, это точно, я успела заметить. Ваша мать сидела на скамейке возле дома и вглядывалась в каждый проезжавший автомобиль. Она была счастлива, когда приехал Стэнли. Но обрадовалась бы еще больше, если бы первым приехали вы. А вы появились только после того, как мы поделились облатками, хотя прекрасно знаете, как важен этот ритуал для вашей мамы. К тому же вас сюда привезли. Вы опоздали, чертовски опоздали. И даже не пытались оправдаться. Вы вошли в комнату как тот, перед кем должно раздвинуть свои воды Красное море. Получилось не по-праздничному, господин Бредфорд. А теперь можете ехать домой. Бедный водитель, что сидит в машине, наверняка обрадуется. Не могу понять, как вы могли оставить его в такой вечер одного. Не понимаю...

Анна отвернулась, взяла следующую тарелку и не смогла удержать в

руках. Выглянув в комнату, крикнула Дорис:

— Нет, не на счастье!

Отстранив Эндрю, Анна подошла к елке, взяла конверт с фотографией Эйнштейна и разорвала его, роняя на ходу клочки бумаги. А потом направилась к лестнице, ведущей наверх.

Нью-Йорк, Бруклин, вечер, четверг, 14 февраля 1946 года

Она протянула к нему руки. Улыбнулась. Два круглых, черных, как угли, глаза внимательно всматривались в нее.

— Я расскажу тебе, Лукас. Расскажу. Пока мы еще живы.

— Можно ту же самую, что вчера?..

Она нежно погладила растрепанные волосы мальчика.

— Я больше не упаду на улице. Обещаю.

— Маркус принес тебе воды и сигарету...

Она встала. Маркус протянул ей кружку. Вдруг она услышала взрыв. Посмотрела наверх. Бетонная балка падала на сидевших под ней мальчиков. Она рванулась вперед, вытянув перед собой руки...

Анна проснулась, сжимая в руках подушку. «Это всего лишь сон, Аня», — шептала тетя Аннелизе.

Анна встала. Умылась. Села на подоконник и закурила. Платаны в парке напротив молилитвенно протягивали в небо обрубки ветвей. Парк был покрыт свежим снегом. Год тому назад, когда после второго налета они с матерью стояли на площади у Анненкирхе и курили, тоже выпал первый снег. Это было так давно и так недавно! Прошное прорывалось к ней проблесками воспоминаний или во сне, таком, как этот, от которого она только что очнулась вся в испарине. А иногда — с приступами необъяснимого страха, когда она слышала детский плач, гул пролетающих над городом самолетов, сирены «скорой помощи», полиции или пожарных. Правда, теперь Анна уже не пыталась бежать в бомбоубежище, но всегда плотно закрывала окно, чтобы ее больше не будили эти звуки.

Сегодня ей хотелось побыть одной. Она хотела мысленно вернуться в Дрезден и рассказать самой себе то, чего никто другой не понял бы. Ни Дорис, ни даже Стэнли, который имел некоторое представление о тех днях. Сегодня Анна хотела остаться наедине со своей тоской и скорбью. Около девяти она позвонила Лайзе.

— Что-то случилось? Ты заболела? — заботливо спросила та, когда Анна сказала, что останется дома.

— Нет, Лайза, я здорова, не беспокойся. Я просто хочу сегодня

остаться дома и переждать этот день. Передай это, пожалуйста, Стэнли.

— А почему именно сегодня? Тебя кто-то обидел? Это был мужчина?

— Когда-нибудь я тебе все объясню, Лайза...

Часов в десять Анна уже пожалела о своем решении. Она не могла сосредоточиться на чтении, ее раздражали любимые пластинки, она объедалась сладостями и курила в два раза больше, чем обычно. А вся Америка в тот день праздновала идиотский праздник, о котором последние дни писала даже серьезная «Таймс». На всех радиостанциях с самого утра какой-нибудь Джон из Джерси-сити признавался в любви какой-нибудь Мэри Куинс или некая Синтия из Кони-Айленда в прямом эфире дрожащим от волнения голосом рассказывала, как обожает некоего Роберта из Бронкса. Все американцы поголовно, ссылаясь на святого Валентина, публично признавались в любви. Анну это раздражало.

В полдень она вышла из дома и в магазине на Флэтбуш-авеню купила две банки краски, халат и комплект кистей. Решила сделать ремонт в своей комнате. Правда, Астрид уверяла, что ремонт «был сделан совсем недавно», но у нее и последний муж скончался «только что», хотя произошло это пятнадцать лет тому назад. Через час наверх поднялась Астрид, привлеченная запахом краски.

— Деточка, что ты тут творишь?! Оранжевые стены?! — воскликнула она, увидев Анну с кистью в руке.

— Так будет теплее и уютнее, миссис Вайштейнбергер, — ответила Анна.

Астрид минуту всматривалась в уже покрашенную часть стены.

— А знаешь, ты, кажется, права. К тому же этот оттенок отлично сочетается с занавесками. Надеюсь, ты не покрасишь мне потолок в черный цвет?

— Нет, он будет белый...

— Отлично. Возьми у меня в подвале стремянку. А то, не дай бог, упадешь со стула, деточка...

Вечером Анна услышала стук в дверь. На пороге стояли Дорис и Стэнли. Они были нарядно одеты, Стэнли держал в руке букет роз, а Дорис — коробку конфет.

— Ты почему не берешь трубку? — спросил Стэнли с упреком. — Лайза уже собиралась отправить к тебе карету «скорой помощи», пожарных и ФБР. Мы вообще-то забежали сказать тебе, что ты наша «валентинка». Моя и Дорис, — добавил он с улыбкой.

Анна поискала глазами телефон. Перевернутый и заваленный книгами, он лежал на полу, трубка валялась рядом.

— Прости. Я красила стены и не подумала, что ты можешь позвонить. Я вас люблю, — сказала Анна, обнимая Дорис.

— Оранжевые стены. Однако... Астрид тебя за это не выгонит? — спросил Стэнли.

— Нет, но при условии, что я не покрашу потолок в черный цвет. Ты поможешь мне побелить его?

Они с Дорис уселись на подоконнике пить чай, а Стэнли, отказавшись от чая и сняв пиджак, красил потолок.

— Знаешь, оранжевый цвет очень хорош для стен в детской комнате. Пожалуй, я уговорю Стэнли перекрасить их, — сказала Дорис, взяла Анну за руку и прижала ее к своему животу. — Чувствуешь? Чувствуешь, как она шевелится?

— Ты думаешь, это девочка? — прошептала Анна.

— Уверена.

Стэнли попросил Анну помочь ему передвинуть стеллаж. С полки на пол, покрытый газетами, упал конверт. Стэнли наклонился, чтобы поднять. И вдруг посерьезнел. Он посмотрел Анне в глаза и осторожно спросил:

— Ты получаешь письма от Эндрю?

Она покраснела и повернулась к Дорис.

— Тебе налить еще чаю?

— Дорис, скажи, что ты хочешь чаю. Скажи, что хочешь, — повторил Стэнли.

— Да, Дорис. Скажи, что хочешь чаю...

Дорис изумленно смотрела на них.

— Что вы пристали с этим чаем? Конечно хочу. С сахаром.

Анна поспешно вышла на кухню.

Да. Это правда. Эндрю Бредфорд писал ей...

Первое письмо она получила еще до Нового года. Именно этот конверт поднял с пола Стэнли. Анна выучила его наизусть.

Санбери, 28 декабря 1945

Дорогая мисс Анна,

Вы бросили меня, как ту тарелку, и разбили вдребезги. Но это все же было на счастье. Возвращаясь в аэропорт Ньюарка, я спросил водителя, что он считает самым важным в жизни. Он, должно быть, решил, что я пьян. Ведь я никогда с ним не разговаривал в пути. И вдруг спросил такое. Он ответил, что важнее всего для него две Агнес — жена и дочка.. Будто одной

ему мало. Тогда я спросил, почему же он повез меня в рождественскую ночь к черту на рога, вместо того чтобы провести праздник со своими Агнес. Он сказал, что такова уж его работа и большая Агнес это понимает, а маленькая когда-нибудь тоже поймет. «Они знают, как много значат для меня. Я часто говорю им об этом», — добавил он. И тогда я понял, что если бы я мог сказать кому-то: «это моя работа, но ты остаешься для меня важнее всего на свете», Вы не разбили бы мамину тарелку. Но я так не говорю. А мог бы, независимо от того, чем занимаюсь, и несмотря на то, что мне запрещено говорить о своей работе. Там, по дороге в Ньюарк, я понял, что до сих пор для меня важнее всего был я сам. Вы первая отважились мне это сказать. Причем так, что меня это потрясло. Знаете, я плакал тогда, в машине, плакал первый раз с тех пор, как отец в наказание не помню за что отобрал у меня мяч и запретил бросать его во дворе в корзину.

Сегодня я приехал в Санбери, к родителям. Сегодня я не опоздал. Невозможно опоздать, когда тебя никто не ждет...

Эндрю Бредфорд

P. S. Сейчас я в своей детской комнате. Пишу Вам письмо. Через минуту лягу на кровать, на которой четыре дня тому назад спали Вы...

Следующее письмо, отправленное из Чикаго, ожидало ее вечером второго января. Два дня спустя — еще одно. И она стала ждать его писем, даже старалась пораньше вернуться из редакции, чтобы проверить, не лежит ли на маленьком столике в прихожей письмо.

— А этот Бредфорд, из-за которого наш почтальон приходит сюда чуть не каждый день, не родственник твоего склочного редактора? — спросила как-то Астрид.

— Да. Это его брат, — ответила Анна. Она знала, что Астрид внимательно рассматривает конверты, которые приходят в ее дом. Особенно те, что адресованы не ей.

— Надеюсь, младший брат, детка?

— Да. Младший брат, миссис Вайштейнбергер...

— Это хорошо, дитя мое, это хорошо. А он посимпатичнее будет?

Анна не ответила на вопрос и сменила тему. Она уже перестала сравнивать Стэнли и Эндрю. Они были совершенно разные. Хотя похоже улыбались, похоже выражали удивление, одинаково держали руки в

карманах и глаза у обоих были голубые. Но на этом их сходство заканчивалось. Впрочем, Анна плохо знала Эндрю. Поначалу она думала, что больше всего различаются их характеры, личностные качества и то, как они общаются с другими людьми. Самоуверенность, зазнайство, спесь и даже хамство Эндрю контрастировали со скромностью, даже робостью Стэнли. Но больше всего ее удивляло в Эндрю то, что можно было бы назвать сосредоточенностью на самом себе. Ей казалось, что если этот человек и устаивает кого-либо своим вниманием, то только когда его об этом очень просят. Когда это абсолютно неизбежно. Как тогда, в лифте.

Вскоре выяснилось, что с выводами она явно поторопилась. Судя по письмам, Эндрю был другой. А еще точнее — это были два разных человека в одном обличье. С одной стороны — неприступный, самоуверенный, возвышающийся (не только ростом) над другими индивидуалист, убежденный в собственной исключительности, уме и знаниях, а с другой — впечатлительный, очень чувствительный, меланхоличный, задумчивый, критически настроенный не столько по отношению к другим, сколько к себе романтик, который в восторге от Вивальди, знает наизусть стихи По, покупает цветы на письменный стол в своем кабинете, чтобы «иметь возможность не только видеть и обонять, но и иногда прикасаться к ним». Его письма словно иллюстрировали двойственность человеческой природы. Эндрю открывал в них два своих мира. В одном он был холодным, скрупулезным, твердо идущим к цели ученым. В другом — теплым, рассеянным, жаждущим сильных эмоций поэтом. Правда, Анна не была уверена, что не преувеличивает. В обоих своих мирах, в каждом по-своему, Эндрю поражал ее. Но только вторым, поэтическим, притягивал — с каждым новым письмом все больше. Она не могла понять, каким образом он мог так четко разделять эти свои миры. Ее отец тоже был ученым, и она знала, что такое проекты, сроки, академические свары и зависимость от других людей. Но по утрам, в своем кабинете — она была в том уверена, — отец был точно таким же, каким она его видела вечером дома.

Отдельной темой писем Эндрю была Анна. Она не знала, как так получилось, но, сама того не замечая, много рассказывала ему о себе. Он никогда ни о чем не спрашивал прямо. Чувствовал, что она не готова говорить о войне. И был прав. Ведь одно дело — рассказать о чем-то сидящему рядом Максу Сикорски и совсем другое — изложить пережитое на бумаге. Анна считала, что не сможет описать свои переживания так, чтобы Эндрю их правильно понял, даже если он умеет читать между строк. Это то же самое, что книга, плохо переведенная с чужого языка. Она знала,

о чем говорит. Ее отец всегда боялся «потерять что-то в переводе». Поэтому Анна старалась по возможности не описывать свою жизнь в Дрездене и Кельне во время войны. Впрочем, о войне она все равно судила неверно — потому что была немкой. А Эндрю не скрывал своего отвращения к Гитлеру и нацизму. И она чувствовала в том презрение к немцам как к народу. Он не хотел и не мог понять их «молчания», не будь которого, не было бы ни Бельзена, ни доктора Хейма, ни Аушвица. Эндрю старался не распространять на Анну свою ненависть. «Ведь ты была еще ребенком, когда произошли погромы печально знаменитой “хрустальной ночи”», писал он. Но хотя он и не обвинял ее, между строк все равно читался вопрос о том, что делали, точнее говоря, чего не делали ее родители, родители родителей и вся семья. Он имел право спрашивать об этом. И Анна считала, что никакой ответ не оправдывает ни ее, ни родителей, ни дедушек с бабушками. Поэтому она не писала ему о бессилии своего отца, о втором боге своей бабушки, о Лукасе в подполе их квартиры.

В какой-то момент в их письма проникла эротика. Наверное, это Анна его спровоцировала. Написала, что думала о нем, когда принимала душ. Просто так, без всякого подтекста. Она поднялась утром, встала под душ и думала о том, какие цветы он покупает и ставит в вазу на письменном столе. И о том, как он их трогает пальцами. Гм, может, в этом и есть какая-то эротика.

В то утро она действительно думала только о цветах. Не раздвигала ноги и не прикасалась к себе. Она никогда не делала этого утром, в спешке. Это было необходимо ей вечером, иногда ночью. И долгое время ей казалось, будто она при этом слышит скрипку. А после какого-то очередного письма Эндрю скрипка стихла. Был только его голос и прикосновения его больших ладоней.

Она не могла во всем этом разобраться. И не хотела. Эндрю Бредфорд просто писал ей письма. А она выходила вечером из метро на станции у Черч-авеню в Бруклине и, задыхаясь, бежала домой. На столике в прихожей лежал конверт. Она бросала его в сумочку, взбегала по ступеням наверх, сбрасывала пальто, садилась на край кровати и начинала читать. Сначала торопливо, а потом, с сигаретой в зубах, медленно и внимательно. Иногда по вечерам, в зависимости от того, какую музыку она слушала и сколько выпила вина, читала в третий раз. А бывало, что брала его письмо с собой в ванную, раздевалась, читала его, стоя голой, еще раз, бросая страницы на пол, а потом вставала под душ и шептала его имя...

Она вернулась на кухню с подносом. Стэнли стоял на стремянке и

красил потолок. Анна подошла к Дорис, сидевшей на подоконнике.

— Я никак не запомню, сколько ложечек сахара...

Дорис притянула ее к себе.

— Чего хочет от тебя Эндрю? Ты вроде бы в физике не разбираешься... — прошептала она ей на ухо.

— Уже немного разбираюсь. Но только в атомной. Чего хочет Эндрю? Точно не знаю. А чего хотел от тебя Стэнли, когда ты с ним познакомилась?

— Хотел меня трахнуть...

— А ты?

— Я хотела того же...

Анна рассмеялась. Прижалась к Дорис и погладила ее по спине.

— Я увижусь с ним через три дня. В воскресенье. Вот и спрошу, чего он на самом деле от меня хочет.

— А ты чего бы хотела? — спросила Дорис.

— Того же...

Нью-Йорк, Манхэттен, вечер, воскресенье, 17 февраля 1946 года

В этот день все должно было быть особенным. Анна проснулась рано утром. Не стала слушать радио. Сегодня ее не интересовало, что происходит в мире. Она пила кофе и красила ногти красным лаком. Потом встала перед шкафом и выбрала «то самое платье». Потом зазвонил телефон. Она не взяла трубку. Даже если это звонил Эндрю, она не хотела его слушать. Ведь он мог сказать, что не приедет сегодня в Нью-Йорк. А она ни за что на свете не хотела бы такое услышать. Она слишком долго ждала этот день. Но звонил не Эндрю. Она была уверена.

Анна вышла из дома. Поехала на метро в Грин-Пойнт. Только «пани Зося» могла соорудить прическу из ее волос. Ей нравилось бывать у «пани Зоси», нравилось, как та называет ее по-польски: «кохана Аня». Бабушка Марта тоже так ее называла. Уходя, Анна всегда старалась сказать: «Дженькуе, пани Зося».

Из Грин-Пойнта она поехала на Манхэттен. Эндрю должен был прилететь около четырех часов дня. Учитывая пробки на дороге из аэропорта, он не попадет на Манхэттен раньше пяти. У нее в запасе было много времени. В редакции царил покой. Там были только дежурные из разных отделов и несколько девушек в «машинном отделении». Анна села за стол и начала просматривать рабочий план на следующую неделю, но не могла сосредоточиться. Она чувствовала волнение. В нижнем ящике стола Стэнли нашла бутылку виски. Вдруг зазвонил телефон.

— Бляйбтрой. «Нью-Йорк таймс». Чем могу помочь?

— Ты здесь, малышка? Я так и думал, — услышала она в трубке голос Артура. — Адриана опустошает магазины на Пятой авеню. Жаль тратить на это воскресенье, но что поделаешь. Такие времена настали. У меня к тебе дело. Найдешь для меня время?

— Как ты можешь спрашивать? — ответила она.

Ей стало не по себе. У Артура есть к ней дело в воскресенье? К тому же личное? Сегодня это никак не входило в ее планы. Сегодня для нее существовал только Эндрю. Она налила себе двойную порцию виски.

Артур появился через час. Он вошел в кабинет с бумажной сумкой в одной руке и длинным рулоном в другой. Прежде чем закрыть дверь, убедился, что в соседних кабинетах никого нет.

— Анна, ты мне как-то говорила, что любишь путешествовать. Тебе это по-прежнему нравится? Понимаешь, — сказал он, глядя ей в глаза, — в последнее время в Вашингтоне людей значительно поубавилось, потому что по странному стечению обстоятельств многие уехали оттуда в теплые страны.

— Насколько теплые? — спросила она с любопытством.

Раз уж Артур упомянул Вашингтон, значит, дело серьезное.

— В очень теплые, — ответил Артур и начал разворачивать рулон. — Я купил карту, два атласа и несколько книг об этой стране, — сказал он, указывая на бумажную сумку.

Он разложил карту на полу и взял в руку карандаш.

— Они поехали сюда, — сказал он, нарисовав эллипс вокруг нескольких небольших желтых точек на голубом фоне Тихого океана.

— Далеко...

— Да уж. Четырнадцать часов на гражданском самолете из Калифорнии до Гавайских островов, а потом на военном бомбардировщике Б-29 еще около двух с половиной тысяч миль на юго-запад. Маршалловы острова. Надеюсь, там ты еще отпуск не проводила? — засмеялся он.

— Артур, ты хочешь оплатить мне турпоездку? — спросила она.

— Вот именно, Анна, я подумал, что ты так много в последнее время работаешь, а погода здесь в последнее время испортилась. Полетишь туда, позагораешь немного, сделаешь несколько красивых фото. Что думаешь?

— А почему именно туда, Артур? — спросила она серьезно.

— Потому, что если туда летают загорать чинуши из Вашингтона и Пентагона, значит, там что-то должно произойти. Мне хотелось бы знать, что именно. Виза туда не нужна, после войны на Тихом океане это наши острова. Ты попадешь туда без проблем. Я уже все проверил. Я позаботился также о...

— Когда? — прервала она его.

— В среду можешь? — ответил он, не моргнув глазом.

Анна опустилась на колени, коснулась пальцем желтых точек на карте. Потом поднялась на ноги.

— В среду, гм... — пробормотала она скорее самой себе, чем ему. — А утром или вечером?

Артур повернулся и подошел к столу. Минуту стоял к ней спиной. Она увидела, что он вытащил из кармана носовой платок.

— Адриана считает, — наконец ответил он, не глядя на нее, — что мне нельзя просить тебя об этом, что я не имею на это права. После того, что ты пережила, я должен держать тебя подальше от Пентагона,

бомбардировщиков и политики. А ты спрашиваешь, в среду вечером или утром...

Он повернулся к ней, и она заметила, что у него покраснели глаза.

— Подробности обсудим завтра. И не рассказывай никому о нашем разговоре. Все узнают об этом, когда ты окажешься там. А теперь я пойду, меня ждет Адриана.

Он уже выходил, когда она остановила его:

— Артур, на этой карте ты отметил множество островов. Как называется тот, на который я полечу?

— Бикини.

Она отошла к окну. Закурила. Потом вернулась к столу, взяла фотоаппарат и подошла к карте. Сняла обувь и встала, расставив ноги, над тем местом, которое обозначил Артур. Придвинула объектив к поверхности карты. Нажала кнопку затвора. Бикини, подумала она. У нее не было никаких ассоциаций с этим словом. Она взяла сумку с книгами, что принес Артур. Пролистала их, рассматривая фотографии, проглядела страницы атласа. Она чувствовала возбуждение, но другое, не такое, как утром.

Когда позвонил Эндрю, Анна все еще читала. Он ждал ее внизу, у здания редакции. Она быстро подошла к шкафу, подкрасила губы и побрызгала ладони и шею духами. В лифте поправила прическу. Эндрю она увидела сквозь стеклянную дверь. Какой будет их встреча? Они виделись всего два раза. И каждый раз она с ним ссорилась. Но теперь это был другой Эндрю. Она уже хорошо знала его по письмам. Они писали друг другу об очень интимных вещах, но одно дело писать, и совсем другое — встретиться лицом к лицу, помня о том, что было написано. Анна задержалась у двери и некоторое время наблюдала за Эндрю. В распахнутом пальто с поднятым воротником, без шарфа, в белой рубашке. В шляпе он казался еще более высоким, чем ей представлялось раньше. Он держал в руке маленький букет цветов и нервно озирался по сторонам. Она вышла и встала у двери. Он заметил ее, но она не двинулась с места. Он медленно подошел, снял шляпу и сконфуженно протянул ей букет.

— Анна... здравствуй. Наконец-то, — сказал он, глядя ей в глаза.

Она часто пыталась представить себе, как звучит его голос, когда он произносит ее имя. Вид у него сейчас был как у Гиннера, когда они впервые встретились у пруда в саду Цвингертейх в Дрездене...

— Пойдем, нас ждет такси, — сказал Эндрю, показывая рукой на желтый автомобиль, стоявший у тротуара, и начал было спускаться по ступеням, но, сделав несколько шагов, оглянулся.

Она не последовала за ним. Он вернулся и подошел к ней, испуганно

спросил:

— Что-то случилось?

— Поцелуй меня, пожалуйста. Сейчас... — прошептала она.

Он прикоснулся ладонью к ее щеке, осторожно убрал со лба прядь волос. Взял широкой ладонью за затылок, притянул ее голову к своим губам и нежно поцеловал в веки. Она откинула голову и замерла, почувствовав на шее его дыхание. Он взял ее за руку и увлек за собой. Они сели в такси.

— Езжайте в Вилледж. Спешить не обязательно! — крикнул он водителю.

— Гринидж Вилледж? — справился таксист.

— Само собой.

— А если точнее, сэр?

— В ресторан.

— Но в какой, мистер? — рассмеялся шофер.

— Как это в какой? В самый лучший.

— «Вэнгард» подойдет, сэр?

Анна сидела, прижавшись к Эндрю, и прислушивалась к разговору. Когда таксист произнес название ресторана, она вспомнила разговор с Дорис. Да! Это там, в «Вэнгарде», Стэнли напоил Дорис, и она «использовала» его сначала в такси, а потом в лифте.

— Поехали, я знаю это место. По рассказам, — шепнула она Эндрю.

Они тронулись. Он целовал ее лоб, и волосы, и руки. Она привстала с сиденья, приподняла платье и села к нему на колени. Облизала пальцы и ласкала ими его губы. Он закрыл глаза. Открыл рот. Она медленно протолкнула свой язык сквозь его зубы. Он слегка прикусил его. Потом он кусал уже только ее губы. Она соскользнула с его колен, когда такси остановилось.

«Вилледж Вэнгард» на самом деле трудно было назвать рестораном. Они вошли в задымленное помещение, напоминающее убежище. Вслед за официантом протиснулись между круглыми столиками и уселись напротив небольшой площадки, освещенной софитами. Анна вспомнила, что Дорис упоминала про музыку. Эндрю был несколько ошарашен.

— Анна, ты уверена, что ты хочешь здесь остаться? — спросил он, оглядывая зал.

Она не успела ему ответить. На сцене появился мужчина в смокинге и объявил:

— Только для вас поет несравненная Билли Холидэй.

Раздались аплодисменты. Анне было знакомо это имя. Его знал

каждый, кто слушал радио в Нью-Йорке. Она взяла Эндрю за руку. На сцену вышла негритянка с вплетенными в волосы цветами. Она щелкнула пальцами, дав знак пианисту, подошла к микрофону и прошептала: «Good morning, heartache...» Анна знала слова этой песни. В последнее время под нее она писала ему письма! Она еще крепче сжала его руку, встала и запела вместе с залом:

Good morning, heartache,
You old gloomy sight.
Good morning, heartache,
Though we said goodbye last night¹⁰.

Анна оглянулась на Эндрю. Он сидел и смотрел на нее потрясенно. Она опустилась на пол и положила голову ему на колени.

— Эндрю, я так долго тебя ждала...

Билли Холидэй выходила на сцену еще несколько раз. Анна курила одну сигарету за другой. Они пили вино и разговаривали. Иногда Эндрю наклонялся и целовал ее. Просто так. Когда он говорил, она смотрела на его руки. Иногда, особенно когда говорил о своей физике, Эндрю произносил слова, которых она не понимала. Тогда Анна прерывала его, и он спокойно объяснял ей их значение. Именно в такие моменты у него были самые голубые на свете глаза. Иногда, притворяясь, что слушает, Анна размышляла, не прикоснуться ли к нему под столом ногой. Но каждый раз что-то ее удерживало. Раздались громкие аплодисменты. Холидэй пела прощальную песню. Анна встала, протянула Эндрю руку, и они вышли танцевать.

Good morning, heartache,
You old gloomy sight.
Good morning, heartache,
Though we said goodbye last night...

Он целовал ее волосы. Она прижалась к нему. Закрыла глаза...

Они танцевали, прижавшись друг к другу, и ей казалось, что это ее первый бал. Все вертелось у нее перед глазами. И черепа, и гробы, и горящие свечи, и его лицо, и его скрипка. Когда

неожиданно наступила тишина, и капли пота, стекавшие с его лица, смешались на губах с ее слезами, она склонила перед ним голову и растерянно огляделась, словно надеясь увидеть кого-то из близких...

Когда вернулись за столик, они заказали виски.

— Лучше ирландский! — крикнула Анна вслед уходящему официанту.

Из «Вилледж Вэнгард» они вышли далеко за полночь. Анна с наслаждением вдохнула свежий воздух. У Бруклинского моста Эндрю спросил ее, почему она плакала во время танца. За Бруклинским мостом она ответила, что плакала, потому что слышала скрипку. Эндрю удивился: в оркестре не было скрипки. И еще больше удивился, когда она сказала, что только скрипку и слышала. На Флэтбуш-авеню он спросил, что будет с ними дальше. Анна не знала.

В парке с платанами и кленами, напротив ее дома, они сели на скамейку.

— Ты любишь кошек, Эндрю? — спросила вдруг Анна.

— Не знаю. Я не особенно жаловал наших котов в Санбери. А Мефистофель меня не любит. Но почему ты спросила?

— Просто так, — ответила Анна, взяв его за руку.

Они поцеловались. Он засунул руку в вырез платья и прикоснулся к ее груди, к соскам. Она закрыла глаза.

— Ты напишешь мне завтра? — спросила она.

— Я напишу еще сегодня, — прошептал он.

— У меня новый проект в «Таймс», я на какое-то время уеду из города.

— Надолго?

— Точно не знаю. Мне сейчас не хочется об этом...

— Я тоже уеду, это уже давно запланировано, мы работаем над...

— Я хочу тебя, Эндрю, — прошептала она, не дав ему закончить фразу.

Анна приподняла платье и села Эндрю на колени верхом. Расстегнула ему брючный ремень. Он еще приподнял ее платье, а она широко расставила ноги.

— Я хочу тебя, Эндрю, очень-очень... — повторяла она.

Она опять слышала скрипку...

Вдруг проскакивает искра, прикосновения, страсть, поцелуи, минута, мгновение, влажные губы, переплетение судеб, путанные мысли и еще более путанные чувства. И мир, пульсирующий

жизнью, пробужденный весной, одурманенный маем, всё живет, бежит, мчится дальше, а они пребывают здесь и сейчас. Потеряться, ничего при этом не теряя. Просто целиком и полностью раствориться в этом мгновении...

Они попрощалась у дома Астрид, но Эндрю не уходил. Анна целовала его, взбегала вверх по ступенькам и через мгновение спускалась снова. Наконец она прошептала:

— Эндрю, тебе пора. Иди. Иначе я совсем потеряю голову. А я этого не хочу. Не сегодня. Иди. И напиши мне...

Заснуть она не смогла. Когда уже начало светать, подошла к окну. Смотрела на пустую скамейку в парке с платанами и тихонько напевала:

Good morning, heartache,
You old gloomy sight.
Good morning, heartache,
Though we said goodbye last night.

Нью-Йорк, Бруклин, утро, понедельник, 18 февраля 1946 года

Анна заснула только в шесть утра, а будильник был заведен на семь, и звонка она не услышала. Вскочила только в десять и рассердилась на себя: она не любила приходить в редакцию позже Стэнли. Кроме того, сегодня Артур собирался поговорить с ней о Бикини. Чтобы прийти в себя, она приняла контрастный душ.

Эта ночь была такая длинная. Чудесно длинная. Анна вышла из душа и посмотрела в зеркало. Губы распухли от поцелуев. Она улыбнулась. Под глазами залегли тени, но это не страшно. Такое часто случалось, когда она работала до поздней ночи, много курила или плакала.

Она сбежала по лестнице вниз. Астрид, одетая в розовый шелковый пеньюар, с папильотками в волосах, стояла на пороге гостиной и строго отчитывала молодую негритянку, которая, стоя на коленях, издавшей вида тряпкой протирала паркет в прихожей.

— Ну, детка, устроила ты нам сегодня ночку, — с упреком сказала Анне Астрид. — Если тебе нравится бегать к своим любовникам по лестнице туда-сюда, поменяй хотя бы обувь! Ты стучала каблуками, как пьяный кузнец по наковальне. Я не могла спать. И мои жильцы, вероятно, тоже...

— Извините, миссис Вайштейнбергер. Я не подумала...

— Да ладно, ладно. Но в следующий раз помни об этом, — прервала ее Астрид. — погоди, не убегай, это еще не все, детка. Под утро сюда вернулся этот великан, с которым ты бесстыдно всю ночь целовалась. Просунул в щель под дверь конверт. Его нашла малышка Бетти, — она показала на негритянку. — Видно, ты здорово вскружила ему голову. А ты не подслушивай, три сильнее, как я сказала! — прикрикнула она на служанку, которая, услышав свое имя, подняла голову и застыла с тряпкой в руках.

— Конверт? — удивилась Анна.

— Да, конверт, деточка. Теперь ты получаешь письма уже два раза в день, — ответила Астрид и извлекла конверт из кармана пеньюара.

Анна узнала почерк Эндрю. Она быстро спустилась по ступенькам на тротуар, перешла улицу и, присев на краешек влажной от росы скамейки в парке, вскрыла конверт.

Нью-Йорк, Манхэттен, 18 февраля 1946 года

Анна,

я вспоминаю каждое мгновение этой ночи...

Впервые в жизни я скучаю...

Впервые в жизни я хотел бы назвать то, что чувствую, определить это, дать этому название.

Но тебя невозможно описать. Нет такого уравнения, такой формулы, которая, пусть даже приблизительно, предскажет, какой ты будешь в следующую секунду. Ты дикая, сумасшедшая, смелая, умная, наивная, романтическая, деловая, инфантильная, взрослая, невинная, разнузданная, деликатная, слабая и сильная, властная и беззащитная, веселая и грустная. И все это перемешано, все пульсирует и борется в тебе. Слишком много противоречащих друг другу условий, слишком много переменных. Для физика тем более. Ты волшебной непредсказуема. Ты единственная, необыкновенная...

Я возвращался по пустым улицам Нью-Йорка в гостиницу и вновь переживал каждую минуту, проведенную с тобой. И представлял себе наше будущее. И волновался. Ведь ты можешь отказаться дарить мне свое время. Почему ты должна дарить его именно мне? Я был взволнован, как юноша после первого свидания. По дороге я принял много важных решений. Я буду рядом с тобой, я сделаю все, чтобы быть рядом. Я стану изучать твой мир. Я научусь фотографировать, выучу немецкий, начну прислушиваться к другим мнениям и уходить в тень. И научусь играть на скрипке. Научусь...

Я не мог заснуть. И не хотел засыпать. Мне уже много лет не снятся сны. Поэтому я боялся, что ты не придешь ко мне во сне. Я боялся заснуть, потому что не хотел расставаться с тобой. И начал писать это письмо. Через минуту мой водитель, тот, у которого две Агнес, повезет меня в Бруклин. Я подойду к ступеням, по которым ты сбежала ко мне. Еще раз услышу, как ты говоришь: «Я теряю голову. Не хочу этого. Не сегодня...» — и просуну письмо под дверь.

Из Бруклина я отправлюсь прямо в аэропорт и буду ждать нашей следующей встречи. У меня...

У меня очень важный проект в дальних краях. Я буду писать тебе. А потом? Потом я вернусь. К тебе.

Эндрю

Р. С. Я не раз думал о том, что такое любовь. Знаю, я покажусь тебе чудачком с этим моим стремлением давать всему определения. Но такой уж я есть. Я думаю, что любовь это самый прекрасный и самый важный вид жажды знаний. Все, что я делал и делаю в жизни, происходило и происходит именно по этой причине. Я никогда еще не жаждал познать женщину так, как хочу познать тебя...

Анна сидела на скамейке, прижимая письмо к груди. К ней подошел тощий кот. Он терся о ее туфли и громко мяукал. Она протянула к нему руку. Кот запрыгнул на скамейку и посмотрел на нее...

Понимаешь, Стопка, я не могу, я не в состоянии за один день получить столько счастья, — говорила она, глотая слезы, — столько во мне не поместится...

Анна приехала в редакцию около полудня. Стэнли еще не было. Как только она села за стол, в кабинет вошла Лайза.

— Стэнли в больнице, — сказала она, прикрыв за собой дверь.

— В больнице?! — в ужасе воскликнула Анна.

— У Дорис осложнения. Это началось в воскресенье вечером. Но сейчас ей уже лучше. Она пробудет в больнице недели две.

— Боже мой...

— Спокойно, Анна. Все хорошо. Артур оставил для тебя указания. Внимательно изучи все, что тут написано, — сказала Лайза и положила перед Анной серый бумажный пакет, перевязанный красной тесьмой. — Хотя я считаю, что Артур не должен тебя об этом просить, не должен! — добавила она, выходя из комнаты.

Видимо, Лайза тоже прочла «руководство к действию» — несмотря на то, что красная тесьма означала, что информация предназначена только адресату. Такой же пакет лежал на столе Стэнли. Но Лайза «свой» человек, ей можно.

Анна набрала домашний номер Стэнли. Никто не брал трубку. Тогда она позвонила Лайзе. Та не знала, в какой больнице находится Дорис, но обещала узнать и сообщить. Анна развязала красную тесьму и достала из конверта все, что там лежало. Два билета на самолет «Пан Америкэн». Из Нью-Йорка в Чикаго, а оттуда через четыре часа в Лос-Анджелес. На Гавайские острова ей предстояло лететь рейсом «Алоха Эйрлайнс». На пересадку в Лос-Анджелесе у нее будет только один час. Спустя

четырнадцать или пятнадцать часов, в зависимости от погоды, она должна приземлиться в Гонолулу. Там ее встретит лейтенант Берни Колье и отвезет на аэродром военной базы Хикэм. Это недалеко, в пределах округа Гонолулу. Оттуда на военном Б-29 она полетит в Маджуро, столицу Маршалловых островов. Военные не указывают ни время вылета, ни продолжительность полета. От лейтенанта Колье она узнает, как из Маджуро, столицы страны, ее доставят на атолл Бикини. Видимо, местным рейсом. Все перелеты оплачены, как и проживание Анны на атолле. Колье должен передать ей все подтверждающие это документы. Возвращение с Бикини в деталях оговорить не удалось. Анне придется обсудить это с представителем американских властей на месте. Она должна ограничить свой багаж одним, желательно небольшим, чемоданом. Маловероятно, что в Маджуро у нее будет возможность приобрести пленку. Поэтому следует взять с собой все необходимое. Сегодня на Бикини 80° по Фаренгейту (29° по Цельсию), дождь. Но в среду обещают ясную погоду. После приземления в Маджуро у Анны, скорее всего, больше не будет возможности связаться с редакцией. Там всем заправляют военные, она должна быть очень осторожной...

Анна сложила все обратно в конверт и спрятала его в ящик стола. Значит, она летит в среду, в четырнадцать часов восемь минут, из аэропорта Ла-Гуардия в Чикаго. Хорошо, что все это выяснилось заранее, ведь почтальон приходит в дом Астрид не раньше одиннадцати утра...

Она решила остаться в редакции и дожидаться Стэнли. Около шести позвонил Артур. Из Вашингтона. Анна невольно подумала: как Адриана это терпит? Ее муж в понедельник должен был быть здесь, а звонит из Вашингтона. Но она тут же вспомнила о двух Агнес водителя Эндрю Бредфорда.

— Артур, — сказала она тихо в трубку.

— Дочка, так уж вышло, мне пришлось уехать. Лайза передала тебе конверт? Знаешь, выяснилось, что в среду вечером рейса не будет. Это не очень осложняет тебе жизнь?

— Артур, ты должен был быть здесь! Ты ведь хотел поцеловать меня на прощание.

— Поцеловать... — пробормотал он и замолчал на некоторое время. — Если что-то пойдет не так, ты там не задерживайся. Но постарайся сфотографировать то, что военные никому не хотели бы показывать. Как в Дрездене. Сделай фото и сразу возвращайся. Я отправил телеграмму в Маджуро. Если полковник не позаботится о тебе, его ждут большие неприятности. И не только от меня. Лайза передаст тебе его координаты.

Возвращайся скорее...

Стэнли появился в редакции только поздно вечером. Анна почувствовала, что от него пахнет алкоголем. Не снимая пальто, он сел на краешек стола. Она подошла к нему и протянула прикуренную сигарету.

— Что происходит, Стэнли? Почему ты выпил? — спросила она.

— Ночью у Дорис началось кровотечение. Я очень испугался.

— Отвези меня к ней.

— Туда никого не пускают.

— У нее там есть телефон?

— Нет...

— Напиши, пожалуйста, адрес больницы, — Анна взяла со стола лист бумаги.

— Поезжай к ней утром. Сделай что-нибудь. Прoberись. Она спрашивала о тебе. У тебя есть водка?

— Нет, — солгала Анна.

— Я не полечу с тобой на Бикини. Прости. Не могу. Теперь это только твое задание. В среду я отвезу тебя в аэропорт. Анна, у тебя точно нет водки?

— Стэнли, не заставляй меня врать второй раз. Я не дам тебе водки. Дорис никогда бы мне это не простила.

В больницу Анна приехала около десяти вечера, купив в аптеке несколько упаковок бинтов и обмотав ими голову. Охранник пропустил ее без лишних вопросов. На пятом этаже она сорвала бинты и быстро пошла по коридору, заглядывая во все палаты. Дорис она нашла в палате сразу за ярко освещенной комнатой медсестер.

— Я очень испугалась, — призналась ей Дорис. — Мы так ждем нашу малышку, Анна. Стэнли ее уже любит. Он прижимается губами к моему животу и разговаривает с ней. Даже обо мне забывает, только с ней и говорит, как одержимый. Он очень ждет ее. Нам так страшно! И тебя я не видела уже два дня, — прошептала Дорис.

Анна присела на край кровати и нежно погладила ее руку.

— Прости, Дорис. Эти два дня, наверное, были самыми важными в моей жизни. А теперь я должна уехать, так получилось. Стэнли знает. Правда, он сейчас не в себе. Он тебя безумно любит. Стэнли Бредфорд может любить только необыкновенную женщину. Ешь фрукты, пей много молока, береги себя и не читай грустные книги. И не позволяй Стэнли пить. Если ты ему запретишь, он бросит. Запрети ему...

В этот момент в палату вошла медсестра и включила свет.

— Что вы здесь делаете?! — возмущенно воскликнула она.

— Разговариваю с подругой. Это для нее гораздо важнее, чем ваши таблетки.

— Кто вас сюда пустил?! Уходите немедленно!

Анна поцеловала Дорис и вышла. В метро, по дороге домой, она думала о том, что такое любовь. Как назвал это Эндрю? «Самый прекрасный и самый важный вид жажды знаний», как-то так. Она понимала, чего жаждет Стэнли. Любимая женщина должна родить ему ребенка. А вот чего жаждет Адриана от Артура после стольких лет совместной жизни? Чего жаждала бабушка Марта, прожив с дедушкой несколько десятков лет? Они ведь, наверное, все друг о друге знали. Или не все? Может, им по-прежнему было интересно, что их ждет? Что ждет и одного, и другую, ведь они каждый день просыпались рядом. Их обоих. Может, именно ради этого люди стремятся быть вместе?

Выйдя из метро на станции у Черч-авеню, Анна пошла в парк. Села на любимую скамейку и вдруг поняла, что ей очень хочется вырезать на ней перочинным ножиком: «Это самая важная скамейка в мире». Тут появился кот. Анна погладила его. Кот мурлыкал и терся об ее ноги.

— Я лечу на Бикини. Ты знаешь, где это? Не знаешь. Я и сама еще точно не знаю, — сказала ему Анна. — Но я вернусь. А ты знаешь, где находится Дрезден? Тоже не знаешь...

Она встала и перешла улицу. Кот шел за ней следом...

В ту ночь она вновь не могла уснуть. Перечитала все письма Эндрю, потом долго рассматривала атлас. Вела пальцем от Европы до Америки, от Дрездена к Кельну, из Кельна в Люксембург, из Люксембурга в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка на Гавайи, с Гавайев на Бикини. С Бикини в Дрезден. Потом прошла всю эту трассу одним движением руки. Трудно было поверить, что через несколько часов это произойдет наяву. Потом она еще раз перечитала письма Эндрю, а уже под утро села на подоконник, закурила и долго смотрела на их скамейку...

Нью-Йорк, Бруклин, полдень, среда, 20 февраля 1946 года

Стэнли подъехал к дому Астрид около двенадцати. Анна ждала на пороге почтальона. Ей хотелось быть уверенной, что все в порядке. Но письма от Эндрю не было. Вещи она упаковала еще вечером, в маленький чемоданчик. Возвращаясь из редакции, прошлась по магазинам на Манхэттене в поисках купального костюма. Макс Сикорски приготовил для нее пакет с пленками. Лайза по поручению Артура купила два дополнительных объектива для фотоаппарата, каждый был в отдельном кожаном футляре. У нее было с собой все необходимое. Попрощалась она только с Максом и Лайзой. Больше никому не сказала, что уезжает, чтобы не врать о цели поездки. Артуру было важно сохранить все в тайне, поэтому даже встречи с Астрид она постаралась избежать.

По пути в аэропорт Анна попросила Стэнли остановиться у польского магазина в Грин-Пойнте. Купила там две бутылки водки. Одну, большую, положила в чемодан, а маленькую — в сумочку. Они говорили о Дорис. Кровотечение у нее прекратилось, но ей предстояло оставаться под наблюдением врачей еще как минимум две недели. Врачи не знали причин осложнений, но надеялись на лучшее.

— Я так жду этого ребенка! — признался Стэнли.

Анна придвинулась к нему и положила голову ему на плечо.

— Стэнли, помнишь, как мы с тобой ехали в Финдельн? А того щербатого часового в Конце? А стрельбу? Я тогда так боялась, что с тобой что-нибудь случится, и я останусь одна. Это было совсем недавно, Стэнли...

— Помню, Анна. Иногда мне это снится. Я все помню. И то, как ты вдруг спросила меня: «Тебя любит какая-нибудь женщина? Кроме матери и сестер? Ты гладил ее лоб и волосы, как мои сейчас? Она любит тебя? И сказала тебе об этом? Она успела тебе это сказать?». Знаешь, теперь я каждый вечер перед сном глажу лоб и волосы Дорис. И говорю ей, что люблю ее. Каждый вечер. После той поездки в Европу я научился бояться, что могу не успеть сказать ей это...

— Повторяй ей эти слова, Стэнли. Как можно чаще. Особенно сейчас, — сказала Анна, целуя его в щеку.

Вскоре они уже были в аэропорту. Встали в очередь у выхода с

надписью «Чикаго». Молчали. Сотрудник «Пан Америкэн», одетый в синюю форму, проверил билет. Анна повернулась к Стэнли и тихо сказала:

— Скажи, что ты хочешь чаю, Стэнли. Скажи, что хочешь...

Он обнял ее.

— Анна, ты обещала, что не будешь плакать. Мы ведь договорились. Ты помнишь?

Она закрыла глаза и услышала свой голос, доносящийся откуда-то издалека...

— Маркус, ну что ты! Ведь мы же еще в саду Цейсов договорились, ты забыл? Я не плачу. Это просто соломинка в глаз попала. Я правда не плачу...

Анна взяла чемодан и шагнула за стеклянную дверь. Молодой чернокожий парень в синем халате принял у нее чемодан и поставил на пол. У трапа она обернулась. Стэнли стоял за стеклянной дверью и нервно приглаживал рукой волосы. Видимо, это у них семейное, подумала она, вспомнив, что Эндрю делал то же самое, когда спрашивал ее, что с ними будет дальше. Стюардесса проводила Анну к ее месту в самолете.

Маршалловы острова, атолл Бикини, раннее утро, пятница, 22 февраля 1946 года

В Гонолулу ее встречал лейтенант Берни Колье. На куске картона он написал: «Mrs Faithful», «госпожа Верная». Как потом выяснилось, это была шутка, но Анна ее не поняла. Она прошла мимо тучного военного в синем мундире с табличкой «Mrs Faithful» и часа два сидела, перепуганная, на деревянной скамейке. Когда зал аэропорта опустел, он подошел к ней и спросил, не она ли прилетела из Нью-Йорка и ждет рейс в Маджуро. И показал картонку с надписью «Mrs Faithful». Он считал, что, переведя на английский ее фамилию, продемонстрировал знание немецкого языка, небывалое чувство юмора и отменное гостеприимство. Анне он не понравился: у него были грязные волосы и пальцы с с траурной каймой под ногтями, и еще от него несло потом и пивом.

Потом они ехали на тряском военном джипе на военную базу. За время поездки лейтенант Берни Колье выпил еще три бутылки пива и несколько раз предложил Анне отхлебнуть. Ему, должно быть, казалось, что он развлекает ее разговором, хотя на самом деле он мешал ей думать и смотреть на дорогу. Кроме того, он почему-то все время грубо издевался над молодым рядовым, управлявшим автомобилем. Наконец Анна не выдержала.

— Знаете что, господин Колье? — прошептала она, склонившись к нему.

Он оторвался от бутылки пива и игривым тоном ответил:

— Я знаю почти все, но это еще нет, мисс...

— Вот сейчас и узнаете, Берни, — кивнула она. — Ты узнаешь всю правду, Берни. Я в своей жизни встречала несколько американских офицеров, в Германии и Штатах. Но ни один, Берни, поверь, ни один, — она еще ближе склонилась к его уху, — не был... — она втянула воздух в легкие и громко крикнула: — таким мерзким, вонючим и грязным козлом, как ты! Ни один!

Лейтенант Колье резко отодвинулся и облился пивом. Минуту он громко сопел. Потом начал ругать шофера. А потом наконец замолчал.

В Хикэме он даже не вышел из машины, чтобы помочь Анне, и не разрешил выйти шоферу. Она спокойно забрала свой чемодан,

попрощалась с водителем и пошла к стоявшему на взлетной полосе военному самолету. Точно на таком же они со Стэнли летели из Европы в Нью-Йорк. Она поднялась на борт. Место за занавеской было свободно. Анна присела, прижимая к себе фотоаппарат. Через несколько минут раздался уже знакомый шум двигателей. Они взлетели. Анна устала, но напряжение все еще было слишком велико. Она открыла бутылку водки. Сделала несколько глотков и постаралась заснуть...

В Маджуро они приземлились, когда было уже темно. Путешествуя на запад, они догоняли время. Почти все время полета от Лос-Анджелеса длилась ночь, самая долгая в ее жизни. Когда Анна вышла из самолета, было жарко и влажно. На полосу выгрузили багаж. Она сняла пальто, потом свитер. И осталась в одном лифчике. Молодой мужчина, стоявший рядом, посмотрел на нее, как на пришельца с другой планеты. Она открыла чемодан и достала ситцевую блузку. Сняла лифчик. Мужчина отвернулся. Анна надела блузку. Наконец к самолету подъехал грузовик, в него погрузили их багаж. Грузовик уехал. Анна пошла вместе с военными к маленькому деревянному строению с крышей из пальмовых листьев. Отвезти прибывших пассажиров «в порт» должен был рикша. Выяснилось, что рикша — это обычный велосипедист, к велосипеду которого прикреплена маленькая коляска, где может с трудом поместиться один чемодан. Анна села на багажник и обняла худого юношу за пояс. Они двинулись. Закрыв глаза, она вспомнила, как Гиннер возил ее на велосипеде по двору на Грюнерштрассе...

Минут через десять они добрались до берега. То, что здесь называли портом, напоминало пристань для яхт на острове Силт. У деревянных мостков качался на волнах небольшой гидросамолет. Анна вцепилась в металлические поручни сиденья, когда при взлете они с воем поскакали на волнах.

Проснувшись она от неожиданного толчка: это рыжеволосый парень в военной форме, сидевший рядом, ткнул ее локтем в бок окно. Был яркий солнечный день. Самолет заходил на посадку. Анна выглянула в иллюминатор, схватила фотоаппарат и прижала его к иллюминатору. Но почти сразу отодвинула. Посмотрела еще раз. Казалось, кто-то разбросал на бирюзовом ковре огромные изумруды. Она протерла глаза. Сплошная зелень и голубизна! Чудесные цвета. Потом показалась узкая, прерывистая полоска суши, похожая на неправильный круг. Анна опять приставила к иллюминатору объектив. Ей очень хотелось нажать на кнопку, но она передумала. Впервые в жизни она сомневалась, что ей удастся запечатлеть на пленку то, что видит. Слишком много оттенков, слишком красиво. Ей

казалось, что аппарат ослепнет и обездумует, ведь он сможет передать только свет и тень. Белое, черное и множество оттенков серого. Словно не хватает одного измерения, и все выглядит таким плоским. Именно этого она и добивалась до сей поры. И пока у нее получалось. Для всего, что снимала, хватало белого, черного и серого. И она не была готова к такому буйству красок.

Самолет снижался, описывая все более узкие круги. Там, где белый песок суши поднимался из океана, у воды был зелено-голубой цвет, как у индийских самоцветов. Анна видела такие в нью-йоркском музее. Бирюзовые волны набегали одна на другую, вскипая белыми пенными воротниками. И их тут же разбивали следующие. Анна поняла, что не сумеет ухватить это мгновение.

Она была взволнована. Нечто подобное она переживала, когда рассматривала с отцом картины в музеях Берлина и Дрездена. Широко открытые от удивления глаза, а потом восторг. Тогда она прижималась к отцу, а он нежно гладил ее по голове. Она взяла за руку молодого солдата, сидевшего рядом. Так, молча держась за руки, они смотрели вниз.

Самолет ударился о волны, подпрыгнул и снова опустился. Через минуту выключили двигатели, и наступила тишина. Спокойное покачивание, плеск воды. Анна посмотрела на часы. Была пятница, 22 февраля 1946 года. Она добралась до Бикини...

К самолету подплыли две военные шлюпки. В первую сложили багаж, и пассажиры прошли по шаткому трапу во вторую. Шлюпка подошла к пляжу и села плоским дном на песок. Вдали, между пальмами, Анна заметила что-то вроде ангара.

— «Кросс Спайкс клуб»! — радостно воскликнул рыжеволосый парень. — Я с самого Маджуро мечтал о холодном пиве. Наконец-то! Ради этого стоило тащиться на край земли.

Солдаты выскочили из шлюпки на песок и направились к ангару. Анна сошла на берег последней. Рыжеволосый парень взял у нее фотоаппарат и пакет с пленками, потом подал ей руку. Она почувствовала мягкий и теплый песок под ногами. Ее чемодан одиноко затерялся среди солдатских рюкзаков.

— Мы обязательно еще увидимся. Здесь трудно не встретиться, — рыжий улыбнулся ей на прощание и тоже побежал к ангару.

Анна склонилась над чемоданом. Ей захотелось взглянуть на документы, которые еще в Гонолулу передал ей в покрытом сургучными печатями конверте лейтенант Колье. Она знала от Артура, что ей предстоит делать. Она должна не только фотографировать, но и постараться выяснить,

почему этим маленьким кусочком суши на краю света так активно интересуются политики и военные теперь, через полгода после окончания войны на Тихом океане. Но Анне не хотелось об этом думать в данную минуту. Она ужасно устала и мечтала найти здесь кровать или гамак, а еще — искупаться. Ей даже не хотелось подсчитывать, сколько времени она провела в пути.

Она наклонилась и, открыв чемодан, достала оранжевый конверт. Стоя на коленях, сломала сургучные печати. И тут в чемодан упал маленький белый конверт. Анна резко подняла голову.

— Ты все же написал мне! — воскликнула она, вскакивая и обнимая Эндрю. — Я знала, что ты напишешь, — добавила она шепотом.

Он прикоснулся губами к ее волосам и нежно поцеловал в лоб. Они долго стояли, прижавшись друг к другу. В голове у Анны роились тысячи вопросов. Откуда тут взялся Эндрю? Именно сейчас. Почему он ничего ей не сказал? Откуда узнал, что она тоже окажется здесь? И почему не сообщил, что ему это известно? Почему?! Она думала, что будет скучать по нему, что у нее будет время обдумать, что будет с ними дальше.

— Эндрю, ты пахнешь ветром и пляжем! — прошептала она.

— Я все тебе расскажу, — сказал он, будто угадав ее мысли.

— Расскажешь...

Она закрыла чемодан. Оранжевый конверт ее больше не интересовал. Эндрю нес чемодан, а она шла рядом и улыбалась. Они вошли в пальмовую рощу и вскоре оказались среди маленьких деревянных домиков, крытых высохшими пальмовыми листьями. На поляне солдаты играли с местными ребятишками. Анне на мгновение показалось, будто она увидела среди них Лукаса. Нет, это был совсем другой мальчик, лет шести, у него было смуглое лицо, большие темные глаза и пухлые, будто вывернутые наружу губы, за которыми скрывалась щербатая улыбка. Он помахал ей, когда они проходили мимо. Солдаты прервали игру, провожая их взглядом. Кто-то многозначительно свиснул. Она старалась не слушать, что они кричат им вслед. Она еще не видела такую толпу военных со времен Дрездена. Эндрю, одетый в джинсы, голубую рубашку и мокасины, был здесь, кажется, единственным гражданским. Если бы не он и не эти дети, можно было подумать, что она оказалась в воинской части или на полигоне. Артур был прав. Здесь происходит или вскоре произойдет что-то очень важное, подумала Анна.

Комната в деревянном бараке, куда привел ее Эндрю, была размером с самый маленький туалет в редакции «Таймс» и уж точно не более уютной. Узкая металлическая кровать, на ней подушка, серое одеяло без

пододеяльника, простыня и наволочка, сложенные в идеальный квадрат, а еще столик, стул и ржавый металлический шкаф. Но Анне было сейчас все равно: она мечтала поскорее умыться и лечь спать.

— Сейчас ты больше всего хочешь заснуть, ведь так? Но этого нельзя делать, — сказал Эндрю, читая ее мысли, — постарайся продержаться до обеда. Разницу во времени лучше всего переносить на ногах. Душевые в конце коридора, мужские и женские отдельно. Здесь есть еще несколько женщин.

Она смотрела на него во все глаза. Ей все еще не верилось, что он рядом. Сейчас он казался еще более высоким и красивым.

— Эндрю, а что ты здесь делаешь? — спросила она.

— Если ты подождешь пятнадцать минут, — уклонился он от ответа, — я покажу тебе самую прекрасную ванну на свете. Мне нужно зайти в штаб. Только не засыпай...

Он вышел, закрыв за собой дверь. Он был прав. Больше всего на свете она хотела спать, но сначала все-таки умыться. Она будто бы погрузилась в летаргический сон. Звуки из окна доходили до нее замедленными, словно кто-то невидимый проигрывал на низкой скорости виниловую пластинку. Она посмотрела на свои руки и подумала, что они вовсе не такие грязные, как ей казалось. Незастеленная койка манила ее. Только на минутку, всего на одну минутку, пока не вернется Эндрю. На минутку. И она заснула.

Ее разбудил треск и громкий взрыв смеха. Она вскочила с кровати и подбежала к окну. Там, гомоня и хохоча, бежала стайка детей. Анна попыталась сообразить, как долго она спала. Осмотрела комнатку. Стены были досчатые. Неокрашенные и без обоев, они напоминали о временном статусе этого жилья. В дверь постучали.

— Извини, что заставил ждать, — сказал Эндрю, входя.

— Скажи, уже наступило завтра? — спросила она, окончательно теряя ощущение времени. — Я не поняла, сколько проспала: неделю, ночь или час?

Он улыбнулся, подошел к металлическому шкафу и достал оттуда полотенце.

— Пойдем, я обещал тебе ванну, — сказал он, обнимая ее.

Они прошли по узкой полоске земли, покрытой травой, потом — по ослепительно белому песку. Молодые, лет по девятнадцать, не больше, солдаты при встрече с ними отдавали Эндрю честь как военному, а он с улыбкой им кивал. Анну это удивило, но она решила отложить расспросы на потом.

Наконец они добрались до воды. Пляж был непохож на тот, что Анна

помнила по острову Сильт. Она растерянно стояла на берегу. Море, которое она видела, было холодным, желтовато-зеленым и иногда синим. До сих пор она считала, что это и есть цвет морской волны. А теперь выходило, что отец, показывая им с матерью природу острова Сильт, забыл добавить, что они рассматривают мир, подкрашенный сепией. Здесь, на пляже Бикини, вода была аквамариновой как камень на кольце бабушки Марты. Анна задумалась и попыталась вспомнить все известные ей оттенки голубого.

А Эндрю уже звал ее из воды, размахивая руками. Она впервые видела его без рубашки, галстука и пиджака, и теперь отчетливо видела, что он моложе Стэнли. Она расстегнула пуговицы зеленой блузки и позволила юбке сползти на песок. На мгновение задумалась, не снять ли кремовую комбинацию и трусики, но сняла только трусики и вошла в воду почти по пояс. Мокрая ткань облепила тело. Она раскинула руки и окунулась. Когда подошла к Эндрю, вода по-прежнему была ей по пояс. Эндрю улыбался. Анна почувствовала, что он разглядывает ее грудь.

— Ты не носишь лифчик, — сказал он тихо.

Она скрестила руки, прикрыв грудь, но потом опустила их и поплыла. Ей вспомнился вечер на балтийском берегу, проведенный с родителями...

Сначала, сидя на песке, они любовались закатом. Потом долго гуляли. Отец целовал и обнимал маму. Когда стемнело и пляж опустел, родители уложили ослепевшую Анну на лежак и побежали к морю. Мать по дороге сбрасывала одежду, словно они были там одни, и смеялась. Собственно, они и были одни. Анна свернулась в клубочек и притворялась, что спит, пока и в самом деле не задремала. Родители так любили друг друга! Потом отец вышел из воды, сбегал за полотенцем и вернулся к жене. Когда Анна вновь открыла глаза, он стоял на песке, держа полотенце наготове, а мать шла к нему из моря, не стесняясь своей наготы. Анна помнила темные контуры сближающихся тел и тихий шепот: «А мы ее не разбудим?». Родители легли на полотенце. Анна не понимала, что между ними происходит, но чувствовала, что это что-то хорошее...

Она повернула голову к плывущему рядом Эндрю и спросила:

— Ты знаешь, Эндрю, где находится Балтийское море? Знаешь, какая холодная там вода?

— Знаю, — ответил он, — я встречался с Нильсом Бором на конгрессе в Копенгагене. Но тогда была зима. И нам вовсе не хотелось купаться.

Анна улыбнулась и нырнула. Глаз она не закрывала. Прямо перед ней

проплыла большая разноцветная рыба. Анна вынырнула и уцепилась за его плечо.

— Здесь множество рыб, — опередил он ее вопрос, — причем самых немыслимых оттенков, и я не знаю, как они называются. Я говорил тебе, это самая прекрасная ванна, какую я когда-либо видел. А буквально в десяти ярдах отсюда начинаются коралловые рифы. Там такое буйство красок! Хочешь, сплаваем туда прямо сейчас?

— Нет! Не сегодня! — крикнула Анна и поплыла к берегу.

Несколько минут спустя они уже сидели на песке. Анна уже успела надеть трусики и даже набросила на плечи блузку.

— Ты права, так будет лучше, — прошептал он, — они тут изголодались...

— Так же, как и я, — ответила Анна, улыбнувшись.

Она сходила к солдатам и вернулась с зажженной сигаретой.

— Мне захотелось покурить.

— Ты иногда совершаешь необдуманные поступки, — вздохнул он. — Неужели ты не понимаешь, что сегодня вечером в «Кросс Спайкс» эти парни за бутылкой пива будут описывать приятелям твои груди? И мечтать о том, как... как же они тебя назовут... как они «уложат эту классную телку, ассистентку доктора Бредфорда». Здесь не выбирают выражений...

— Ну и что, — прервала его она. — Разве тебе это мешает?

— Что? — спросил он удивленно.

— То, что они будут болтать?

— Нет!

— И мне нет. Так в чем же дело? — Она с улыбкой затянулась сигаретой. — И все-таки, Эндрю, как ты оказался здесь?

Он встал и натянул брюки. И, не садясь обратно на песок, сказал:

— То, что ты попала сюда, — случайность. Вместо тебя здесь должен был быть Стэнли. Но он сейчас не в состоянии рассуждать здраво. А ведь такой случай выпадает одному из миллиона... Впрочем, это его жизнь, пусть поступает, как знает. Этот старый еврей из «Таймс» от тебя без ума. Он поручился за тебя в Вашингтоне. А у него связи везде, даже, наверное, у самого господина Бога. Он поклялся, что ты справишься. Говорил, что ты способна видеть такие вещи, о существовании которых интеллигентные люди даже не догадываются. Что кадры, которые ты снимаешь, могут и растрогать и рассмешить до слез. Что ты поражаешь сюжетом, а потом оказывается, что сюжет — второстепенен, главное в другом. Что ты способна увидеть красоту растоптанного башмака, что ты обладаешь наивностью ребенка и мудростью пожилой женщины. Так сказал Артур, а

он сейчас большой авторитет в американской прессе. Еще он говорил, что ты не отвернешься, если в твоём присутствии будет происходить нечто ужасное, и не закроешь глаза, если случайно станешь свидетелем интимной сцены. После той ночи на скамейке в парке я тоже знаю: ты их не только не закроешь, а напротив, распахнешь еще шире. Ты здесь единственная, кто не имеет американского гражданства, но благодаря связям Артура, проблемам с беременностью Дорис, из-за которой мой брат потерял рассудок, и своему несомненному таланту ты оказалась тут. В Америке много фотографов, Анна, но чтобы сравниться с тобой, им следует еще многому научиться. Так считают не только в редакции газеты «Нью-Йорк таймс».

Анна встала. Ее бросило в жар — то ли от солнца, то ли от всего того, что он сказал. Она сбросила блузку и снова пошла к солдатам под пальмы, а вернулась с несколькими сигаретами и коробком спичек.

— Господин Бредфорд, слушайте меня внимательно. Моя жизнь уже давно состоит из одних случайностей. Даже то, что я осталась жива, — дело случая. И то, что я встретила твоего брата, невероятное совпадение. Счастливое совпадение. Невероятно даже то, что я стою сейчас перед тобой на пляже Бикини и курю. Стэнли здесь нет потому, что он любит свою женщину. То, что он остался с ней, нерационально. Это факт. Но любовь не может быть рациональной. К превеликому, черт побери, счастью! — крикнула она. — К превеликому счастью, доктор Бредфорд! Твой брат не лишился разума из-за Дорис. Он благодаря ей его обрел. Кроме того, я страшно рада, что у Артура такие связи. Не знаю, по какому странному стечению обстоятельств физик из Чикаго загорает на этом острове и почему ему отдают честь солдаты, — ты так и не ответил мне на вопрос, — но скоро я это узнаю. Если не от тебя, то от них, когда они переберут свою норму пива. Можешь не сомневаться, я выясню. Я узнаю все. Сделаю все, чтобы узнать. Можешь быть уверен.

Она воткнула тлеющий окурок в песок. Достала следующую сигарету и протянула Эндрю спичечный коробок.

— Дай мне прикурить. У меня трясутся руки...

Они возвращались в барак по берегу моря. Вдали виднелись выгоревшие крыши домов, непохожих на тот, где поселили Анну. Покрытые пальмовыми листьями, домики напоминали огромные плетеные корзины.

— Это деревня. Пойди туда. Местные жители очень дружелюбны. И обязательно возьми с собой фотоаппарат! — сказал Эндрю.

Он мог бы этого и не говорить, потому что с фотоаппаратом Анна не

расставалась. Однажды в Бруклине она на минуту вышла купить продукты в магазинчике на Флэтбуш-авеню и не взяла его с собой. И тут же пожалела об этом, увидев привязанную к фонарю у магазина собаку, которая держала в зубах свернутую газету с заголовком «Собачья жизнь на войне». Иногда Анна жалела, что фотоаппарат — не часть ее тела. Ведь тогда он бы всегда был при ней.

Эндрю проводил ее до двери барака. Она обняла его и ушла, не сказав ни слова на прощание. У нее не было сил говорить. Она хотела спать. Только спать...

Маршалловы острова, атолл Бикини, суббота, 23 февраля 1946 года

Анна проснулась оттого, что ей обожгло щеку. Открыла глаза и тут же закрыла их, ослепленная солнцем. Прислушалась к громкому щебетанию птиц за открытым окном. Встала и вытащила из чемодана голубое платье, которое ей подарила на Рождество Дорис. Завязала тесемки круглого воротника. Со спинки стула взяла полотенце и отправилась в душевую. Это небольшое помещение в конце коридора было свободно. Анна умылась, а потом поставила голову под струю холодной воды. Постояла, разглядывая свое лицо в немного искажавшем черты зеркала. Холодная вода стекала по ее светлым волосам на платье. Она вытерла их полотенцем и попыталась пальцами разобрать мокрые волосы на пряди. Отнесла полотенце в комнату и вышла, захватив с собой «лейку».

На площадке у столовой стояла группа молодых солдат. Анна узнала рыжего парня из самолета. Он помахал ей, она улыбнулась.

— Я думал, мы привезли сюда только свиней, овец, коз и крыс, но, кажется, здесь есть и неплохие кролики, — сострил один солдат под громкий смех своих товарищей.

Анна вошла в столовую. Из корзины, стоявшей на длинной деревянной скамье, взяла два куска черного хлеба. По пути прихватила масло и джем. Налила себе кружку горячего кофе и села у окна. Зал постепенно наполнялся солдатами. К Анне подошел рыжеволосый парень и еще один солдат.

— Можно? — спросил рыжий и, не дожидаясь ответа, сел напротив. — А что ты, собственно, собираешься здесь делать? — попытался он завязать разговор. — Если ты наша новая медсестра, то, чувствую, сегодня мне станет очень плохо.

И он громко засмеялся своей шутке, глядя на своего спутника.

— Мне очень жаль, но я не медсестра, — улыбнулась Анна, перегнувшись через стол и прошептала ему на ухо: — Но если бы я ею была, а ты пришел бы ко мне, скажем, с больным пальцем или зубом, я бы наверняка прописала тебе клизму. И своими руками вставила ее тебе в задницу. Чтобы отметить знакомство.

Она отодвинулась и подмигнула его приятелю, который согнулся пополам от смеха. Рыжеволосый нахмурился.

— Тебе здесь придется нелегко. Ты слишком лакомый кусочек, — услышала она за спиной голос Эндрю.

Рыжий солдат и его спутник тут же встали. Эндрю сел рядом с Анной и поставил на стол дымящуюся кружку кофе.

— Привет, — сказал он с улыбкой. — На всем острове, кроме тебя, еще только две белые женщины, — добавил он. — Лейтенант Троки, которую боятся даже бешеные собаки, и сержант О'Коннор, про которую не скажешь, что она женщина, пока она не заговорит своим писклявым голосом.

Эндрю выглядел очень уставшим. Между бровей залегла глубокая морщина.

— Сегодня будет очень жарко. Обедают здесь в двенадцать, ужинают в восемнадцать. Я обычно сижу у стены с левой стороны. Там сквозняк. Присоединишься? — спросил он тихо и улыбнулся, но взгляд у него был какой-то потухший. — Сегодня я буду немного занят, наверное, посижу на работе до самого ужина. К шести вечера постараюсь зайти за тобой, и если ты не против, мы вместе пойдем на ужин, — добавил он, вставая.

Анна снова задумалась о том, чем профессор физики Чикагского университета, доктор Эндрю Бредфорд, может быть занят до ужина на островке, где самое большое здание — ангар, в котором расположен пивной бар. Было девять часов, когда она закончила завтрак и выпила последнюю, четвертую кружку кофе. До сих пор она считала, что нет в мире ничего хуже, чем американский кофе. Оказалось, все-таки есть: кофе на Бикини.

Она вышла на улицу. Воздух был плотным и тягучим. Анна пошла вдоль берега по направлению к деревне. Там между домами сновали люди. Пожилая женщина в длинном цветастом платье, подпоясанном на бедрах, разрывала пальмовые листья на тонкие полоски и плела из них что-то вроде коврика. У нее были маленькие пухлые ладони и сильные плечи. Время от времени она отрывалась от работы и бросала взгляд на маленького мальчика, копавшего палкой ямку в песке. В такие моменты на ее круглом лице появлялась спокойная улыбка. Неужели все пожилые женщины в любой части света знают что-то такое, чего не дано знать никому другому? — подумала Анна. И не это ли знание дает им радость и спокойствие? У бабушки Марты в глазах тоже светились спокойствие и радость, когда она вышивала в своей комнате на Грюнер салфетки, а Анна, сидя у ее ног, играла на ковре деревянными кубиками...

Женщина что-то жевала, время от времени сплевывая на землю. Анне

показалось, что это кровь. Она постаралась приблизиться осторожно, чтобы женщина не обнаружила ее присутствия, — именно так у нее получались самые лучшие снимки. Вдруг ее босые ноги запутались в торчавших из земли корнях.

— Verdammt Scheisse! — воскликнула она, при падении стараясь поднять фотоаппарат как можно выше, чтобы он не пострадал. — Scheisse!

Детский голос весело повторил:

— Scheisse, Scheisse, grosse Scheisse!

Анна увидела широко раскрытые карие глаза, пухлые, почти круглые губы. И узнала мальчика, которого видела вчера под окном барака.

— Эй, маленький проказник! Чему ты смеешься и почему меня передразниваешь? — спросила она по-немецки.

Но он только повторил:

— Was lachst du, was lachst du? Lachen verboten!

Последнюю вразу Анна не произносила. Она села на песок и недоуменно уставилась на мальчишку, но он тут же спрятался за стволом дерева.

— Ты говоришь по-немецки?! Эй, малыш, покажись же!

— Я не малыш, — услышала она в ответ.

Анна не могла прийти в себя от удивления. Мальчик явно говорил по-немецки, а не просто повторял услышанные фразы. Он мог составить предложение! Пока что это было самым большим для нее сюрпризом на Бикини. Маленькая фигурка появилась из-за ствола. Мальчишка стоял, прислонясь к дереву, и потирал правой ступней левую голень.

— Меня зовут Маттеус. Ну что уставилась? — спросил он. — А у тебя какое имя?

Он действительно говорил по-немецки! Анна незаметно сделала снимок, запечатлев его приветственную улыбку.

— Тебя зовут Маттеус. А мое имя Анна. У вас здесь все дети говорят по-немецки? Откуда ты знаешь мой язык?

Мальчик подошел ближе, с любопытством глядя на фотоаппарат.

— Что это? — спросил он.

— Это фотоаппарат. Ты хочешь сделать снимок?

— Сделать снимок? А что это такое?

Она протянула ему «лейку». Мальчик смотрел на фотоаппарат с интересом, но прикоснуться к нему не отважился.

— Сюда смотришь, здесь нажимаешь, а внутри остается то, что ты увидел. Понимаешь?

Мальчик посмотрел в видоискатель.

— О! — восхищенно воскликнул он.

— Ты можешь сделать снимок, только сначала скажи, откуда знаешь мой язык.

— Это не секрет, но он уже умер, потому что был очень старый.

— Он?

— Джой Лайсо. Он был очень старый и помнил древние времена. Когда он умирал, ему, наверное, было сто лет, а может быть, и двести! У него были совершенно черные зубы. Это от бетеля. Он говорил, что если я буду учить немецкий, то когда-нибудь найду сокровище. Тут где-то должны быть старые карты, а на них обозначено место, где спрятан клад, — мальчишка понизил голос, — немецкий клад. Знаешь, я везде искал, но ничего не могу находить.

— Найти, — поправила его Анна.

Они прошли мимо женщины, перебиравшей пальцами длинные узкие полосы листьев.

— Старая Кетрут, — сказал мальчик, показывая на нее пальцем. — Она тоже жует бетель, а то, что она плетет, называется «яки». Циновка. Завтра будет много людей, им нужно на чем-то спать.

Мальчик подбежал к женщине. Сказал ей что-то на ухо и пальцем показал на Анну. Женщина кивнула, улыбнулась и сказала:

— Йоуке!

— Маттеус, спроси у Кетрут, можно ли мне ее сфотографировать.

— Можно. И спрашивать не надо. Она не знает, что это такое, а аппарат, как и я, видит впервые.

Анна подошла ближе. Женщина на мгновение застыла и с любопытством посмотрела в объектив. Вдруг она громко рассмеялась и выплюнула изо рта красную слюну.

— Это от бетеля? — испуганно спросила Анна, глядя на мальчика. — Это ведь не кровь?

— Какая кровь?! — ответил тот. — Что ты болтаешь?!

Она шла за Маттеусом мимо домиков, из которых доносились голоса. Жизнь в поселке шла своим чередом. Молодая женщина сидела на песке и кормила грудью младенца. Маттеус подбежал к ней и поцеловал младенца в лобик.

— А это моя самая старшая сестра Рейчел. Рейчел говорит по-английски и очень много знает. А в океане она может найти дорогу лучше, чем ее муж.

Молодая женщина улыбнулась, склонилась над младенцем и сказала:

— Lokwe yuk, love to you.

Анна подняла аппарат, нажала кнопку и тихо повторила:

— Love...

Еще минуту она стояла, очарованная этой сценкой: цветастое платье Рейчел, ее обнаженная грудь, маленькие ручки младенца. Черная головка прижата к матери, босые ножки, красный цветок, вплетенный в волосы Рейчел над ухом, широкая, обезоруживающая искренностью улыбка.

— У нас завтра «кемем», будут все родственники, приходи завтра, — сказала Рейчел по-английски, — нам будет приятно.

Анне не пришлось спрашивать, что такое «кемем».

— У нас часто бывают праздники. Мы любим встречаться с родней. Мои тетки, двоюродные братья, их жены значат для нас то же, что Рейчел и ее маленькая дочка. Завтра ей исполняется год, и у нас будет праздник. Это и есть «кемем», — объяснил ей Маттеус, когда они пошли дальше по деревне.

В каждом доме, куда приводил Анну мальчик, ее встречали с любопытством, но сердечно, и одаривали дружескими улыбками. Всюду царили идиллический покой и гармония. Ни спешки, ни криков, ни недоверия. Как на картинах Гогена.

Деревня была небольшая. Она вся протянулась вдоль океана. В какой-то момент там вдалеке показался продолговатый предмет.

— Нишма! Смотри, это Нишма, муж Рейчел. Он возвращается с уловом. Пойдем посмотрим, что он сегодня поймал! — крикнул Маттеус, хватая Анну за руку.

Он забежал в воду и стал приветственно махать человеку в лодке. Анна фотографировала...

Она оставалась в деревне до заката. Нишма научил ее потрошить рыбу. Потом они принесли эту рыбу в корзинах из пальмовых листьев в деревню, испекли на костре и съели. Маттеус с важным видом рассказывал всем, что такое фотоаппарат. Анна не была уверена, что он объясняет правильно, однако жители деревни в восторге слушали его.

Анне захотелось попробовать, что такое бетель. Нишма с помощью Маттеуса объяснил ей, что это лист растения, обладающего наркотическим действием. Как лист коки. На Маршалловых островах бетель жуют все взрослые мужчины и женщины. В отличие от коки, он окрашивает слюну в красный, а зубы в черный цвет. Разжеванные листья нужно выплевывать, потому что они быстро начинают горчить. Когда Анна сидела на пороге дома и вместе с Рейчел жевала бетель, вокруг собралась толпа любопытных. Анна почему-то не почувствовала никакого наркотического действия бетеля, а когда она выплюнула его, толпа разразилась громким

хохотом.

Потом Рейчел спела красивую колыбельную своему малышу, и Анна записала ее, потому что хотела выучить наизусть. «Для моего будущего ребенка, когда он появится», — объяснила она Рейчел, которая очень удивилась, что у «такой старой» женщины еще нет детей.

В своей комнате Анна оказалась, когда уже совсем стемнело. И моментально уснула.

Маршалловы острова, атолл Бикини, воскресенье, 24 февраля 1946 года

Она проснулась от того, что кто-то осторожно теребил ее за плечо. Открыла глаза и увидела белозубую улыбку Маттеуса.

— Хочешь полежать со мной на волнах? Тогда вставай, — сказал он тихо.

— Что? — Анне спрросонья показалось, что ей это снится. — Я не буду сейчас рассказывать тебе сказку, Маркус. Я хочу спать, — пробомотала она и повернулась на другой бок.

— Что ты говоришь, какой Маркус? Пошли изучать волны. Посмотришь, как это делается!

Она наконец проснулась и приподнялась на локте.

— Откуда ты взялся? — спросила, протирая глаза.

— Ты оставила открытым окно, — засмеялся мальчик.

— Изучать волны? Конечно хочу, но подожди, Маттеус, я ничего не ела, меня стошнит. Мне уже от одной мысли о качке хочется блевать.

— А что значит блевать? — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил: — Ну пошли быстрее, все ждут только нас.

— Тогда отвернись, — велела она мальчику.

— Зачем?

— Мне нужно переодеться.

— Зачем? Ты очень красивая.

— Мне нужно одеться для купания. Отвернись, говорю!

Когда они прибежали на берег, первая из двух лодок, похожая на широкую байдарку с парусом, уже отчаливала. Во второй Анна увидела Нишму. Он держал в одной руке руль, а в другой веревки, привязанные к треугольному парусу. К корпусу лодки, в которой сидела ватага мальчишек, было прикреплено бревно, должно быть, служившее противовесом. Такой лодки Анна никогда не видела. Они отчалили. Маттеус уселся рядом, достал что-то из матерчатого мешочка и протянул ей.

— Кокосовый орех, — сказал он, прежде чем она успела спросить. — Жуй, и тебе не будет плохо. А может, хочешь бетель? — спросил он и рассмеялся. — Кокос для нас всё. Так говорит старая Кетрут. Она может сделать из него масло, чтобы жарить, и муку для лепешек, и мыло для стирки. Из листьев делает веревки, циновки «яки», а из стволов мы строим

дома. Старая Кетрут все время повторяет, что Бог знал, что делал, когда дал нам кокосовую пальму.

Анна присмотрелась к мальчишкам, тесно прижавшимся друг к другу. С виду им было от пяти до десяти. Солнце поднималось над горизонтом, постепенно освещая морскую воду. Вскоре Анна уже могла различать лица. Темно-оливковая кожа, огромные смеющиеся глаза, снежно-белые зубы. Она быстро вытащила из футляра фотоаппарат. Света было слишком мало, чтобы сделать хороший снимок крупным планом, но достаточно, чтобы запечатлеть белозубые улыбки.

Вдали показался остров, за ним второй, потом следующий и еще один. За бортом сквозь толщу воды Анна видела скопления кораллов, похожих на кусты в парке, и скальные образования. Одни были совсем как обычные валуны, другие напоминали кружевные салфетки или веера, которые, казалось, покачивались от движения воды.

Вдруг она заметила на лицах мальчишек возбуждение. Нишма стал сворачивать парус и что-то громко сказал, указывая пальцем на темное пятно, окруженное почти белыми морскими отмелями.

— Это здесь! — вскочил на ноги Маттеус. — Вот сейчас мы будем учиться чувствовать волну.

Анна все никак не могла понять, что это значит.

— Прыгай за нами! Ты тоже научишься! — крикнул ей Маттеус.

— А что мне делать? Как можно научиться чувствовать волну? — спросила она.

— Прыгай в воду и ложись, как я.

— Ложиться? Что ты такое говоришь?

Нишма бросил якорь и подозвал детей к себе. Он что-то говорил, бурно жестикулируя. Показал на остров, покрытый манговыми деревьями, и тоже прыгнул в воду. Там, лежа на спине, он выпрямился и вытянул ступни в направлении небольшой лагуны, врезающейся в центр острова. Мальчики сделали то же самое. Анна сняла висевший на шее фотоаппарат, завернула его в платье и спрятала в сумку, а потом тоже прыгнула в воду. Наступила тишина. Вся группа напоминала собой стрелолист из гамбургского океанариума. Его острые листья на поверхности воды всегда смотрели в одну и ту же сторону. Через минуту Нишма широко развел в сторону руки и остался в таком положении. Анна не видела в этом ничего особенного. Ей было просто приятно. Она закрыла глаза, наслаждалась теплыми лучами солнца и тихонько покачивалась на волнах.

Когда они вернулись в лодку, Нишма вытащил из ящика под рулем странный предмет, напоминающий паутину из переплетенных палочек, и

стал что-то объяснять мальчишкам. Маттеус потом объяснил Анне, что эти палочки не что иное, как карты, по которым можно определить расположение островов и атоллов. Но только если научишься понимать движение волн по отношению к какому-то конкретному месту! То, чему они только что обучались, лежа в воде и «чувствуя волны», было как раз попыткой запомнить движение волн. Когда-нибудь, когда этому научатся, им достаточно будет прыгнуть в океан, «почувствовать волну» и сравнить свои ощущения с тем, что записано в паутине палочек. Анне не верилось, что такое возможно, но она поняла, что ей довелось присутствовать на самом настоящем уроке навигации.

Когда возвращались на остров, она размышляла о том, как отличается этот маленький мир от всего, что ей приходилось видеть до сих пор. Его жителей невозможно было представить ни в каком другом месте.

Маршалловы острова, атолл Бикини, четверг, 28 февраля 1946 года

Странно, но на маленьком как песчинка Бикини она почти не встречалась с Эндрю. В понедельник он провел с ней несколько минут за завтраком, во вторник она нашла от него под дверью письмо. А вчера и сегодня утром не было даже записки. Ощущение того, что он рядом, успокаивало ее, но в то же время и раздражало. Она понимала, что он сюда не загорать прилетел, но никак не могла смириться с его постоянным отсутствием. Гордость не позволяла ей искать его и чего-то требовать. Но на Бикини она скучала по нему не меньше, чем в Нью-Йорке.

Большую часть времени она проводила с Маттеусом. Знакомилась с обычаями островитян, училась их языку. Сначала запоминала отдельные слова и простые детские песенки. Потом целые предложения. Рейчел научила ее, как половинкой острой раковины потрошить скользкую рыбу. Для начала следовало обвалить ее в песке, чтобы она не выскальзывала из рук. Нишма поведал ей историю острова, а вечерами старая Кетрут, жуя бетель, рассказывала легенды об обитающих на Бикини духах и демонах.

Анна ни на минуту не расставалась с фотоаппаратом. У нее уже появились здесь «свои» места, такие, куда она любила возвращаться. Она знала, с какого уголка острова лучше всего видны возвращающиеся с рыбалки лодки. Откуда слышнее пение, доносящееся из украшенного росписями и скульптурами «пебеи», дома встреч, который по воскресеньям превращался в церковь. Ей нравилось приходить туда, где стоял дом вождя, и смотреть на «фалув», то есть мужской дом, в котором жили одинокие юноши и взрослые мужчины. У «фалува» не было дверей, только окна с бамбуковыми ставнями, и с пляжа можно было безнаказанно подсматривать за тем, что происходит внутри.

А еще Анна часто приходила посидеть на то место, куда в самый первый день ее привел Эндрю. Там был отполированный морской водой и ветром мощный корень дерева. Бескрайняя гладь океана давала ощущение свободы, а песок под ногами — чувство безопасности. Именно здесь Анна наконец обрела почти забытый покой и избавилась от напряжения, которое не отпускало ее, начиная с событий в Дрездене.

В тот день было очень жарко. Она устроилась с фотоаппаратом в тени пальмы и наблюдала за парой белых птиц, что влетали в дупло в стволе

соседнего дерева и тут же вылетали обратно. У одной из них был длинный хвост, из которого торчали несколько еще более длинных перьев.

— Они строят гнездо, — услышала она голос за спиной.

Анна уже привыкла, что Маттеус всегда вырастал как из-под земли.

— Сегодня слишком жарко, чтобы возиться с птицами. Пойдем к рыбам.

— На рыбалку? Ладно. На рыбалку так на рыбалку. А чем мы будем ее ловить? Руками? — спросила она с интересом.

— Я не собираюсь ловить с тобой рыбу. Ты слишком много и громко говоришь. Сегодня мы будем глядеть рыбу! — Мальчик свернул ладони в трубочки и приложил их к глазам.

— Рассматривать рыбу.

— Рас-сма-три-вать. Я знал, что ты меня поправишь. «Ты понимаешь по-немецки, малыш?» — засмеялся он, передразнивая ее интонацию.

Анна отправилась в барак, чтобы оставить там фотоаппарат. Она взяла полотенце, надела купальный костюм и повязала на бедра цветастый платок, который подарила ей Кетрут. Маттеус ждал ее под окном. Песок так накалился, что ступая по нему босиком, она тихонько взвизгивала от боли.

— Ставь ноги боком. Как я. Посмотри, внутренней стороной.

Она попробовала ему подражать. Действительно, стало не так больно, но зато она чуть не вывихнула себе лодыжки.

Они пришли на берег в южной части острова. В нескольких метрах от пляжа виднелись темные очертания коралловых зарослей. Океан здесь был спокойный и спуск в воду пологий. Они поплыли к зарослям кораллов, и Маттеус велел Анне опустить голову в воду и смотреть. Соленая вода вначале щипала глаза. Но ради того, что она увидела, стоило потерпеть. Под ней резвилась стайка разноцветных рыб. Маленькие голубые гонялись за полосатыми. Желтые, оранжевые, черные как смоль блестели и переливались перед глазами, словно кадры сказочного фильма. Маттеус крепко взял ее за руку и потянул вниз. Ей не хватало воздуха, и она была вынуждена вынырнуть на поверхность.

— Ну как? Все еще хочешь к птицам? — спросил он ее со смехом.

— Маттеус, это настоящее чудо! Я никогда в жизни не видела столько рыб, да еще таких красивых!

— Ты сможешь доплыть вон до той скалы? — спросил он, указывая на группу торчавших из воды кораллов. — Там есть две смешные рыбы. Они похожи на птиц, а если вслушаться, ты услышишь, что они как будто говорят.

— Смогу Маттеус, конечно, смогу...

Они проплыли несколько десятков метров и добрались туда, где бирюзовая вода приобретала немного более темный оттенок, но была такой же кристально прозрачной. Анна набрала в легкие воздуха, распласталась на животе и опустила лицо в воду. Там были две рыбины: зеленая и розовая. Они выглядели так, будто кто-то покрасил им губы карминового цвета помадой, и напоминали яркостью и пестротой цветов попугаев, а еще, глядя на них, Анна почему-то вспомнила свою квартирную хозяйку Астрид Вайнштейнбергер. Из воды они с Маттеусом вынырнули почти одновременно, жадно хватая губами воздух.

— Откуда ты знал, что они здесь будут?!

— Они всегда здесь. Никогда не уходят. Это их дом. А теперь попробуй нырнуть со мной глубоко-глубоко под эту скалу. Там есть дыра, а в ней сидит чудовище. И не набирай слишком много воздуха в легкие, так тебе будет легче погружаться.

Анна нырнула так глубоко, как только смогла. Солнечные лучи падали почти перпендикулярно к поверхности океана. При таком освещении она могла разглядеть даже отдельные чешуйки, блестевшие на спинах проплывавших рыб. Внизу, в небольшой расщелине, она заметила сначала длинные, поднятые вверх щупальца, а потом массивные клешни бледно-розового лангуста. Глаза ей жгла соленая вода, она чувствовала боль в легких, но не могла отвести глаз от этого необыкновенного создания. Если бы только у меня был с собой фотоаппарат, подумала она.

Когда они вернулись на остров, у барака ее ждал Эндрю.

— Я думал, ты отправилась за покупками в Чикаго, — приветствовал он ее с легкой иронией. — Послушай, у нас здесь сейчас очень сложный период. Когда-нибудь я тебе все объясню.

— Это как-то связано с прибытием огромного судна, которое я видела сегодня с пляжа? — спросила она, глядя ему в глаза.

Он не ответил. Подошел к ней ближе, поцеловал в щеку и тихо спросил:

— Ты не подаришь мне сегодня вечером немного времени? Только для нас двоих?

Она обняла его.

— А когда ты хочешь меня... то есть, — поправилась она со смехом, — когда ты собираешься провести это время со мной?

— Я буду в шесть. Я не опоздаю...

Анна достала из чемодана маленькое черное платье. Она купила его в Бронксе, в одном из комиссионных магазинчиков, где за доллар можно было найти настоящее сокровище, такое, как это платье, плотно

облегающее талию и бедра, с узким кружевным воротничком и маленькими черными пуговицами сверху донизу, застегивавшимися на петельки. Это была единственная нарядная вещь, которую она взяла с собой на остров.

Эндрю пришел ровно в шесть, как обещал. На нем была голубая рубашка, волосы он расчесал на пробор, но они разлохматились от ветра и непослушными прядками спадали на лоб, и он постоянно приглаживал их ладонью. Они прошли, держась за руки, к маленькой бухте на берегу, которую он показал Анне в самый первый день. Там их ждала небольшая весельная лодка. Море было спокойным, от накаленного за день песка шло тепло, но он уже не обжигал ступни. Эндрю вошел в лодку первым. Анне пришлось высоко приподнять платье. Она села на деревянную скамью на носу. У ее ног стояла корзина, прикрытая белой тканью. Они поплыли по правой стороне внутренней окружности атолла в сторону заходящего солнца.

— Не хочешь знать, куда я тебя везу? — спросил он.

— Не хочу, — ответила она с улыбкой. — С тобой мне везде будет хорошо...

Он не сводил с нее глаз, а она смотрела на его огромные ладони, сжимавшие весла. Они были в пути уже около десяти минут, когда перед ними вдруг показался край белого пляжа. Небольшой островок, на нем несколько кустов, одна пальма и причудливой формы колода, похожая на низкий стол.

Эндрю на руках вынес Анну из лодки и осторожно опустил на мягкий белый песок. Деревянную колоду он покрыл белой скатертью, из корзины вынул бутылку вина и два бокала. Потом вернулся к лодке и принес оттуда маленькую хрустальную вазочку, полную клубники.

— По-моему, я еще никогда в жизни не делал ничего более романтического, — прошептал он, ставя перед Анной вазочку.

— Клубника в феврале на безлюдном острове! — воскликнула она в изумлении. — Эндрю Бредфорд, что все это значит?!

Она обняла его и поцеловала.

Они бродили по воде с бокалами в руках. И разговаривали. Анна рассказала ему о Маттеусе, о Нишме, который учил ее «чувствовать волну», о разноцветных рыбах, о птицах, о Рейчел, кормившей грудью младенца, об умиротворении, которое она испытывает на этом острове, о Кетрут, которая иногда напоминает ей колдунью, об оттенках синего, которые она здесь узнала, об огромном розовом лангусте в расщелине коралла, о фотографиях, которые сделала, и о том, как она счастлива здесь. Когда стемнело, они легли на песок, вглядываясь в темно-синее звездное

небо.

— Эндрю, — сказала она тихим голосом, — мне здесь так хорошо!

Он поцеловал ее. Потом вынул заколку из ее волос. Она закрыла глаза. Он начал расстегивать ей платье. Петельку за петелькой...

Маршалловы острова, атолл Бикини, пятница, 1 марта 1946 года

Утром она снова нашла от него конверт. Без письма. В нем лежала только маленькая черная пуговица. За ужином они сидели вместе, но Эндрю был полностью погружен в свои мысли.

— Тебя что-то беспокоит? — спросила она, когда он в третий раз не ответил на ее вопрос.

— Нет, нет, Анна, со мной все в порядке, только... — начал он, сердито глядя на солдата, который хотел было к ним подсесть. — Пойдем отсюда...

Они прошли к опустевшему пляжу. Сели. Эндрю нервно ковырял носком ботинка песок.

— Ты помнишь Хиросиму и Нагасаки? — вдруг спросил он.

Анна удивленно посмотрела на него.

— Как ты можешь спрашивать?! Такое не забывается, Эндрю! Только чудовищу могла прийти в голову такая дьявольская мысль! Кому вообще это понадобилось?! — крикнула она.

— Ты спрашиваешь, кому? — произнес он изменившимся голосом, в котором ей почудились грусть, разочарование и злость. — Чудовища, как ты его назвала, не существует, — сказал он, стиснув зубы, — но без одного человека этой бомбы не было бы. Во всяком случае, сейчас.

— И кто же это?

— Мой друг, мой идеал ученого и мой учитель одновременно — Энрико Ферми. Тебе, должно быть, трудно себе это представить, — в его голосе звучала отчужденность, — но я горд, что был участником этого, как ты его называешь, дьявольского проекта. Я посвятил ему несколько лет жизни. А ты говоришь, что я помогал чудовищу. Дьявол не Ферми. Не он! Дьяволом был твой Гитлер. Если бы такая бомба оказалась у него раньше, чем у нас, еще один Аушвиц был бы построен в Америке. Скорее всего, где-нибудь под Нью-Йорком, ведь там так много евреев, которых следует расстрелять, уморить голодом, задушить газом и сжечь.

Анна ощутила резкую боль в груди. А потом тупую, как от удара в живот. Она старалась не смотреть на Эндрю. Ей не хотелось показывать ему, что она чувствует. Она встала и медленно пошла к кромке воды. Бродила там и глубоко, ритмично дышала. Это всегда помогало ей побороть приступ страха, не допустить взрыва неконтролируемой ярости и

даже иногда — облегчить боль во время менструации. Она нагнулась, набрала в сложенные ковшиком ладони воды и сполоснула лицо. Эндрю подошел и обнял ее сзади, положив руки ей на живот. Она стояла неподвижно.

— Анна, я не хотел тебя обидеть. Я так не думаю. Не думаю, — шептал он, целуя ее в шею. — Мне просто стало больно, очень больно, когда ты отнесла все, что я делал в течение последних двух лет, к... к проделкам дьявола.

Она стояла, опустив руки, и плакала.

— Эндрю, Гитлер не был моим. Я его лишь застала. Он не был своим ни для моей матери, ни для отца, ни для бабушки. Они были вынуждены мириться с его существованием и с его паранойей. Я понимаю, тебе трудно это понять, ты ведь там не жил. И не можешь себе представить, что в Германии были люди, которые не вскидывали правую руку вверх. Их было немного, но они были. Не вскидывали. С твоей точки зрения их было слишком мало. По-твоему, им следовало биться головой о стену? Ты бы этого хотел? Да? Ты понятия не имеешь, какой высокой и крепкой была эта стена, и не представляешь, как быстро она погребла бы их под собой. Твои слова причинили мне боль, Эндрю. В нашем доме однажды появился Лукас. Маленький мальчик... Впрочем, не будем об этом. Я не хочу сейчас об этом говорить, — добавила она, махнув рукой. — Прости меня за мои слова. Я не знала, что ты...

— Ты и не могла знать, — прервал он ее, — никто не должен об этом знать.

— А сейчас могу? Ты расскажешь мне? — спросила Анна, повернувшись к нему.

Она протянула ему руку, но отстранилась, когда он попытался ее поцеловать. Они сели на песок.

— Расскажешь? — спросила она снова.

— Это физика, Анна. История этой бомбы — рассказ о физике. Я не уверен, что это хорошая тема для беседы с женщиной, тем более на пляже.

— Я обожаю, когда ты рассказываешь о физике. Ты тогда забываешь обо всем на свете. Мне это очень нравится, — ответила она шепотом.

Он посмотрел на нее, опустил глаза и стал перебирать в пальцах песок.

— Ферми прилетел в Штаты в декабре тридцать восьмого. Из Стокгольма. Там он получил Нобелевскую премию и прямо оттуда отправился в Нью-Йорк. Его жена была еврейкой. В Италии под властью Муссолини ей грозили репрессии. Спустя месяц, двадцать девятого января 1939 года, я встретил Энрико на научной конференции в Вашингтоне. Он

делал сообщение об экспериментах по расщеплению атома. Я разбираюсь в расщеплении атома. Мне кажется, из того, что я знаю, лучше всего я разбираюсь именно в этом. Ферми сумел расщепить атом. Если ты будешь обстреливать пучком нейтронов атом, некоторые из этих нейтронов попадут в ядро и разобьют его на две части. Потом из этих частей высвободятся еще нейтроны, два или три, и, попадая в следующие ядра урана, снова их разобьют. Это предвидел и точно описал в своих статьях Лео Силард, наш, мой и Ферми, друг. Лео по происхождению венгерский еврей, который, спасаясь от преследований, сбежал в тридцать третьем из Берлина сначала в Вену, а потом через Англию добрался до Америки. Он великолепный теоретик, он знал всех, кто работал в Берлине с Эйнштейном. Именно в его публикациях впервые появились такие термины, как «цепная реакция» и «критическая масса». И именно Лео предвидел и описал атомную бомбу. Ферми всего лишь решил воплотить в жизнь его идею. Я уважаю Лео, хотя дружить мы перестали. После Хиросимы он прекратил с нами общаться, а после Нагасаки стал нас резко критиковать. Но это так, к слову, — добавил Эндрю с грустью. — Вернемся к расщеплению атома... В результате каждого такого деления возникает энергия. На первый взгляд небольшая. Можно высчитать, сколь она велика, а точнее сказать, сколь мала. Эйнштейн сделал это при помощи своей знаменитой формулы mc^2 . Этой энергии хватит только для того, чтобы пошевелить песчинку. Но с другой стороны, это огромная энергия. Когда атом кислорода соединяется с другим атомом кислорода, возникает в сто миллионов раз меньше энергии. В сто миллионов раз меньше! При расщеплении одного ядра атома урана — а Ферми расщеплял уран — энергия получается в сто миллионов раз больше. Если расщепить сто миллионов атомов урана, один за другим, в цепной реакции, можно сдвинуть с места миллионы песчинок. А если расщепить биллионы атомов — то биллионы. Если собрать биллион биллионов атомов урана и вызвать цепную реакцию, можно заставить содрогнуться малюсенький кусочек этого пляжа. Атомы маленькие, очень маленькие. Зато их очень много...

Эндрю взял в руку немного влажного песка и слепил из него шарик величиной с теннисный мяч.

— Примерно в таком количестве урана содержится энергия, — сказал он, отбросив шарик, — которая могла бы снести с поверхности земли весь Нью-Йорк. Лео об этом знал, Ферми тоже. Каждый, кто хоть немного разбирается, знает об этом. Как и физики в Германии. Мы отдавали себе отчет в том, что немецкие физики: Ган, Штрассман, фон Вайцзеккер и

Гейзенберг, — тоже работают над этой проблемой. Роберт Фурман, руководитель специально созданной в Пентагоне разведывательной группы, проинформировал нас, что Германия интенсивно накапливает урановую руду. Когда в сороковом году вермахт оккупировал нейтральную Бельгию, в руках у немцев оказалась фирма «Юнион Миньер дю О-Катанга», главный экспортер урановой руды в мире. Следует помнить, что только особый изотоп урана годится для того, чтобы его расщепить. Это, в свою очередь, предвидел и описал датчанин Нильс Бор. В урановой руде на нашей планете этот изотоп смешан с другими изотопами. И он составляет минимальную часть руды. А более девяноста девяти ее процентов не годится для расщепления. Поэтому главное — выделить этот изотоп и передать его нам. Дело непростое и очень дорогостоящее. Несмотря на письма и заявления Ферми, американское правительство долго этого не понимало. И только когда после трагедии в Пёрл-Харборе Эйнштейн обратился лично к Рузвельту, все изменилось. В Вашингтоне наконец поняли, что Германия тоже работает над бомбой. Началась гонка, возник особый проект «Манхэттен», конечной целью которого стало создание атомной бомбы. Это был самый секретный проект в истории Соединенных Штатов. С фабрики в Окридже, штат Теннесси, нам стали присылать, грамм за граммом, уран, пригодный для расщепления. В ноябре сорок второго я переехал в Чикаго. Мне было запрещено с кем бы то ни было говорить об этом. Однажды мы с Ферми и Силардом отправились в джазовый клуб. Представь себе мой ужас, когда я совершенно случайно столкнулся там со Стэнли. В Чикаго Ферми, Силард и я строили атомный реактор. Чтобы нейтроны врывались в ядро урана, необходимо сначала их замедлить. Это предвидел в своей теории Ферми. Для этой цели хорошо подходит графит. Нам требовалось много места. Расщепляемый уран нужно поместить в графитовые кирпичи. Кирпичи должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. Из наших кирпичей мы сложили эллипсоидальную конструкцию высотой в три метра и шириной в восемь. В Чикагском университете для нашей цели больше всего подошел зал для игры в сквош под западной трибуной стадиона. В центре города, второго декабря 1942 года, мы осуществили первую контролируемую ядерную реакцию. Это казалось безумием. В центре Чикаго! Представляешь?! Но Ферми не сомневался в своих расчетах, Лео с самого начала был во всем уверен, а я им безгранично доверял. Я же рассчитал размеры эллипсоида, и они не стали пересчитывать. И все же для большей уверенности мы поставили на вершине нашего реактора трех человек, у каждого из которых было ведро, наполненное сульфатом кадмия. Дело в том, что реакция

расщепления может выйти из-под контроля. Если это произойдет в бомбе — это хорошо, но если во время экспериментов — очень плохо. Чтобы контролировать реакцию, нужно каким-то образом перехватить нейтроны, которые излучаются из ядер атомов урана. Кадмий прекрасно для этого подходит. Реакция длилась четыре с половиной минуты. Мы отмерили полватта энергии, переведенной в некоторое количество тепла. Мизерные полватта. Если и было жарко в нашем холодном зале, то уж точно не от этой половины ватта. Она не согрела бы и замерзшего муравья. Нам было жарко от возбуждения. Это было так необычно, хотя мы все тысячу раз просчитали. Это было так, словно мы подсмотрели в карты господу Бога, когда он создавал вселенную, и пошли ва-банк...

Эндрю умолк. Встал и пошел по пляжу к воде. Анна закурила сигарету, посмотрела на кучку песка, которая осталась от брошенного им песчаного шарика. Она понимала его энтузиазм и возбуждение. Такие чувства испытываешь, когда занимаешься чем-то действительно важным для тебя. Ее отец тоже был способен месяцами жить в своем мире, когда занимался своими проектами. Но отец никогда бы не согласился участвовать в том, что могло кого-то обидеть, унижить, ранить, а тем более убить...

С каким отвращением отец надевал мундир, когда его призывали... Они с матерью провожали его на вокзал. Его лицо отражало безграничную грусть и стыд. Ему было противно стоять перед ними в этом мундире. Он чувствовал себя в нем, как клоун на похоронах. Но он был вынужден сделать это ради них. Выбор был невелик: тюрьма или мундир. Тюрьма означала бы преследование жены, матери и дочери. Всей семьи. Теперь Анне иногда кажется, что отец умер уже там, на вокзале в Дрездене, еще до того, как состав отправился под Сталинград. Она не может представить себе, чтобы он в кого-то стрелял...

Очнувшись от воспоминаний, она посмотрела на океан. Эндрю нигде не было видно. Она испугалась. Встала и подошла к воде.

— Эндрю! Эндрю, где ты, Эндрю?! — в панике кричала она.

Неожиданно он появился рядом.

— Я здесь.

— Эндрю, прошу тебя, не делай так больше! Никогда не делай, — шептала она, жадно целуя его лицо и волосы.

Он обнял ее. Прижавшись друг к другу, они шли по пляжу.

Маршалловы острова, атолл Бикини, около полудня, воскресенье, 3 марта 1946 года

Анна проснулась от странного ощущения тревоги. Прикрыла веки. Протянула руку к сигарете.

На Бикини начиналось воскресенье. Для Нишмы, Маттеуса, Рейчел и всех остальных в деревне это не имело особого значения. Для них понедельник, вторник, четверг или суббота, по большому счету, отличались от воскресений лишь службой в церкви. Во всем остальном дни недели были похожи один на другой. Лодки отправлялись в море, женщины ткали циновки, плели корзины, потрошили рыбу, запекали ее на костре, дети плакали или смеялись, солнце всходило и заходило, люди умирали и рождались как по четвергам, так и по воскресеньям. Дни недели на Бикини были чем-то условным.

Анна зарядила в фотоаппарат новую пленку. Оделась наряднее, чем обычно. Обула туфли. Впервые с тех пор, как прибыла сюда, шла по пляжу в туфлях. Ей казалось невозможным прийти в церковь босиком. Но для местных жителей обувь играла совсем иную роль — она защищала ступни от ран, ожогов или укусов. Здесь все было по-другому, в том числе и церковная служба, которая была похожа скорее на праздничное развлечение, чем на священнодействие. Женщины украшали цветами не только алтарь. Они вплетали в волосы гибискусы и были одеты очень живописно. Все радостно улыбались в ожидании встречи с Богом. Для жителей Бикини Бог, о котором они узнали от миссионеров, был не только христианским творцом и мудрецом, не только Иисусом в окружении апостолов, он был и в скорлупе кокосового ореха, и в разноцветном птичьем оперении, и в ракушке на пляже, и в дуновении ветра, и в голубизне океана, и в каждой рыбе, которую даровал им этот океан. Они приняли христианство, принесенное сюда миссионерами, но это вовсе не мешало им оставаться язычниками.

Войдя в заполненную людьми церковь, Анна нашла взглядом Маттеуса. Он сидел в первом ряду рядом с королем Джудой. Когда Маттеус обещал представить ее своему королю, она думала, что это представительный, неприступный и властный человек. А король оказался маленького роста, с крупными редкими зубами, которые, казалось, не

помещаются у него во рту, с длинными растрепанными волосами, и выглядел так, будто только что проснулся или напротив несколько дней не ложился спать. Он напомнил ей опустившегося, грязного попрошайку с «Пенсильвания-стейшн» в Нью-Йорке. А вот сидевшая рядом с ним жена выглядела гораздо более величественно. У нее были индейские черты лица, и она смотрела на всех свысока, как настоящая королева. Это Анну не удивило. За время, проведенное на Бикини, она успела заметить, что здесь властвуют женщины. И ощущение, что именно это — залог покоя и гармонии, царивших на острове, крепло в ней с каждым днем.

Пастор произнес короткую проповедь, торжественное песнопение заполнило храм и поплыло над островом. Анна пела вместе со всеми и размышляла. Если в Нью-Йорке, смешавшись с толпой, она носилась как безумная, то здесь, на Бикини, жизнь текла в замедленном темпе, здесь люди уделяли больше внимания каждому ее мгновению, которое никогда не повторится. Здесь на все хватало времени. И все готовы были делиться им друг с другом, словно самой дорогой вещью, какую только можно кому-то подарить. Только здесь Анна поняла, как это важно. Однажды она сидела на пороге дома Рейчел, к ней подбежали две маленькие девочки и чуть ли не час расчесывали ей деревянными гребнями волосы. Им нравилось прикасаться к светлым волосам, каких они никогда еще не видели. В четыре руки, неторопливо, они вплетали в ее прическу цветы, примеряли ей венки, заплетали косы и распускали их только для того, чтобы с веселым смехом накрутить светлые пряди на палец. Анна покорно сидела, не мешая им, и плакала. У ее матери тоже был деревянный гребень, и она иногда брала его в подпол, к Лукасу, чтобы его причесать.

После службы пестрая веселая толпа выплеснулась на площадь. Мужчина в форме американских военно-морских сил уже стоял там. Он жестами подозвал к себе людей, обменивался рукопожатиями с мужчинами и женщинами, гладил по головам детей, улыбался и преувеличенно сердечно всех приветствовал. И тут Анна заметила, что площадь оцепили вооруженные солдаты в касках. До сих пор американцы на этом острове были больше похожи на туристов, во всяком случае они никогда не носили с собой оружие. Сегодня же они выглядели как завоеватели.

— Приветствую вас, приветствую. Остановитесь, пожалуйста, на минуту, присядьте, — говорил мужчина в форме, указывая на каменные ступени церкви.

Он подошел к королю Джуде и обнял его. Потом вернулся на свое место.

— Меня зовут Бен Вайэтт, я военный губернатор Маршалловых

островов, — начал он.

В этот момент к Анне подбежал Маттеус и сначала схватил ее за руку, но, увидев, что она обута, наклонился и начал стряхивать с туфель песок, а потом, поплевав на ладонь, чистить их. Она посмотрела на него с умилением. Офицер дождался, пока на площади стихли разговоры и наступила полная тишина. Анна снова почувствовала странную тревогу. Ей не нравилось, когда люди в военной форме вставали перед безоружной толпой и начинали говорить. Когда такое случалось в Дрездене, отец хватал ее за руку, и они поспешно уходили.

Офицер рассказывал о недавно закончившейся войне, о возможном нападении, о Пёрл-Харборе, о демократии, о гонке вооружений, об опасениях правительства Соединенных Штатов, о свободе, о личной заинтересованности президента Трумена, об уважении американского народа к жителям Маршалловых островов и о желании человечества жить в мире. В конце он сказал:

— Я приехал, чтобы попросить вас от имени президента Соединенных Штатов и всего американского народа на некоторое время покинуть остров. Ради благополучия всего мира. Правительство моей страны хочет провести здесь масштабные научные испытания нового оружия. На благо всего человечества и для вашего блага, чтобы раз и навсегда положить конец всем войнам.

Анна замерла, подняв фотоаппарат. Старая Кетрут крепко прижала к себе внуку. Джуда оглядывался, будто пытаясь прочесть на лицах стоявших вокруг него людей отклик на слова, которые они только что слышали. Анна не отрывала глаз от объектива. Делала один снимок за другим. Командор Вайэтт, фальшиво улыбаясь, разводит руками. Кетрут пристально смотрит на внуку, старая Элини обронила нарядную сумочку.

Анна двинулась вперед. Ее туфли утопали в песке. Она сбросила их и встала между местными жителями и Вайэттом.

— Если я правильно вас поняла, вы хотите, чтобы жители этого острова собрали свой скарб и убрались из своих домов, потому что вы собираетесь проводить здесь какие-то испытания! — крикнула она.

Вайэтт посмотрел на нее в изумлении, попятился и крепче затянул узел галстука.

— Кто вы такая? — спросил он раздраженно.

— Вы хотите вышвырнуть этих людей с их острова, из их домов, и провести здесь испытания своего оружия?! — кричала Анна все громче и все с большей яростью.

— Я их не выгоняю, я приехал просить их от имени своего

правительства, от имени прези... — сердито возразил Вайэтт.

— Просить?! — прервала она его. — И поэтому площадь оцеплена вооруженными солдатами, а неподалеку бросила якорь канонерская лодка, которой еще вчера здесь не было? Вы прибыли просить их! Ну конечно» Давайте назовем это просьбой. А что если они не согласятся? Я на их месте никогда не согласилась бы! Никогда! Вы слышите?! Никогда!

И она двинулась в сторону Вайэтта. Два молодых солдата преградили ей дорогу. Анна попыталась оттолкнуть их. Они взялись за автоматы. Тогда она отвернулась и побежала прочь.

Она бежала вперед. Бежала и бежала. Вперед. Одной рукой пытаюсь поймать маленькую ладонь Лукаса...

Анна забежала по колено в воду, но вдруг услышала, как ее зовет чей-то голос. Она обернулась, увидела, как Эндрю шевелит губами, но не расслышала его слов и медленно побрела к берегу.

— Анна, что ты делаешь?! — спросил он испуганно. — Ты совершенно голая!

Он подал ей блузку, но она в ярости бросила ее на песок.

— Отдай мой аппарат. Немедленно отдай мой аппарат! — кричала она.

Он протянул к ней руку. Она схватила кожаный футляр и посмотрела ему в глаза.

— Я ошиблась, понимаешь?! Ошиблась...

Она шла вдоль пляжа, крепко прижимая к груди фотоаппарат.

— Анна, ты голая, — повторил он и подал ей блузку.

Она, не глядя, надела блузку.

— Не ходи за мной, Эндрю, не надо...

Она вбежала в барак, захлопнула дверь, села на кровать. Ее билa крупная дрожь. Она уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. В дверь постучали, но она не откликнулась. В комнату вошел Эндрю.

— Во всем мире нет народа, который бы значил меньше, чем этот, — сказал он с порога. — Это всего лишь горстка людей. Разве можно сравнивать жертву, на которую их просят пойти, с той пользой, какую принесут испытания? Этот опыт пойдет на благо всем. Нельзя же быть такой наивной, Анна, — добавил он, пытаясь дотронуться до ее щеки.

Она резко отбросила его руку.

— Я не знаю, что выиграет от этого человечество, Эндрю. Насрать мне на человечество, и в гробу я видала все его знания! Зато я точно знаю, что потеряют Маттеус, его сестра и старуха Кетрут и что сейчас потеряла я! —

выкрикнула она и отвернулась.

Потом вдруг резко встала, подошла к Эндрю и посмотрела ему в глаза.

— Разве тебе известно, что такое потерять дом? Улицу, пекарню на углу? Разве ты можешь представить, каково это, обернуться и увидеть, что от твоего дома осталась доска?! Только одна доска! Разве ты способен понять, что чувствует человек, когда ему и эту доску нужно сжечь, чтобы согреться? Каково бывает, когда ты не знаешь, где твое место. Где завтра преклонишь голову. Знаешь ты это?! Знаешь ли ты, что такое война? Ты знаешь, сколько водки нужно выпить, чтобы не слышать стоны матери, которая после бомбежки по частям собирает останки своей дочери? Ты слышал когда-нибудь такой стон?

— Перестань! Ты с ума сошла? Перестань!

— У меня нет сил, чтобы пережить очередную катастрофу, Эндрю. Я хочу убежать отсюда. Помоги мне с транспортом, слышишь?! Ты можешь сделать хоть что-нибудь для других, а не только для себя? Я хочу как можно скорее оказаться подальше отсюда! — кричала она, колотя кулаками по металлической раме кровати. — У меня нет сил, нет сил, — твердила она снова и снова. — А сейчас уходи. Я хочу остаться одна.

— Анна... — Он хотел подойти к ней.

— Уходи! Слышишь?! Уходи. И не пиши мне больше...

Маршалловы острова, атолл Бикини, утро, понедельник, 4 марта 1946 года

Съездившись, она лежала на кровати. Потом встала, заправила новую пленку в фотоаппарат. Пошла по берегу к деревне. Остров был окружен кораблями. Вчера здесь был только один, а сегодня уже около двадцати. Молодой солдат на пляже попросил ее не делать фотографий.

— Леди, не снимайте эти объекты, — повторял он, но она делала вид, будто не слышит.

Наконец, тяжело дыша, он подбежал к ней. Повторил еще раз:

— Не снимайте корабли!

Она посмотрела на него и рявкнула:

— Я журналист из «Таймс», и я сюда не на каникулы приехала! Это моя работа, ясно тебе? Du kann's mich mal!

Услышав немецкий, он на минуту потерял дар речи. Она не стала ждать, пока он придет в себя, и пошла дальше, не оглядываясь и продолжая фотографировать.

В деревне было необычайно тихо. Всюду сновали люди, но никто не напевал, как раньше. И не видно было ни одного ребенка. Анна подошла к дому Нишмы. Рейчел складывала вещи в корзины из пальмовых листьев — одежду своей дочери, одеяльце, тонкую циновку, в которой она ее баюкала. На кухне Нишма упаковывал посуду, горшки и рыболовные снасти. Молча, в полной тишине. Анна подняла аппарат. Нишма заметил это и с размаху бросил металлический горшок на деревянный сундук. Она сделала очередной снимок. Потом подошла к Нишме и обняла его.

— Что я скажу моей дочке, когда она спросит, где ее дом?! — в отчаянии крикнул он и выбежал из дома.

Анна отправилась на поиски Маттеуса. В родительском доме его не было. Она вернулась на пляж. Он был там. Она подошла к нему.

— Что это у тебя?

— Ничего, — ответил он, пряча глаза.

— Ну скажи, что у тебя там?

— Они велят нам убираться отсюда! — крикнул он.

— Я знаю, Маттеус, я слышала.

Она присела рядом с ним. Хотела положить руки ему на плечи, но он резким движением оттолкнул их.

— Они хотят, чтобы мы убрались на Ронгерик. Там никто не живет, потому что там мало пресной воды! На том острове невозможно жить!

Мальчик сжал маленькие кулачки и испуганно посмотрел на нее. Сейчас он казался таким маленьким.

— Почему они не убьют нас сразу?! Как нам жить на острове, где живут только мертвые и демоны? Пускай сами идут к черту! Их сюда никто не приглашал!

Анна прижала его к себе. Он вырвался из ее объятий и отбежал, бросив то, что держал в руке. Она наклонилась посмотреть, что это. Маленькая черепашка отчаянно мотала в воздухе лапками, безуспешно пытаясь перевернуться. Анна подняла ее и подошла к Маттеусу.

— Обещай мне, что ты спасешь ее, пожалуйста, — попросила она, передавая черепашку мальчику, — я прошу тебя, Маттеус, обещай мне. — А потом села рядом и сказала: — Знаешь, во время войны в Германии мы прятали дома мальчика. Он жил у нас под полом. Он был такой же беспомощный, как эта черепашка...

Маттеус взял в руки черепашку и стал нежно гладить ее панцирь. Когда они вместе вернулись в деревню, Анна все снимала знакомые лица. И прощалась. Вечером они пришли в дом Нишмы. Рейчел все повторяла словно мантру:

— Это же только на время, только на время...

Маршалловы острова, атолл Бикини, полдень, четверг, 7 марта 1946 года

Утром Анна тоже упаковала вещи. Потом села у окна, закурила и в очередной раз перечитала письмо от Эндрю. На самом деле это трудно было назвать письмом. Просто записка: «Самолет в Маджуро улетает седьмого вечером. Сегодня в полдень все жители острова покинут Бикини. Эндрю Бредфорд».

Она вышла на пляж, порвала записку на мелкие кусочки и выбросила их в воду. Когда они исчезли в волнах, повернулась и пошла в сторону пристани.

У длинного трапа, ведущего на корабль, толпились люди. Они медленно поднимались на палубу, неся на плечах и головах мешки и корзины со своими пожитками. Анна увидела Маттеуса. Он стоял рядом с матерью и старой Кетрут. Анна подбежала к нему и расцеловала.

— Уезжаешь, мистер? — спросила она, стараясь сдержать слезы. — Мужчины иногда уезжают, но потом возвращаются. Ты вернешься!

— Что ты говоришь? Почему ты плачешь? Конечно, я вернусь! — сказал мальчик по-немецки.

Он взял ее руку. Положил ей на ладонь черепашку и, прижавшись губами к ее уху, прошептал:

— Отпустишь ее сегодня в море? В нашем месте? Помни! Только в нашем месте...

Нишма взял мальчика за руку, и они стали подниматься по трапу вверх. Анна стояла возле трапа и смотрела. Джуда разговаривал с офицером в синей форме, который старательно записывал что-то на листе бумаги.

— Сто шестьдесят семь. Это все, Джуда? — услышала она.

Раздался скрип лебедки, поднимавшей трап. Через минуту зазвучала корабельная сирена. Анна смотрела на столпившихся на палубе людей. Корабль отчалил. И вдруг они запели хором:

I jab ber emal, aet, I jab ber ainmon
ion kineo im bitu
kin ailon eo ao melan ie

Eber im jiktok ikerele
kot iban bok hartu jonan an elap ippa

Ao emotlok rounni im ijen ion
ijen ebin joe a eankin
ijen jikin ao emotlok im be rim mad ie¹¹

Анна стояла, выпрямившись, и слушала, пока не стих последний звук. Потом, когда корабль исчез за горизонтом, она подошла к берегу и вошла в воду. Разомкнула пальцы. Черепашка оттолкнулась от ее ладони и исчезла в воде. У нее перед глазами стояло улыбающееся лицо Маттеуса...

Вечером она с чемоданом в руке стояла на песке у пальм, а спустя совсем немного времени самолет уже набирал высоту. Анна достала бутылку и перочинный нож, ловко откупорила бутылку, откинула голову и стала пить прямо из горлышка. Наконец, немного успокоившись, взяла ручку и бумагу.

«Здесь, на высоте, кажется, что ты ближе к Богу. Я должна здесь напиться! Чтобы этого Бога не проклинать. За то, что Он ничего не видит и молчит. Его не было в Дрездене, Его не было в Бельзене и Его не было сегодня утром на Бикини. Его никогда нет. Наверное, Его нет вообще. Я скучаю по Маттеусу, скучаю по Лукасу. Я скучаю по скрипке. По ней особенно. Мне не хватает только тебя. Это огромная разница, Эндрю. Скучать я буду всегда, а не хватать мне будет тебя. Ты плохой, недобрый человек. Ты все уничтожаешь».

Она закрыла ручку и спрятала ее в сумку. Поднесла к губам бутылку. Потом схватила сумку, вынула оттуда блокнот. Перелистывая страницы, вспоминала остров, который обречен исчезнуть с лица земли, перечитывала истории, которые записывала в эти дни. О дружбе, близости, нежности, покое. Перед ней, словно кадры кинохроники, вставали картинки: старая Кетрут, плюющая красной, как кровь, слюной, огромный лангуст в морской пучине, улыбающийся Маттеус, мальчики, «изучающие волны», возвращение Нишмы с рыбалки, переполненная людьми церковь, ненавистный Вайэтт, испуганный Джуда со слезами на глазах, Рейчел с внучкой на руках, девочки, которые заплетают ей косы. Она достала из кожаного футляра фотоаппарат. И стала вскрывать кассеты и выдергивать из них пленку. Все это так и было. Все это она запомнила. Все это они уничтожат. Но она не хочет иметь с этим ничего общего. Это останется в ее памяти. Навсегда. Она выдергивала пленки и бросала их на пол. И вдруг

поняла, что очень устала. Пустая бутылка выскользнула из ее рук. Она уснула.

В течение всего путешествия Анна пребывала в полусне, обессиленная и оглушенная алкоголем. Маджуро, Гонолулу, Лос-Анджелес. Она спускалась по трапу с остальными пассажирами, подавала билеты, садилась в очередной самолет. И вот наконец аэропорт Нью-Йорка. Стоял теплый вечер. Анна взяла такси и велела водителю ехать на Таймс-сквер. Ей странно было видеть суету на улицах и слышать громкую переключку автомобильных гудков. Она опустила глаза и увидела, что на ее туфлях еще остались песчинки с Бикини.

Письменный стол выглядел таким же, каким она его оставила. Мятая карта Тихого океана. Листы бумаги, исписанные почерком Стэнли. Пустая кофейная чашка. Ее любимая ложечка на блюде, как будто она вышла отсюда вчера.

Анна медленно встала и прошла на кухню, принесла себе кружку кофе. В «машинном отделении», как всегда, трещали телексы. Анна выложила скрученные спиралями засвеченные пленки на стол. Туда же — несколько незасвеченных кассет и наконец футляр с фотоаппаратом.

Отошла к окну и закурила. В дверь постучали, кто-то вошел. Она не обернулась.

— Не следует столько курить, Анна, — услышала она спокойный голос Артура.

Она повернулась. Медленно двинулась в его сторону. По ее лицу градом катились слезы.

— Они действительно хотят взорвать остров? — спросил Артур, обнимая ее.

— Не знаю. Они выгнали оттуда жителей. Посадили на корабль и увезли. Понимаешь? Вытащили из домов, загнали на корабль... А те... тихо ушли, не кричали, не протестовали, стояли на палубе и пели.

— А кто приказал им уехать? Что им обещали?

— Вайэтт. Он обещал, что они вернутся.

— А еще что? Денежную компенсацию? Он сказал, когда они могут вернуться? Они что-нибудь подписывали? Ты видела какие-нибудь документы?

— Нет. Вайэтт просто появился после церковной службы и попросил, чтобы они уехали.

— Он зачитал им какое-то распоряжение? — Артур явно начал злиться. — Какое-нибудь заявление правительства Соединенных Штатов?

— Нет, ничего не читал. Он их просто попросил...

— Попросил? Встал перед ними и попросил? Просто так? — спрашивал Артур, раздражаясь все сильнее. — Ты можешь все это описать?

— Да.

— У тебя есть это на негативах? Ты сняла Вайэтта? Сделала какие-нибудь снимки этого ублюдка? — кричал он все громче.

— Сделала.

— Где они?

— Не знаю. На моем столе. Я напилась в самолете и часть фотографий засветила. Мне было слишком больно, Артур, невыносимо больно...

Он крепко прижал ее к груди. Подошел к телефону.

— Макс, немедленно сюда! Все брось и приходи. Анна вернулась. К завтрашнему утру у меня на столе должны быть все ее снимки с Бикини. Слышишь? Все. Все, что найдешь на пленках. Включая засвеченные, — сказал он решительно. — Да! Ты не ослышался. К утру...

Шофер Артура отвез Анну в Бруклин. На лестнице у дома Астрид ее ждал кот. Когда она поднималась по ступеням, он громко мяукнул. Она остановилась. Кот подбежал к ней и, мурлыча, стал тереться о ноги. Она взяла его на руки, крепко прижала к себе и расплакалась...

Нью-Йорк, Манхэттен, ближе к полудню, понедельник, 1 июля 1946 года

После Бикини Анна снова стала проводить воскресные дни в редакции. По Дрездену, Кельну и по всей «той» жизни сильнее всего она тосковала именно в выходные и спасалась от этой тоски, с головой погружаясь в работу. А теперь для тоски была и другая причина. В редакции ей было легче переживать воскресные дни. Тут были ее фотографии, ее книги, ее цветы в горшочках, ее беспорядок на столе и «ее» розовый холодильник на кухне. Тишину опустевшего холла нарушал лишь стук телексов в «машинном отделении». Когда Анне становилось одиноко, она могла спуститься в лабораторию, к Макссу. Макс Сикорски был здесь всегда. И у него всегда находилось для нее время. В это воскресенье тоже. После полудня она пошла к нему, и они вместе проявляли снимки. Особенности снимки.

В субботу утром она встретила со Стэнли и Дорис в Центральном парке. Было ветрено. Стэнли вез коляску, а Анна и Дорис шли за ним следом и разговаривали. У Анны был с собой фотоаппарат. Вдруг Стэнли вытащил малыша из коляски, взял на руки и прижал к себе. Дорис встрепенулась и подбежала к нему.

— Что ты делаешь?! — воскликнула она. — Ты же ее простудишь!

А Анна начала фотографировать. Стэнли убегал, а Дорис его догоняла. Наконец Стэнли остановился. Они стали наперебой целовать младенца. Анна снимала. Подошла поближе и снова снимала. Стэнли передал младенца Дорис. Подошел и обнял Анну.

— А ведь ты обещала, что не будешь плакать. Мы договорились, ты помнишь?

Да, она обещала. Но там, в парке, она плакала по другой причине. Не от жалости к себе и не из-за Эндрю. Там она плакала от радости.

— Я не плачу. Просто что-то попало в глаза...

У маленькой Анны Бредфорд в Центральном парке глаза были еще более голубые, чем у братьев Бредфордов. И более лучистые. Они ярко блестели даже на черно-белых фотографиях.

Потом Анна и Макс проявляли другие снимки. С другими глазами,

которые тоже блестели, только от слез.

В субботу вечером Анна договорилась встретиться с Натаном. Они собирались пойти на «Ночь в музее». В мае прошлого года у них не было на это времени. А сейчас, год спустя, оно, наконец, нашлось. Анна стояла на ступеньках музея «Метрополитен» и курила в ожидании Натана. Он пришел не один. К его плечу прижималась молодая женщина.

— Анна, позволь представить тебе...

Женщина протянула ей руку.

— Меня зовут Зофья, — сказала она тихо.

Так и сказала, «Зофья». Лучшую подругу бабушки Марты из Оппельна тоже звали Зофья. Не Софи, а именно Зофья. Они вошли в музей. Зофья плохо говорила по-английски. Иногда, видимо, сама того не замечая, переходила на французский. Тогда в разговор вмешивался Натан и помогал ей. Они шли по залам музея, и Анна думала, о чем бы рассказывал ее отец, если бы был рядом. Она не столько рассматривала картины, сколько фотографировала. Лицо Зофьи. В какой-то момент Натан куда-то отошел, и девушки уселись на скамейку в центре огромного зала.

— Натан мне много о вас рассказывал, — сказала Зофья по-немецки. — Вы очень хороший человек...

— Вы и по-немецки говорите? — удивилась Анна.

— Немецкий я знаю не хуже польского. А может, и лучше. Но Натан терпеть не может, когда я говорю по-немецки.

— Откуда вы знаете немецкий?

— По Кракову и Вене. Мой муж был венцем. В Кракове мы говорили друг с другом по-немецки, а с нашей дочкой еще и по-польски.

Анна внимательнее пригляделась к Зофье. С виду ей было не больше тридцати. Очень худая, с прядью седых волос над левым виском и глубоко запавшими глазами. Таких худых рук Анна еще никогда не видела.

— По-немецки? В Кракове? — спросила она удивленно.

— Да. Мой муж очень хотел, чтобы наш ребенок говорил по-немецки. Он считал, что это самый важный в мире язык. И очень красивый.

У Анны кольнуло в груди. Ей смертельно захотелось закурить. И она закурила. К ним тут же бросилась толстая смотрительница.

— Вы что, с ума сошли?! — крикнула она. — Немедленно потушите сигарету!

Анна стряхнула пепел в сумочку. Загасила сигарету о подошву и спрятала окурочек в карман. Смотрительница удалилась. Одна затяжка помогла, больше и не требовалось.

— Вы знаете, что я немка? — спросила она.

— Да, знаю. Натан рассказал мне. Вы из Дрездена...

— Что случилось с вашим мужем?

— Немцы убили. Моего отца тоже. В Майданеке...

Анна встала. Медленно подошла к смотрительнице.

— Понимаете, я очень зависима от никотина и очень нервничаю сейчас. В этом зале никого, кроме нас, нет. Позвольте мне закурить. Я буду стряхивать пепел в сумочку. Только одну сигарету. Пожалуйста!

— Ни в коем случае. Здесь находятся произведения искусства! — возмутилась смотрительница.

Анна вернулась на скамейку. Села рядом с Зофьей.

— Я не хотела вас обидеть, — тихо сказала та. — Вы спросили...

— Вы меня нисколько не обидели. Я ненавижу этих немцев. Ненавижу! — прервала ее Анна. — Ваш муж был евреем? — спросила она, покусывая сигарету.

— Да. А отец нет. Он был поляком, как и я. Это неправда, что убивали только евреев. В нашем лагере убивали всех. Русских, поляков, австрийцев, венгров, французов...

— В каком вашем лагере? — воскликнула Анна, не дав ей закончить.

— В Аушвице...

— Вы выжили в Аушвице?!

— Да. Я знала немецкий, французский и польский, умела печатать на машинке. Работала секретарем третьего заместителя коменданта лагеря.

— Секретарь третьего заместителя коменданта лагеря. Вы были секретарем третьего заместителя коменданта лагеря, секретарем третьего заместителя... — повторяла Анна, теребя сигарету. — Как зовут ваших детей? — спросила она тихо.

— Магдалена и Эрик. Магда умерла в Аушвице. Она заболела, и ее сразу же по приезде у меня отобрали. А Эрика забрал его отец, тот самый комендант, когда уносил ноги перед освобождением лагеря.

Анна встала со скамейки. Сжала кулаки. Она шла и громко ругалась. По-немецки. Закурила и медленно прошла мимо смотрительницы. Ей было наплевать на все эти произведения искусства. Она сейчас даже хотела, чтобы смотрительница кинулась на нее. Она была готова душить ее, бить кулаками и ненавидеть. Сейчас она могла только ненавидеть. Кого-то реального, а не только этого коменданта из Аушвица. Но смотрительница только взглянула на нее с сожалением и презрительно повернулась к ней спиной.

Анна всматривалась в кювету. Там медленно проявлялось лицо Зофьи. Огромные, улыбающиеся глаза, полные слез, хотя она вовсе не плакала. Анна словно снова слышала ее голос: «Магда умерла в Аушвице. Она заболела, и ее отобрали у меня сразу же по приезде...»

Она вернулась в офис. В двадцать три часа радиостанция Си-би-эс передала лаконичное сообщение:

Сегодня утром, 30 июня 1946 года, вооруженные силы Соединенных Штатов Америки успешно провели испытание атомного оружия на атолле Бикини. Бомба мощностью 23 килотонны в тротиловом эквиваленте, сброшенная с бомбардировщика Б-29, взорвалась на высоте 520 футов над землей. Результаты испытания будут известны через несколько дней. Советский Союз выразил решительный протест, который был передан сегодня послу Соединенных Штатов в Москве...

Анна встала со стула. Закрыла глаза. Как тогда...

Отвернувшись от священника, она наклонилась и протянула руку к одному из валявшихся на полу камней. Выбрала самый большой, какой могла удержать. Повернулась и изо всех сил швырнула его.

Она взяла горшок с цветком и запустила им в шкаф. Потом подошла и стала изо всех сил пинать шкаф ногой...

Домой Анна вернулась после полуночи. По пути, на середине Бруклинского моста, она опустилась на асфальт, опираясь спиной о перила, и плакала.

Утром в понедельник она села на подоконник и долго смотрела на скамейку в парке, потом пошла в душ. Холодная вода стекала по ее телу. Ей хотелось замерзнуть и забыть Эндрю. Смыть его прикосновения. Ничего не чувствовать.

Со станции на Таймс-сквер она прошла до Мэдисон-авеню. На углу 48-й стрит вошла в пекарню. Сюда они как-то заходили с Максом. Тогда ей принесли молока и булочку из дрожжевого теста, как у бабушки Марты. Анна села за столик в конце зала. Через минуту к ней подошла молодая женщина.

— Принести вам молока? — спросила она.

— Откуда вы знаете, что я хочу молока? — удивилась Анна.
— Вы у нас уже были однажды. Тогда вы рассматривали фотографии...
— Да, действительно. Принесите, пожалуйста, молока. Горячего. И булку. Самую обычную булку с маслом.

Анна сидела и вдыхала знакомый аромат, такой же, как в дрезденской пекарне, что на перекрестке Грюнер и Циркусштрассе. По воскресеньям мама отправляла ее туда за булочками, а потом они медленно и спокойно завтракали. Анна обожала воскресные завтраки в их квартире на Грюнер...

Она смотрела сквозь окно пекарни на людей, спешивших на работу. Было солнечное летнее утро. Чувствовалось, что день будет жарким. Вдруг она увидела Дорис, которая медленно катила перед собой детскую коляску. Анна вспомнила, что именно сегодня Стэнли собирался показать всем в редакции свою дочку. Анна вскочила и выбежала на улицу.

— Дорис! — крикнула она.

Дорис взяла младенца из коляски, и они вошли в булочную.

— Дорис, здесь можно выпить настоящего молока! Тебе заказать? — спросила Анна.

— Молока мне хватает. Я сама в последнее время как ходячий молокозавод. Закажи мне лучше кофе. С сахаром.

Бородатый мужчина за прилавком крикнул:

— Жаклин, как там молоко?

Официантка подошла к ним. Она внимательно посмотрела на Дорис, снимавшую чепчик с головы младенца.

— Стэнли считает, что мне сейчас нельзя пить кофе, — говорила Дорис, не обращая внимания на официантку. — Мол, травлю ребенка. Представляешь? Так и сказал. Он просто сошел с ума в последнее время... — добавила она.

Анна заметила, как тряслись руки у официантки, когда она ставила кружку с молоком на столик.

— Можно мне подержать вашу малышку? — попросила вдруг официантка, обращаясь к Дорис. — У нее такие чудесные голубые глаза.

Дорис подняла г~~??~~лову и улыбнулась.

— Это в отца, — сказала она.

— Я знаю, — еле слышно ответила официантка, осторожно прикасаясь к головке ребенка.

Через минуту она ушла. Анна и Дорис переглянулись, пожали плечами и вернулись к разговору. Анна была голодна. Заметив, что тарелочка с ее булкой стоит на прилавке, она встала и, лавируя между столиками, направилась за ней. Какой-то мужчина оторвал взгляд от газеты, снял очки

в роговой оправе и поспешно спрятал ноги под столик. Анна взглянула на газету, которую он положил рядом со шляпой. Заметила заголовок «Нью-Йорк таймс» и черное пятно на первой полосе. Она взяла газету и развернула ее, уронив шляпу на пол. Вся первая полоса была черной. И только одно слово на черном фоне: «Бикини»...

— Артур... — прошептала она.

— Меня зовут не Артур. Вы меня с кем-то перепутали, — спокойно ответил мужчина, улыбнувшись.

Анна вернулась к Дорис. Дрожащей рукой вытащила из кошелька несколько банкнот, положила их рядом с недопитой кружкой молока.

— Прости, Дорис. Мне нужно срочно уйти. Прости...

Выйдя из пекарни, она побежала.

Она бежала все быстрее. Как сумасшедшая. Крепко сжимая руку Лукаса. Потом вдруг выпустила ее. Он бежал рядом и улыбался. У него были огромные, черные, как угли, зрачки счастливых глаз. Он обогнал ее, и она остановилась. Смотрела, как он исчезает в толпе. И вдруг услышала скрипку...

notes

Как известно, И. В. Сталин никогда никуда не ездил, тем более в Сибирь. Прим. ред.

In spe — в надежде (лат). Применяется для обозначения чего-то предполагаемого, чего желают, но оно еще не осуществилось (Прим. ред.)

3

Кофе с пирожными (нем.).

Исторический факт, подтвержденный многочисленными свидетелями, пережившими бомбардировку Дрездена. (Прим. автора.)

Два репортера газеты «Нью-Йорк Таймс» в 1941 г. попали в плен: Гарольд Денни в Южной Африке, а Отто Д. Толлишус в Японии. Толлишуса подвергли пыткам и обвинили в шпионаже. Оба были освобождены после вмешательства правительства США. (Прим. автора.)

Американский праздник «День благодарения» первыми отпраздновали пилигримы, группа английских поселенцев, прибывших в Америку на берега Массачусетса в ноябре 1620 года. Они благодарили судьбу за то, что смогли пережить эту первую зиму с помощью индейцев племени вампаонг и племени пекамид, которые делились с ними зерном и показывали им рыбные места. (Прим. ред.)

Consolidated Edison — крупнейшая фирма, существующая более 180 лет, которая поставляет электричество в Нью-Йорк (за исключением части района Квинс). Работает и ныне (прим. автора).

Семь... мы отправляемся в семь,
Я буду ждать в раю,
И считать мили,
Что приближают меня к тебе.

«Мы сделали это, мама». (англ.)

Здравствуй, боль моей души,
Твой знакомый мрачный взгляд.
Здравствуй, боль моей души,
Хоть мы и расстались этой ночью...

Я не могу оставаться здесь больше,
Не могу жить в гармонии и покое,
Не могу склонить свою голову на подушку моих ладоней.
Эта мысль не дает мне покоя,
Отбирает надежду и способность петь, сдавливая горло.
А дух мой беспокойный дрейфует в синюю даль,
Где могущественная сила однажды ясным днем догонит его,
И я тогда найду покой,
И тишину и радость,
Что дадут мне силы.